Юрий Домбровский

РОЖДЕНИЕ МЫШИ

Роман в повестях и рассказах

ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ

РОЖДЕНИЕ МЫШИ

Юрий Домбровский

ПРОЗАиК

ПРОЗАиК

Юрий Домбровский

РОЖДЕНИЕ
МЫШИ

Роман
в повестях
и рассказах

МОСКВА/ПРОЗАиК/2010

УДК 882-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Д66

Предисловие Дмитрия Быкова
Дизайн Татьяны Костериной

Издано при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»

Домбровский Ю.О.
Д66 Рождение мыши: Роман в повестях и рассказах / Юрий Домбровский; [предисл. Д.Быкова]. — М.: ПРОЗАиК, 2010. – 512 с.

ISBN 978-5-91631-096-2

Впервые к читателю приходит неизвестный роман одного из наиболее ярких и значительных писателей второй половины XX века Юрия Осиповича Домбровского (1909–1978). Это роман о любви, о ее непостижимых законах, о непростых человеческих судьбах и характерах, и отличают его сложная философия и непривычная, новаторская композиция. Считалось, что текст, создававшийся писателем на поселении в начале 1950-х годов, был то ли потерян после реабилитации (Домбровский сидел в общей сложности десять лет, не считая первой ссылки в Алма-Ату в 1933 году), то ли уничтожен. К счастью, оказалось, что все эти годы роман хранился в архиве писателя.

УДК 882-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-91631-096-2

РОЖДЕНИЕ ГОРЫ

1

Публикация неизвестного романа Юрия Домбровского (1909–1978) сродни обнародованию утраченных текстов Александра Грина, Андрея Платонова или Исаака Бабеля. Канон Домбровского утвержден шеститомником, его главным свершением признана дилогия «Хранитель древностей» и «Факультет ненужных вещей», изданы отдельной книгой его стихи, немногочисленные, но сразу занявшие в русской поэзии чрезвычайно важное место, как занимает клетку в менделеевской таблице редкий новооткрытый элемент: его не было, но должен быть. Изданы ранние романы «Державин» и «Обезьяна приходит за своим черепом» (последний тоже спасся чудом). Ходили слухи о том, что был у Домбровского и еще один роман — пограничный между ранней прозой, вынужденно написанной на историческом либо заграничном материале, и принесшими ему славу автобиографическими книгами. Даже название этого романа — «Рождение мыши» — упоминалось при публикации стихов из архива: оказалось, он для этой большой прозы специально написал несколько стихотворений от имени героя. Но сам текст был то ли потерян в редакции, куда его предлагал автор после реабилитации (Домбровский сидел в общей сложности десять лет, не считая первой ссылки в Алма-Ату в 1933 году), то ли уничтожен по причине гипертрофированной писательской требовательности к себе. В общем, когда в 2009 году Клара Турумова-Домбровская, вдова, делающая для увековечения памяти мужа все возможное и более того, показала мне три толстых рукописных тетради и две папки машинописи, я очень удивился.

Теперь, через тридцать лет после смерти автора и пятьдесят — после написания, последняя ненапечатанная книга Юрия Домбровского выходит к читателю. Почему он так противился любым попыткам жены и друзей реанимировать этот странный роман и опубликовать хоть частично — можно, как говорится, только гадать. Официальная версия — высказанная им самим — сводится к тому, что — молодо, слабо, надо все переделывать, и даже жене он настрого наказал «никому не показывать» созданную сразу после лагеря рукопись. «Рождение мыши» писалось на поселении, в Сосновке, Чуне и Захаровке, и если у автора могли быть надежды на публикацию «Обезьяны», то «Рождение мыши» с его сложной философией и непривычной композицией вряд ли представлялось Домбровскому возможным опубликовать при его жизни. Правда, «Леди Макбет» и «Царевну-Лебедь» — две лучших своих новеллы о любви — он из рукописи извлек и напечатал. Возможно, этот текст — то ли роман в рассказах, то ли цикл небольших повестей — сочинялся вовсе без расчета на публикацию, исключительно в порядке аутотерапии.

Говорить о незаконченности книги вряд ли можно — цикл сложился, объединен темами и героями, скреплен сложными и неочевидными связями, но сквозная проблематика всех этих разнородных на первый взгляд повествований настолько неочевидна, а в социальной философии Домбровского настолько нет ничего советского, что и постсоветскому читателю непросто будет докопаться до авторского замысла. Мы коснемся его позже, в меру своего понимания, не претендуя на окончательность, а пока отметим, что говорить об ученическом несовершенстве этой прозы никак нельзя. «Рождение мыши» написано на порядок лучше «Обезьяны» — и хотя совсем не так, как всенародно знаменитый «Хранитель» с его свободной манерой, непосредственной интонацией и многочисленными отступлениями, но и эта ранняя, жесткая, острая манера Домбровского ничем не хуже. «Рождение

мыши», при всей сознательной пестроте фрагментов, очень дисциплинированная проза, настоящая новеллистика, с быстро развивающимся действием и крепкими сюжетами; первая повесть во многом предвосхитила похождения Штирлица – тут вам и теологические диалоги с пастором, и последние дни войны, и конспирация, и чудесные спасения, и внезапные узнавания, но у Домбровского ничто не выглядит натяжкой – все органично и достоверно, в первую очередь благодаря замечательным диалогам. Покажется ли вам эта книга шедевром мастера или упражнением начинающего – несомненно одно: вы от нее не оторветесь. Что Домбровский умел всегда, в любом возрасте и состоянии, – так это прямо выйти на тему, начать без предисловий и мгновенно расположить читателя к себе разговорной иронической интонацией умного и бывалого собеседника. Скажем честно: из всех книг Домбровского «Рождение мыши» – единственный потенциальный бестселлер для массовой аудитории, любящей про любовь и про разведчиков и чтобы всюду страсти роковые вокруг неописуемой красавицы.

Тут не без странных сближений – возникает чувство, что Юлиан Семенов эту книгу фантастическим образом читал. Потому что герой «Рождения мыши» – супермен, ничем не уступающий Штирлицу, а то и превосходящий его (и тоже отлично рисует), и женщины от него без ума, как от всякого приличного Бонда. Более того: фамилия этого супермена – Семенов. И это уже наводит на подозрение, что Домбровский в начале семидесятых посмотрел-почитал что-нибудь про Штирлица да и написал свой ответ на него, – но, вот незадача, существуют тетради пятидесятых годов, в которых эта история записана. До Штирлица оставалось пятнадцать лет. И работает у Домбровского этот супермен в тылу врага, и спасается мыслью о любимой, которая его тут верно ждет, а после войны он попадает в плен, только уже не фашистский. Домбровский отправляет своего Николая в английскую военную тюрьму, откуда его чудом выцарапывает совет-

ский МИД, — причина этого ареста в том, что он, сбежав из лагеря для военнопленных, убил разведчика, приняв его за эсэсовца. Ход красивый, история с Габбе действительно увлекательная, хотя и странным образом книжная; пусть вас эта книжность не отвращает и не обманывает — у Домбровского все просчитано, все будущие ходы расписаны.

Дальше, после возвращения Семенова, «Рождение мыши» начинает предвосхищать другую прозу — скажем, «Киру Георгиевну» Виктора Некрасова. Только некрасовская повесть написана в 1961 году, а так многое сходится. И героини похожи — красивые, сильные женщины без возраста. И главная пружина конфликта та же: ребенок. Не будь Петушка, Нина немедленно сбежала бы к своему Николаю. Не будь Володи, Вадим вернулся бы к своей Кире. Но конфликт неразрешим — и таких конфликтов с 1954 года было очень много. Советская литература не так уж часто их касалась. И хотя повесть Некрасова тоньше, сдержаннее, в чем-то и глубже резкой, яркой и размашистой прозы Домбровского, — сцена объяснения Николая с «эллинистом» не уступает, а то и превосходит знаменитую повесть о скульпторше Кире.

Впрочем, Домбровский с Некрасовым дружил, и соперничества между ними не было: оба люди щедрые, храбрые и широкие. Более того: фрагмент из «Записок зеваки» — о том, что лучше всего пить вдвоем, — Домбровский переписал от руки и любил зачитывать в застольях, и многие принимали его за сочинение Домбровского, не зная повести Некрасова.

2

Поговорим, однако, вначале о жанре этой книги, а затем о ее смысле, как его понимаем. Тут все непросто. Я вообще хотел бы предостеречь читателя от легкомысленного отношения к этому легко читающемуся, да, но сложно построенному сочинению и от снисходительности в отношении Домбровского вообще. Домбровский далеко не

исчерпывается штампами, налипшими на него: лагерник, эрудит, драчун, алкаш, автор замечательных автобиографических романов... Домбровский — филолог, ученик Цявловского, автор романа «Державин», редкий знаток Шекспира и русской романтической прозы (его любимым периодом были двадцатые — сороковые годы, все николаевское царствование, которое он ненавидел, и потаенное русское сопротивление. Может, только благодаря знанию этой эпохи он — чуть ли не единственный — правильно понял «Путешествие дилетантов» чтимого им Окуджавы: выступление Домбровского на обсуждении романа сохранилось, и это, кажется, единственная адекватная рецензия на сложный и тоже очень филологичный окуджавский роман). «Рождение мыши» пронизано отсылками, перекличками, параллелями — больше всего таких перекличек именно с ранней русской классикой, и самый явный образец, на который Домбровский ориентируется, — «Герой нашего времени». Автор, будучи хитер, оставляет нам прямой намек на это — в «Хризантемах на подзеркальнике» действует бритый актер Печорин. В сущности, Домбровский и пишет «Героя нашего времени» и, как и Лермонтов, далеко не убежден, что этот герой — Семенов — может быть назван героем в высшем, восторженном смысле. Но он типичен, мы этого героя видели: он принадлежит к первому собственно советскому поколению, к тем, кто пережил революцию ребенком и ничего, кроме советской России, не помнит. Это поколение летчиков, моряков, строителей, полярников, селекционеров, агрономов, инженеров, «большевиков пустыни и весны» — людей радикальных, решительных, сильных: о них — довоенная драматургия Симонова и военный цикл «С тобой и без тебя» (и Домбровский явно имел Симонова в виду, описывая роман журналиста с актрисой, очень похожий на отношения Симонова с Серовой даже в деталях: «Как ты была права, что, проводив, при всех мне только руку пожимала», — вообще занятно сравнить, скажем, «Чужого ребенка» и «Хозяйку дома». Само созвучие фа-

милий — Симонов — Семенов — намеренно и красноречиво). Все эти герои — люди в кожанках, много чего повидавшие и пережившие, страшно гордые собой, довольно инфантильные внутри — отличались от Печорина тем, что у них было дело; тем, что они знали, зачем живут. Но роднило их главное — некоторая роковая пустота внутри, этическая, что ли; как и Печорин, они люди без традиции, а если говорить всю правду, то и без морали. Это, впрочем, общеромантическое у них. Таких людей Аксенов называл байронитами, но у байронита свой внутренний изъян: он на земле сирота, человек без прошлого, и оттого при столкновении с серьезной жизненной коллизией он, как правило, либо глух, либо эгоистичен, либо беспомощен. И отсутствие этого внутреннего стержня — как раз маскируемое «крутизной» — заставляет такого героя вечно странствовать, мотаться по земле, как мотался Печорин, только у него была «подорожная по казенной надобности», а у них — несколько лихорадочный пафос освоения пустынь и льдов. Но вечное это странствие не может заменить того самого внутреннего стержня, и вечные — довольно легкие, хотя и рискованные — победы никогда не перерастают в любовь. Любовь ведь — не только покорение.

Нам важно помнить, что Домбровский был НЕ ИЗ ЭТОЙ ПОРОДЫ. К поколению — принадлежал, как и Шаламов; пафос радостного освоения и строительства разделял. Но в силу разных обстоятельств — семейных, психологических, профессиональных — он чувствовал себя в этом мире скорее чужаком, не вписывался в него, очень быстро был за это сослан, а уж в ссылке научился независимости и перестал себя соотносить с эпохой. Он видел, знал, даже любил героя этого времени. Но чувствовал себя альтернативой ему, невзирая на то, что как раз внешне очень напоминал героя-покорителя: сильный, рослый, страшно выносливый. Но между Домбровским и Семеновым — пропасть; он тоже чувствует в этом герое ничем не заполненные пустоты. И написать о таком герое

можно только «роман в новеллах», со смещенной хронологией, как написан лермонтовский «Герой» — оставшийся в нашей классике блистательным, но единичным образцом. (Любопытно, что о своих героях счастливого будущего Стругацкие тоже написали роман в новеллах «Полдень, XXII век»: там тоже романтические ребята, покорители пространств и все такое, и тоже без стержня, с внутренней драмой, с печатью обреченности, что потом в этой утопической Вселенной и проявлялось все ярче по мере взросления авторов.) Ведь роман в новеллах, как к нему ни относись, — знак некоторой, что ли, капитуляции перед реальностью, своего рода прозаический пуантилизм: вместо линии — пунктир, вместо связного повествования — обрывки. Это нормальный метод, и никому не придет в голову, скажем, объявлять главного французского пуантилиста Сера капитулянтом, декадентом и буржуазным разложенцем. Но сам по себе роман в рассказах говорит о крахе целостной картины мира, о необходимости нескольких точек зрения, о невозможности связного рассказа и единой логики: судьба или мир героя разбиты вдребезги неким событием, и по этим осколкам мы восстанавливаем и судьбу, и событие.

3

Жанр романа в рассказах идеально соответствует задаче Домбровского — изобразить мир после войны, или, точнее, после глобальной катастрофы, какой виделась ему вся история XX века. И уже в самом начале первой повести, в «Рождении мыши», главный герой в разговоре с другими военнопленными обсуждает пугающую перспективу: допустим, многим кажется, что мир после войны станет лучше, чище, вообще человечнее... А это не так. Гора всегда рождает мышь. Происходит то, о чем Лев Лосев — большой поклонник Домбровского — сказал в ироническом четверостишии:

Многоочитая, как ахиллесов щит,
В лопнувших жилах рудных входов,

Гора отдыхает от трудных родов.
Новорожденная мышь пищит.

Более того: есть шанс, что в этом новом мире вообще уже никогда не будет ничего великого. Потому что чем кончается великое — люди XX века убедились вполне. Убедились так, что могут больше не захотеть никаких великих проектов и социальных экспериментов, никаких иллюзий. Людям хочется жить, а не созидать, им хочется потакать себе, а не ломать себя: послевоенный мир может оказаться миром безнадежно измельчавших сущностей.

Ну уж нет, думает Николай. Моя-то идеальная любовь останется со мной.

Читатель в первый момент изумляется, с чего бы теолог со значимой фамилией Лафортюн — сама судьба — так набрасывается на Николая и пытается его убедить в худшем, в грязнейшем: да ничего не будет, не дождется вас ваша идеальная возлюбленная... Почему он это говорит? Потому ли, что после всеевропейской катастрофы ни во что не верит? Нет: потому, что в мире «рождаются мыши», о чем он и предупреждает. Мир мельчает. И это — важнейший результат войны, по-своему не менее важный, чем победа.

Чтобы понять символику мыши в романе Домбровского и его мировоззрении, нам придется вспомнить его лагерное стихотворение «Мыши», напечатанное посмертно:

В иных грехах такая красота,
Что человек от них светлей и выше,
Но как пройти мне в райские врата,
Когда меня одолевают мыши?
Проступочков ничтожные штришки:
Там я смолчал, там каркнул, как ворона.
И лезут в окна старые грешки,
Лихие мыши жадного Гаттона.
Не продавал я, не искал рабов,
Но мелок был, но надевал личины...
И нет уж мне спасенья от зубов,
От лапочек, от мордочек мышиных...

О нет, не львы меня в пустыне рвут:
Я смерть приму с безумием веселым.
Мне нестерпим мышиный этот зуд
И ласковых гаденышей уколы!
Раз я не стою милости Твоей,
Рази и бей! Не подниму я взора.
Но Боже мой, казня распятьем вора,
Зачем к кресту Ты допустил мышей?

Мыши — это именно мелкий грех: великие грехи Домбровский готов простить. Для него всю жизнь главное — масштаб. И не сказать чтобы он не любил своего Семенова: любит, любуется, даже, пожалуй, не отказался бы побыть им — во всяком случае, когда он с Ниной, не зависящей от возраста красавицей «с мальчишеским телом». Но чем дальше мы читаем, тем для нас ясней: отношение автора к герою неоднозначно, даже, пожалуй, неоднозначней лермонтовского; между ними «дистанция огромного размера» — такая же, как между английской тюрьмой Семенова и лагерем Домбровского. Да, автору жаль, что после этого великого поколения, выбитого войной, долго уже не будет ничего великого; а вместе с тем мышь от горы недалеко отстоит. Гора отчасти виновата в том, что родила именно мышь: все великое кончается категорическим измельчанием, если это великое воздвиглось на пепелище. Замечательные люди первой половины XX века были людьми надломленными и очень часто — полыми внутри; и чем дальше мы читаем о Семенове, тем меньше ему верим. В него — верим, да, он убедителен; но ему...

Композиционно эта вещь выстроена очень тонко: в первой повести Семенов — совершенный идеал. Кое-что нас в нем, конечно, настораживает, не без этого: он ведет себя не по-домбровски. В нем есть расчетливость, которой нет, скажем, в Зыбине; есть некоторый избыток «крутизны», характерный скорей для советского положительного героя, нежели для протагониста «Хранителя древностей» или «Факультета». Он как-то очень уж победителен в от-

ношениях с женщинами, — что у Домбровского опять-таки никогда не было обнадеживающим маркером: влюбляться, обожать, любоваться — да, но не завоевывать, не обвешиваться гроздью ревнующих друг друга поклонниц.

В Николае Семенове есть то же самое, что слегка отвращает нас во всех советских суперменах — в Симонове, в его лирическом герое. Это безошибочно чувствовал Пастернак, терпимо относившийся к куда более бездарным авторам, но резко антипатично — к Симонову, и дело было не в ревности к его славе, а именно в отсутствии той цельности и чистоты, которая может быть в слабом поэте и которой не было в сильном Симонове. Есть смесь, сознательное снижение, изначальная компромиссность: только что была высокая поэзия — и вдруг повеяло мадригалом полковой даме, да еще в советском исполнении, с привкусом идейности. И эта смесь нас все время будет отвращать в Семенове — особенно когда мы узнаем, что вскоре после возвращения его опять направят в разведку под дипломатическим прикрытием. Мы как-то не привыкли, чтобы у Домбровского положительный герой имел отношение к спецслужбам, чтобы его ценили в высотном здании МИДа, чтобы государственные люди спасали его, а не гробили.

Дальше мы будем узнавать о Семенове еще больше — но всегда эта информация будет дозирована и тонко подана, чтобы, не дай бог, нигде не подтолкнуть читателя к однозначным и плоским выводам. Нас насторожит семеновский поход за синей птицей — это и красиво, и рисково, и что хотите, но гнездо разорено, синяя птица упрятана в клетку, а это уж совсем не по-домбровски. Кстати, во имя чего все это? Только чтобы убедительно зарисовать синего дрозда? В следующих эпизодах — и того больше: вот замечательная «Черная кобра», в которой Николай разделывается со своим бывшим литературным гуру, есенинским собутыльником Стрельцовым. В нем легко опознается Мариенгоф, который в тридцатые годы, после долгой травли, зарабатывал репризами для цирка.

Что говорить, пошлости в Мариенгофе хватало, но писателем он был настоящим; и когда победительный советский журналист Семенов вот так разделывается с беззащитным, хоть и циничным и пошлым Стрельцовым, — который был его учителем, между прочим, — есть в этом некая неадекватность; вдобавок Семенов лишь намекает на некие темные обстоятельства — был литературный кружок «Зеленая лампа», члены его были, видимо, арестованы, а сам Стрельцов таинственно уцелел (читается намек на то, что Стрельцов же их и сдал); однако никаких доказательств вины Стрельцова Семенов не приводит, их и нет у него. Допустим даже, что Стрельцов теперь — грубый и злой старик, привыкший на одних орать, а перед другими лебезить, — но почему же сам Семенов сводит счеты именно с ним, сырым, старым и беспомощным, а с настоящим злодеем, молодым и сильным Онуфриенко, разделывается женщина, Нина?

Вообще все поведение Семенова в этой истории отмечено некоей изначальной двусмысленностью, не поймешь, чего тут больше — жажды защитить наивного Костю или обычной мужской ревности, которая, кстати, и в «Чужом ребенке» застит ему глаза. Тем временем сам Семенов отнюдь не образец верности — в «Хризантемах на подзеркальнике» шутя завязывает роман с младшей подругой Нины, молодой актрисой, которая в это время как раз неотвязно думает о самоубийстве и осуществляет задуманное сразу после его ухода, — а он не почувствовал ничего; можно ли предположить, чтобы протагонист Домбровского так легко воспользовался чужим несчастьем и ничего при этом не заметил?

Когда же дело дойдет до «Ста Тополей», мы увидим в совершенно ином свете нового мужа Нины, археолога Григория, о котором Семенов думает с таким понятным и все-таки противным пренебрежением: в Освенциме был... небось, мертвых раздевал... У Григория свой крестный путь, куда более схожий с биографией Домбровского, и после «Ста Тополей» мы начинаем понимать, почему

Нина в конце концов остается с ним: одна цитата из его статьи — реставрации древней осады и штурма — говорит о нем больше, чем все его склоки с женой и все послания к Нине. Настоящий герой Домбровского всегда — знаток чего-то экзотического, бесполезного и безумно интересного; настоящий герой Домбровского всегда сочинитель, а сочинений Семенова, хоть он и назван журналистом, мы, кстати, так и не читали.

И еще одна важная черта этого героя: он не может подарить Нине ребенка. Не хочет, точней, потому что не готов связывать себя никакими дополнительными обязательствами, не готов прервать странничество, зажить оседло, — и это тоже следствие внутренней пустоты, нуждающейся в непрерывном заполнении новыми людьми, местами и впечатлениями. А Нина тоскует по материнству, и «Чужой ребенок» — едва ли не самый пронзительный рассказ цикла — становится переломным в нашем отношении к Семенову: мысль о бесплодной смоковнице закрадывается в читательскую голову исподволь, но выгнать ее не так-то просто. И если обычно Домбровский поэтизирует верность и ожидание, то ожидание Нины в «Ста Тополях» тоже бесплодно: «Из меня что-то уходит». Без любви ей уже не сыграть Джульетту и не поговорить с встречным мальчишкой, — никакая верность абстракциям тут не спасет. В общем, героиню свою Домбровский любит и оправдывает, а героем хоть и любуется издали, а все-таки недоволен. Он знает этого героя, вечного победителя, и знает всю его внутреннюю пустоту. Есть в истории Нины и Семенова нечто от истории Вана и Ады из грандиозного набоковского романа, в котором здоровье, счастье и победительность впервые представлены как самодовольство, порочность и аморальность. Но и до «Ады» было еще далеко.

4

Вторая и не в пример меньшая часть романа заставляет увидеть смутную, зыбкую, но — альтернативу и го-

рам, и мышам, и всей описанной здесь коллизии. Тут появляется настоящий протагонист, а может, и сам автор: начинается разговор от первого лица.

Будем иметь в виду, что Домбровский вынул из романа и опубликовал отдельно два рассказа, едва ли не лучших в его новеллистике: «Царевну-Лебедь» и «Леди Макбет». Мы помещаем их в изначальный корпус текста, где им и место, — эта трилогия вместе с «Прошлогодним снегом» завершает книгу. Здесь не столько эпилог, сколько финальный взрыв, радикальное противопоставление одного человеческого типа другому, подлинному: роман другого писателя с другой актрисой, — и эта пара во всем противоположна Николаю и Нине.

Протагонист вернулся после лагеря, а не после английской тюрьмы, и выглядит он, в отличие от Николая, неузнаваемым. Зубов нет, рот пустой, и весь он — «хороший, а страшный», говорит о нем дочка героини. И ни профессии, ни государственной защиты — один как перст, в холостяцкой квартире, пробавляется поденщиной. Вера — тоже не чета Нине: актриса она плохая и радости в этом не находит; и с мужем несчастлива. И — в отличие от Нины — выбор делает немедленно: стоит вернуться возлюбленному, как она решает остаться с ним, хоть до поры и молчит о решении. И объяснение между ними не литературно, не кинематографично, как в «Рождении мыши», — тут то самое «дикое мясо», по-мандельштамовски говоря, которое только и есть настоящая литература.

Вот что роднит по-настоящему этих двоих: секс для них, конечно, и наслаждение, и вместе с тем грех, унижение, тяжкая повинность. Именно первая ночь — для героя так и вовсе первая — развела их надолго. Домбровский написал для «Рождения мыши» несколько стихотворений — думаю, «Мыши» входили в этот корпус или, по крайней мере, существуют где-то рядом с романом, в его поле; но «Реквием» прямо предназначался для книги, и мы помещаем его именно на рубеже между двумя частями романа. Отношение к физической любви тут вот какое:

Какой урод, какой хмельной кузнец,
Кривляка, шут с кривого переулка
Изобрели насос и эту втулку —
Как поршневое действие сердец?!
Моя краса! Моя лебяжья стать!
Свечение распахнутых надкрылий!
Ведь мы с тобой могли туда взлетать,
Куда и звезды даже не светили!
Но подошла двуспальная кровать —
И задохнулись мы в одной могиле.
. . . .
Таков конец: все люди в день причастья
Всегда сжирают Бога своего.

Похоже это на отношения Семенова и Нины? Близко нет.

И в «Прошлогоднем снеге» — вероятно, вершинной новелле всего цикла — любовь никак не победительна, в ней нет ничего плотского, а когда появляется — все гибнет. Из великих свершений и грандиозных побед не происходит ничего хорошего — все горы рождают мышей; а вот робкое обожание, застенчивость, брезгливость, замкнутость, изгойство — в конце концов побеждают все. Заметьте, протагонист из «Прошлогоднего снега» прощает своей Вере замужество, вовсе не считает его грехом, — это совсем не то, что нетерпимость Семенова; и Вера в результате остается с ним — без малейшего усилия с его стороны. Что сформировало этого героя — нам тоже расскажут: вот «Царевна-Лебедь», история подросткового платонического обожания, а вот история звериной любви новой леди Макбет, увиденная юношей Домбровским в самом конце двадцатых. И опять «насос и эта втулка» вызывают ужас и отвращение — не пошлое отвращение ханжи, который, дай ему волю, сам бы всех и каждую, но метафизический ужас ригориста, мечтателя, для которого все главное вообще происходит не в видимых сферах. Дело и не в самом любовном акте, а в том, что ему предшествует и за ним следует: в фальшивых разговорах, в домогательствах, истериках, обманных ходах, во всем, что люди навертели

вокруг любви и что так убийственно, с желчной иронией, описано в «Ста Тополях». Что профессор Ефим Борисович, что истеричка-невропатолог, «толстая Джоконда» — оба друг друга стоят. Думаю, что в замечательном «Брате моем осле» краб — вечно живой, неистребимый, чудовищно живучий — олицетворяет не верность, а вот ту самую адскую, подспудную сторону любви: все это «непонятное сплетенье усиков, клешней и ног — все это вместе походило на электробатарею». По всей видимости, Домбровский в это время еще не знал строчек «скрещенья рук, скрещенья ног, судьбы скрещенья» — а может, и знал, напечатаны они в 1948 году; правда, то «Избранное» Пастернака пошло под нож, но стихи ходили по рукам. Зато уж этой цитаты из «Приглашения на казнь» он точно не знал: «...смертельно бояться нагнуться, чтобы случайно под столом не увидеть нижней части чудовища, верхняя часть которого, вполне благообразная, представляет собой молодую женщину и молодого мужчину, видных по пояс за столом, спокойно питающихся и болтающих, — а нижняя часть — это четырехногое нечто, свивающееся, бешеное...» Да, и похожее на электробатарею.

Прав Семенов, когда говорит, что он не сломлен, что человеческий мозг — самый драгоценный металл Вселенной, что в мире больших величин светло и холодно: если не дано человеку счастья среди людей, ему остается мир больших величин. Там Домбровский его и оставляет. Но сам он остается среди людей, потому что это наука более сложная; есть альтернатива холодному величию, горам, всегда рождающим мышей, — и это та поэтика изгойства, мечтательности, скрытой силы и отважного устремления навстречу трагедии, которая пронизывает последние три рассказа этого романа.

5

Разумеется, все эти толкования приблизительны и субъективны, да роман в новеллах на то и роман в новеллах, чтобы каждый новый рассказ — как новая точка

наблюдения — менял его смысл и добавлял читателю новые возможности. Домбровский рассказывает историю несколькими голосами, в литературе так делали часто — от Коллинза до Акутагавы, от Лоренса Даррелла до Бродского, — и «Рождение мыши» слишком сложная вещь, чтобы интерпретировать ее однозначно. Ведь Семенов — хороший, и Нина — хорошая, это уж такая особенность Домбровского, что отвратительны у него очень немногие персонажи, только животное начало, только сознающее себя, целенаправленное зло, да и тех жалко. Не зря сам Домбровский, выслушивая жалкие оправдания стукача, который его заложил и которого он пришел бить, — в конце концов хлопнул его по плечу и сказал: «Пойдем выпьем».

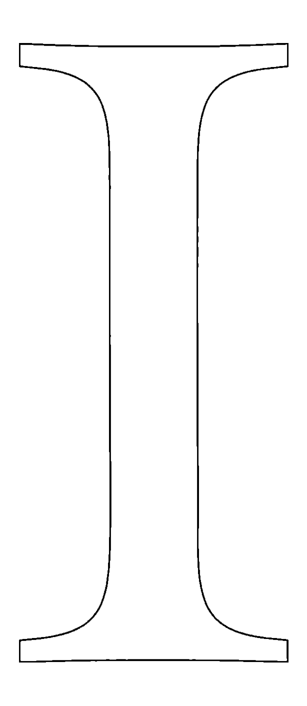
Иное дело, что — если отбросить оценки и модальности — «Рождение мыши» как раз и рассказывает о ситуации, в которой правых нет по определению: о том, как люди попытались выстроить новый мир после гигантского революционного катаклизма, и о том, как эти люди — безусловные герои, победители и новые граждане нового мира — оказались беззащитны перед вечными человеческими проблемами. Про «роковую пустоту». Про то, что в конце концов великие революционные потрясения кончились войной, а после войны мир обречен выродиться. И в этом выродившемся мире надо выстраивать этику с нуля. А удается это только тем, кто в «дивном новом мире» был изгоем, объектом насмешек, одиноким хранителем древностей.

Для 1951–1956 годов, когда воздвигалась сложная, уступчатая, шершавая гора этой книги, — высота взгляда непредставимая и вывод исключительно точный.

Вот какая бомба тридцать лет лежала на нижней полке обычного советского шкафа в квартире Клары Турумовой.

Теперь не лежит. Теперь вы ее держите в руках.

Дмитрий Быков



РОЖДЕНИЕ МЫШИ

Часть I

Глава 1

Это случилось летом 1944 года в Пруссии.

Трое пленных лежали на лесной делянке и разговаривали. Это были: профессор теологии Леон Лафортюн — высокий, красивый, молодой еще человек лет тридцати пяти, с черными, как у индейца, волосами и резкими чертами лица; уролог Байер, маленький, щуплый человечек, владелец больницы в Брюсселе; ленинградский инженер Крюков, когда-то крупный и рыхлый мужчина, а теперь с лиловыми подглазьями и так называемым почечным отечным лицом, — он был очень рассержен и все сквозь зубы ругал кого-то.

Поодаль от этих трех сидел еще четвертый — высокий и худой, как остов, блондин с красными полосками бровей и яминами вместо щек на почерневшем, нечистом лице. Те разговаривали, а он рассеянно постукивал по свежему смолистому срубу, насвистывал и думал.

Шел обеденный перерыв. Трое говорили по-немецки.

Бельгиец начал было что-то красивое и длинное о том, как бы его встретили, если бы он вышел. У него там новый дом и сад с фонтанами, а розы и пальмы он получал из Ниццы; потом, подумав, он рассказал о том, что женился на такой молодой и красивой девушке, что, когда они шли по улице, на них все оглядывались, а ребятишки забегали вперед затем только, чтоб заглянуть ей в лицо еще раз; но вдруг закашлялся, побагро-

вел и махнул костлявой, как крыло летучей мыши, ладошкой.

Наступило короткое тяжелое молчание.

— Ну, ну, — сказал теолог, — мы же вас слушаем.

— А что там слушать! — отмахнулся Байер. — Чудес-то не бывает! Вот что всем нам! — И он ткнул пальцем в белые и желтые щепки.

И тут все потупились — стоило послушать, как дышит бельгиец, или во время припадка посмотреть на его глаза, чтоб понять: да, этому уж не выбраться.

— Чудес-то не бывает! — повторил маленький бельгиец и вздохнул.

— Не в чудесах дело, — раздраженно проговорил ленинградец, — на чудеса вон кто специалист! Я на другое смотрю! Я...

— Тише! — схватил его за колено теолог. По делянке, обходя стволы, прошли двое солдат, и один из них, низенький, тонконогий, похожий на петушка, поднял маленькое личико и прокукарекал:

— Се-ме-нов! Николай!

Блондин не торопясь встал с пенька и подошел к ним. Петушок ткнул пальцем в своего товарища и что-то тихо сказал. Они заговорили.

— Хитромудрый Улисс! — выругался ленинградец.

Бельгиец подтолкнул его и значительно сказал:

— И смотрите, обоим больше чем по пятьдесят, а? Вот от этого и режим мягче — молодежь-то вся там!

— Молодежь-то, положим, вся уже тут! — стукнул о землю кулаком Крюков. — Вот она где — их молодежь! Ка-аких ребят погубили, мер-р-завцы! И спросить их: во имя чего?! Сами теперь не знают!

— Мышь, всё мышь, — тихо вздохнул теолог.

Маленький бельгиец нервно повернулся к нему:

— Да что вы весь день о мышах? Какие там еще мыши, мусье Крюков?..

— А-а, слушайте вы поповские бредни! — отмахнулся ленинградец и снова стал смотреть. Теперь все стояли на поляне и курили, а петушок что-то оживленно доказывал своему товарищу, понурому толстому немцу в очках на угреватом носу. Тот слушал и согласно кивал.

— Зарабатывай, зарабатывай на веревку, дурак, — злобно сказал ленинградец о Николае.

— Да, — поморщился Байер, — это он с ним зря.

— Ему тяжелее нас всех, — вдруг очень серьезно проговорил теолог.

— Как? Ему?! — обиделся и даже огорчился ленинградец. — Нет! Что-то не видно! Все время балаганит перед немцами, ничтожество!

— А портрет своей жены он вам не показывал? — вдруг оживился уролог. — Это такое прекрасное и чистое женское лицо! Я был просто потрясен! Олицетворение женственности — и она ждет его! Ну что вы качаете головой? Ждет, ждет!

— Да вы посмотрите хорошенько — кого тут ждать? — снова обиделся ленинградец. — Вот этого хироманта, что ходит по немецким квартирам да гадает им на бобах?! И думает, дурак, что-то такое выгадать! Нет, голубчик, не такие уж дураки немцы! А она пусть ждет! Пусть себе!

— И это трагично, — сказал бельгиец задумчиво, — ждать, любить, верить и вдруг узнать, что твой любимый... — он не окончил. — Да, я сочувствую таким женщинам — ждать героя, дождаться лакея. — Он повернулся к теологу. — Вот это, по-вашему, и называется, наверно, гора родила мышь.

Теолог улыбнулся.

— Нет, вон где сейчас рождаются мыши, — он ткнул рукой на запад, — от этого и земля там трясется! — Его не поняли. — Ну война, война, а после нее мир на несколько лет — это и есть рождение мыши. Гора пыжится, пыжится,

извергает пламя, сотрясает землю, а покажется мышиный хвост — и все начнется по-старому.

— То есть как это по-старому?! — возмутился маленький бельгиец и быстро вскочил на ноги. — Слушайте, вот я подыхаю от стенокардии. Сегодня, например, проснулся среди ночи и чувствую: конец! Кто-то сжал сердце в кулак и не отпускает! Хорошо! Я погиб! Бесславно и бесследно погиб — ребенка у меня нет, жена молодая, подыщет другого — проиграл жизнь! Хорошо! Так тому и быть! Ладно! — Он быстро рубил воздух ладонью. — Но вот у этого же Семенова жена будет ждать! У Глеба Николаевича, — он кивнул на сердитого ленинградца, — жена и ребенок — они будут ждать! Так что же, отцы легли сейчас в проклятой Германии, а дети их через пятнадцать лет пойдут подыхать куда-нибудь в Сахару? Так? Нет, не так! Хватит! Все счеты оплачены нами! Все! Когда отцы жуируют, дети расплачиваются, но мы-то умираем за кого, если не за них?

Теолог молчал и смотрел вверх, сквозь ветви, на золотое, раскаленное небо.

— Ну, а если и это не так, — продолжал маленький бельгиец, облизывая сухие губы, — если это все не так, где же вы отыскали Бога в этой бессмыслице? Где? — Теолог молчал. — И вы еще спрашиваете, почему я атеист? Да вот именно поэтому я и атеист.

Подошел Николай и остановился, слушая. Теолог посмотрел на него, что-то спрашивая глазами, и, когда тот кивнул ответно головой, так обрадовался, что потер руки.

— О чем это вы? — спросил Николай.

— Да вот, — весело ответил теолог, — вот, наш друг Байер, прекрасный человек и великолепный врач, женился на красивой, молодой девушке, построил дом, вот пальмы выписал, рассадил их, фонтан поставил, а сейчас лежит на траве и спрашивает: «А к чему мне все это, если я должен умереть в Восточной Пруссии?» Так, Байер?

— Нет, не так! Я знал и даже сейчас знаю, зачем мне это, жалкий вы человек! Фанатик вы! — крикнул маленький бельгиец и вдруг со стоном схватился за грудь. — Я знаю, а вы ничего в жизни не знаете, даже зачем живете — тоже не знаете! — крикнул он чуть не плача.

— Знаете? — усмехнулся теолог. — Ой, едва ли! А ну, представьте, что нас сейчас всех расстреляют, — с чем вы останетесь? С молодой женой? С фонтаном и пальмами? С домом в Брюсселе? Или с чем?

— С сознанием... что моя... что я... моя смерть... — начал, задыхаясь от ярости, бельгиец, — о боже мой! Умираю!.. Что если у моей жены от кого-нибудь будет сын, то ему уже... — Он упал на землю, застонал и закорчился на белых и желтых щепках.

— А где же останется сознание после вашей смерти? — мягко спросил теолог, наклонился и достал из кармана куртки Байера пузырек с нитроглицерином. — Где? — продолжал он, откупоривая его. — Или сознание бессмертно? — Он встал на колени и поднес пузырек к губам Байера. — О, тогда другое дело! Но так атеист не скажет! — Он отнял пузырек. — Что, лучше?

Маленький бельгиец сидел, открыв рот, и с губ его стекала длинная лента слюны.

— Ладно, оставим это. Хиромант, как дела?

— Так любовь — тоже мышь? — вдруг раздражающе резко спросил ленинградец.

— Какая любовь? — пожал плечами теолог. — Если любовь к...

— Да нет, зачем к... Вот конкретно: его любовь, — ткнул в Николая ленинградец, — его любовь к жене? Ее ожидание? Это что — тоже мышь?

— Ее ожидание — это подвиг перед людьми и Господом, — торжественно ответил теолог, — но оно чувственно, а о всем чувственном мы говорим «суета сует и всяческая суета».

— Вот поэтому вы и монах?

— Вот потому я и монах!

— Вот поэтому вы и теолог?

— Нет, теолог я не потому. Я просто предпочитаю лучше жить там, — он ткнул пальцем в золото, льющееся на траву и щепу через ветки, — в мире бесконечно больших величин, чем на земле возиться с мышами.

Ленинградец оскорбительно фыркнул и отвернулся.

— А Бога — куда вы Его тогда дели? — вдруг очень тихо и спокойно спросил Николай.

— То есть как — куда? — озадачился теолог, с этой стороны он меньше всего ожидал нападения.

— Да вот так — куда? В мир бесконечно больших величин? Куда-нибудь подальше от этих мышей? — Теолог что-то хотел сказать. — Стойте! Это вы Его туда поместили или Он сам, без вас поместился? Если Он сам, то какой же Он вам Бог? Если вы Его, то какой же вы теолог? И чему вы тогда служите? Неужели источнику Разума и Добра? Нет, не думаю!

— Так, молодец! — просипел бельгиец, переводя дыхание, и встал сначала на четвереньки, а потом на колени. — Я атеист, но мне Бог дороже — я хоть не оскорбляю Его.

Теолог вдруг сказал тихо и ласково:

— Друг мой, вот я знаю: дома вас дожидается большая и чистая любовь. Так вот: дай Бог вам никогда не соглашаться со мной и не увидеть, как ваше осмысленное чувство исчезнет и останется голый мышонок; дай вам Бог не узнать, какой это ужас — увидеть *рождение мыши*!

Глава 2

На другой день утром, на работе, ленинградец сказал теологу:

— Николай-то тю-тю, — и свистнул.

— Застрелили? — испугался теолог.

— Да, застрелили! — насмешливо ответил ленинградец.

Отошел и молча пилил до обеда, а во время перерыва оттянул теолога в сторону и сказал:

— Тот-то идиот в очках — ведь повел его к своей жене гадать на бобах о ее брате — брат в плену.

— Ну и?.. — спросил теолог.

— Ну и всё, — засмеялся ленинградец, — ни немца, ни Семенова; немец в карцере, а Николай ушел.

Подошел электрик из Гренобля (он сегодня стоял у пилы на месте маленького бельгийца) и остановился, слушая.

— Не секрет? Как все это вышло — вы ведь о побеге говорите? Они что, сговорились, что ли? Говорят, его ранили.

— А вот если привезут мертвым, так узнаем всё, — мрачно усмехнулся ленинградец.

— Его не привезут мертвым, — ответил теолог, — у него браунинг.

— Вот как! — очень удивился электрик, а ленинградец только свистнул.

— Да, вот так, — коротко кивнул головой теолог. — Тише! Идут.

Подошел солдат, посмотрел и пошел обратно.

— Да, прежнего рвения уже нет, — вздохнул ленинградец. — Чувствуют, собаки, конец!

После работы, когда пленные расходились в разные стороны — иностранцы в одну колонну, советские в другую — они жили в разных лагерях, — ленинградец задержал теолога за руку.

— Вы молодчина — я видел, как вчера вы с ним что-то прятали в щепках, только не знал что, значит, он уж побывал тут?

— Значит, побывал! — ответил теолог. — Я ему еще явки передал. Так что если он доберется, то не пропадет.

— Нет, вы молодчага! — повторил ленинградец. — Каюсь, что не сразу вас понял, Бог-то Бог, да и сам будь не плох — так?

— Пожалуй, но вы и сейчас ничего не понимаете! Ладно! Не будем об этом говорить... У него же что? Жена актриса? И, кажется, еще известная?!

— Очень! Можете приобрести ее карточки в любом киоске. И, кажется, человек отличный. Что вы улыбнулись?

— Ничего. Надо идти. До завтра! — Теолог пошел и вернулся. — Вот кончится война, он приедет и увидит, что ждет его дома.

— Ну, она совсем не такая, — возмутился ленинградец, — да и он не такой.

— Ах, теперь вы это наконец поняли, какой он? Ну, хорошо! Нет, дорогой, и она такая, и он такой, и все вы такие, — улыбнулся теолог, ласково глядя на ленинградца. — Нет, это просто даже умилительно, как вы, светские люди, мало знаете о себе. Вот нас, монахов, вы третируете, а мы ведь в десять, нет, в сто раз прозорливее вас в ваших же делах! И знаете почему? Мы смотрим на жизнь с птичьего полета, и ее мелочами нас не обманешь, — мы их попросту и не замечаем, а вы елозите по грязи и даже солнце видите только в луже. Настолько мусор в углах затмевает для вас все.

Наступило молчание. По делянке прошло несколько французов с пилами. Один, черный, курчавый, на редкость белозубый, весело крикнул по-русски: «Кончать, кончать!»

— Иду! — вздохнул теолог и тоже взялся за пилу. — Надо сдавать инструмент. До завтра!

— Так что ж, она его прогонит? — задержал его руку ленинградец.

— Ну, зачем прогонит? — пожал плечом теолог. — Вы же говорите: хорошая женщина? Нет, не прогонит — про-

сто будет... как это называется, треугольник? Будет у них треугольник — вот и всё!

— Никогда! Он повернется и уйдет.

— А может быть, еще застрелится или ее застрелит? — улыбнулся теолог.

— Нет, дорогой, не застрелит, не застрелится и не уйдет — суета сильна! Он будет барахтаться в тине, пока не познает Бога.

— Значит, вы думаете, что ему тогда было бы до вашего Бога? — зло усмехнулся ленинградец.

— Думаю, что да, — мягко улыбнулся теолог, — он же тогда будет несчастен, а несчастному всегда до моего Бога.

Глава 3

А в это время Николай лежал под поваленным деревом верст за тридцать от лагеря. Дерево вывернула буря, корни его вместе с мощным пластом выхваченной земли образовали пещерку, а Николай еще наломал орешника, загородил выход, и стало совсем незаметно — только бы лесник не набрел. Впрочем, тут уже начинался заповедник. Звенели и ныли комары. Сильно, как из погреба, тянуло землей и грибами, и, когда он ворочался, сор шумно сыпался на рубаху. Болело плечо. Он спустил ворот и посмотрел рану — пуля сорвала кусок кожи, и боль была такая, что он сразу же вспотел.

Он разорвал зубами чистую тряпку, намочил ее из солдатского термоса — успел схватить со стола — и кое-как повязал рану. От холода боль сразу же смягчилась. Тогда он выгнулся и стал слушать. Лес шумел мощно, спокойно и широко, как океан. Стучали дятлы, тренькала легкомысленная синичка, и шуршали, шуршали мертвые, опавшие иглы. Это шли муравьи, он видел, проходя сюда, на пне огромный муравейник. Ему смутно подумалось: «Муравьи... муравьиный спирт... если растереть...» Он закрыл глаза.

И только что стал засыпать, как опять застучал дятел и так близко и настойчиво, что он встал и пораздвинул ветки, чтоб посмотреть, точно ли это дятел. Но в лесу все было спокойно. По-прежнему стояли викингами богатырские чешуйчатые сосны, по-прежнему на солнце дрожала и переливалась листьями серебристая ива или ольха, а в глубине леса сосны и ели слегка раздвигались и яснела чистая поляна и по ней все время пробегали тени — то ли кусты волновались, то ли шли по небу облака. А воздух был так густо настоян на хвое и смолах, что даже саднило в горле. Он провел в лесу всего сутки, а ему уже трудно верилось в зондерлагерь, колючую проволоку, такую, что только дотронься — и убьет током, в вонючие бараки и даже в то, что где-то идет война.

Пестрый дятел пролетел почти возле самого входа, и его белые и черные крылья блеснули, как рассыпавшийся со стола пасьянс.

Вдруг все залило солнце, и почти по-человечески запела иволга.

И тут к нему подошла Нина...

* * *

Она была в длинном платье зеленого панбархата и переливалась, как бронзовка, но волосы у нее лежали просто и свободно, в гладкой прическе. Она улыбалась и шла, не задевая головой кроны.

— А знаешь, — сказала она очень весело, — я вышла замуж за Сергея, и у меня уже сын.

Он схватил ее за плечо. Она стояла, улыбалась, и над ней висели корни, и все стукал и стукал дятел.

— Не огорчайся, — успокоила она его, — разве в первый раз погибла любовь? Гора родила мышь — вот и всё.

Тут к ним с топором в руках подошел теолог и наклонил голову, слушая разговор.

— Вот ведь это он мне посоветовал, — сказала Нина и дружелюбно ткнула в теолога.

Николай кинулся к нему, — и топор бы тут не помог! — но все сразу переменилось, перемешалось и провалилось в тартарары.

Николай увидел самого себя. Он стоял и смотрел, как Нина в сине-белом тазу купает ребенка. Ребенок был отвратителен — какая-то дряблая и дряхлая обезьянка. А у нее было такое счастливое, просветленное лицо Богородицы, так ей было наплевать на весь мир, а на него, пропащего мужа, — прежде всего, что он лег на землю и горько-горько заплакал. А ей и дела не было, — она все мыла своего гаденыша, тихо плескала теплой белой водицей и ворковала что-то ласковое, веселое, бессмысленное — то, что испокон веков говорят женщины над детским тазиком.

От этого кошмара он и проснулся. Больное плечо разгорелось вовсю, что-то непрерывно шумело, и уже нельзя было понять, голова ли так болит, муравьи ли ползут или шумят сосны. Он смутно подумал, что лихорадка таки начинает его забирать, — зря он ушел от болот — там хоть вода есть!

Опять пришел теолог, взял пилу, встряхнул ее (она завизжала и изогнулась, как щука) и начал пилить, пилить, пилить. Перед глазами Николая все ходили и ходили черные хищные зубья.

Когда он снова открыл глаза, уже вечерело, старенький черный френч просвечивал и походил под вечерним солнцем на звездное небо. Гудела и пульсировала голова, а губы были как в замазке; он опять достал термос и сделал глоток, но от воды пахло резиной, и его чуть не вырвало.

— Нет, моя милая, — сказал он вдруг зло, — мыши тут, положим, ни при чем, просто пороху не хватило ждать — вот что!

И только он сказал ей это уже под полный расчет, как опять заплакала слюнявая, отвратительная гадина, и он увидел такой ужас, что сразу вспотел.

Лежала голая Нина — всегда страшный, проклятый сон, — и к ее груди тянулась волосатая татуированная рука в черных узлах со скрюченными пальцами. Он закричал благим матом и, наверно, больно ударился затылком, потому что сразу же очнулся.

Но кошмар продолжался. Теперь над ним висело какое-то загнутое книзу лицо с белыми и чистыми глазами и беспощадным тонким носом. Он видел это и еще руку с тупыми пальцами и коротко остриженными ногтями — почти такую же, как и в бреду.

— Зондерлагер? — спросило это лицо и улыбнулось. — Ну, Сов'ет, Сов'ет?

Николай молчал.

— Вылезайт, камрад, — приказал человек и слегка откинул голову, и Николай увидел черный мундир и серебряные молнии эсэсовца.

— Одну минутку, — ответил он послушно, — я сейчас вылезу.

— Не бойсь, камрад, — успокоил его эсэсовец, — я...

И тут Николай выхватил браунинг теолога и — раз! раз! раз! — пустил в череп эсэсовца три пули.

Он сам не помнил, слышал он выстрелы или нет, но голова и плечи с молниями сразу же, как жестянка в тире, завертелись и покорно рухнули наземь, а из черных волос вдруг засочилась кровь.

Тогда Николай развернулся и ногой выбросил труп наружу.

* * *

Один этот был эсэсовец или вслед ему шли другие? Его он искал или еще кого-то? Из всех этих мыслей ни одна не пришла ему в голову, — даже страха не было, — он только понял: надо переодеться в форму убитого, самого его спрятать и уходить; мелькнуло другое: а не переодеть ли труп в свое тряпье? Если найдут, пусть разбираются, кто кого убил; но сейчас же он понял: нет, с этим ему не

справиться, да и не хотелось. Труп лежал на поляне, загораживая вход, и первое, что Николай сделал, это оттащил его в сторону. Это было нелегко одной рукой, и под конец он так ее разбередил, что она перестала подниматься. Пришлось лечь и передохнуть. Потом он поглядел на гладкие блестящие волосы в черных и багровых сгустках, в глазах пожелтело, и его вырвало. Сразу стало легче и свободнее, и, полежав так, он встал на четвереньки, приподнял труп под спину и начал раздевать — голова у эсэсовца болталась и кровоточила, как у зарезанного петуха, а руки мешали и всё за что-то задевали, — Николай боялся запачкаться или запачкать одежду убитого, и все-таки несколько капель упало на форму. Он сдуру стал стирать их и только размазал. Так возился он с час. Труп был противно теплым, как парное молоко, и когда он раздел эсэсовца, то повалился тут же на одежду и пролежал так дотемна. Потом встал, переоделся, туго затянул все ремешки и хлястики — так что одежда нескладно, но все-таки сидела, — подошел к голому трупу, подтащил под мышки и засунул его, но уже не под корни, а под ветки вершины. Их было много, и они скрыли труп, как под шатром, — туда же Николай кинул свою одежду. Карточку Нины он переложил в кобуру браунинга.

Потом укрылся, скорчился и заснул.

* * *

Уже утром он просмотрел документы, кое-что сжег, тут же на зажигалке, кое-что спрятал в карман. Эсэсовца звали Карл Готфрид Габбе. Он был гауптштурмфюрер, ему было тридцать восемь лет, он родился в Лейпциге, и дальше все было неясно, кроме номера полка, но и он ничего Николаю не говорил. Вместо же других установочных данных был прочеркнут большой игрек. Всё с приложением подписи и печати.

Кто такой убитый? Откуда он? Зачем, куда он шел? Почему лесом? Что нес? На все это можно было ответить

и так, и эдак. Был еще длинный узкий конверт, прошитый и запечатанный, опять-таки без всякого адреса, но Николай вскрывать его не стал. Затем была планшетка с номерными штабными картами, и в ней под сорокакилометровкой Варшавского воеводства лежало несколько фото убитого, в штатском и в форме — одного и в группе военных, и отдельно в пакете — надписанная фотография какой-то картинно-красивой женщины с аккуратно вычерченным смеющимся ртом и острыми ресницами — каждая стрелка отдельно. Да, такой бабе уж не попадайся ни в коготки, ни в зубы. В боковом кармане был еще бумажник, туго набитый немецкими, норвежскими, швейцарскими, а главное — американскими купюрами, и несколько развеселых фотографий.

Николай бегло перебросал все это в пальцах, засунул в планшетку, повесил ее на плечо, встал и пошел.

Надо было отойти хоть верст за десять и пробиться к реке.

* * *

Сначала идти было трудно, потом невероятно трудно, потом уж так трудно, что он почувствовал: вот-вот он упадет и потеряет сознание. И верно, сознание он потерял, но упасть не упал, а продолжал идти. Когда он очнулся, то увидел — почва под ногами стала сырой и жирной и на ней растут осоки да папоротники. Значит, близко вода, и через несколько минут действительно увидел кусты ивняка и через них озеро. Только теперь он почувствовал, как устал и хочет пить, и, треща по кустарникам, ринулся к воде, сапоги сразу провалились в тину и из-под ног попрыгали лягушки. Он опустился на колени и начал пить. Пил, пил, пил, отвалился от воды, лег на траву и не то заснул, не то опять потерял сознание, а когда очнулся, то почувствовал, что кто-то стоит и смотрит на него.

Он повернул голову — по ту сторону пруда стояла аккуратная и большеглазая козочка, слегка поводила ноздря-

ми и с любопытством глядела на него. У козочки переливалась шерсть на девичьей наивной шейке, блестел в блике света круглый детский лоб с небольшими выступами и пытливо посверкивали чистые большие глаза. Ему вдруг подумалось и уже наяву: не Нина ли это? — такой был у козочки осмысленный взгляд. Он приподнялся и слегка раздвинул кусты — и вдруг сразу же ее не стало, только сучок где-то хрустнул да тень мелькнула по ивнякам — исчезла, как и не была!

Он хотел встать на ноги и оперся рукой о землю, и тут что-то так стрельнуло в плечо, что он сразу же потерял сознание.

* * *

Когда он через минуту очнулся и засучил рукав, то увидел: рука стала отечная, воспаленная, к плечу тянулись красные полосы, а под мышкой набухало что-то с гусиное яйцо.

«Пропала рука, — подумал он, — как теперь буду писать? Ничего, Нина умеет печатать». И эта мысль: он будет диктовать, а Нина печатать — была такой радостной и возбуждающей, что он сразу же загорелся, встал и пошел. Его все время поташнивало, шатало, и парное молоко подступало к самым губам, поэтому он иногда не рассчитывал дороги и так шарахался больным плечом о дерево, что боль сдувала его с ног, но идти было все-таки надо, и, отдышавшись, он поднимался и шел, шел.

* * *

Наступила ночь, потом утро, а он все шел — теперь он вступил в болотистую полосу крохотных озер, и идти было трудно. Как будто вновь вернулось его детство, он убежал от матери и шныряет с ребятами по болотам.

Необычайная слаженность и сила жизни царили в этом мире. Тихие пруды стояли сплошь в зеленой и желтой ряске, кое-где в черных разрывах ее в чешуйчатой

зелени торчали пышные водяные лилии и кувшинки из ярого желтого воска. На ветках ивы сидели стрижи, а выше их трепетали дымчатые стрекозы и красные коромыслы. Солидно и добродушно квакали лягушки (Нина говорила: «Это они перед дождем так»).

А какие тростники здесь росли! Какие осоки! Какие листья были у этих осок! Распластанные, широкие, сочные и то нежно-зеленые, то почти черные! Словно кто взял их да пересадил сюда из теплицы! Потом он сидел и смотрел на лягушек: как они таинственно выплывают из глубины, — нет-нет ничего, и вдруг в туманной воде показалась неподвижная лягушка, — как плывут, а потом, прытко работая лапками, вскарабкиваются на берег, как они сидят там, как на них раздуваются по обеим сторонам головы молочно-белые шары — и они квакают; как вдруг всплескивает рыба и бегут круги; как вдруг поднимаются со дна струйки серебристых пузырьков — и они похожи на ландыши; как вечером низко проносятся быстрые бесшумные птицы, задевают крыльями ряску и на лету клюют воду.

Так прошло часа два, опять кто-то толкнул его в спину, сказал «Пора», и он понял: надо встать и идти, а то взойдет солнце и его опять разморит.

Он встал и пошел.

* * *

И тут ему представилось то, что не раз снилось и на фронте, и в бараке военнопленных, и на больничной койке, когда он подыхал и у него воровали хлеб.

Вот что он увидел.

В ясное летнее утро он подходит к своей даче. У него запыленные солдатские сапоги, старая черная и промокшая под мышками гимнастерка, какой-нибудь мешок на спине, фуражка — ну, в общем, тот вид! Жара. На огородах дремлют, шурша черными корявыми листьями, пыльные подсолнухи с расклеванными шапками. А на

дороге между коноплями в теплой пыли чирикают и купаются воробышки. Он подходит к зеленой калитке и осторожно стучит в перекладину. А там, за калиткой, терраса, приподнятая, как сцена, вся в ползунке и винограде, широкий стол, голубая хрустящая скатерть, и посредине разблестелся никелированный граненый самовар. Сидит мать в капоте, сидит Нина в простом мягком платьице (ведь утро же!) и пьют чай, и на все то, что происходит за забором, никто никакого внимания пока не обращает — звенят ложечками и чашками, пересмеиваются, разговаривают. — Хорошо! Он не из гордых — подождет, и только минуты через три он стучит опять. Мать слегка поворачивает голову и что-то спрашивает у Нины — наверно, что-нибудь вроде: «Да кто это там? Ниночка, посмотрите-ка!» Нина быстро встает. В зеленом прохладном сумерке разворачивается что-то золотистое, розовое и белое — волосы, лицо, платье. Она сбегает по ступенькам, подпрыгивает, соскакивает на землю и идет между клумбами, высокая, стройная, улыбается, размахивает руками, идет и видит — стоит возле калитки какой-то незнакомый дядька — не то шофер, не то завхоз из соседнего дома отдыха, не то просто кто ищет адрес — стоит и робко улыбается. Устал, бедняга, спарился, — как не посочувствовать такому. Она подходит к нему и вдруг круто останавливается — краснеет, коротко вскрикивает и поверх калитки бросается ему на шею. И мать тоже кричит и бежит с террасы — и уже все, кто есть в доме, — дети, женщины, кошки — кричат и бегут, а у соседей заливаются две собачонки, и какая-то девочка с бантом весело сообщает: «Мама, мама, к тете Нине ее муж вернулся», и там тоже что-то хлопает и кто-то покатился со ступенек. А Нина висит у него на шее, вся мелко дрожит, плачет и ничего не может сказать, а только смотрит на солдатское серое щетинистое лицо и все не насмотрится, не нарадуется. Боже мой, какая радость еще есть на земле!

Он смеялся, плакал и прижимал к себе больную руку, а в это время за чистыми ивами стоял высокий человек в форме лесника, смотрел на лежащего в тине эсэсовца и что-то решал.

— Ну, ладно, ладно, Нина, — сказал эсэсовец по-русски, — ну, будет, будет, что ты, родная?

Тогда лесник раздвинул ветки и пошел к нему.

Глава 4

Где Нина? Где чистое лесное озеро? Где козочка с детской шейкой? Он не хотел лежать, вырывался, кричал, но тут чья-то сильная и мягкая рука бережно укладывала его на постель.

— Нина! Мамочка! — кричал он. «Нина», — странно повторяет чужой голос, и на миг, как солнце в разрыве облаков, проглядывает комната, картины на стенах (всё олени, собаки и охотники), окно, в окне стоят и шумят ели. Над ним наклоняется сухое волчье лицо: внимательные серые глаза за стеклами, прижатые к костистому черепу острые уши. Все это, как багровый мячик, прыгает в такт пульсу в его глазах. Рядом стоит толстая румяная женщина в фартучке и держит на подносе тарелку с супом. «Mütterchen»[1], — говорит он по-немецки, и толстуха сочувственно качает головой.

И тогда как из темного люка появляется над ним еще один человек — эдакий чернявый, юркий карлик с холодными жесткими пальцами. Он приближает лицо и берет его за пульс — и это последнее, что Николай видит.

Начинается бред.

На ивовое плетеное хрусткое кресло смиренно и серьезно усаживается Нина — у нее в руках спицы, как у той старухи, что постоянно сидит в коридоре театра

[1] Мамочка.

у телефона, и она все вяжет и вяжет — шевелит губами, а на него и не смотрит.

Любовь моя, да что же это такое? То ты приходишь ко мне козочкой, то сидишь надо мной старухой, и все мне нельзя говорить с тобой по душам.

Нина молчит и все двигает спицами, шевелит губами — человечек отпускает его руку и что-то говорит волку. Тот кивает головой. Темнота.

* * *

Так прошло еще три дня. Николай уже не бредил. За окном (как пена в тазу) шумели ели. Кричала какая-то птица. Девушка в розовом два раза в день — туда и сюда — проходила мимо с белыми эмалированными ведрами, и человек, похожий на волка, сидел без пиджака и читал газету.

Николай глядел в окно, потом на стены в дешевых, ярких олеографиях, в оленьих рогах и кабаньих головах и думал: он разут, раздет, обезоружен, — тут же двое мужчин да две женщины — значит, не убежать и не вырваться, но ведь это вопрос: надо ли бежать, хотят ли эти люди зла эсэсовцу? Вот они же возятся с ним. Он попробовал было заговорить с девушкой в розовом (когда она входила к нему, у нее на голове был гофрированный чепчик, и так она очень походила на белокурую Гретхен), он попробовал было заговорить с ней, но она сделала испуганные глаза и сказала: «После, после!!» Толстуха была поразговорчивей, она сообщила, что он находится в доме форстмейстера (лесника) герра Цайбига, а она, фрау Берта, его жена, детей у них нет, что же касается девушки, то ее звать Эльзой, она студентка восьмого семестра, но сейчас война и она работает сестрой в клинике профессора Сулье, а сюда приехала месяца на три к своему дяде (отпуск по болезни) — и вот подвернулась неожиданная практика. Ее дядя — д-р Грог, о, это голова! Он вас лечит новейшими методами, месяца через три вы будете в со-

стоянии пилить дрова. Вот увидите, увидите! Он главный хирург клиники и двоюродный брат моего мужа. Но довольно, сейчас молчать, молчать, а то опять поднимется температура; и, улыбаясь, она гладила его по плечу толстой ладошкой с пальцами-коротышками.

Герр форстмейстер появлялся только на минуту, и говорить с ним не приходилось — появится, постоит в дверях, заметит взгляд Николая, хмуро улыбнется и уйдет.

А бреда все не было. Нина, оскорбленная этой прозой — бинты, йодоформ, клеенка, — как-то раз тихо сложила свои спицы, встала и ушла.

Наступало выздоровление.

* * *

На пятый день герр Цайбиг зашел в его комнату, сел на стул и сказал:

— Доброе утро, господин Габбе! Ну, как же наши дела?

Николай пожал плечами.

— Лихорадка-то прошла, — продолжал Цайбиг, — но вот доктор Грог настаивает на отправке вас на стационарное лечение, а мне что-то не хочется. Так вот, как бы вы думали? Стоит ехать?

Ехать в больницу было, конечно, немыслимо, поэтому Николай спросил:

— Так скверно мое дело?

Волк улыбнулся.

— Если бы скверно, они бы вас не трогали, нет, но они боятся образования тромба! Ладно, об этом еще поговорим; теперь второе: если вас все-таки везти, то куда же — в госпиталь или в неврологическую клинику, там тоже есть хирурги? — Он остановился, выжидая ответа, но Николай молчал. Волк поправил ему одеяло. — Я ожидал, что вы спросите, почему в неврологическую клинику, а не в госпиталь, но вы не спросили, — продолжал Волк. — Неврологическая клиника, а не госпиталь, связана с тре-

тьим соображением, и самым главным. — И Цайбиг вдруг заговорил на чистейшем русском языке: — Вы бредили, и я понял все. — Он помолчал, давая Николаю собраться с мыслями. — Бояться меня вам не надо — вы слышите, как я говорю по-русски. Без акцента, правда? Я родился в Москве. Мой отец имел на Кузнецком Мосту магазин туалетных принадлежностей. Это первое, почему я говорю — вы у друзей. Второе — Гитлер меня никак не устраивает, моя жена австрийская еврейка по матери — чувствуете, чем это пахнет для нас обоих? В-третьих, я старый человек, много видел, пережил в России три войны и хорошо понимаю, к чему это все идет, — так вот какое положение, господин или товарищ. Как уж хотите.

Было очень тихо. В соседней комнате в клетках заливались чижи, да две женщины за стеной мыли посуду, вполголоса переговаривались и смеялись.

— Курить у вас есть? — спросил Николай по-русски, оперся рукой об одеяло и сел.

— Когда вы бредили, — продолжал Цайбиг и протянул Николаю портсигар, — жена интересовалась: почему вы так хорошо говорите по-русски? Я сказал, что вы все время допрашиваете пленных и ругаетесь. Она, святая простота, поверила. Я ведь никогда не вру.

— Огня! — попросил Николай. Сердце так ухало в груди и в висках, что он почти оглох.

— Так вот, — Цайбиг высек огонь из зажигалки и поднес ее Николаю, — теперь у вас есть два пути — поверить мне или нет.

Николай усмехнулся:

— У меня, кажется, вообще нет никакого пути.

— А вот слушайте, потом будете говорить. Так вот, два пути — вы можете счесть это за провокацию, тогда вот: сейчас жена кончит мыть посуду, расставит ее по шкафам, и мы уедем к ее сестре за двадцать пять километров. Вернемся в понедельник утром. Прислугу я отпустил вчера вечером. Вот смотрите — тут все ваши фото и докумен-

ты. — Он положил на край кровати брезентовый конверт. — Вот деньги — кладу их под подушку. А вот ключи! — Он вынул из кармана целую связку их. — Смотрите, этот, из вороненой стали, от бюро — там в нижнем ящике ваш браунинг. Этот, большой, от моей охотничьей мастерской. Там, в шкафу с чучелами, висит ваша одежда, вычищенная и выглаженная, там же рюкзак, в нем кое-какие продукты и большой кусок копченой грудинки. Теперь: будете уходить, хорошенько захлопните дверь и закройте ставни, а на столе — слушайте! — оставьте записку, что за вами приехали из госпиталя и вы уезжаете. Ну, скажем, с доктором Ранке. Вам ясно, зачем это надо? Жена приедет, не застанет своего больного и ничего не поймет — значит, пойдут вопросы да догадки, а это уж очень неприятно — правда? Так вот, чтоб этого не было, пару слов — так?

— Так! Дальше? — Николай выбрал из портсигара еще одну папиросу и потянулся закурить.

— Положите! Потом, — недовольно поморщился Цайбиг. — Это все, если вы уйдете. Если же вы окажете мне честь и доверие, то в десять часов вечера придет доктор — Эльзы не будет. Сделает вам перевязку и останется ночевать. А я явлюсь в понедельник, после полудня, и буду к вашим услугам. Понятно?

— Понятно! — ответил Николай.

— Так вот как! — улыбнулся Цайбиг. — И разрешите... — он протянул руку.

— А почему браунинг вы спрятали отдельно? — спросил Николай, не беря его руки.

— Поверьте, только затем, чтобы вы в меня не влепили сразу трех пуль, как в покойного Габбе, — улыбнулся Цайбиг и сразу перестал походить на волка. — Труп его я оттащил в овраг — к нам теперь из Польши забегают волки, и они в одну ночь расправятся с ним! Ну, так... — Они пожали друг другу руки. — Поступайте, как считаете лучше. И в том, и в другом случае пожелаю вам доброго успеха, а главное — бодрости, бодрости. Мы, немцы, го-

ворим: «Mut ist verloren alles verloren»[1]. Так вот, только не теряйте «Mut». Берта еще зайдет к вам, Эльза тоже — вы знаете, девчонка влюблена в вас! Вот что значит молодой беззащитный мужчина! А?! — И он засмеялся и вышел.

Николай поднял обе руки и приложил их сначала к вискам, потом к груди. Сердце стучало, словно хотело выпрыгнуть, и Николай спросил его: «Ну как же, Нина, поверим мы этому волку?» И Нина простучала оттуда: «Поверим!»

Глава 5

Вот так и вышло, что через неделю, по заключению доктора Грога, Николай с диагнозом «военный психоз» лежал в клинике травматических неврозов профессора Сулье и им усиленно занимались. Каждый день выстукивали то так, то эдак, царапали и кололи иглами разной толщины и назначения, брали пробу то из пальца, то из вены, то из позвоночника, проверяли давление — кровяное, черепное, еще какое-то.

Профессор Сулье был высокий, красивый старик с еще черной бородой и внимательными вдумчивыми глазами, он напоминал чем-то постаревшего Гаршина, и врать ему было очень неудобно, а приходилось. Никаких прямых вопросов о профессии и работе Сулье не задавал и вообще был очень ласков — держал за руку и внимательно спрашивал о наследственности по обеим линиям, о детстве; потом тише — о детских пороках, о женщинах, об отношениях с ними; и только уж напоследок (и то в самой общей форме) о том, не волновался ли он, выполняя те или иные необходимые служебные функции военного времени, и когда Николай отвечал, что нет, не волновался, он кивал головой и хвалил: «Хорошо, хорошо, это очень хорошо!» Но по его глазам

[1] «Потерять мужество — все потерять» *(нем.)*.

нельзя было понять, точно ли он считает, что это хорошо. А рядом стояли врачи и ассистенты в белых шапочках и что-то быстро строчили в блокноты.

Так прошла еще неделя, и Николая перевели в отдельную палату с видом на цветочную горку в лилиях и эдельвейсах, и он целыми днями сидел у окна и смотрел на больных в белых, серых и синих халатах. Нина больше не приходила — что же ей было тут делать? — он же выздоровел, но вместо Нины осталась мысль о ней. Она-то никогда не покидала его. Иногда все хорошо, спокойно, даже весело — и вдруг кольнет: «А Нина-то сейчас...», «А в Москве-то...» — и сразу профессор, болезнь, Эльза (а она действительно была влюблена) — все станет ненастоящим и нестоящим, и не поймешь, какого же дьявола сидишь ты тут и лопаешь манную кашу да зеленый немецкий мармелад, когда *там*, в стране, где только и возможна Нина, может быть, именно тебя и не хватает! А время-то идет, часы-то тикают, и ты попадаешь в цейтнот. Но выписаться было невозможно, бежать — подавно, и оставалось сидеть у окна да рассматривать нарциссы. И вот однажды случилось одно происшествие, и с него все началось.

* * *

Происшествие, с первого взгляда, было, верно, совершенно пустячное.

Вот что произошло.

После обеда Николай сидел на лавочке в больничном парке и ждал Эльзу.

Был приемный день, все аллеи наполняли парочки, только тут еще никого не было. Он сидел, думал, насвистывал что-то, и вдруг перед ним неожиданно предстал военный в форме оберштабарцта (майора медицинской службы). Они улыбнулись друг другу.

— Я не помешал? — спросил майор.

— Нет, нет! — ответил Николай и подвинулся на край скамейки. Оберштабарцт сел. Это был крупный мужчина

лет пятидесяти, очень свежий, чисто выбритый, с прекрасным цветом лица и ямочкой на подбородке. От него так и несло духами, он дружелюбно покосился на Николая, достал серебряный портсигар с эмалевой колибри и протянул Николаю.

— Прошу, — сказал он любезно, — американские трофейные — марки «Кэмел».

Николай покачал головой:

— Спасибо, я курю, только если нервничаю.

— Да-а? — майор подумал. — И не курили?

— Нет, пожалуй! Когда был студентом только.

Майор захлопнул портсигар, спрятал его и с минуту сидел, глядя в землю, а потом поднял голову и спросил:

— Извините, но вот я сейчас сидел и думал: где же мы с вами встречались? Страшно знакомое лицо. — Он еще посмотрел. — Скажите, вы не были на купанье в Ревеле в сороковом году, летом?

— Нет, не был.

— Но страшно знакомое лицо! — Майор подумал. — Простите, если не секрет: ваша фамилия?

— Габбе.

— Нет, не знаю.

Николай встал и помахал рукой — из-за кустов появилась Эльза. Майор взглянул на нее и быстро встал.

— Доброго здоровья, — сказал он, — до свиданья. — И не торопясь пошел по дорожке.

Быстро подошла Эльза, веселая, оживленная, засмеялась и положила на колени Николаю букет лилий.

— А вы их не любите! Смотрите, какая прелесть! — сказала она. — Специально выпросила у садовника! А что это за врач? Откуда вы его знаете?

— Да нет, это не ко мне, — ответил Николай и взял букет. — Странный запах у этих лилий. Вы не находите, что...

— Но к кому же он тогда приходил? Тут же никого нет, — удивилась Эльза.

Николай еще ничего не понимал.

— Ну не знаю, — ответил он досадливо, — вы не находите, что запах лилий...

— Да нет, в самом деле, — слегка встревожилась Эльза. — Если он пришел на свиданье, зачем ему потребовалось забиваться сюда?..

— А черт его знает! — рассердился Николай. — Есть о чем думать. Ну, зашел человек, посидел на скамеечке и пошел своей дорогой. Слушайте, я говорю о лилиях. Они... — И заговорил о другом.

* * *

Вечером во время обхода Сулье спросил его:

— Ну, повидались с дядей?

— Как? — удивился Николай. — С кем?

Сулье обернулся и посмотрел на дежурную сестру:

— А к кому же приходил этот майор?

— К господину Габбе! — удивленно ответила сестра. — Я сама его провожала и показала, где сидит господин Габбе.

— А... — начал Сулье, но вдруг поднялся и пошел из комнаты. Тем дело пока кончилось.

* * *

Через два дня дежурная сестра передала Николаю маленький сиреневый конвертик, пахнущий духами.

— Принесла девушка, — сказала она многозначительно, — фамилии не назвала: «Он сам знает». Очень хорошенькая!

В конверте была записка по-русски:

«Куда вы сунулись? Убирайтесь вон — пока еще можно. Вы влезли в нехорошую историю!»

* * *

«А пожалуй, надо бы послушать», — подумал Николай. Теперь для него стало совершенно ясно: папиросы марки «Кэмел», да, пожалуй, и портсигар были паролем. Стало

быть, штабарцт приходил по чьему-то заданию, но увидал, что Габбе не тот, и ушел. Пришел и доложил: вместо Габбе сидит какой-то самозванец; тогда те и послали ему это письмо — «убирайся!» Значит, вопрос, кто это — «те»?

Он вытащил конверт, взятый им в лесу у покойного Габбе, распечатал и прочел:

«Генералу Босху (такого генерала Николай не знал; был лет пятьсот тому назад такой художник).

Податель сего — лицо, затребованное вами по отношению за № (номер) от (только одно число — ни года ни месяца).

Подпись (крючок)».

И ни штампа, ни печати — вот и разбирайся!

Надо смываться, понял Николай и вечером сказал Эльзе:

— Эльза, дорогая, мне надо выписаться.

— Надо? — спросила она, очень многое вкладывая в это слово.

— Да! Надо!

Она подумала.

— Хорошо, я поговорю с лечащим врачом.

— И мне нужна квартира, Эльза, в часть я не поеду. — Эльза смотрела на него во все глаза. — Ну, буду сидеть дома — деньги у меня пока есть. Доллары!

— Ну, что ж, — сказала Эльза сухо, — я помещу вас у своих родителей, вот и останутся у вас ваши доллары. Они вам пригодятся.

— Нет, я... — начал Николай.

— Они пригодятся, — сказала Эльза и ушла.

Глава 6

На другой день во время обычного обхода Николай сказал Сулье, что он здоров и хочет выписаться — обстановка больницы действует на него угнетающе. Пока он говорил, профессор рассеянно и сосредоточенно смотрел ему в глаза, а потом слегка вздохнул и покорно сказал:

— Ну, хорошо! Значит, завтра будем говорить. — И ушел в сопровождении ассистентов.

А через час быстро вошла Эльза, на ней не было лица, и она сказала:

— Гитлера убили!

Он вскочил и сжал ее руки. Она быстро села на койку.

— Сейчас передавали по радио. Фюрер выступит с речью...

— Постойте, я что-то ничего не понимаю: раз его убили, то какая же речь?

— Вот! Больше я ничего не знаю, — быстро сказала Эльза. — Тсс! Идут!

Вошла заведующая корпусом — старая дева с длинным желтым лицом и лошадиными зубами.

— Эльза, — крикнула она, — вы мне нужны. Идемте! Господин Габбе, профессор просил вас не уходить из палаты. Возможно, он зайдет к вам!

— Как фюрер? — спросил Николай.

— Фюрер, благодарения Богу, жив и здоров, — ровно и строго ответила старая дева, — английские наймиты опять просчитались.

Николай лег опять и потер руки.

— Ну, каша! Ну, заварится теперь каша, — сказал он радостно, — теперь только держись! И кто же все это сделал?

— Вы говорите так, как будто это вас радует! — строго, но бесстрастно обрезала старая дева. — Лежите спокойно. — Она подошла и отворила окно. — И кто это опять курит у вас в палате?! Все, что нужно знать, будет по радио. — И ушла вместе с Эльзой.

* * *

В шепоте, в покачивании головами (что они хотят — господи, что ж они такое хотят?) и слухах прошло четыре дня. Заговорщиков поймали почти всех, начали ра-

ботать специальная следственная комиссия и так называемые «народные суды». Уже вешали. Не за шею вешали, а натыкали на заостренный, фигурно выгнутый крючок, так что человек, как кусок мяса, висел на челюсти и истекал кровью. Английское радио сообщало, что взрывом был убит двойник Гитлера Борк, но, полно, может, это не Борк, а сам Гитлер убит, а Борк живехонек и командует сейчас империей? Чего ж они хотят? Боже мой, чего они такого хотят? Кровь и кровь и уж пять лет одна только кровь, как она потекла с четырнадцатого года, так и не видно ей конца. Недаром говорили умные люди: придет время — и живые будут завидовать мертвым. Вот так и выходит.

На пятый день перед самым отбоем профессор позвал Николая к себе. Николай пришел и увидел, что на столе полно окурков и кучек пепла, стоят грязные стаканы и розетки — видно, было собрание. В синем чаду горит лампа в зеленом абажуре. Профессор, заложив руки в карманы, — постаревший, очень усталый Гаршин — мягко ходит по коврам, а на тумбочке лежит кипа историй болезни и черные рентгеновские пленки.

— Вы из Лейпцига? — спросил Сулье.

— Да, — ответил Николай.

Профессор прошел к столу, сел, отодвинул кипу бумаг и взял перламутровую автоматическую ручку.

— Душой заговора был бургомистр Лейпцига Терделлер, его не поймали. Вам никогда не случалось его видеть? — спросил он, не смотря на Николая и роясь в кипе историй.

— Нет, — ответил Николай.

— Та-ак! — Профессор еще посидел, поиграл ручкой. — Вы хотели выписаться? Я согласен: завтра после обеда вы получите свои вещи — устраивает? — Он стряхнул ручку и вытащил одну из историй болезни, надписал несколько строчек на последней странице. — Ну, вот и всё! — Он наконец поднял на Николая глаза.

— Спасибо, — поклонился Николай. — До свиданья!

— До свиданья, — профессор вдруг встал. — До свиданья, Габбе. Постойте-ка! — Он положил ручку и улыбнулся. — Во-первых, привет вам от доктора Грога. Он был у меня сегодня. — Профессор помолчал, посмотрел на Николая. — И во-вторых, сегодня на конференции потребовалась ваша история болезни — и вот оказалось, что ее нет, она у моего заместителя, доктора Нагеля — он взял ее три дня тому назад без моего ведома и куда-то уносил. Спрашивается: зачем? Этого я не знаю. — Профессор сел.

Николай молчал и ждал.

Профессор поморщился.

— Ну, вот и все! — Он протянул Николаю руку. — Желаю вам всего, всего хорошего. — Он вдруг засмеялся. — А скажите, что я не психолог: я сразу почувствовал, что вы странный эсэсовец!

* * *

ОТРЫВКИ ИЗ ЗАПИСОК НИКОЛАЯ

1

«И вот вместе с Эльзой я вышел за ворота клиники.

Город, возле которого мы помещались, еще не бомбили, и поэтому война здесь чувствовалась сравнительно мало. Но ведь сравнительно мало это еще не мало вообще, — война нависала над городом, как грозовая туча. Его заполняли беженцы с запада и раненые с востока, и там, где они жили, лежали или останавливались, постоянно разговаривали о таких страшных вещах, как ковровая и утюжная бомбежка, о том, как в городе стоят кварталы черных развалин, как захлопывает людей в бомбоубежищах. Рассказывали, как из Zoo после бомбежки вырвались звери и метались по улицам не от людей, а к людям — и, скажем, медведь ревел и тряс лапой, а страус махал обожженным крылом, а слон становился на колени, поднимал хобот и жалобно трубил, — но что могли сделать

люди, когда и под ними горела земля? А коралловый аспид, очень ядовитая и красивая змея, похожая на красное и черное ожерелье, по пожарной лестнице заполз на шестой этаж и смиренно свернулся под чьей-то кроватью. И в этих рассказах о развалинах больших городов, по улицам которых ползают африканские гады и трубят умирающие слоны, было что-то и от Уэллса, и от апокалипсиса, в общем, от легенд о конце мира и тотальной гибели человечества. Очень страшно было слушать также о том, как налетают самолеты. Вдруг начинают сразу гудеть все сирены – воют, воют, воют, люди, как крысы, шмыгают сразу в подполье, а те летят волнами – две, три, бог знает сколько тысяч, гудят, гремят и аккуратно, как клопиные гнезда, выжигают за кварталом квартал. В подвалы набивается столько народу, что ни встать, ни сесть: раз один старичок аптекарь умер от инфаркта и все-таки продолжал стоять вместе со всеми. Так пройдет ночь, а утром иди работай! Много ты наработаешь?! Шептались также о русских снегах, о партизанах, о смерти Кубе и о покушении на Гитлера. О том, как под ударом Советской армии трещит Восточный фронт, как пала европейская крепость и что одна только надежда – Neue Waffe! – новое оружие! Панацея от всех болезней и бед. Уж по тому, как произносились эти слова, можно было сразу понять, с кем ты имеешь дело. Один говорил и сам улыбался, и тогда я отлично понимал: "Какое там, к дьяволу, новое оружие?! Оружие-то новое, да обезьяна старая" (по-немецки это получается очень складно: "Neue Waffe und alte Affe)". Другие произносили эти два слова загадочно, отчужденно, и я видел: они-то знают, что́ обрушит на землю разгневанный немецкий гений, когда придет его час. "Посмотрим, – словно говорили они, – посмотрим, господа, что останется от Лондона и Парижа! Посмотрим, что будет на месте Москвы! Яма с зеленой водой и лягушками. Ты сам напрашиваешься на это, Жорж Данден". Были и третьи – паникеры. Они произносили эти слова

шепотом и заглядывали в лицо: они всего боялись — Гитлера, русских шпионов, немецкого гения. “Я не знаю, конечно, герр Габбе, что это за штука NW, но я слышал один разговор в бомбоубежище, говорили два очень сведущих человека — очень сведущих — это ужасно, ужасно! Бедные матери, бедные их дети”. Четвертые — подрывной элемент, сразу же в крик: “Когда же, господа хорошие, когда же?! Ведь мы сегодня как моль, пока вы там раскачиваетесь!” — “Но оно обязательно появится”, — отвечали им пятые, и это была самая тупая, но зато и самая стойкая публика — столпы империи!

И оно действительно появлялось — и то сказывалось сверхмощным танком “тигр”, то сверхманевренным танком “пантера”, то фаустпатроном. Все эти “фаусты”, “пантеры”, “тигры” должны были кончить войну еще в этом сезоне, а она тянулась, тянулась, тянулась неизвестно куда, и все меньше оставалось земли, куда можно было попятиться. А потом появлялась очередная еженедельная статья Геббельса, и все понимали, что NW еще впереди, еще о нем надо гадать да гадать. А что конец не за горами, чувствовали все. Ужасны были мелочи конца — то, например, что в магазинах появилось мясо диких коз и кабанов — за килограммный талон два килограмма, что знаменитая “Мадонна” скатана в трубку и запаяна в металлический цилиндр, а памятники забиты в ящики и спрятаны в подвалы, а то и просто зарыты. Ходить после десяти часов по улицам нельзя. Ползут слухи о шпионах. В окрестные леса сброшены парашютисты. И было, например, такое: в кафе “Лорелея” один офицер на глазах у всей публики застрелил другого — просто встал из-за своего столика, подошел к другому и бахнул в затылок полковнику, который сидел и читал газету. А потом оказалось, что все это шпионское дело, — только неясно, кто же шпион.

Вдруг газеты сообщили: вчера гильотинированы три очень известные женщины — оказались шпионками. Еще кого-то казнили — за распространение рукописных листовок, еще — за спекуляцию продовольствием и еще —

за грабеж после бомбежки. Появилось страшное слово "дефатизмус" — дискредитация власти — и такие же страшные короткие дела о них в полицейских судах. Жить становилось не то что страшнее (конечно, страшнее, но уже истощались болевые способности людей, да и свободных мозгов оставалось все меньше и меньше), а бессмысленнее с каждым днем. И опять-таки, не то что не было уж решительно никакого выхода немецкому народу — выход был и такой и эдакий, — но стало ясно, что все пошло прахом, на долю одних уже досталась смерть, а других еще ждут позор и разорение. Война проиграна, и гора родила мышь!»

2

«"Вы ведь должны знать Жослена, — спросил меня Лафортюн, — он, кажется, в Москве был корреспондентом «Лозанн цайтунг»?" Я сказал, что знаю такого: толстячок, похож на Чаплина, только в пенсне и брюки не падают. "Ну, вот, вот! — засмеялся Лафортюн, — именно Чаплин! Так вот, постарайтесь добраться до города Эн. Он там сейчас состоит при миссии Красного Креста! Он вам сделает все".

И вот я стал ловить Жослена, — это было нелегко, ведь в миссию-то не зайдешь, по телефону тоже не вызовешь — значит, приходилось сидеть да ждать в небольшом скверике возле Дюрерштрассе, напротив миссии.

И вот однажды, когда я шел по парку встретить Эльзу, кто-то ударил меня по плечу.

Я обернулся и увидел очень старенького Чаплина в мягкой шляпе, похожей на котелок.

Он стоял и смотрел на меня».

* * *

— Прежде всего, — спросил Жослен, — я ошибся или нет?

Парк был пуст, только на лавке сидели два малыша.

— Нет, — ответил Николай, — нет, вы не ошиблись!

— Ну, и очень хорошо, — облегченно вздохнул Жослен и протянул руку, — я уже давно жду вас. Кто вы такой сейчас?

Николай слегка поклонился.

— Гауптштурмфюрер Габбе из Лейпцига.

— Так. Откуда вы сейчас? — не принимая его улыбки, спросил Жослен.

— Я две недели пролежал в клинике профессора Сулье.

— Молодец. — Жослен взял его под руку. — Пойдемте. Я вас давно жду. Его преподобие тоже на свободе и кланяется вам.

Николай даже остановился.

— Как? Он...

Жослен опять подхватил его под руку.

— Именно! Бежал через неделю после вас! Так, порядок такой: я сейчас отпущу шофера и повезу вас к себе. Говорить будем уже у меня — согласны?

Вот так в этот день Эльза ждала, ждала, да и не дождалась своего возлюбленного. Возлюбленный приехал в двенадцать часов, когда Эльза уже давно спала. Он тихонько шмыгнул в свою комнату, взял чемодан, щедро расплатился с хозяевами и уехал. Он сказал, что его давно уже ищут, а сейчас встретили на улице, отвезли в штаб и дали направление в ставку. Он съездит и приедет обратно, но на всякий случай вот деньги. Ведь война, так мало ли что может случиться! Но отец Эльзы, бухгалтер, сорок лет проработавший в одном месте, был старый стреляный воробей — и он-то отлично понимал: какой там, к черту, штаб! Какой там вызвали и дали направление! А зачем жилец все время выходил только в штатском, когда он эсэс? Зачем он, эсэс, отлеживался в университетской клинике, когда дел у них по горло? Никакая там не ставка! Просто бегут крысы с тонущего корабля — вот и всё: тонуть-то никому неохота.

* * *

Разговор, начатый в парке, кончался в помещении миссии Женевского Красного Креста. Здесь Жослен как пресс-представитель занимал весь верхний этаж, и хотя в квартире никого не было, кроме прислуги — старой немки с плоским лицом, Жослен, войдя в кабинет, запер дверь на ключ.

— Ну, пока нам кое-что приготовят, расскажите мне о своих похождениях. С любым приближением, конечно, — попросил он Николая. И пока тот говорил, ходил по комнате и слушал, а потом спросил:

— Так, это все прошло у вас благополучно, что же вы думаете делать дальше?

Николай пожал плечами.

— Буду пробираться на восток.

— Вы будете пробираться на восток! А с рукой у вас что? Она не двигается.

Николай поморщился:

— Да нет, рука ничего.

— Хорошо! — Жослен подвинул кресло и сел. — Вот что я вам предлагаю. Я вас подброшу к французской границе. На восток вы сейчас не попадете — там ставка и тройной заслон. — Он подумал: — Как я мог понять его преподобие, у вас есть явки. Так? Но если его преподобия в Париже нет, что вы будете делать?

— Да уж как-нибудь устроюсь, — усмехнулся Николай.

— Устроитесь? — пытливо поглядел на него Жослен. — Ну, хорошо. До границы я вас довезу. Надо только придумать, кто вы такой. — Он подумал. — Ладно, это придумаем! — Жослен откинулся на спинку кресла и довольно потер маленькие ручки. — Дела у них там из рук вон скверно. Еще с полгода — и союзники встретятся на Рейне. У Гитлера уже все карты на столе и ни одной в рукаве.

— A Neue Waffe?

— Ах, Neue Waffe? — криво усмехнулся Жослен. — Ну, это еще придется подождать! А завтра налетит советская авиация и за пару часов пустит весь город к облакам. Вот мы с вами и проснемся у престола Господня — хотя, извините, вы ведь атеист, наверно? Вам и проснуться будет негде! Атеист?

— Атеист.

— Ну то-то же! А у нас что-то мало осталось атеистов. Оказывается, нельзя под ураганным огнем верить только в земляное перекрытие — мало! — Он засмеялся. — Вот я слушал ваш рассказ про последний разговор с его преподобием и думал: «Нет, это имеет свой смысл! Имеет! Ну, вот, если после этой — такой тяжелой, такой изнурительной войны, а она еще не кончена, и бог знает, что нам покажут ее последние месяцы, — так вот, если после такой войны мы получим какой-нибудь дрянненький, трясущийся миришко лет на десять — так разве не будет это рождением мыши? — Он посмотрел на Николая. — Что, разве не может быть так — восемь лет войны, восемь лет паршивого мира, и снова война на пятьдесят лет? Для кого тогда мы приносили все эти жертвы?

— А вы их в действительности принесли? — поинтересовался Николай и посмотрел вокруг себя на ковры, бронзу и мягкую мебель. — И много?

— Для меня достаточно! — раздраженно ответил Жослен. — А что, думаете, мало? Нет, для моих лет хватит и этого!

— Тогда, с любым приближением, сколько вам лет?

— С некоторым приближением мне пятьдесят — так что из этого? Да, да, я старею, мне не так уж много осталось. Я хочу жить!

— Отвечаю теперь на ваш вопрос о жертвах. Вот я знаю историю одной школьницы. Жила девочка в Москве с мамой и с братом, училась в десятом классе. Все было тихо, спокойно. Началась война. Никто ее не трогал, никто ни к чему не понуждал. А она пришла и на-

просилась, чтоб ее послали в диверсионный отряд. Ее послали, и она уехала из Москвы — жертва?

— Большая жертва!

— Подождите, пока еще не большая. Отряд работал в тылу, почти на линии огня. Ее послали поджигать конюшни. Раз сходила она удачно, два сходила опять удачно, на третий раз ее поймали и стали пытать. Она молчала. Опять жертва?

— Знаю я эту историю, — поморщился Жослен. — Ну-ну, дальше — ваши конечные выводы?

— А потом построили виселицу, согнали народ на площадь и повели ее вешать. А она, стоя на ящиках, оттянула петлю и выкрикнула несколько лозунгов, вот тех, что проели всем глаза в газетах, но, представьте, с эшафота они звучали иначе! С эшафота они действовали и на народ, и на тех, кто ее вешал, и когда она кричала из петли: «Немецкие солдаты, сдавайтесь, пока не поздно, в плен!» — черт его знает, что в это время думали эти немецкие солдаты. В этом был тоже один из смыслов ее жертвы. Вот и вся история. Вы ее, конечно, уже читали.

— Да, но для чего вы мне ее рассказывали?

— А вот для чего: жертв, дорогой, никто не приносит сам, а его вынуждают к ним, — а он либо идет на них, либо нет. Вот вы и эта девочка — вы были поставлены в одни и те же условия, началась война, но ни вас, ни ее никто не трогал, не считал обязанным приносить какие-то жертвы. Вы старый газетчик, она школьница, много ли от вас можно требовать? Но у нее было за что умирать, и она пошла и умерла, а у вас не было, и вот вы сидите в центре гитлеровской империи и пьете кофе с ликером.

Жослен посидел, подумал и вдруг покачал головой и засмеялся:

— Вот я слушаю вас и не забываю одно. Я видел жену этого человека — я говорю с мужем красавицы.

— Господи, а это-то при чем? — оторопел Николай.

— А при том, мой друг, что как раз именно это очень молодо и подтягивает — когда родина твоя прекрасна, когда жена твоя красавица, ты ходишь, как в корсете. А быть подтянутым — это значит быть жестоким к себе и к другим. Вспомните Рим. Вот и вы жестоки.

— Ну и путаница, — поморщился Николай. — Родина, моя жена, Рим — как у вас все на свете перемешалось!

— А я так не могу! Ну, в самом деле, за что, если он и захочет стать героем, может умереть корреспондент «Лозанн цайтунг»?! За швейцарские часы, что ли?! Так это же анекдот. Будут только смеяться.

— Ну, умрите тогда за Вильгельма Телля, — улыбнулся Николай.

— Нет, друг мой, и за это нынче не умирают. А что же касается всего остального, то жене моей сорок пять лет, и моя Жюси далеко не ваша царица Мэб. Да и мне, мой друг, как вы остроумно заметили, далеко-далеко за пятьдесят. И знаете, на закате дней к кому я все более и более склоняюсь? К вашему графу Толстому! Тут, по крайней мере, все ясно — как из клетки только клетка, так и из зла только зло. И завтра зло, и послезавтра зло, и послепослезавтра, и через сто лет — тоже зло. И будет его все больше и больше, все на земле кончится злом и разрушением. Так что, пожалуй, зря ваша девочка «митинговала» в петле. Лучше бы ей было прожить хотя бы пять лет. — Он подошел и положил руку на плечо Николая. — Вот как, дорогой, думают в пятьдесят восемь лет и остаются при своем старом Боге. Вам еще не понять этого, друг мой! Да и ни черта, собственно говоря, не понять в этом мире. Я вам только что сказал: из зла только зло — так ведь и это неправда. Не было бы в Женеве того немецкого пристава, не заставлял бы он кланяться своей шляпе — не могло бы быть и Вильгельма Телля, который его убил. А ну-ка отнимите у наших часовщиков да официантов Вильгельма Телля с его знаменитым яблоком — что у них останется?! Ага, то-то и оно-то! Значит, нужен пристав! Нет зла,

которое не родило бы добра! Как нет и добра, которое не кончилось бы злом. Да только ждать от зла добра надо целые поколения. Вот у меня был знакомый журналист — сейчас он перешел в эсэс и служит на французской границе. Если бы мы поехали с вами туда, то обязательно встретили бы его. Так вот, он такое наговорит... — Жослен вскочил с места и ударил себя по лбу. — Эврика! Слушайте, я вас возьму как своего секретаря! А?

— Если это вам удобно, — пожал плечами Николай. — Я же не знаю ваших возможностей.

— Но только к французской границе, да? Нет, возможности у меня на это есть! Документ я вам достану! Один из работников нашей миссии погиб, не то просто сбежал в Гамбурге, а документы остались — вот я и поговорю кое с кем. — Он развеселился отчего-то и снова заходил по комнате. — Да, мы сговорчивы, сговорчивы! Что делать! Сорок четвертый год! «Гитлер капут!» — кричат солдаты на Восточном фронте! Ладно, пошли пить кофе с ликером!.. Нет, нет, в Бога надо верить, подумайте об этом, лет через пятнадцать. — Жослен подошел и взял Николая под руку. — Идемте, я буду просить вас: расскажите-ка мне о зондерлагере — это, уж конечно, для моих послевоенных воспоминаний, о фронте Сопротивления. Я так их и озаглавлю: «Мы пахали».

Глава 7

ТРЕТИЙ ОТРЫВОК ИЗ ЗАПИСОК НИКОЛАЯ

«Я сказал Жослену: “Ну на кой ляд мне говорить с вашим стукачом? Какая философия у шпика?” И вот говорить мне все-таки пришлось, да еще как!

Вот как это вышло.

Уже возле самого Аахена заходит в купе проводник, начинает как будто подметать и тихо говорит мне:

— На той станции заходили двое в штатском, просматривали билеты и, я слышал, говорили: “корре-

спондент, корреспондент", а потом по-французски о секретаре.

Я хочу встать, но:

— Постойте! — говорит мне Жослен и поднимается. — Кто они, не знаете?

Проводник качает головой и быстро выходит.

Дверь захлопывается почти мгновенно, но я успеваю заметить — там не двое, там много людей.

— Пейте коньяк! — приказывает Жослен, проследив мой взгляд. — Я пойду узнаю.

И как раз поезд останавливается. Станция. Огней нет, но светит полная луна, и на желтой оконной занавеске вдруг появляется силуэт какого-то господина — усики, шляпа, покатые плечи, руки опущены вдоль туловища — у них револьверы висят через шею в рукаве. Вскинешь руки — и в каждой по браунингу.

— Ну, кажется, горим, — спокойно подытоживает все Жослен. — Так пейте коньяк! — И выходит.

Я остаюсь, сижу, сижу, сижу — целую вечность, минуты что-то три сижу. Вот бы ты только знала, милая (и ты знаешь это, когда бываешь на сцене), сколько нервов надо, чтобы сидеть за коньячком, когда смерть стоит за дверью и тебя так и подбрасывает, потому что (ты подумай, милая!) браунинг в брюках, парабеллум в пиджаке — это значит, ты сможешь отстреливаться минут сорок, а то и час, а ты сидишь как кролик в мешке и ждешь ножа!

В коридоре тишина — даже шагов не слышно. Вдруг поезд дернулся, ударился, загудел, как колокол, буферами и тихо пошел — усатый силуэт уезжает назад с занавески. Смотрю на дверь и вижу: тихо поворачивается ручка — раз вверх, раз вниз. Сейчас войдут. Осторожно (руки дрожат) наливаю себе стакан коньяка и пью залпом — он проходит как вода, даже не жжет.

И вот: дверь настежь! Поезд уже грохочет, подрагивает и летит. Они, верно, этого и ждали. В двери группа —

впереди Жослен, зеленый, но спокойный, за ним красивый рослый мужчина, похожий на Зигфрида, он в сиреневом коверкоте, и другой, длинный, с желтыми волосами и костистым лицом — этот в форме.

Я поднимаюсь им навстречу, но Зигфрид делает знак рукой: "сиди!" — и я опускаюсь снова. Тишина.

— Ну вот и преступный Габбе, — улыбается Жослен. (Я не Габбе — я подданный княжества Лихтенштейн Якоб Хазе.)

Все трое стоят и смотрят на меня, а у меня даже страха нет. Один зуд: физически хочется почесать мозги — так я истомился за эти две-три минуты. Только через добрый десяток секунд соображаю снять руку со стола и положить на колено — так ближе к браунингу. Правой поправляю галстук — возле парабеллума. Поезд летит и грохочет.

— Ну что, — спрашивает Жослен, — убедились?! Хазе, покажите им паспорт.

Я лезу за борт пиджака и берусь за парабеллум.

— А-а! К чему, Густав! — досадливо отмахивается Зигфрид в коверкоте. — И так все ясно! А? Гауптштурмфюрер, что скажете? Ведь и не похож даже! Вот осёл!

— Ну конечно, глупо, — равнодушно отзывается эсэсовец.

— Я вам говорил: он дурак.

И все трое опять стоят и смотрят.

— Да-а! — Зигфрид вынимает портсигар, берет папиросу, угощает эсэсовца и протягивает мне. Я беру, пальцы у меня уже не дрожат.

— Просто смех! — говорит Зигфрид, косясь на мою руку, и с шиком подносит мне зажигалку. Зажигалка особого рода: нагая женщина из нержавеющей стали. Чтоб прикурить, надо нажать ей на голову, тогда она вскинет ногу и оттуда забьет синий огонь.

— Ой! Ну-ка покажите, — говорю я, и он протягивает мне зажигалку.

— Сейчас таких уже не делают. Это старая французская контрабанда.

— А вы понимаете, господа, что, в общем, это прескандальное дело! — вдруг взрывается Жослен. — Вот представьте себе — я просто принял это как попытку обыскать мой багаж и задержать моего секретаря. И скажу тебе просто, Рудольф, если бы не ты...

Зигфрид вдруг решительно подходит к столику.

— А ну, господа, разрешите, я сяду.

Он достает из кармана блокнот, что-то быстро пишет и протягивает эсэсовцу.

— Читайте! И сейчас же послать!

Эсэсовец читает и пожимает плечами.

— Что опять не так? — зло взглядывает на него Зигфрид.

— Да нет, так, но... не слишком ли уж? Ведь какой-то Габбе там у них действительно был.

— Ну и что?

— И потом, он заместитель Сулье, и его арест... — Он опять пожимает плечами. — Не знаю!

— Не знаете! — Глаза у Рудольфа колючие и злые. — А вот вы слышали, что сказал господин Жослен? А? И он прав! Ей-богу, он прав! — Эсэсовец пожимает плечами. Зигфрид поднимается из-за стола. — Всё! Идите, гауптштурмфюрер! Ничего, неделю посидит, подумает! Идите!

Эсэсовец уходит.

— Вам не следует сердиться, — примирительно говорит мне Рудольф. — Этот Габбе — человек совершенно особого рода. — Он берет из моих рук зажигалку. — Нравится? Если бы мы встретились неделю назад, я бы мог ее подарить, а сейчас второй экземпляр у меня уже ушел... Да, совершенно особого рода! Мы охотились за ним год и уже набрели на его следы, как вдруг он исчез в Пруссию. И вдруг доктор доносит: “Габбе у нас”. — “Какой Габбе — тот самый?” — “А вот приходите — посмотри-

те”. Мы туда, а его уже нет, и тут получаем сведения из специальных каналов, что к этому самому Габбе приходило лицо Икс в форме майора. А за этим Иксом мы охотимся уже год, но даже фото его не имеем — такая это хитрая бестия. Ну и пошло́... ничего, сейчас отсидит, дурак, с декаду — будет умнее.

— А до меня как вы добрались, господа хорошие? — спросил Жослен и наклонился, чтоб достать из-под дивана чемодан. — Что? Все агентура внешнего наблюдения — или как ее у вас? — все она?

— Да... — заикнулся Рудольф.

Жослен открыл чемодан и вынул две бутылки рома.

— Ладно, не уточняю и не спрашиваю! Давайте пить! За что же? Ну только не за фюрера... ну его! Рудольф, предлагайте тост!

— Разрешите мне, — улыбнулся я. — Пью за то, господа, чтоб гестапо наконец поймало этого Габбе. Это я из чувства мести — знаете, как я перепугался?

— Представляю, — коротко хохотнул Рудольф. — Как все пугаются. Но вы молодец, я смотрел на вас. Так! Пьем за железный крюк для Габбе. Люблю я хорошие тосты, господа!»

ЧЕТВЕРТЫЙ ОТРЫВОК

«Жослен курил, а я стоял у окна и смотрел. Все время проплывали развалины, рыжие и черные ямины, выбитая и выжженная земля — эту часть пути непрестанно бомбили. За столом сидел Рудольф, бывший журналист, бывший коллега Жослена, теперешний эсэсовец и, кажется, еще военный следователь, и пил коньяк: это был здоровый красивый парень с точным, по ниточке, пробором, длинным лицом и пустыми глазами, — я его запомнил, такие скотские лица запоминаются на всю жизнь. Он пил по маленькой (и для нас стояли стопки) и спокойно говорил о том, что все сволочи, конъюнктур-

щики: когда Германии везло, все нейтралы трещали о силе германского меча, а теперь даже Швейцария и та то и дело требует занести в протокол какое-то свое особое мнение. Что-то не было у нее этого мнения в июле 1941 года. Жослен наконец не выдержал.

— А вы бы что хотели? Чтоб мы тоже пошли ко дну вместе с вами? — огрызнулся он.

Я испугался, но Рудольф и бровью не повел.

— Типичный разговорчик всех пришей-пристегаев, — ответил он спокойно. — Ничего, ничего, господа, выиграет тот, у кого нервы крепче.

— Нет, — ответил Жослен, — сознаюсь, у меня нервы никуда. Я вот еду домой. Ну вас всех к дьяволу, господа! Я пробыл здесь всю войну, а под занавес пусть шлют другого. Мне все ясно и так. Ваша железная дева родила мышонка! Больше ждать нечего!

— Ну, что ж, — солидно пожал плечами Рудольф, — уходите! Правильно! Пусть посторонние убираются с арены. Финал будет ужасен. Фюрер пойдет на самые ответственные решения. Это теперь ясно!

Жослен насмешливо сказал:

— Ой, что-то давно мы уж это слышим. Но это какие же — самые ответственные?

— А вплоть до риска уничтожения всей жизни. Вы знаете, что такое цепная реакция?

— И знать не хочу! — сердито ответил Жослен — он был очень разозлен. — Нет, вы подумайте, что вы только говорите! Около двух тысяч лет тому назад человечество с высоты креста...

— "Человечество", "высота креста", — передразнил Рудольф. — С вами говорят, как с мужчиной, а вы завели черт знает что. Гуманисты! Политики! "Человечество"...

— Да, да, с высоты креста! — крикнул Жослен. — А вам что, не нравится? Зря! Эшафот — это та трибуна, с высоты которой только и решаются такие вопросы.

— Вот у русских “катюша” — так она их решает без всякого креста и трибуны, — зло усмехнулся Рудольф. — Снаряды термического действия — знаете, что это такое? А вы нам крест! — Он налил себе стакан коньяка и выпил залпом. — Это все, коллега, из старой оперы о золотом веке: все будут счастливы; все будут богаты и красивы, и ни калек, ни нищих; наобещали, а взять неоткуда — вот вы и повысовывали языки.

— А вы ничего не обещали? — спросил Жослен.

— Правильно, мы обещали, — стукнул кулаком по столу Рудольф. — И тоже золотой век! Но — кому? Мы говорим человеку: сначала надо посмотреть, кто ты такой — сорняк или зерно, а потом и решить, что тебе обещать, потому что одно — зерну, другое — сорняку.

— И сорняк — в огонь? — спросил я.

Гестаповец подмигнул Жослену.

— Чувствуете? И ваш секретарь заиронизировал! Смейтесь, смейтесь, молодой человек, вы ведь из Лихтенштейна — так вам ли не смеяться над Германией! Ничего, просмеетесь, господа, — он сделал резкое движение рукой и опрокинул стакан, — как и все, кто еще не понял: мир и счастье всем — это глупость и безнравственность, за него ни один думающий человек не заплатит грошика! Кому мир? Кому счастье? Вот я наци, эсэс, “хайль Гитлер” — так совместимо мое счастье с жизнью советского или английского шпиона? А? Совместимо? Ну так вот, в этом и все дело! А то вывесили, как на гала-представлении, — всем! всем! всем! — он уже орал, — и удивляетесь, почему никто не идет. Да потому и не идет, что дураков-то нет, господа хорошие! Ишь ты! Никто не желает людям зла, все хотят блага, а мир пропах трупом! Почему? Да всё вы, вы, господа женевские миротворцы! А я бы так: кто только заикнется, что он знает, как осчастливить человечество, — я бы того на крюк и на фонарь, потому что вот он-то зальет мир кро-

вью. Так вот за что давайте выпьем — за крюк для благодетелей да уравнителей.

— Ну и не остроумно, Рудольф, — поморщился Жослен. — Что истина рождается в крови и грязи, это знают все. Над чем же тут смеяться?

— Не остроумно? Над чем смеяться? — издеваясь, подхватил этот скот. — А вот в Катыни перестреляли двенадцать тысяч, а вы, господин Жослен, мой дорогой коллега, приехали туда на собственном "бьюике". Отель вам — лучший! Денег у вас — полные карманы! Чеки у вас на рейхсбанк! Международная комиссия — турки, испанцы, итальянцы, шведы, швейцарцы! Геббельс перед вами прыгает, как мартышка, а те лежат в ямине — пуля в затылке, руки назад проволокой закручены, колотые раны в спине, потому что подгоняли их штыками: "Скорее, скорее — некогда!" Значит, что ж? Им смерть, а вам золото. — Он вдруг хохотнул. — А та-то в черном платье... Ну, жена расстрелянного... Ну, польского майора... ну, как же ее? Вы всё ее хвалили — мы же тогда еще были коллегами. — Он заржал. — Ага! Гуманист!

— К чему вы это? — поморщился Жослен.

— А к тому, что правильно, умно сделали. Не зевай! Помни счастье, вам не хватит... Если тебе хорошо, значит, другому непременно плохо и кого-то ты обездолил — именно ты. Вот у меня интересная жена: если меня убьют, так она пойдет к другому. Вот другой и ждет не дождется, потому что мне — гроб, а ему — кровать! Так?

Жослен молча походил по купе, а потом остановился перед столиком и осторожно спросил:

— Раз уж вы в таком разоблачительном настроении, так не можете ли вы мне ответить на один вопрос — не для печати, конечно, этого ни одна газетная бумага не выдержит.

Рудольф налил себе еще стаканчик и поднял его, рассматривая на свет.

— Ну, ну, вы без этих предисловий. Если могу и знаю, то скажу, — ответил он спокойно.

Жослен помолчал, а потом заговорил осторожно, выбирая слова:

— Вот вы очень образно говорили о сорняках: в огонь, мол, их. Скажите, как это следует понимать, буквально, что ли?

— Это зачем? — нахмурился Рудольф. — Что, у нас много свободных рук? Есть безработные? Нет, пусть работают, а там увидим. — Он посмотрел на Жослена и загорелся. — Вот где гнездится дефатизмус! В таких вопросах! Как вам хочется, чтоб мы все взбесились и перешлепали друг друга! Нет, господа хорошие, как ни странно и ни смешно, а фюрер с ума еще не сошел. Да, не сошел и этого не делает! — и он стукнул по столу кулаком и пролил ром.

Я, признаться, испугался — вдруг эта скотина опять что-то почует и начнет присматриваться, но Жослен просто спросил:

— А что если сошел и давно это делает? Нет, нет, демагогия меня не интересует. Тогда давайте просто прекратим разговор. А вот можете вы хоть раз задать этот вопрос самому себе?

С минуту они молча смотрели друг на друга, и гестаповец вдруг быстро отвел глаза.

— Вас с такими-то разговорами... — пробормотал он злобно, взял бутылку и разлил остаток рома. У него слегка побледнело лицо, но у пальцев была мертвая, неподвижная хватка.

— Пейте все! — приказал он.

Мы выпили — я так и понял: это тост за упокой?

Рудольф встал и, пошатываясь, шагнул к дверям...

— Железная дева родила мышонка, — повторил он. — Вот вы — мыши. Уже бежите с корабля. А мне бежать некуда: я с ними погибну. — Он огляделся, что-то ища.

— Вы так и пришли, — сказал Жослен.

— Да? — Он постоял, пошатался. — Кажется, станция, пойду прогуляюсь, а то что-то голова... Извините, господа, если чего-нибудь... — И он вышел.

Мы помолчали.

— Ну, как вам? — спросил Жослен.

— Гадина! — ответил я. — Вот этот, наверно, погулял на востоке.

— Этот погулял! — согласился Жослен.

— И знаете, он действительно будет биться до последней пули.

— Вот этот-то? — удивился Жослен. — Да нет же! Он только не знает, примут англичане его или нет, а и сейчас уж готов перебежать к ним. Слышите, он уже говорит на их эсперанто. Нет, прав его преподобие — все пошло прахом, гора родила мышь. — Он постоял, подумал. — Но и дело его преподобия тоже, кажется, проиграно. Больших теологических истин из этой войны не извлечешь. Да и вообще, дело человечества, кажется, безнадежно. Дьявол таки выиграл свой иск. В конце концов кто-нибудь поумнее да позлее продырявит земной шар, вставит в магму фитиль и... — Он махнул рукой. — Или снимут черти с неба паяльную лампу тысяч на сорок градусов, да и обдадут весь шарик пламенем. Вот и будет ладно! Хорошо еще, что я трус и верю в кое-что за пределами атомной решетки, а то что бы мне еще осталось».

* * *

Через десять дней они прощались в старинном немецком городке на французской границе.

Жослен печально сказал:

— Ну, теперь я ничего не узнаю о вас до конца войны.

— Если меня к тому времени не убьют! — заметил Николай.

— Да, если вас не убьют, — повторил Жослен, смотря на него, — но почему-то я уверен, что все будет хорошо.

Николай улыбнулся.

— Уверен! Это такое великое слово, что перед ним падает все. Пока ты жив, конечно. Перед смертью и оно ничто!

— А знаете, я завидую вам, — продолжал Жослен. — У вас есть куда идти и к кому идти? Вот пройдет несколько месяцев, война кончится, — я ведь в это NW нисколько не верю, ибо знаю: у бедного Августина нет уже ни денег, ни девочек, — так вот, кончится война, вы напишете замечательную книгу, и ее переведут на все языки мира. А я... и война кончится, а что я могу рассказать? О встрече с вами да о том разговоре. — Он подумал. — Но мы с вами обязательно встретимся. Что, вы не верите в это?

Николай пожал плечами.

— Вполне вероятно!

— Но если все-таки нет, что прикажете написать вашей очаровательной супруге?

Николай молчал.

— Как это у вас называется — «смертник», что ли? («Смертник» он сказал по-русски.) Ну то, что бойцы надевают на шею перед боем? Так вот, я хочу быть вашим «смертником», если позволите.

В дверь постучали, и вошел тот, кого они оба ждали, худенький господин с усами-пиками кверху. Одет он был в очень приличный, но старомодный костюм. На указательном пальце даже блестело какое-то кольцо.

— Здравствуйте, господа! — сказал он. — На дворе дождь и туман — из всех ночей ночь! Так что, готово все? Через час вас ждут!

— Да, да, — спокойно сказал Николай, — через десять минут я иду. Я любым путем найду вас, — обратился он к Жослену, — а сейчас разрешите-ка мне ваш блокнот. Не

новый, а старый, чтоб осталась только одна свободная страничка.

Маленький господин протянул Николаю темную сухую ладошку.

— Прощайте! Если пройдет все благополучно, мы встретимся в конце недели. — Он задержал руку Николая. — Не бойтесь! Все будет хорошо! За последнее время они здорово опустили уши, да и ночь такая! Всего хорошего!

Он ушел, и Жослен протянул Николаю блокнот.

— Пишите!

Глава 8

. . . .

Николай кончил писать и положил блокнот на стол.

— Пожалуйста: запись легенды о Змее Горыныче. Это наш дракон. Запись сделана для вас одним из пленных — немцы ничего не разберут: они не знают былин!

Жослен, не глядя, сунул блокнот в портфель.

— Я перешлю это в Москву во всех случаях.

Николай взялся за шляпу.

— Давайте простимся! Я еще похожу по улицам, чтоб не идти прямо от вас. Ну... — Они обнялись и поцеловались три раза. — Вот что скажите Нине: если я не вернусь через год после конца войны — пусть выходит замуж. — Жослен хотел что-то сказать. — Стойте! Пусть выходит, и только прошу об одном: не за кого-нибудь из моих друзей. Слышите, Жослен? Я в гробу перевернусь от этого. Вот мне приснилось, что она вышла замуж за Сергея, это мой друг, и я до сих пор вскакиваю по ночам. Так за совсем, совсем чужого — ладно? Скажете?

— Слушайте, ну к чему это? — проговорил Жослен, мучаясь. — Вы же вернетесь к ней!

— Правильно, я вернусь. Будем так думать. Но если нет? Вы же мой «смертник». — Он вздохнул. — У меня

неприятные предчувствия. Я же убил этого Габбе. А вы слышали, что о нем говорил ваш приятель, они его ловили — кто ж он такой? Кто его хозяева? Как они встретят его убийцу?

С минуту они молча смотрели друг на друга, и вдруг Жослен махнул рукой.

— А что тут думать! Во время войны и не то бывает. Главное, возвращайтесь, чтоб я мог выбросить былину о Горыныче в печку.

* * *

Прошел год. Война была окончена, и вот однажды в ту палату больницы города Гренобль, где лежали раненые бойцы фронта Сопротивления, вошел в сопровождении колонеля[1] толстый румяный мужчина. Он был в штатском, но под халатом на лацкане сиреневого пиджака блестели полоски всех цветов. Они прямо прошли в одну из палат и поздоровались с больным.

— Здравствуйте, господин Семенов, — сказал штатский по-французски.

Худой человек встал, опираясь на постель, и хотел сесть, но рука подломилась, и он упал на бок.

— Что это с ним? — спросил штатский вполголоса у колонеля.

— Я же говорил вам: тяжелая контузия, — ответил так же тихо колонель, — бросил гранату под самый...

— Да, да! Помню! Лежите, лежите, Семенов. — Он приблизил глаза к дощечке с фамилией, покачал головой и усмехнулся: — «Габбе»! Да, но по-настоящему вы советский журналист Николай Семенович Семенов, так ведь?

— Так точно, — ответил больной и снова попытался встать.

---

[1] Полковник в бельгийской и французской армиях. — *Примеч. автора.*

— Лежите, я вас прошу! — Штатский не отрываясь смотрел ему в лицо. — И он же — вот читаю дощечку — Карл Готфрид Габбе. Так? Под этой фамилией вы участвовали в движении Сопротивления.

— Так точно.

— Кстати сказать, это тоже не совсем понятно, почему вы не сменили фамилию. А по-французски вы говорите очень бегло.

— Я и раньше...

— Знали и раньше по-французски? — любезно улыбнулся штатский. — Ладно, не в этом, в конце концов, дело. Но вы очень изменились, товарищ Семенов.

— Наверно, — слабо улыбнулся тот. — Я долго был без памяти.

— Похудели, помолодели — я вот вас даже не сразу и узнал, а ведь мы встречались и даже разговаривали. Помните?

— Да, да, — проговорил Николай, напряженно всматриваясь, — да, да, я вас где-то видел.

— Ну, вспоминайте, вспоминайте, товарищ Семенов, где и как мы встречались?

Больной из глубины кровати беспомощно смотрел на посетителя. Колонель наклонился к штатскому и что-то ему шепнул.

— Ну, ладно, не буду вас больше беспокоить — вам, верно, трудно напрягаться, — сказал штатский. — Поговорим потом!

И вдруг больной воскликнул.

— Это... вы?

— Ага, все-таки? Да, это я, Семенов. Я! Я! Я! Я приходил к вам в клинику и угощал вес папиросами «Кэмел», но вы сказали, что не курите. Кстати, это, оказалось, тоже неправда. Ладно, так где же настоящий-то Габбе?

Николай лег опять и закрыл глаза.

— Габбе застрелен мной десятого июля в заповеднике, господин майор.

— Мы так и думали! — вздохнул штатский. — Но, значит, вы и не отрицаете, что убили офицера английской разведки?

— Я убил эсэсовца, майор.

— ...и воспользовались его документами! Вы — советский журналист! Это вы признаёте? Так вам было легче работать среди наших людей.

— Что вы хотите сказать? — устало спросил Николай.

— Что я хочу сказать-то? Я вот что хочу сказать... — Тут колонель наклонился и что-то опять шепнул майору.

— Ладно, подчиняюсь медицине, — встал тот со стула. — Какая у него температура?

— Тридцать восемь и четыре, — ответил колонель, снимая табличку с температурной кривой.

— Многовато для утра. — Майор наклонился над кроватью.

— Да! Да! Он был наш сотрудник — давал нам ценнейшие материалы о заговоре двадцатого июля. И вот вы его убили, и мы остались в полной темноте. Конечно, я понимаю вас и ваших хозяев! Вы боялись после смерти Гитлера сепаратного мира — это ясно!

— Что вы за чепуху говорите! — слабо поморщился больной.

— А вам не так легко будет доказать, что это чепуха, — тонко улыбнулся майор. — Припомните, что вы одиннадцать месяцев гуляли под фамилией убитого. Вы встречались с людьми, вы получали от них сведения — как бы это расценивалось у вас на родине?

— Слушайте! — быстро встал Николай.

Майор махнул рукой.

— Нет, нет, сейчас я ничего не хочу слушать. Вы сначала поправляйтесь и набирайтесь сил — тогда и будем говорить! Так! С этим покончено. До свиданья, Николай

Семенович. — Эти слова майор выговорил по-русски. — Теперь я попрошу проводить меня... — И они с колонелем вышли.

Два человека в глухой военной форме стояли в конце коридора и ждали.

— Сейчас ничего! — сказал им майор. — Вы свободны, господа.

Через неделю Николай начал вставать с постели и ходить.

Через две его арестовали англичане.

Часть II

Глава 1

1

«В Бремберге в каторжной тюрьме содержится участник фронта Сопротивления, Ваш гражданин — журналист Семенов.

Его взяли прямо из больничной палаты. Дело вел майор Хобард. Почему вы молчите?

Профессор теологии и истории философии
Парижского университета,
кавалер ордена Почетного легиона
Густав Лафортюн
Мой адрес ...»

2

«Полномочный представитель Советского Союза во Франции просит зайти его преподобие в любые часы или назначить время, в которое его преподобие сможет принять одного из секретарей посольства для уточнения затронутого им вопроса.

Полномочный представитель СССР во Франции
(подпись)».

3

«Министру иностранных дел Франции

МИД СССР обращается к Вашему Превосходительству с просьбой сообщить: известно что-либо министерству о судьбе капитана танковых войск журналиста Ник. Сем. Семенова? По нашим сведениям, он участвовал в борьбе фронта внутреннего сопротивления в Нормандии (осень 1944 года и позже) в горах Ардена. В последних числах апреля Семенов был тяжело ранен и контужен взрывом гранаты и в бессознательном состоянии доставлен в один из госпиталей. Дальнейшая судьба его неясна.

По некоторым сведениям, в партизанском отряде Семенов был известен под именем Габбе. Ему было около сорока лет, он был блондин, высокого роста (188) с объемом груди 48, с серыми, очень светлыми глазами. Прилагаем последнюю фотографию и листок установочных данных.

Пользуюсь случаем засвидетельствовать Вашему Превосходительству глубокое почтение и заранее поблагодарить за все, что Ваше Превосходительство сочтет возможным предпринять для выполнения нашей просьбы».

4

«На запрос Вашего Превосходительства МИД Франции имеет честь ответить следующее:

По наведенным министерством справкам, некто, принявший имя Габбе, действительно принимал участие в сентябре 1944 года в боевых операциях партизанских соединений в районе г. Арраса. Он был иностранцем, советским подданным и местом своего рождения и жительства называл Москву. Профессия его неизвестна. Являлось ли это лицо разыскиваемым Вами капитаном танковых войск журналистом Ник. Семен. Семеновым или нет, точно установить не удалось. Габбе был действи-

тельно блондином со светлыми глазами, но приложенную фотографию напоминал мало. Он был ниже или во всяком случае сутулее г-на Семенова. Ранили Габбе в конце войны, и он лежал в одном из госпиталей, но где помещался этот госпиталь и чем кончилось ранение г-на Габбе, установить не удалось. Соответствующие розыски продолжаются».

5

«Министру юстиции Британии

МИД СССР располагает сведениями, что в тюрьме г. Бремберга в одиночном заключении с 1946 года содержится известный советский журналист, капитан танковых войск, участник боев за освобождение Франции Николай Семенович Семенов. Он осужден к 15 годам каторжной тюрьмы якобы за убийство английского офицера и использование его документов. Этот жестокий и явно надуманный приговор вынесен без какого-либо основания, с нарушением всех норм ныне действующего в Британии законодательства.

Семенову было отказано в свидании с консулом, его письма, прошедшие тюремную и следственную цензуру, не были доставлены адресатам, ссылаясь на тайну следствия, суд закрыл двери и не вызвал просимых обвиняемым с территории ГДР и из Франции свидетелей. Все это явно доказывает, что ни у суда, ни у следствия не было основания задержать, судить и приговорить к каторжной тюрьме капитана Семенова, советского гражданина, героически боровшегося за свободу Европы.

Основываясь на сказанном, МИД от имени Советского Правительства заявляет строгий протест против действий Генеральной прокуратуры и военного суда, грубо нарушившего законность и нормы международного права, и требует немедленного освобождения своего гражданина».

6

«МИД СССР напоминает о памятной записке Советского Правительства, поданной через посла в Лондоне, об аресте капитана Семенова. Советское Правительство не может признать основательными устные объяснения посла Великобритании в Москве и напоминает о том, что капитан Семенов уже восьмой год содержится в одиночке каторжной тюрьмы в г. Бремберге. Советское Правительство настаивает на свидании с капитаном Семеновым одного из сотрудников посольства и ожидает приказа об его освобождении».

Резолюция министра иностранных дел:

«А дело действительно грязное. Я полагал бы, надо освободить. Может быть, по состоянию здоровья?»

7

«МИД Британии рад сообщить вам, что министр юстиции счел возможным амнистировать советского гражданина капитана Семенова как потерявшего способность к дальнейшему несению наказания.

Г-н Семенов будет доставлен на самолете в Советский сектор Берлина и передан комендатуре».

Глава 2

Два месяца Григорий возился с черепками греческих чернофигурных ваз. Сначала он занял сразу два стола в кухне, потом завалил себе письменный стол и слез писать на тумбочку, потом Нина пришла из театра и видит, что и тумбочка уже занята какой-то дрянью, а Григорий приспособился писать на ящике из-под крымских яблок, что она прислала ему в прошлый год с гастролей: покрыл ящик листом зеленого картона, поставил пузырек (чернильный прибор занял бы слишком много места) и сидит пишет. Нина говорить ему нечего не стала, но взяла и перенесла ящик к себе в комнату, накрыла покрывалом и по-

ставила на место туалетного столика, а туалетный столик перенесла ему в кабинет. «На, пиши!» Вечером было растроганное объяснение, и Григорий начал с того, что она не только мать его Петушка, но и...

— Ладно, — мягко оборвала его Нина. Николай отучил ее от всяких излияний. — Ты только дальше-то не расползайся.

Но Григорий все полз и полз. Он занял и этот столик, и опять стало негде писать, и шкаф с книгами, и все подоконники, где раньше стояли только кадочки и горшочки с зеленью, и наконец однажды за обедом — и как раз выбрал же подходящий день! — воровски погладил ее по руке и запнулся.

— Ниночка, родная, ведь все равно одна сторона стола свободна, что если...

— Хорошенькое дело! — воскликнула Нина скандализированно. — А придут гости, Лена с Сергеем, или Шура, или еще кто-нибудь из твоих...

— Так ведь на неделю, Ниночка! — воскликнул он, глядя на нее молящими глазами. — Даже меньше, дней на пять.

— А Петушок их разбросает?

— Нет, нет, Ниночка! Я ему скажу.

— Да, ты уж ему скажешь! — сердито рассмеялась она. — Ладно! Раскладывайся! Но, слушай, когда же это все-таки кончится? Уже два месяца, и чем дальше, тем их больше, и у тебя что-то ничего, я смотрю, не двигается! Дядька к тебе какой-то ходит в усах...

— Ах, какой же замечательный старик, — сразу засветился Григорий, — главный инженер керамического института — мы с ним проводим интереснейшие работы. Ты знаешь, Ниночка, чернофигурная ваза — одна из величайших тайн истории.

Она усмехнулась: глупый ты мой! Все-то у тебя величайшее — культура, черепки, бронзовые пряжки!

Он схватил со стола несколько черепков.

— Смотри, какой ровный черный, насыщенный цвет! И он блестит, а ведь черепку две тысячи лет! Две тысячи! И сколько столетий он лежал под водой!

— Да, краска изумительная, — скучно проговорила Нина. Ее сегодня мутило, а он ничего не понимал.

— Вот мы и хотим проникнуть в тайну ее состава, понимаешь?

— Понимаю, дорогой, а руки опять в кислоте! Слушай, почему вы от меня прячетесь? Вот даже чай пьете в кабинете — нехорошо, милый, — у тебя есть молодая жена, у молодой жены есть хороший самовар.

— Да он такой стеснительный, Ниночка, прямо не знаю, что мне с ним... — смутился Григорий. — Видел тебя на экране, и вот...

Нина зло засмеялась. Что с ней делается? Почему ей так нравится растравлять свои раны? Вот она сейчас подумала — нет, *мой* Николай никогда бы не сказал так, — он всех своих гостей без церемоний волок к ней! Вот такой-то, прошу любить и жаловать — знакомься! И она знакомилась с великими, малыми, талантливыми и бездарными, умными и глупыми — и ей со всеми было интересно. Ведь Николай был между ними третий, а ну-ка, найди лучшего собеседника.

— Так я очень прошу, — сказала она мягко и серьезно, — я хозяйка, не ставь меня в глупое положение, Гриша, поработали, а чай пить — ко мне!

— Нина! — вдруг вдохновенно воскликнул он. — Что я тебе скажу: мы накануне разгадки!

— Да? — спросила она.

— Смотри! — Он схватил какой-то черепок и сунул ей чуть не в лицо. — Видишь, у нимфы голова черная, а туловище и хвост бурые — это потому, что обжиг был неравномерный! Понимаешь, что это значит?

— Нет, милый!

— Значит, краска вообще была бурая, а чернела только на огне. — Он смотрел в лицо Нины, и у него от вос-

торга даже дыханье перехватывало. — И мы решили: пожалуй, это сок какого-то растения — вот молоко каучуконосов тоже... — И пошел рассказывать.

Она сидела, слушала, и ей было не то что горько или досадно — нет, она просто думала: вот это и называется счастьем! И правильно, это счастье. У нас крепкая взаимность — я его уважаю и дорожу им, он от меня без памяти, но боже мой, как же я хоть на секунду могла подумать, что он похож на Николая! Ничего общего. Только в пору любви этот раскрылся таким ослепительным соцветием, что стал походить на того. Да нет, и не походил он — это просто я его тянула к тому. А вот прошло пять лет, я присмотрелась и вижу — это же не любовь — это брат мой, которого мне не хватало всю жизнь! Тот! Тот налетит, залепит глаза, собьет с ног — и ты целый день ходишь сама не своя — все щупаешь голову — цела ли? А тут все спокойно и законно — никаких случайностей, никакой ревности — одни тихие радости. О боже мой!

Она вскочила с места. Григорий тоже поднялся и обнял ее за талию.

— Милая моя, — шепнул он ей, — я вчера зашел на репетицию и видел сцену из «Чужого ребенка». Радость моя, ты такая прелесть, такая умница!

Ее передернуло! Да что такое! Почему всегда зацепляешься за больное место.

Он теперь все хвалит, запой она завтра в «Цыганском бароне» — и он скажет: «Милая, какое у тебя чудесное сопрано». Нет! Николай держал ее «в ежах». Он ей ничего не спускал! Она его боялась. Он бы ей показал «Чужого ребенка»!

— Гриша, — сказала она виновато, — я что-то сегодня хандрю! Ну не в настроении я что-то, понимаешь?

Он сразу же отпустил ее и встревожился.

— В театре?..

Она смотрела на него. Один черепок, тот самый, где хвост у нимфы бурый, а голова черная, он еще держал

в руке, другой лежал на столе. У него было встревоженное лицо, но он еще не все улавливал, – и вдруг у Нины пропала всякая жалость к нему. И почему она должна его жалеть? Ее-то никто не жалеет! И правильно, кто смеет жалеть счастливую женщину! – а она, конечно, счастлива – ребенок, семья, муж, любимая работа, что же еще! А вы точно знаете, что она счастлива? Как вы проверяли ее счастье? На каких весах вы его взвесили? Чужую беду – руками разведу, вот так разве, господа хорошие!

– Гриша, мне иногда бывает очень трудно, – сказала она медленно, смотря ему прямо в глаза, – и я знаю отчего.

Он сразу же все понял и осел.

– Опять тот? – спросил он подавленно.

Она кивнула головой.

– Странная любовь у тебя к нему, – убито и покорно вздохнул он и осторожно положил нимфу на стол.

– Любовь?! – спросила Нина, вдумываясь в это страшное слово. – Нет, даже и не любовь. Я уж не люблю его, я уже просто болею им – и сейчас у меня приступ. Гриша, милый, уйди скорее. Сейчас он накатит, и я опять буду кусать руки.

* * *

Он ушел.

Она заперла дверь и забралась на кушетку с ногами. Святая простота – поверил, что накатило. Нет, не так было дело. Вот что произошло сегодня утром.

Она уж разгримировалась после генеральной, как вдруг ей позвонил директор.

– Нина Николаевна, к вам сейчас будет можно?

– Да, конечно, – ответила она, – а я вам нужна?

– Тогда сейчас к вам зайдет товарищ из... ну, сейчас он зайдет к вам. – И директор повесил трубку.

И вот минуты через три, когда она уже сняла грим, вошел человек лет пятидесяти, с румянцем, прожилка-

ми на желтых полных щеках и с желтоватой же сединой.

Он был во френче, в крагах, желтых ботинках, весь кожаный, весь хрустел, и Нина сразу почувствовала, что это военный.

— Можно, Нина Николаевна? Не помешал? — спросил он, останавливаясь на пороге.

— Нет, — улыбнулась она просто и ласково и встала. — Садитесь, пожалуйста.

— Я у вас отниму только одну минуту, — сказал он и сел. — Нина Николаевна, что вам известно о судьбе Николая Семеновича Семенова?

У Нины даже дыханье пресеклось. Она смотрела на него почти в ужасе — так неожиданно упало на нее это имя.

— Это мой муж, — ответила она ошалело.

— Муж? Разве так? Ведь вы с ним не были зарегистрированы? Нет? — ласково пришел ей на помощь посетитель.

Она только покачала головой — говорить боялась: как бы не расплакаться.

— Ну, конечно, не регистрировались! А какие-нибудь сведения о его судьбе имеете?

Она ровно ответила:

— Муж мой пропал без вести на керченском направлении, так мне официально сообщили. — Она старалась говорить спокойно, а внутри у нее все дрожало в предчувствии какого-то огромного несчастья, глыбины, которая вот-вот свалится и расплющит ее, как муху. — А разве он... — и запнулась, потому что даже и подумать не могла, что же произойдет, если вдруг посетитель скажет: «Да нет же — он жив и придет к вам!»

Но тот ничего не сказал, а только спросил:

— Но сейчас у вас есть муж, семья и ребенок?

— Да! — ответила она.

Посетитель все смотрел на нее.

— И вы, конечно, не захотите ее разрушить, правда? — спросил он строго.

— А разве ее собираются разрушить? — спросила Нина.

— Семью? Разрушать вашу семью? — очень удивился посетитель. — Нет, Нина Николаевна, закон и Конституция охраняют счастье вашего малыша.

— Да, конечно! — твердо кивнула головой Нина.

— Если вы только сами этого не захотите, — понимаете, са-ми! — Посетитель поднял палец. — Никто не помешает вашему счастью.

— Да! — кивнула Нина.

— Даже, — выговорил посетитель, — если бы возвратился Семенов.

Нина встала.

— Отцом моего сына является мой муж, и никто другой им быть не может, — сказала она декларативно.

— Ну, конечно, советская семья — это твердыня. — Он тоже встал. — Я из отдела розыска Красного Креста, Нина Николаевна! Желаю здравствовать!

Он поклонился и вышел, а Нина оделась, заперла уборную, отдала ключ дежурной и пошла домой пешком. Она, конечно, поняла, что этот разговор неспроста, но зайти к директору не решилась. Знала, что это малодушие, но все равно не решилась и даже никому не рассказала об этом разговоре. Но вот начала говорить о другом и вдруг ни с того ни с сего набросилась на Григория. Несчастный еле-еле уполз к своим черепкам, но ей было уже не до него.

Пришла совесть, встала возле двери и потребовала, чтоб опять с ней разговаривали.

Глава 3

Так проходит ночь. Светлеют окна. Загремела посудой Даша. Зазвонил телефон, проснулся и закричал Петушок: «А мамочка?» Григорий что-то ответил ему. «Да

ну-у...» — заныл Петушок. Григорий что-то опять так же тихо сказал. «Того самого? что в магазине на окне? Ой, папоч-ка!» — ахнул Петушок.

Нина зло улыбнулась (подумать, какой змеей она становится!). Так, так, милый, учись откупаться и изворачиваться от сына, раз уж захотел иметь такую жену, ты знал, что берешь. Я тебя предупреждала — не связывайся, пожалеешь.

Она сидит с ногами на диване и курит. В комнате сине от дыма. Надо отсидеться, пока это не схлынет с нее. Сейчас каждая мелочь выводит из себя. Все болит. Нельзя показаться нормальным людям. Она может раскричаться в ответ на любой вопрос. Может сказать мужу: «Убирайся вон», может взять в руки Петушка и вдруг заплакать. Единственное, что не раздражает, это прошлое. Она сидит и перебирает его как старый семейный альбом. И вот опять все начинается с начала. Десять лет тому назад в театре — это было в Средней Азии — на капустнике Ленка дернула ее за руку.

— Ниночка, ну-ка посмотри сюда: видишь того, кто разговаривает с худруком? Знаешь, кто это?

Она еще тут никого не знала (только что приехала по путевке после окончания института) и поэтому только пожала плечами. Да и не любила она толстых румяных мужчин. А именно на такого плотного высокого блондина в военной гимнастерке с тугим поясом и показала ей Ленка. Если он выделялся, то только своей обыкновенностью. Кругом были все коверкот, вечерние платья, шепот и радуга шелков, даже костор (на музыкантах), а он стоял в хаки и что-то оживленно говорил худруку и Сергею и смеялся. И худрук тоже смеялся и согласно качал головой в такт его рассказам, потом подошли двое студийцев и о чем-то почтительно спросили блондина, тот быстро повернулся к ним и ответил так, что сразу прыснули все. Даже жена худрука, скромная, тонкая, очень красивая дама — талантливейшая испол-

нительница самых что ни на есть злодейских ролей — и та хохотнула в платочек.

— Так ты знаешь, кто это? — повторила Ленка и с шиком назвала фамилию Николая. — Что, неужели не слышала?

Нина пожала плечами — у Ленки все друзья и увлечения печатались с большой буквы, на то она и Ленка.

— Так слушай, — сказала Ленка, — он журналист, преподает в КИЖе. У него большая книга по истории русской журналистики. И видела: худрук листал сегодня — «Теория газетного очерка» — это его.

— Вот как!

— Да, так! Слушай дальше. Романтик и сорвиголова. Студенты в нем души не чают: хорошо читает — раз! Никогда никого не проваливает — два! С ребятами запанибрата — три! Идут к нему целыми толпами — ни одного такого вечера не выберешь, чтоб посидеть с ним спокойно. Обязательно за столом целый выводок и он посередине — и цып, цып, цып!

— И пьют с ним чай?

— Там всякое пьют. Но девчонок никогда не спаивает им чай с молоком и кофе — всё!

Нина засмеялась.

— А он мне начинает нравиться, чай с молоком. Это ловко! Ну, ну!

— Хороший охотник — все стены у него завешаны чучелами и рисунками зверей.

— Зверей?!

— А вот он живет рядом с тобой, приди посмотри — комната, как зоомагазин на Арбате: все там поет, чирикает, мяукает, лает, ревет, пищит, — повсюду клетки, банки, склянки, еще черт знает что — настоящий Дуров.

— Но, ты говоришь, он журналист?

— Журналист он отличный, трудоспособен как вол — жует, жует, черкает, черкает, опять пишет, и это над заметкой в тридцать строк. В газетных делах честен до

фанатизма. «Не согласен, не буду писать, не считаю нужным» — и ни за что не напишет, и это знаешь иногда по каким вопросам? Ого-го-го! Слышала я раз, как он по телефону ругался с редактором.

— Вот он какой! — сказала Нина.

— Прекрасный, преданный товарищ, и если женщина для него только товарищ — все! Умрет для нее! Но знай грань и не переходи.

— И товарищей, конечно, у него...

— Масса, и все плохие.

— Почему плохие?

— А причин много! Часто сам виноват! Резок, насмешлив, всех хочет мерить на свой аршин, никогда его не переспоришь, постоянно лезет на рожон, в одних вопросах уж слишком принципиален, в других ровно никаких принципов — готов водиться и возиться черт знает с кем! Зарабатывает много, а вечно без денег, потому что они летят у него — так! И еще одно — никто никогда не видел его расстроенным, вечно скалит зубы, — и в жизни его, как я понимаю, наверно, было столько всячинки! — Она махнула рукой. — Ладно, идем познакомлю.

— Нет, — сказала Нина, — не сейчас — мне все это надо переварить.

* * *

В антракте она подошла к Сергею.

— Сережа, угостите папироской.

Он протянул ей портсигар.

— Мужчина, дай закурить — как говорит Елена Александровна. О чем вы, кстати, с ней так горячо разговаривали?

— Да так, о всякой всячине.

— А-а! — Сергей поднес ей зажигалку.

— Спасибо! Сережа, кто такой Семенов?

Сергей захохотал.

— Ах, так вот в чем дело! Значит, говорите, наслушались всякой всячины. Нет, Ниночка, совсем не так, — он очень хороший, веселый, добрый человек. А имел бы право быть плохим, угрюмым и злым.

— Почему? Это уж интересно.

— А он и есть очень интересный человек, — продолжал Сергей, не отвечая на вопрос. — Вот вы попробуйте как-нибудь поговорить с ним и увидите, что ничего страшного нет — хороший парень, и всё.

— Страшного? — Нина с интересом посмотрела на Сергея. — А что ж в нем может быть страшное? Успех у женщин?

— А вы уж и этой пакости наслушались, — поморщился Сергей. — Ах, Елена Александровна, Елена Александровна, и хороший она человек, а... да ничего подобного! Вы же его видели? Ну, что это — Дон Жуан? Наоборот, надо быть девушкой, или уж очень неискушенной женщиной, или, наконец, наоборот, вроде Елены Александровны, с сумасшедшинкой, чтоб увлечься им. Что вы так на меня смотрите?

— Это новость! Разве Лена?..

Сергей махнул рукой.

— Да уж будьте уверены! Есть, есть, есть — отсюда и все, что вы слышали.

— Так что, если бы я познакомилась с вашим другом... — улыбнулась Нина.

— Вы? Да боже мой, вы такими станете друзьями! И знаете еще что? Если в кого влюбитесь, — к первому побежите к нему — и он будет переживать с вами вместе. А расспросите ли его о чем-нибудь, относящемся к его жизни, — вот он зальется.

— Такая она у него интересная?

— Ну, а у кого из нас, поколения десятых годов, она не интересная? Но черт знает, где он бывал, в качестве кого и что там видел. И я сначала тоже думал, что он много привирает, — представьте себе — нет! Ну раскрашивает

кое-что, кое-что прибавляет — без этого нельзя в рассказах, но врать — решительно не врет. Вот что за человек — ясно?

Нина засмеялась.

— Пока нет, Сережа.

— А вот познакомитесь, и все прояснится. Нет, в самом деле, мне очень хочется, чтоб вы познакомились и понравились друг другу.

— Да будет так, — сказала Нина. — Музыка! Пойдемте, — и сама положила ему руку не плечо.

* * *

Знакомство состоялось той же ночью в ресторане ее гостиницы.

Все сходилось одно к одному; вернувшись с капустника, она пошла к буфету, чтоб купить себе на ночь коробку «Казбека», и только что отошла от столика, как услышала, что ее зовут, — оглянулась и увидела: между столиками к ней пробирается Сергей, уже пьяный и веселый, а поодаль, под мочальной пальмой, сидят Елена и Николай. Оба смотрят на нее, а Ленка смеется и что-то быстро говорит Николаю.

— Идемте-ка, — безапелляционно сказал Сергей, ловя ее за руку, — буду вас знакомить.

— Но я вышла только на минуту, — жалобно посмотрела на него Нина.

— Идемте!

Они подошли к столу.

— Ну вот, — громко сказала Ленка, вставая, — знакомьтесь, Николай Семенович, это моя подруга по ГИТИСу, наша новая актриса. Была младше меня на два курса, а сейчас на ролях первых любовниц. В будущем, безусловно, народная и кинозвезда. А это, Ниночка...

Николай встал и подал ей руку.

— А мы уж много раз виделась с Ниной Николаевной.

— Как так? — спросила Нина, глядя на него во все глаза.

— А я же ваш сосед. Я живу рядом с тем номером, в котором все время пляшут и пьют.

— О-о! Это в каком же номере так весело? — вскинула на него глаза Ленка.

— А есть один такой номер, — улыбнулся Николай и взял бутылку, — ну и так как виночерпий я, разрешите обнести всех по кругу.

— Ой, мне не надо! — испугалась Нина — ей действительно не хотелось здесь долго оставаться. — Я ведь поднялась на минуточку, а то у меня столько работы!

— Не принимать! Не принимать! — строго сказала Ленка. — Не принимать от нее никаких резонов, Николай! Лейте ей. Не бойся, дурочка, это яблочная двенадцатиградусная — ну, чокнемся — за твою роль! До дна, до дна, — ну, вот и все, а ты, глупая, боялась! Так кто же у вас там поет и пляшет?

— А что там! Ну, пьяные какие-то, — недовольно ответила она. Ее, конечно, страшно раздражал тот кабак, что уже неделю бушевал, пил, пел и плакал за стеной, но стоило ли об этом разговаривать! — Конечно, товарищи позволяют себе кое-что лишнее.

— Беру половину вины на себя, — сказал Николай. — Все будет в порядке, Нина Николаевна, не журитесь! Ладно, нашли тему для разговора! За какую же роль вы сейчас пили?

— А вот, — гордо посмотрела на него Ленка, — сегодня в коридоре уже вывешен приказ. Нельский ставит Отелло. Нина играет Дездемóну.

— Station Дездéмону, — поправил Николай. — Дездéмона — это дословно «Из демона», а Дездемóна не имеет никакого смысла.

— Как это не имеет? — обиделась Ленка. — «Молилась ли ты на ночь, Дездемóна», — попробуйте прочитать Дездéмона.

— Ах вот кто у вас! — улыбнулся Николай. — Старичок Вейнберг. Вы с ним зря связались — он вам наделает дел. Нет, у Пастернака правильно:

Когда случилось петь Дездемоне, —
А жить так мало оставалось, —
Не о любви, своей звезде, она —
По иве, иве разрыдалась.

— Ч-черт, память! — восхитился Сергей и тут же спохватился. — Ну, товарищи, Шекспир Шекспиром, а пить надо. Николай, ухаживай за Ниной Николаевной.

Нина быстро закрыла стакан ладонью.

— Нет, вполне серьезно, я...

— А ну давайте-ка, я поухаживаю за ней, — энергично сказала Ленка, протянулась за стол и налила ее стакан доверху. — Пей, несчастная! Я тебя научу пить!

Николай подумал и спросил:

— «Зачем мы к вам пришли? Мы вас научим пить». Кто и кому это говорит?

— Гамлет Горацио, в первом акте, — тоном первой ученицы ответила Нина и чокнулась с ним.

— Нет, верно? — быстро и восторженно обернулась Ленка. Николай кивнул головой. — Молодец, Ниночка, — два ноль в твою пользу. Ведь теперь он около тебя попрыгает. Знаешь, как он ко всем ревнует Шекспира?

— Стой, Леночка, — недовольно сказала она и машинально отпила от стакана. — Вы сказали: Дездемона из Демона. Слушайте, никакой демоничности в Дездемоне нет, наоборот, это очень простая и ясная душа. Я ее...

— Ну, пошло, — махнула рукой Ленка. — Нинка, замолчи сейчас же. Я уже вижу, к чему это идет.

— Николай, а ну-ка заведи что-нибудь о женщинах Шекспира — вот будет весело, — кольнул Сергей. — Нина Николаевна, вы и не знаете, какого зверя вы будите.

Николай усмехнулся:

— У Шекспира только две женщины, Сережа, — блондинка и брюнетка; вот: Нина Николаевна и Елена Александровна.

— Ин-те-ресно, — оторопела Ленка. — Что же из себя представляю я, брюнетка?

— Вы быстры на любые решения, и добрые и злые, — Николай взглянул ей в глаза, — к жизни относитесь иронически, склонны к интригам, несдержанны в чувствах, не умеете в жизни потесниться, носите маску. Не одну, а много. В юности вы Джульетта, в зрелости Клеопатра, а под старость станете леди Макбет. Шекспир много перенес от такой женщины. Слушайте! — и он прочел:

Откуда столько силы ты берешь,
Чтоб властвовать в бессилье надо мной?
Я собственным глазам внушаю ложь,
Клянусь им, что не светел свет дневной...
Какой заслугой я горжусь своей,
Чтобы считать позором униженье?
Твой грех мне добродетели милей.
Мой приговор — твоих ресниц движенье...

Он слегка ударил кулаком по столу и жестко закончил:

В своем несчастье одному я рад,
Что ты — мой грех и ты — мой вечный ад!

— Та-а-к! — сказала Ленка, насильственно улыбаясь. — Это я такая грешница? Правильно! Ну, а Нина кто?

Тогда Николай сказал:

— Она наивна в любви и дружбе, всегда готова из-за них на любые жертвы, на жизнь смотрит героически. Любит один раз и навсегда. Погибнет ее любовь — погибнет и она. Любовь у нее всегда подвиг.

Николай говорил это, уже смотря в лицо Нины. За столиком наступила тишина. Сергей нахмурился и стал мять конец папиросы.

— Ну, Николай... — сказал он, косясь на пылающее лицо Нины.

— Это все про Нинку? — иронически спросила Ленка. — Это она героический характер?!

— Зачем же она? — спокойно ответил Николай. — Про присутствующих не говорят. Нет, это Дездемона, Офелия, Корделия — та белая женщина Шекспира, которую только собирается играть Нина Николаевна.

Подошел официант, наклонился к Николаю и что-то шепнул на ухо.

— Ага! — Николай быстро встал. — Ну, извините, товарищи, я пошел. У меня деловое свидание.

— Нет, нет, — крикнула Ленка, — ведите, ведите сюда вашу даму. Это Нюра! Ведите ее сюда!

— Это не Нюра, — сухо ответил Николай, — ее зовут Таиса Григорьевна. Мы ждем вызова из редакции и поэтому...

— А-а! — что-то понял Сергей. — Так это та, что... Ну, Коля, тогда и пойдете, когда позвонят, а сейчас верно, веди ее сюда, я, кстати, познакомлюсь.

— Ведите, ведите, — закричала Ленка, — что вы ее прячете! — и приказала официанту: — Прибор и бутылку карданахи.

Таиса Григорьевна оказалась красивой полной блондинкой лет двадцати трех. У нее были чудесные голубые медленные глаза, круглые зубы один к одному, такие, что только бы улыбаться, и такой румянец играл на ее лице, покрытом нежнейшим, как на персике, пушком, что Ленка сразу же заерзала на стуле, а взгляд ее стал беспокойным и ласковым. Она всегда заигрывала с той, которой потом собиралась вцепиться в горло.

— Так вот, прошу любить и жаловать, — представил Николай свою знакомую, — моя прошлогодняя спутница по горам и долам, когда я был... — и он назвал имя одного среднеазиатского курорта.

— Так будем же знакомы, — ласково сказала Ленка и протянула ей стакан. — Вам нагонять. Мы уже на третьем.

— Но мне завтра рано вставать, — извиняясь, улыбнулась Таиса — она была и вся мягкая, теплая, улыбающаяся, ласковая, как кошка, — у нас со станции...

— Ах, вы со станции! — облегченно воскликнула Ленка, глядя на Таису глазами кобры.

Сергея передернуло.

— Таиса Григорьевна главный художник керамической станции, — сухо сказал он. — Сейчас они выпускают юбилейную серию к двадцатилетию Республики. Наша газета дает об этом полосу.

— А составляю ее я! — досказал Николай и протянул через стол стакан Таисы. — Леночка, налейте-ка! Немного все-таки выпьем, — объяснил он Таисе, — а то будем чувствовать себя за столом неудобно.

— Но вы же знаете, Николай Семенович, как я пью, — сказала Таиса, неотрывно смотря на него.

Николай вдруг чему-то громко засмеялся.

— Товарищи, а если бы вы знали, на каком курорте мы встретились с Таисой, — горы, леса, оркестр, одних фонтанов штук шестнадцать, а вечером танцы, танцы. — Он сделал кудрявое округлое движение руками. — Таиса учила меня, да неудачно.

— Да нет, — запротестовала Таиса, — вы сделали...

— Ша, Таиса! Ничего я не сделал — оказался полнейшей бездарностью. А с утра до ночи — парочки, парочки, парочки. На скамейках парочки, в кустах парочки, под кустом, на горе, под горой, в гамаках, еще черт знает где — всё парочки. Отбой в двенадцать, в кроватях половины нет — сестры бегают, ловят: «Отдыхающие, отдыхающие...» Ищи ветра в поле! Однажды был со мной такой случай... — Он что-то осекся и нерешительно поглядел на Таису.

— Ну, ну! — крикнула Ленка, перехватив на лету его взгляд. — Рассказывайте, рассказывайте!

Николай открыл было рот, но посмотрел на Нину и осекся.

Нина не пила, она сидела и смотрела на Николая и Таису. Таиса была на редкость здоровой девушкой. Это о таких говорят — широкая кость, пышет здоровьем, румянец во всю щеку, кровь с молоком. Она смеялась, и у нее на щеках появлялись ямочки. Пока Николай говорил, она преданно и молчаливо улыбалась; он брал ее руку и целовал на сгибе — она смотрела на него голубыми-голубыми глазами и, видимо, не соображала, что о ней могут подумать и сказать другие, совсем незнакомые и недоброжелательно настроенные женщины. Пусть она влюблена и поэтому не соображает, как это все неприлично, но он-то что думает!

— А ну-ка расскажи про медведя, — вдруг засмеялся Сергей. — Это ведь там было? Расскажи, расскажи — пусть посмеются.

И как он только сказал это, Таиса фыркнула и со счастливым ожиданием уставилась на Николая, а он посмотрел на нее и добродушно начал:

— А с медведем было вот как: подходит однажды утром ко мне Таиса, глаза вот такие и... — и вдруг осекся.

Мимо их столика прошли трое — двое мужчин и одна девушка или женщина, худая, стройная, с осиной талией и высоко поднятыми крутыми плечами.

Оба мужчины шли нетрезвыми ногами, и один хватал другого за руки и говорил: «Ты не веришь? Нет? Ты не веришь?» — а другой грубо отмахивался и обрезал его: «Ну что за охота врать! Все же знают! Вот Лидочка...» Но Лидочка шла вперед гордая, спокойная и ничего не отвечала. Они прошли к самому оркестру и сели за приготовленный им столик.

— Видели? — спросил Николай. — Хороши?

— Кто такие? — удивилась Нина.

— Да те бухгалтера, что приехали с отчетом. — Она не поняла. — Ну, наши с вами соседи, а вот эту штучку вижу впервые! — Он что-то подумал и махнул рукой. — Ладно! Посмотрим еще сегодня!

— Ну, ну, — потянулась к нему Ленка. — Э-э, да плюньте вы на этих пьяных — приходит к вам Таиса Григорьевна — глаза у нее такие и...

— И спрашивает: «Слышали, у нас появился...»

В это время опять подошел официант и сказал:

— Вас к телефону.

Николай быстро встал.

— Пошли! Таиса, рисунки у вас с собой? И та ваза тоже?

— Нет, вазу я не взяла, ведь у нас...

— Ай, зря, — покачал головой Николай. — Я же вам обещал, что будет. Сегодня же пойду и достану... пошли.

* * *

Да, именно, все сходилось одно к одному в этот памятный для нее вечер. После того как Николай и Таиса ушли (только-только они отошли от столика, Таиса взяла Николая за руку и что-то быстро заговорила, наклоняясь к нему и блестя глазами), Ленка затуманилась и сказала:

— Бедная толстая девочка.

— Почему же обязательно бедная? — нахмурился Сергей.

Ленка поглядела на него печальными блудящими глазами и кротко сказала:

— Знаете, Сережа, давайте уже не будем. Ниночка, милая, передай мне виноград.

Так посидели еще с час, посмотрели на то, что проделывает за соседним столиком пьяная компания бухгалтеров; один высокий, черный, с длинным лицом, похожий на перса, пытался завертеть на пальце тарелку, а другой, толстый и большеголовый, вырывал ее и укоризненно говорил: «Ну, дай-ка, ну дай-ка сюда, я тебе говорю, ты ведь пьяный, ты только разобьешь! Смотри, как нужно!» Но у него тоже ничего не получалось, и в конце концов тарелку они все-таки раскололи. А стер-

вочка с осиной талией смотрела на них и остерегала стеклянным голосом: «Товарищи! Товарищи!»

Потом заиграл вальс и Сергей увел Ленку, а к Нине подлетел какой-то щупленький человек с бакенбардами и церемонно пригласил ее на тур вальса, она пошла; не в ее правилах было отказываться от компании, если она находилась в ней. Раз ты ночью сидишь в ресторане, пьешь водку и заиграла музыка, будь любезна — танцуй. Танцевал щупленький очень чинно, серьезно, сосредоточенно — солидно вел даму, солидно проводил на место, солидно откланялся и, строго улыбаясь, спросил:

— Извините, вы с Семеновым давно знакомы?

— Нет, не очень, — ответила Нина и поглядела на него.

Щупленький подумал.

— Ба-альшой па-ашляк! — с достоинством выговорил он и отошел.

В два часа ночи они встали из-за стола, и Ленка вдруг сказала Сергею:

— Ну, до свиданья, Сережа. Я зайду еще на полчаса к Нине, а завтра вы мне позвоните. — А когда он печально отошел, спросила: — У тебя есть машинка для поднимания петель? У меня на левом чулке полный беспорядок.

— Идем, — сказала Нина. — Слушай, зачем ты мучаешь парня? Он такой замечательный.

— А-а! Все они хорошие — один другого лучше, — досадливо ответила Ленка и спросила: — Ну, понравился Семенов?

Нина пожала плечами.

— То, что он говорил о женщинах Шекспира — вот об этих двух типах, — во всяком случае интересно.

— Да о каком Шекспире? Дурочка, это он о вас с Таисой говорил: «Готова на любые жертвы». Вот та дура опустила уши и ходит за ним, как собачонка. А теперь он за тебя возьмется, и ох, чувствую, висеть твоему скальпу на его поясе! Чувствую!

Они уже сидели в номере, и Ленка колдовала над чулком.

— Это что еще за скальп? — недовольно спросила Нина, глядя на ловкие Ленкины пальцы.

Ленка сняла чулок, посмотрела, снова натянула его на руку и засмеялась.

— Ниночка, милая, а что ты нахохлилась. Зачем он тебе такой? Перелетная птаха — всем поет, никого не любит — ох и натянет ему жизнь за это нос! Ох и натянет! Нет, ты выйдешь за народного, за изобретателя или за командующего округом. Знаешь, какой авто у тебя будет?

Нина сидела, сцепив руки, и слушала ее.

— Тебе надо свой дом, семью, — журчала Ленка, — а он... черт его разберет — со всеми знаком, со всеми якшается! Ты на друзей его погляди — никакого принципа подбора — студенты, мальчишки, девчонки, старые охотники, какие-то молодые дарования — читают ему стихи, сам он как старая дева сидит с канарейками да котами — нет, нам такого не надо.

— А кому же это нам, Леночка? — спросила ласково Нина. — Тебе? Ты ведь, кажется, с ним... — и не окончила.

— Что? Что? — сразу ощерилась Ленка. — Что я с ним?

— Да я по твоим же словам... — примирительно начала Нина.

— А знаешь, что я тебе скажу? Ты не ревнуй! Это будет лучше всего, — сухо отрезала Ленка и сняла с вешалки свое пальто. — Идем, проводишь — не ревнуй! Все равно у тебя с ним ничего не получится! Видел он таких, поняла?

* * *

В этот день она легла спать очень поздно, а проснулась на рассвете внезапно, как от толчка. Вскочила, села и начала прислушиваться.

На дворе за лиловыми стеклами что-то происходило. Плакала и кричала женщина, а в промежутках исступлен-

но говорила: «А я тебе го-во-рю пу-сти! Пу-сти же меня, сволочь!» Нина подошла к окну, и сейчас же во дворе зазвенело стекло и что-то тяжелое стукнулось о пол, послышался рев и шум падающего тела.

«Боже мой, — подумала она, — это же та тоненькая, и они ее убивают!»

Она накинула халат с цаплями и выскочила в коридор. Возле той самой двери стояло несколько человек — стояла высокая, очень красивая казашка, похожая на южную китаянку или индуску — иссиня-черная, как воронье крыло, в черном шелковом платье и золотых серьгах полумесяцем — очень известная балерина. Она держалась спокойно, прямо, как на параде, попросту смотрела, слушала и ждала. Затем стояла растрепанная, заспанная женщина в буром ватном капотике. При каждом выкрике она качала головой и говорила: «И каждую ночь, и каждую ночь они так — и никакого покоя». Затем старичок-лесовичок; паренек лет восемнадцати; еще кое-кто из жильцов. Все стояли и слушали.

Вдруг женщина там начала плакать:

— Вас... всех... не... на... (всхлип!) ненави-жуу! А-а! А-а!

— Да что же это? — возмутилась Нина. — Ну-ка, пустите, — и стала протискиваться вперед.

В это время дверь, визжа, распахнулась до отказа, и, сшибая стоящих, пулей пролетела растрепанная и растерзанная женщина. Она была вся в крови, кровь стекала с ее ладони, занесенной вверх, кровь блестела на кофточке, пятнала лицо. Это чучело выскочило в коридор, и опомниться никто не успел, как его уже не было. Но вслед за ней на пороге показался Николай. В правой руке дулом книзу он держал браунинг. Все расступились, только одна красивая казашка подошла и отобрала револьвер.

— Спокойно, спокойно! — сказала она ему, как говорят горячащемуся коню, и похлопала по плечу.

Тогда все заглянули в открытую дверь. Комната была разгромлена. Выбитые окна распахнуты на двор. Пол зеленел осколками стекла, оконного и посудного, стол лежал на боку, а возле валялась скомканная простыня, тоже вся в кровавых пятнах. На кровати сидел и охал бухгалтер. Его слюнявая морда тоже была в крови.

Все это было неправдоподобно, как кадр из кино. Николай стоял в раме двери зелено-бледный, прямой, и кулаки у него были тоже в пятнах. Он тяжело дышал, и глаза его блестели, как у взбешенного кота. Нину, как, впрочем, и всех окружающих, он даже и не видел, а она подошла сбоку, остро поглядела ему в лицо, пожала плечами и пошла в свою комнату.

* * *

Вдруг в дверь постучали.

— Да? — отозвалась она и сейчас же осеклась — никого она не хотела сейчас видеть.

Вошла та самая красивая казашка и ласково улыбнулась ей.

— Не спите? — спросила она, присаживаясь напротив.

— Какой же это ужас! — воскликнула Нина, глядя на нее. — Что они там с ней делали?

Красавица слегка пожала плечами.

— Да ничего особенного. Просто они были пьяны как свиньи, и она тоже. Вот и все. Милиция составила протокол. — Казашка протянула тонкую смуглую руку с золотой змейкой и застегнула Нине верхнюю пуговицу на блузке.

— Но она же вся в крови, — возмутилась Нина, не понимая равнодушного тона. — Они же ее там...

— Да нет, — улыбнулась посетительница. — Просто когда ей пришлось туго, она хотела выпрыгнуть в окно, разбила стекло и порезалась.

— А что от нее хотел Семенов?

Казашка посмотрела на нее и вдруг расхохоталась:

— Господи! Да вы вот что вообразили! Знаете, как было? Мы стояли с ним и болтали. Вдруг слышим крик. Я спрашиваю: «Что такое?» — а он говорит: «Одну минуточку», — и прямо в окно, во двор, и оттуда кричит: «А вы идите к двери».

Пока казашка говорила, Нина смотрела ей в лицо, и вдруг такая бурная радость хлынула в сердце, что она бросилась ей на шею.

— Еще совсем, совсем девочка, — сказала казашка, словно сожалея, и погладила ее по голове. — Ведь такое придумать надо. — Она легонько вздохнула. — Ну, идемте, он меня прислал за вами. Мы сидим и пьем чай.

— Так я сейчас оденусь, — обрадовалась Нина.

— Ой, да и так хорошо. Ну, приоденьтесь, приоденьтесь, — ласково разрешила казашка, — да особенно не наряжайтесь. Он тоже во всем дорожном.

— Почему?

— А через час едет зачем-то в горы.

Нина подошла к зеркальному шкафу, отворила дверь и загородилась ею, как ширмой.

— Вы давно с ним знакомы? — застенчиво спросила она оттуда.

— О, мы старинные друзья, — равнодушно ответила балерина. — Курить у вас можно? При нем я не курю. Ну, а вы, кажется, совсем недавние знакомые, да?

— Мы только с сегодня и знакомы, — сказала Нина. — Но он приятель моей подруги, Елены Александровны.

— А-а! — загадочно протянула гостья. — Леночки! Знаю, знаю Леночку! Ну, и какое же он на вас произвел впечатление?

— По-моему, очень интересный человек, — ответила Нина, подумав.

Черная красавица сначала ничего ей не ответила, а потом сказала:

— Да вы особенно не наряжайтесь, там только моя мама и он. Ну, пошли вам Аллах всего хорошего, — и она встала.

* * *

Комната балерины казалась пестрой от ковров и сюзане. На полочках сверкали желтые металлические сосуды в игольчатых орнаментах. Николай и какая-то старая казашка сидели за столом и гадали. Перед ними лежало девять кучек бобов — все в определенном порядке, и старушка — маленькая, сухая, бронзовая, как сушеная маринка — есть такая рыба в Сыр-Дарье, — что-то говорила Николаю и тыкала в бобы.

— Ну, мама, — недовольно сказала балерина, — что это вы опять, — и дальше все по-казахски, и старушка вдруг смутилась и быстро смешала все бобы.

— Так прямая дорога — матушка, — сказал ей Николай и встал из-за стола. — Жди теперь гостя! Нина Николаевна, — голос его стал мягким и покаянным, — я вас напугал, дурак! Ну простите великодушно, я ведь в такие минуты псих, но зато теперь — все! Никаких криков!

— А вы знаете, что она подумала? — лукаво прищурилась красавица. — Сказать?..

— Ой, ради бога... — испугалась Нина.

Он взглянул на нее и засмеялся:

— Я думаю! А я только что взглянул — нет Нины Николаевны.

— Но они же вас могли тут же застрелить, — упрекнула она его, — два пьяных хулигана с браунингом. Вы один, без оружия.

— Как без оружия, а вот, — Николай потряс кулаком. — И вовсе не два: один — сразу же в окно, а у другого я браунинг отнял, так он мне: «Товарищ директор гостиницы, ведь шлюха же! Ведь первая же, прости господи, по всему городу». Я его бац, бац по морде и той говорю: «Брысь отсюда — буду дверь отворять».

— Ну хоть не рассказывали бы, — поморщилась балерина. — «Шлюха», «прости господи», «бац по морде» — литератор!

Тут вдруг засмеялась старуха:

— Николай молодец. Николай кулак — у-у! Он раз — и хана! Пропал вор-бандит! Шара, расскажи.

— Да вот мама все не может забыть, — начала казашка и обернулась к Нине. — Мы только что познакомились с Николаем Семеновичем, и провожал он меня из театра. А время было хулиганское, фонарей мало — что ж, тридцать пятый год.

— Шара, вы же нас на чай позвали, — недовольно перебил Николай, — ведь мне через час ехать.

— Да, да, да, — покаянно воскликнула казашка и бросилась из комнаты.

Наступило молчание.

Старая казашка вдруг подошла к Нине и близко заглянула ей в лицо острыми кошачьими глазами. Нина невольно отшатнулась, а та еще поглядела на нее, пожевала губами и отошла к Николаю.

— Молодец! — сказала она ему и сжала кулак. — Вот тебе она будет! Молодец!

* * *

— Уже начинается день, — сказал ей Николай, когда они вышли из номера Шары, — мы с вами пробыли полных восемь часов.

— Да! — кивнула она головой, и они молчали до конца коридора.

— Вы сегодня заняты? — спросил он вдруг.

— Сегодня я выходная, — ответила она.

— Значит, свободны?

— А вот свободна — нет. Дел у меня сколько угодно. Единственный же день.

Он подумал.

— Вот что! — сказал он решительно. — Сейчас за нами приедет машина из заповедника. Нина Николаевна, едем в горы. На перевале возьмем лошадей, а в доме отдыха есть и женское седло. Вы верхом ездить умеете?

Она только гордо усмехнулась.

— Ну и отлично! — обрадовался он. — Едем!

Она подумала: уж слишком скоро и удобно он хочет водить ее за собой.

— Нет! — решила она. — Надо походить по городу, кое-что купить, присмотреть.

— Фу, Нина Николаевна, это в такой-то день, — упрекнул он. — Вы посмотрите, что делаете!

Он подвел ее к боковому окну. Горы распахнулись над городом, как серебряные крылья. Края их были нежно-розовые, как у пеликана или фламинго, но чуть ниже они становились и синими, и сизыми, и черными, — отчетливо было видно каждое темное перышко в их царственном оперении — это росли леса. Над горами лилось розовое, зеленое, голубое небо, с боков его оторачивала темная зелень.

— Вы знаете, какие там сады?! — сказал ей Николай. — Сейчас уже снимают яблоки... Ах да, я все забываю, что вы даже не видели здешние яблони. — Он решительно взял ее под руку. — Ну, идемте-ка, я вам покажу. — И она — что с ней только сталось! — послушно пошла за ним в его номер.

* * *

Он занимал довольно большую светлую комнату с окнами в чахлый госпитальный сад. Когда они вошли, она увидела, что на диване спит в самой неудобной, почти собачьей позе (как-то перевернулся, собрался в клубок) какой-то мужчина, не то в военной, не то в инженерной форме — виднелся только острый мысок его подбородка да рыжий ус.

— Ой, — испуганно шепнула Нина, — у вас тут...

— Ничего, ничего, — громко ответил Николай, — его все равно сейчас будить. Это Максимов. Охотовед из заповедника. Наш сегодняшний спутник в горы.

«Наш спутник»! — быстро же он решает за нее все вопросы!! Она хотела что-то сказать, но ее отвлекла комната... Она напоминала живой уголок их школы-десятилетки. Во-первых, всюду торчали рога, черепа, шкурки, целые готовые чучела; во-вторых, со всех стен блестели покрытые целлофаном листы ватмана то с карандашными, то с акварельными рисунками зверей. И кого тут только не было! Сонюшка в листьях; рысь притаилась на ветке сосны, а внизу по снегу, осторожно ступая, идет нежная и гордая козочка; мишка-медведь, сам черный, ошейник белый, сидит возле ручья, ловит лапой рыбу; громадная желтая ящерица-варан с занесенным, как бич, хвостом и зубастой пастью не то крокодила, не то птеродактиля ощерилась на перепуганного пса; волк воет; лисица играет; кошка спит — и еще много, пожалуй с полсотни, рисунков. У художника была твердая беглая рука, и он удивительно схватывал душу зверя. Так сонюшка напоминала Нине пухлую девушку, а у рыси были беспощадно ясные, с небольшой японской раскосинкой глаза и жесткая, гордая и спокойная сосредоточенность.

А еще в комнате были клетки, садки и вольеры. В одном углу хлопал глазами филин с перьями цвета трухлявой древесины, в другом лежало, свернувшись клубком, какое-то животное — не то лиса, не то собака.

— Кто это? — робко спросила Нина.

— Енотовая собака, — ответил Николай; подошел и почесал зверя за ухом. Зверь вскочил и запрыгал на решетку.

— Сегодня с тобой Шара погуляет, — сказал Николай еноту. — Смотри, чтоб без историй! Все, собака, понимает.

Он подошел к небольшому стенному шкафчику, распахнул его настежь и сказал:

— Ну, вот, смотрите!

Нина ахнула — таких яблок, огромных, блестящих, чисто отлакированных, разрисованных самым горячим чистым пламенем и дымом, все равно как малявинские бабы, она еще не видела и даже и не думала, что такие могут быть. Взвихренное пламя было нарисовано в нескольких пучках — один пучок шел с одной стороны яблока, другой — с противоположной. Один был чистейшего багрянца, другой — алый, с дымом и медной прозеленью, — они налетали друг на друга, скрещивались, расходились и сходились.

— Хорош? — горделиво спросил Николай.

Нина молча кивнула головой. Тогда он разломил яблоко, и оно сочно брызнуло в них розоватым пенистым, как кумыс, соком. Николай протянул Нине половину, и она увидела, что мякоть белая, нежно-розовая и состоит из целых кристалликов: неровная поверхность его даже, как кусок кварца, вспыхивает на солнце.

— Пожалуйста, — предложил Николай.

Нина откусила кусок. Вкус у яблока был острый, искристый с иголочками. И Николай тоже откусил бочок от своего. Так каждый и съел свою половину.

Потом Николай встал, решительно подошел к Максимову и тряхнул его за плечо.

— Михаил Николаевич, пора! — крикнул он. — Дама уже ждет.

И посмотрел на нее так, как будто эта круговая чаша — яблоко — решила за нее все и она теперь не вправе отказаться от их компании.

И она действительно не отказалась.

Глава 4

Когда они доехали до речки Горянки, Максимов остановил лошадь и сказал:

— Ну, товарищи, я на час к объездчику, а ты, Коля, как? Сейчас со мной или...

— А мы пока побродим тут, — сказал Николай. — Как вы, Нина Николаевна? Согласны?

— Да, конечно, — сказала она и соскочила с коня.

И Николай спрыгнул тоже, но упал.

— Э, брат, — покачал головой Максимов. — С лошадью-то ты...

Это был тонкий сухой мужчина с усами, с мордочкой не то енотовой собаки, не то ежа и серыми пустоватыми глазами. Он ехал, а за ним бежал черный лохматый Нерон.

Николай вздохнул.

— Да, конечно, по сравнению с Ниной Николаевной похвастаться мне нечем — вот она сидит на коне как молодая богиня.

Нина перед поездкой переоделась, на ней была черная жакетка, легкое платье жемчужного цвета, а на ногах не туфли, а сафьяновые полусапожки.

— Я в институте взяла приз, — похвасталась она. — Я ведь казачка...

Ее пьянили горы, воздух, езда, бессонная ночь, выпитое вино, молодые яблоки.

Николай взял ее лошадь под уздцы.

— Едем! Нерон, ко мне! Посмотрим речку.

Речонка в этом месте била зелеными и белыми фонтанами между двух камней. Один камень, плоский, розовый, весь в раковинах и заусеницах, лежал, и вокруг него все время вскипали и взвихривались волны; другой, похожий на черного монаха, понуро и мрачно стоял над ним. Крутились и кипели воронки. Мельчайшая водяная пыль летела и гудела над этим монахом фонтанами и водоворотами. Гром был такой, что — рядом росли кусты барбариса, старая шелковица, лопухи и болотная трава — все это гудело и дрожало.

— Как по гробам грохочет, — крикнула Нина.

— Так ведь камни катит! — крикнул он ей. — Это же растопившийся ледник. Посмо́трите, как река вздуется

к вечеру. — Они постояли, посмотрели, потом Николай тронул ее за руку и сказал: — Идем!

Они отошли метров на пятьдесят. Шум стал тише. Рос уж вполне мирный шиповник и еще какие-то колючки. Николай пошел в глубь небольшой урючной рощицы и прикрутил лошадей, потом сбросил с себя плащ, аккуратно сложил его вдвое и постелил на траву.

— Ну вот, устраивайтесь, а я минут на двадцать кое-куда схожу.

Она села и только сейчас почувствовала, что ее клонит, клонит к земле — так она устала и так слипаются глаза.

Николай внимательно посмотрел на нее и покачал головой.

— Что вы? — спросила она.

— Ложитесь-ка, — сказал он. — И поспите часок. Я вас сейчас укрою! — и сбросил с себя пиджак.

— Да нет, — запротестовала она, — что вы? Я не устала.

— А глаза закрываются? — сказал он и пошел к лошадям.

Когда он вернулся с походным зеленым одеялом, она сидела в пиджаке и, улыбаясь, смотрела на него.

— Ну и молодец, — похвалил он ее, осматривая. — Только вы на жакет надели? Рукава все-таки длинны. А ну вытягивайтесь. — Он тряхнул одеяло и развернул его.

Она быстро вскочила.

— Нет, Николай Семенович, спать я не хочу. А вы далеко?

— Вас не возьму, — коротко ответил он. — Ложитесь, ложитесь! — Она продолжала стоять. — Вот что! — досадливо прищелкнул он языком. — Нина Николаевна, если вы хотите, чтоб я с вами чувствовал себя просто и спокойно, вот как с этим чудиком, не стесняйте меня, пожалуйста, дамскими фокусами. Ну их к дьяволу, а? Будем товарищами! Вот вы ведь с ног валитесь, ночью не спа-

ли — правда? Это связывает меня. Так ложитесь и спите, а я пойду и сейчас же приду. Нерон вас покараулит. Нерон! А ну сюда! — Он положил на спину собаки ладонь, и собака сразу же легла. — Стеречь! И ни на шаг! Понял?

Нерон нежно и истерично взвизгнул.

— Ну и хорошо, — серьезно согласился Николай и достал из кармана несколько кусков сахара. — Раз, два, четыре — всё! Это аванс! Никого не пускать! Как что, хватать за ноги — понял?

— Понял! — ответила за собаку Нина.

— А он все понимает, не думайте, — серьезно взглянул на нее Николай. — Умный пес, терпеть не может кредита. У меня с ним все только за наличный расчет! Всё — иду! Ложитесь, ложитесь, Нина Николаевна, и благословите меня на подвиг!

— Это на какой же? — спросила она и легла.

— А ну, — приказал он, — как следует, как следует, вытягивайте ноги! — Осторожно снял с нее сапожки, поставил их возле Нерона и очень серьезно сказал: — Грызть или слюнявить — боже тебя избави! — Он ловко набросил на Нину одеяло, опустился на корточки и подоткнул его со всех сторон, а ноги укутал еще особо.

Потом встал.

— Ну, спокойного сна, Нина Николаевна!

— Так на какой же подвиг вы уходите? — спросила она с земли.

— А вот приду — увидите. Пока просто благословите, и всё!

— Но как кто, как кого?

— Как прекрасная дама своего паладина.

— Так встаньте же, как паладин, на одно колено. — Он встал, и она дотронулась до его плеча и лба. — Благословляю и жду с победой моего паладина. Ни пуха ему, ни пера. Слушайте, а если я в самом деле засну?

— Спите! — Он пошел было и вдруг остановился и быстро, как бы украдкой от кого-то, погладил ее по волосам,

и она, даже не улыбаясь, серьезно протянула руку и крепко пожала его ладонь. Он остановился, но она закрыла глаза.

— Ведь подумать, чтобы с кем-нибудь я держала себя так. Такая дикая кошка, — сказала она сонно. — В вас есть что-то такое. — И дрема ей окончательно связала язык.

— А-а, — засмеялся он где-то в облаках. — Это моя основная особенность — спите спокойно, моя дорогая!

* * *

Проснулась она оттого, что кто-то возле нее осторожно ломает сухой хворост. Она быстро вскочила. Заходило солнце. Неподвижно в позе сфинкса лежала возле нее черная собака. Максимов стоял на коленях к ней спиной и раздувал костер.

Она подошла к нему.

— А Николай Семенович где? — спросила она.

Максимов полуобернулся.

— Вы уже встали? — сказал он без всякого восторга. — Да вот нет его! Не пришел ни сюда, ни к объездчику. Вот зажигаю костер, а то через час будет темно, а он пойдет низом, так может пройти мимо.

— Куда же он пошел? — спросила она испуганно.

Собака встала, принесла ей сапожки, сначала один, потом другой, и положила возле. Нина так разволновалась, что даже как следует не поблагодарила ее, просто похлопала по шее и всё.

— Да вот в том-то и дело, — сказал зоолог досадливо, — ведь он знает, что вы тут, и устраивает такие... что, слуг у него, что ли, много, на пикник он приехал? Так у меня научное учреждение, а не Сокольники! И всегда с ним так — пойдет на пять минут, а придет черт знает когда. Вот и жди его, а мне некогда.

Он был очень раздражен, и Нина понимала его, — еще ему не хватало артистки в заповеднике!

— Но все-таки где он? — спросила она.

— А вон, видите, — зоолог показал на голубые, белые и черные горы, — вон та долина, называется Калмакская щель — туда он и пошел. Это примерно с час ходьбы, так что уже давно бы должен был вернуться.

— Но зачем, зачем он пошел? — нетерпеливо спросила Нина.

Зоолог помолчал, пожевал губами.

— Все свою синюю птицу ловит, — насмешливо и зло ответил он вдруг. — Мое чучело ему, видишь ли, не нравится. Это, видишь, гибрид. Плохой экземпляр, видишь. Ну, ладно, найди тогда свой хороший.

— Подождите! — перебила его Нина. — Какая синяя птица?! Это же сказка? — Ей показалось, что либо зоолог со зла сострил, либо она недослышала. Но Максимов обиженно объяснил:

— Я вам не Маршак, чтоб сказки рассказывать, а синюю птицу я еще в прошлом году одну подстрелил. Они залетают сюда из Индии со стороны Гималаев! Так нет, ему ничего чужое не нравится — такой самолюб, — нашел где-то целое гнездо и силок поставил. Два раза ловил и отпускал, птенцы, мол, маленькие — птица, если у нее, мол, птенцы, жить в клетке не станет, заморит себя голодом, а сейчас пошел — «поймаю!».

В это время сучья захрустели, и на полянку вышел сухой белый старичок в желтой байковой куртке и сапогах. За плечами у него висел винчестер (Нина хорошо стреляла и знала толк в ружьях).

— Все не пришел? — спросил дед и чинно поклонился Нине. — Здравствуйте, пожалуйста, барышня.

Нерон подлетел к деду и стал бурно прыгать и ловить его руки. Дед сначала слегка погладил его, а потом оттолкнул и сказал:

— Иди, иди, слюнявый!

Максимов ничего не ответил деду и снова стал дуть под хворост. Бурно зашумело пламя.

— Видишь, что нет! Что ему — слуги тут подобрались? — сказал он, поднимаясь. — Слушай, Никифор Фомич, тогда я — делать нечего — пойду схожу, а то будет темно — как тогда?

— Так ты и Нерона возьми, — посоветовал старик, — он, если что, там хоть гавкнет!

— Пожалуй! Нерон, сюда! — приказал зоолог.

Нина быстро обулась и сказала:

— Михаил Николаевич, и я с вами?

— Нет, нет, прошу вас! — испугался зоолог. — Я там карабкаться по колючкам буду. Нет, нет, вы уж подождите тут.

— Тогда, если он не в силах идти, ты стреляй, — сказал старик, — а то как ты его дотащишь?

— Только бы не разбился, — проговорил зоолог и ушел с Нероном.

Они остались вдвоем.

Старик, улыбаясь, смотрел ей в лицо.

— Что ж вы так стоите, пожалуйте к костру, — пригласил он, — а то ведь прохладно — горы, ледник.

— Спасибо, дедушка, — поблагодарила Нина и подошла к огню. — В самом деле прохладно.

— Надень, надень его пиджак, — быстро приказал дед. — Ну, вот и хорошо! А мы на это место сейчас чайку сочиним. — Он встал. — Тут у меня в кустах вся премудрость лежит. — Он сбросил винчестер и пошел к реке. А река к ночи почернела, вздулась, стала совсем бешеной и клокотала между камней. Монах уже по пояс ушел в воду, и волны бились и шипели поверх розовой плиты.

Дед вернулся с чайником и большой жестянкой.

— Ну вот, — сказал он, — сейчас и заварим! А он нехай там сидит, на своей горе! Нехай его!

— Нет, дедушка, — сказала Нина, — он там сидеть не будет — он мне сказал: через час.

— Через ча-ас! — засмеялся дед. — Час-то его больно долог! Ох, как долог!.. Да придет, придет, что-то вы уж

больно по нему стосковались. — Он вдруг хлопнул себя по колену. — Как это весь женский пол об им обмирает? — спросил он удивленно и повернулся к ней. — Ведь он что, первую вас сюда привез? Что он их, медом, что ли, мажет? Ну, с нашим братом он, верно, хорош — и туда, и сюда, и заработать даст, и поднесет, и: «Никифор Фомич, Никифор Фомич!» Ну, это я понимаю, а то...

— А он плохой, дедушка? — спросила Нина.

— Ну вот, вы уже говорите: плохой! — огорчился дед. — Как что, так: «Он, дедушка, плохой?», «Он, дедушка, нечестный?» Ничего в нем такого плохого нет, но и хорошего тоже не видать. — Старик поставил чайник на костер. — Ну, самый жар — сейчас загудит, как локомотив. Не о том разговор, что он плохой там или хороший, это я не знаю, и не нашего ума это дело, — а о том разговор, почему девки да дамочки по нему мрут? Их-то он чем берет?

— А мрут? — подхватила она.

Дед вдруг засмеялся.

— Да вот как вы — мрете или нет? Он полез птицу свою ловить, а вы уж невесть что...

В это время сзади сильно затрещали сучья и метнулись лошади. На полянку выкатился Нерон, поглядел на Нину и призывно залаял.

— Ну, пришли! — сказал дед. — Где он его нашел? — и крикнул: — Иду, иду!

— Одеяло тащи! — сипло приказали из кустов.

Дед поглядел на Нину, усмехнулся, покачал головой: «Вот, полюбуйся, достукался». Потом поднял с земли одеяло и пошел в чащу.

* * *

Николая на одеяле поднесли к костру.

— Тяжелый-то какой! — сказал дед, смотря на вытянувшееся тело. — И как ты его нес! Да еще — клетку.

— Так и нес: одной рукой его держу, другой — клетку, — а он как неживой, — выдохнул Максимов. Он выглядел сейчас как загнанная лошадь, красный, в поту, в пыли, чуть ли не в мыле. — Осторожнее, осторожнее, опускай, а то ты бросишь... Коля, ну как ты... Что, опять сознание потерял? Вот беда!

Они опустили его на траву.

Николай лежал на одеяле бледный, растрепанный, с разбитой и распухшей нижней губой, огонь черный и белый прыгал по его мертвому лицу.

— Эх, рука-то у него вывернулась, — покачал головой дед. — А смотри, не головой приложился?

— Нет, не головой, — зло ответил Максимов и встал. — С рукой ничего — нога вот... я уж и дотронуться боюсь. — Он посмотрел на деда. — Полз ведь! Знаешь, где я уж его нашел? Возле ключа! — В его голосе против воли пробивалось злое восхищение.

— Это он оттеда и полз? — удивился дед. — Ну силён! И смотри, клетку не бросил, не побил!

Нина подошла к Николаю и наклонилась над ним, и тут он дернулся и еще с мертвым лицом и закрытыми глазами приподнялся и сел.

— Птица? — спросил он отрывисто.

Дед встал и побежал к кустам.

— Здесь, здесь клетка, — ворчливо заверил Максимов. — Как себя чувствуешь?

Николай поднес руку к губе и потрогал ее.

— Вот, завтра буду красавец! Нина Николаевна, не помогли мне ваши святые молитвы — так летел, что...

— Вот ногу ты поломал, это вот да, — хмуро сказал Максимов, — и из-за чего?

Пришел дед, поставил клетку возле костра и зло прошипел:

— Ну, смотри теперь, пока глаза не лопнут.

Небольшая, с галку, птица в пламени костра казалась не синей, а темно-металлической, сделанной из хоро-

шей вороненой стали. Она сидела на жердочке и, пригнувшись и вытянув шею, с ужасом смотрела на людей. У нее были круглые черные глаза и тонкий клюв. Николай улыбнулся.

— Ну, видел?

— Очень хороший экземпляр, — завистливо похвалил Максимов. — Что? Самец, верно?

— Самец! Будет петь! — ответил Николай и снова забеспокоился: — Там в гнезде трое птенцов — вот-вот вылетят. Я полез за ними, да...

— Ну, с птенцами прощайся, — решительно ответил зоолог, — ты и днем пропахал носом всю гору, а сейчас ночь.

— Да там невысоко и идти совсем как по террасе, — моляще проговорил Николай.

Старик хмыкнул и покачал головой.

— Ну иди, иди за ними! — вдруг рассердился Максимов, покраснел и вскочил. — Ну, что ж ты не идешь? — Он снова сел. — Сам лежишь, а глупости болтаешь! Дед, придется ведь тебе доскакать до дома отдыха за машиной. Я сейчас черкну им, — и он полез в боковой карман.

— Да на базе теперь есть телефон, — ответил дед.

— О-о? Разве уже исправили? — обрадовался зоолог. — Дельно! Эх, пойти бы вместе, я бы позвонил, а вы... — Он с сомнением поглядел на Нину. — Нина Николаевна только тут...

Николай опять лег.

— Да нет, идите, идите, — сказал он зло, — и ты иди, дед. А я тут с Нероном останусь.

Максимов с сомнением поглядел на Нину:

— Посидите?

— Да я посижу с Николаем Семеновичем, — сказала она.

— Да? — обрадовался Максимов. — А я мигом — тут недалеко. Тут на лошади полчаса — не больше. — Видно

было, что ему страшно не терпелось покончить со всем этим.

— Иди, иди, — сказал Николай и снова вытянулся. — Иди, Нерон, ляг! Дед, иди! Спокойной ночи.

— Так что ж? — посмотрел на Максимова дед.

— Пошли! — приказал Максимов.

И они ушли.

* * *

С минуту оба молчали. Николай все лежал с закрытыми глазами. Нина подошла и села рядом.

— Ну как же так можно? — мягко упрекнула она его. — И хорошо, что только ногой, а если бы угодили виском или затылком?

Николай открыл глаза и вдруг улыбнулся.

— Что вы? — удивилась Нина.

Продолжая улыбаться, он спросил:

— Вы на сколько — лет на десять, на пятнадцать моложе меня?

— А что?

— А то, что послушаешь, так вам сто лет! Внуков старуха на ноги поставила, внучек за хороших людей выдала, ну и других сейчас учит. — Он помолчал, подумал. — Дайте-ка мне руку, подойду к костру поближе, что-то знобит.

— Лежите уж! — покровительственно прикрикнула на него Нина, взяла за плечи и — оп! — подтянула к самому огню.

— Ох, какая сильная, — удивился он. — А ну согните руку. — Николай пощупал мускулы. — Вот это молодец! Такая даст пощечину, так покатишься.

Тогда она вдруг решилась:

— А ну, покажите ногу, да нет, брюки, брюки засучите. Да ну же!

Он послушно и быстро закатал штанину: нога сильно распухла в колене, посинела и была вся в ссадинах, но,

конечно, перелома не было — был вывих, может быть, приличный.

— Это у вас первый раз? — спросила она тоном доктора.

Он бросил на опухоль быстрый взгляд и отвернулся.

— Ага!

Тогда она сказала:

— Вот что: обхватите меня за шею обеими руками.

— Ка-ак? — не понял он.

Тогда она молча взяла его руки — одну, другую — и положила себе на плечи.

— И тут мускулы! — сказал он, щупая ее плечи. — Ах, Нина Николаевна! Ах, умница!

— Вы мне мешаете, сцепите пальцы, — повысила она голос, — и держитесь! Смотрите, хорошенько держитесь. Сейчас будет очень больно. Поняли? Больно будет.

Он понял и с надеждой посмотрел на нее.

— Неужели сумеете?

— Я же колдунья, — деловито ответила она, щупая вывих. — У меня бабушка знаменитая на всю станицу костоправка. Даже рак лечила! Ну, держись, казак. — Она повернула и сильно дернула ногу на себя.

Он крикнул и упал, увлекая ее, и к ним, жалобно визжа, бросился Нерон. Нина оттолкнула Нерона, но он опять подскочил, заскулил, затыкался носом. Николай лежал без памяти. Она вынырнула из его рук, встала на колени, оправила волосы, потом снова ощупала колено — все было в порядке, сустав вошел на место.

— Ну что? — спросила она, и тут сразу завыл слабо поскуливающий Нерон.

Николай глубоко вздохнул, открыл глаза, оперся ладонью о землю и сел.

— Уж как же ловко! — сказал он восхищенно и пощупал ногу.

— Не трогайте!

Она опустилась на корточки, взяла его за коленную чашечку, и вдруг ее ловкие быстрые холодные пальцы легко забегали по его коже. Несколько раз он морщился, и тогда она тоном старшей говорила: «Терпи, терпи, казак».

От жара костра, непривычного положения, быстроты движений она разгорячилась, и волосы у нее налезали на глаза; он протянул руку и осторожно убрал их, они все-таки лезли, и он ладонью зачесал их на лоб.

Она благодарно кивнула ему головой и опять заработала пальцами.

— Не очень больно?

— Вы и в самом деле колдунья, — ответил он. — Где же вы все это превзошли?

— А в институте! В санкружке! Я же медсестра — диплом есть. Всё! Ну-ка, берите меня опять за шею! Опля! И встали!

Он хотел наступить на больную ногу, но ойкнул и сел опять.

— Не так, не так, — поправила она. — Зачем же вы сразу переносите всю тяжесть на больную ногу? А ну-ка еще раз! Да не рывком, а постепенно. Берите меня опять за шею. Так! Я буду теперь выпрямляться, а вы вставайте — вот так! Молодец! — Они поднялись оба. — Ну, а теперь пройдемся. — Она обхватила его за пояс, и они сделали несколько туров по поляне.

— А ведь иду, — сказал он радостно и посмотрел на нее. — А ну-ка! — Он нетерпеливо стряхнул руку и пошел один, еще слегка хромая.

— Ну-у? — спросила Нина, смотря на него смеющимися материнскими глазами.

Он посмотрел на нее и вдруг захохотал.

— А вот будет штука капитана Кука, как говорила одна моя приятельница!

— Что это вы? — спросила она подозрительно. — А ну, ложитесь-ка.

Он посмотрел на нее, строгую, замкнутую, и вдруг упал на одно колено и протянул к ней руки.

— Нина Николаевна, прекрасная дама моя, — взмолился он, — отпустите меня туда! У вас же мягкое женское сердце, а туда всего двадцать минут ходьбы (она невольно улыбнулась — эти его двадцать минут!). Вы подумайте, погибнут три, — он выставил три пальца, — целых три синие птицы — они же гости из Индии! Не будет мне спасения ни на сем свете, ни на будущем, если я пропущу это... Это же двадцать минут ходьбы! — Он посмотрел на нее молящими, почти собачьими глазами.

— Вот сейчас придет Максимов, — сказала она холодно, — тогда вы с ним...

— Ниночка, а как они поют! — песня индийского гостя! Как флейты.

— Придет Максимов, и тогда...

— Да я раньше успею! — заторопился он. — Что вы. Я раз-два и тут.

Сейчас он был совсем похож на приготовишку, и Нина поняла: все равно ведь он уйдет, разругается с ней, заберет Нерона и ищи ветра в поле.

— Хорошо, — сказала она так же строго, — напишите записку и пойдем.

— Как? — удивился он. — Вы?..

— Я за вами как санитарный обоз, — усмехнулась она. — Ну, пишите записку Максимову.

* * *

Идти пришлось с час.

Вышла из-за туч луна, полная и совсем прозрачная, и всё — горы, елки, сухое русло древней реки между отвесных скал — стало таким красивым, тонким, необычным, как будто сошло со старинной акварели или голубого фарфорового блюда.

Они шли мимо урюка и диких яблонь, и их листья казались голубыми. Ямы и рытвины стояли доверху на-

полненные луной, как ключевой водой. Нина то и дело вспугивала жаб, и они шлепали впереди нее – и малюсенькие, как сверчки, и огромные, как ожившие рыжие кремни. В одном месте рос целый большой куст цветов, похожих на садовые, и сейчас, при луне, они казались красными, сиреневыми, просто синими – не поймешь даже какими. В другом месте они наткнулись на целую рощицу маленьких кривых курчавых деревцев: как на шабаше, они вперегонки сбегали по холму, но так криво и уродливо, как будто запинались за что-то и падали.

– Стойте!

Николай наклонился, пошарил по голубому песку и протянул Нине пригоршню круглых ягод.

– Что такое?

– А ну, попробуйте, – сказал он, – они сейчас превкусные, только песок пристал.

Нина вообще росла привередницей – всегда мыла ягоды, выбирала червоточину, выбрасывала косточки, но сейчас она просто набила ягодами рот, вместе с песком и даже галькой, и ей вдруг стало очень весело.

Как это все вышло? Шекспир – его брюнетка и блондинка, скандал в соседнем номере, черная красавица, чай втроем, поездка в горы, яблоневый сад, сон возле горной речки, вывихнутое и вправленное колено, путешествие за синей птицей, – все это появлялось как из рукава фокусника, шло, цепляясь одно за другое, и так стремительно, что она никак не могла вырваться из этой цепи.

Возле самого склона они повстречались с огромной одинокой елью. Ель эта росла на холмике и чем-то напоминала косматого богатыря в голубом металлическом панцире. По кустарнику бегал ветерок, а она стояла неподвижная и глухая от своей мощи. Под ней валялись шишки и рыжая хвоя.

– Сюда, сюда! – пригласил Николай и снял с ветки большую, совсем новую клетку.

Нина вошла под сень ели, как в портал кафедрального собора.

Запахло хвоей и корнями. На земле была разостлана серая холстина, а на ней лежал камень.

— Присядьте, — очень любезно пригласил Николай, — а я сейчас...

Он достал из кармана садовый ножик, покопался под мощными корнями, похожими на старых линяющих змей, и достал за кольцо небольшой жестяной ящик.

— Вот, — сказал он, — мой энзэ, смотрите. — Он открыл его и вынул моток веревки, кинжал, электрофонарик, повертел его в руках и вдруг неожиданно пустил в лицо Нины зеленый и наглый луч. Она вскрикнула. Он засмеялся и потушил фонарь.

— Ну как? Здесь подождете меня или пойдем еще выше?

— Пойдем еще выше, — сказала она, еще жмурясь от яркого света. — Слушайте, товарищ дорогой, так же не годится: пробовать фонарь на лице своей дамы.

Он снова рассмеялся и слегка хлопнул ее по плечу.

— Идем! А вы славный парень! Только руки берегите. Там сплошное проволочное заграждение.

* * *

Взбирались они бесконечно.

Нина шла за Николаем молча и сосредоточенно. Она думала: такой мучительной прогулки в ее жизни еще не было — все, что встречалось на пути, било ее, царапало, рвало платье и волосы. Через десять минут подъема тело ее пылало и пульсировало как одна рана.

Кустарник кончился сразу, — один к одному стояли высокие спокойные деревья с такими густыми ветвями, что под ними не было видно даже луны. Темнота, только кое-где на земле и на плоских камнях стояли и светили голубые лунные лужицы.

— Устали? — спросил Николай.

Она кивнула.

— Ну, передохните, передохните, — милостиво разрешил он. — Здорово исцарапались?

Нина молча сунула ему руки. Он посветил на них и покачал головой.

— Да-а! Ну, ничего, боевое крещение. Сейчас будет уж совсем легко. А спустимся с другой стороны — там дорожка.

Они постояли с минуту, отдышались и пошли.

Рощица кончилась, и они опять стали подниматься по крутому подъему. Луна выплыла на середину неба, и стало светло. Так они дошли до самой вершины этого обрыва. На ней лежал совершенно черный плоский камень, похожий на надгробную плиту.

— Ну вот, — вздохнул Николай, — мы и дошли. Вот вам фонарик, вот клетка, сидите и ждите меня.

И он пошел к обрыву.

Обрыв был такой отвесный и ровный, что казалось: здесь сплеча рубанули топором по горе, отсекли половину, и образовалась стена, и только кое-где на этой стене выдавались каменные террасы и отдельные глыбины. Он постоял и вдруг непонятно как соскользнул вниз и повис только на одних руках — она вскрикнула, — а он поднял над пропастью одну руку, помахал ею, потом поднял другую, помахал другой и ухнул, исчез. Только было слышно, как сыпятся камни. Она подошла к обрыву. Камни и земля так и летели из-под его ног, а он, распластавшийся, как тень на стене, полз над пропастью такой глубокой, что у нее щемило под ногтями. Если бы он загрохотал отсюда, от него остались бы одни мокрые кости, но он неуклонно, хотя и не очень быстро, но и не задерживаясь, шел и шел, и Нина поняла, что ему отлично известны все выступы этой стены. «Но где же гнездо?» — подумала она, оглядывая стену, и вдруг поняла — где. В одном месте прямо из стены на террасе росла березка — изогнутая, уродливая, как хилая девушка-дурнушка, а около корня на полу тер-

расы камни были расшатаны и выкрошились, и тут она увидела темное пятно — вот это и есть гнездо. Она пустила туда луч фонарика. Николай, не оборачиваясь, поднял руку и помахал ею: потуши. Потом он примерился, гикнул и вдруг, пролетев метров пять, упал на одно колено на этой террасе. И сейчас же мимо его лица косо и слепо пролетела какая-то темная птица. Он проводил ее глазами, потом спокойно встал (место на террасе было так мало́, что можно было стоять, только прижавшись лицом или затылком к стене) и очутился над самым гнездом.

— Есть? — спросила она с обрыва.

Он кивнул ей головой, и она увидела, как он лезет рукой в гнездо и вынимает птенцов — одного, второго, третьего, как они бьются и хотят выпрыгнуть, а он сует их за пазуху.

Потом он опять стал плоским, как тень, перевернулся по оси на одной точке, опять примерился и прыгнул обратно.

— Veni, vidi, vici! — крикнул он. — Кто и когда это сказал?

— Знаю, знаю, — ответила она ворчливо, — спускайтесь скорее. Я же волнуюсь!

— Да? Это хорошо! — заметил он хладнокровно. — Сейчас иду к вам.

Так они поймали синюю птицу.

Глава 5

В театре на следующий день узнали, конечно, всё, даже и то узнали, чего и вообще не было.

После репетиции Ленка подошла к ней и сказала:

— Ну-ну! Слышала про твои похождения!

Нина посмотрела на нее.

— Уже?! Скоро же до тебя все донеслось, но только никаких похождений не было.

— Не было? — невинно переспросила Ленка.

— Просто прокатились с Николаем Семеновичем в горы — вот и всё.

— Да как! Амазонкой! — присвистнула Ленка. — Прямо княжна Мери! Какую-то синюю птицу там поймали.

— И это знаешь?

— Я всё, Ниночка, знаю! И все уже всё знают! Семенов устраивает приемы — показывает птицу всем желающим. Там же и кукла эта приседает.

Нина смотрела не понимая.

— Ну, Таиса эта там, его белая леди, для нее же вы и таскались за этой синей птицей.

— Глупо! Зачем же Таисе птица, — пожала плечами Нина.

— Ну, стало быть, нужна, — ответила ласково Ленка. И предложила: — А ну зайдем к нему.

Нина качнула головой.

— Я не пойду. Иди одна.

— Сам придет? — поняла Ленка. — Ну, правильно! И сделай ему хо-ороший раскардаш! Что, в самом деле, ты ему — девчонка?! В каких вы расстались отношениях?

— В каких и были. На брудершафт не пили.

— И голова у тебя, как у княжны Мери, над речкой не кружилась?

— Нет, не кружилась. И вообще все это к нему не относится — он держится очень просто.

— Так, так, так, — покачала головой Ленка. — Как бы только его простота не вышла боком — так ведь тоже бывает. Простота хуже воровства — слышала такую пословицу?

* * *

Нина никогда не обращала внимания ни на Ленкины шутки, ни на Ленкин язычок, потому что с института знала: Ленка — трещотка! Ленка — ветер! Сегодня одно — завтра другое, свистит у нее в ушах. Но этот разговор оставил неприятный осадок.

Она сидела и думала: а что если, в самом деле, она сваляла дурака, поймала с ним птицу для Таисы.

И тут вдруг явился Николай.

— Нина Николаевна, можно? — спросил он, останавливаясь на пороге. На нем был теперь легкий белый костюм и тапочки на босу ногу. Он все еще немного прихрамывал.

— Проходите, пожалуйста, — холодновато пригласила Нина, — я сейчас только что думала о вас.

Он посмотрел на нее.

— И, по лицу вижу, ругали?

— Нет! Недоумевала! Зачем вам понадобилось посвящать во все Елену Александровну? Что, она такой ваш друг? Вы ей очень доверяете?

— А что, — спросил он, — не надо бы ей доверять?

Она пожала плечами, отвернулась от него и сняла со стула кипу блузок — только что разбирала шкаф, — чтоб освободить ему место.

— Садитесь, пожалуйста, — повторила она.

Николай сел.

— Нина Николаевна, что же она вам говорила конкретно? — спросил он осторожно.

— А конкретно она говорила мне, что синюю птицу вы достали для Таисы, и, значит, все это наше путешествие...

— И это знает! — тихо воскликнул Николай. — Ну, это уж Максимов растрепался.

Нина быстро взглянула на него, и у нее все внутри заходило от ярости. Она поняла, что значит увидеть все в красном цвете — даже слезы проступили — оказаться в таких дурах!

Она быстро отошла к электрочайнику и сняла его с плитки.

Он молчал и что-то думал.

— Садитесь к столу, буду поить вас чаем, — сказала она.

— Спасибо.

Холодными, словно оцепеневшими от злости пальцами она сняла и поставила на стол чайник, налила стакан, подвинула ему, вынула коробку печенья, сахар, конфеты, лимон на блюдечке, вазу с вареньем и сама села напротив.

— Сахару не кладу, — сказала она, — не знаю сколько! Вот уж не знала, что у вас с ней столько секретов.

— Секрет-то у нас только один, мы... — он запнулся. — Но только об этом никому! — Он еще поколебался, она молчала холодно и безучастно. — Ладно, я вам скажу: это для юбилейной серии керамической станции. Впервые станция выпускает белую расписную керамику. Я пишу в юбилейной брошюре.

Она молчала. Он поерзал еще немного (говорить ему не хотелось) и начал объяснять:

— Синяя птица — это герб Алатау. Она будет нарисована на самом большом метровом блюде. Вот таком, смотрите, — он показал руками форму и размер этого блюда, — и если это удастся, наша Академия наук закажет большой керамический плафон для конференц-зала. — Николай встал. — До сих пор мы рисовали ее с Брема, но там такая нехорошая бедная гамма, а на самом деле она очень хороша. Идемте, я вам покажу проект.

* * *

Опять она пошла за ним!

Синяя птица была написана очень чистой и яркой акварелью на большом куске ватмана. Она сидела и пела над пропастью — ниже в тумане виднелись бурливая зеленая речка, бьющая из ледников, изогнутые деревья, а выше и с боков — небо, еще более синее, чем сама птица. И так как она пела, вставало солнце и розово сверкали ледники.

Пока Нина рассматривала акварель, он стоял рядом и глядел на нее, а потом спросил:

— Ну как?

— Очень хорошо! — ответила она горячо. — Неужели это вы сами?

Он хотел ответить, но зазвонил телефон, и он пошел снять трубку.

— Да! — крикнул он и сразу перевел глаза на Нину. — Здравствуйте, здравствуйте, дорогая! Да нет, не один, а с товарищем — спасибо! Да! И выспался, и отдохнул. Кое-что начерно! А вот приходите вечером, покажу. — Трубка что-то горячо забормотала. — Ну, хорошо, только приходите вы, а я сегодня хочу еще посидеть дома. Болит не болит, а... ну, лучше, если вы придете ко мне... Нет, товарищ уйдет! Нет, ее еще не видел! Вот приходите, зайдем вместе. Ну так жду! — Он положил трубку. — Замечательная девушка эта Таиса, — сказал он неуверенно, — она тоже что-то нарисовала — сейчас вот принесет.

Нина хмуро посмотрела на него.

— Вы с ней про меня говорили?

— Про вас! — ответил он, подумав.

Она пожала плечами.

— Странный вы человек, Николай Семенович! — сказала резко.

— Почему?

— Так! — отрезала она и встала. — Странный, и всё. Прощайте, мне надо идти.

Он осторожно взял ее за руку.

— Почему вы сердитесь?

Она холодно отобрала руку.

— Николай Семенович, я не сержусь, но я органически не выношу бесцельной лжи, а когда люди врут про меня и при мне еще... ну, зачем это вам?

Он молчал.

— И неужели вы не понимаете, как это оскорбительно для меня?

Он молчал.

— Так прощайте! — сухо кивнула она головой и пошла.

Он вдруг заслонил собой дверь.

— Нина, — сказал он очень просто, — я же теперь всегда буду врать про вас.

— Вот еще! — гордо и резко удивилась она. — Почему же это?

— А вы сами не понимаете?

Она усмехнулась.

— А что я должна понять изо всей этой каши? Что?

Он молчал.

— Может быть, что вы меня любите? — насмешливо и грубо подсказала она.

Он кивнул головой.

— А Таису?

— Господи, это же совсем другое дело, — сказал он быстро и горячо, — мы с ней вместе...

— А Шару?

— Мы с ней друзья.

— А Нюру?

— Какая еще Нюра? — закричал он. — Откуда вы?..

— А Елену?

— Ленку? — рассердился он.

Она устало вздохнула.

— Николай Семенович, вы как-то совсем не так меня поняли.

Он взял ее за руку и подвел к стулу.

— Ну, сядьте! — попросил он. — Не могу же я с вами разговаривать стоя. — Она покачала головой и осталась стоять. — Ниночка, что вы такое говорите? Какая там Ленка? Какая Тайса? Вы моя синяя птица! Видите, как я искололся о шипы, пока лез за вами.

— За мной? — удивилась она и села.

— А за кем же тогда? Разве вы уже не поняли, что это было путешествие за вами?! Разве я не мог бы дождаться дня и послать любого? Нет! Я решил так: если она сейчас пойдет и дальше за мной, через все колючки, то я при ней тоже пройду над пропастью и достану гнездо. И вот, если ночью с больной ногой я не сломаю себе голову — потому

что второй раз уже кладут голову, она всегда будет со мной.

В дверь вдруг постучали.

— Откройте, — шепнула она, — это Таиса.

— Ну нет, сейчас я уж никому не открою, — сказал он громко и вдруг притянул ее к себе и поцеловал в губы.

— Ни-ка-ка-я тут не Ленка, — сказал он, — ни-ка-ка-я не Таиса, ни-ка-ка-я... ты! ты! ты!

Она помолчала, а потом сказала:

— Николай, мне будет совсем плохо, если я не смогу жить без вас. Я совсем этого не хочу — понимаете? Ведь я в синие птицы не гожусь! Меня в эти клетки, — она показала на угол, — не посадишь, я только сама по себе.

Николай вдруг отпустил ее и пошел в тот угол, где стояла клетка, закрытая простыней. Осторожно поднял ее и перенес на подоконник.

— Смотри! — сказал он и открыл клетку.

Синяя птица смирно сидела на жердочке и смотрела на них.

— Видите: уже привыкла! — сказал Николай с выражением, которого она не поняла. — Она ведь обыкновенный дрозд, только перышки у нее синие, да живет высоко — не достанешь, а так как все дрозды быстро привыкают к хозяину, сейчас она запоет.

Он перегнулся и осторожно открыл окно. Был ясный погожий день. Пахло землей, цветами, зеленью и спелыми яблоками.

— Ну, — сказал Николай, повертываясь к Нине, — смотрите!

Синяя птица беспокойно вертелась на жердочке, спрыгивала, опять вспархивала и смотрела то вниз на двор, то на них, потом вдруг успокоилась, притихла и издала какой-то резкий каркающий звук — не то отказываясь навек от песни, не то прочищая горло перед первой песней в неволе.

— Что она? — спросила Нина.

Он улыбнулся.

— А вот сейчас она запоет, и вы услышите, какие песни поют синие птицы в неволе.

* * *

Совесть... эта ведьма,
От коей меркнет месяц и могилы
Смущаются и мертвых высылают.

«Скупой рыцарь»

Она вспоминает это, сидя на кушетке, и ей становится все мутнее и все тяжелее. Что толку, что она сейчас пробует ворчать, огрызаться, валить с больной головы на здоровую и ругать Николая: с совестью разговор ведь короткий — она не спорит, она попросту спрашивает:

— Ты же кричала «люблю, люблю» и спуталась с другом, какая цена тебе после этого?

— Но я его ждала — ты знаешь!

— Сколько ты ждала? Как ты ждала? Ездила по курортам? В институте мечтала о великой любви, а стала взрослой, что получилось?

— Николай сам был во многом виноват, — почему он мне не дал ребенка? Что, я не просила его об этом? А ты знаешь, какое это унижение, когда красивая, самолюбивая молодая женщина должна... Э, да ты отлично знаешь все, но ты провокаторша, как все совести на свете.

Но это жалкая отговорка, — совесть не проведешь — она старая наторелая ведьма.

— А почему же ты сразу не разорвала с ним? Вот тогда бы ты была права, — говорит совесть.

— И изменял он мне тоже много.

— Бедная девочка, — он ей, оказывается, изменял! Что ж ты молчала!

— Что делать! Я такая тряпка. Я его люблю.

— Ах, ты тряпка! Ах, так, оказывается, любишь! Ну, хорошо! А вот он завтра придет к тебе, что ты с ним сделаешь? Захлопнешь перед носом дверь и скажешь: «Иди,

иди на все четыре стороны!» Или тебя не хватит и на это? Ты же тряпка! Так же любишь! Ты синяя птица в его клетке!

Она молчит.

— Так что ж ты все-таки сделаешь?

— Но у меня долг перед сыном и Григорием, — умоляет она, — что, ты не знаешь этого?

Совесть зло смеется.

— Я знаю, что ты с ног до головы в неоплатных долгах, одних признаешь, от других отрекаешься.

— А лучше, если я брошу сына?

На это совесть не отвечает, и разговор прекращается.

Нина сидит, сжавшись в комок, и даже не плачет, а только дрожит.

Это ужасно, что иногда воскресают мертвые. Милый! Я похоронила и оплакала тебя, зачем же ты приходишь снова? А ты, конечно, пришел! Где это и про кого написано: «И лежит на нем камень тяжелый, чтоб встать он из гроба не мог». В жизни все совсем не так просто. Вот вернулся же мертвец.

* * *

И к первому мертвец приходит к Сергею.

Сергей сидел, писал и очень торопился, как вдруг входит Ленка, руки у нее трясутся, и она говорит:

— Сережа, там Николай!

Сергей вскрикнул и чуть не опрокинул стол вместе со всеми причиндалами.

— Да ты что? Взбесилась!

А Ленка сказала:

— Да уж лучше бы я взбесилась. — И ушла.

Сергей выскочил в переднюю. Там возле вешалки стоял живой Николай и держал за ворот синий реглан с продолговатыми пуговицами, рядом прыгала Ленка и пыталась что-то сказать, но только у нее ничего не получалось; одни только ахи да охи.

— Как же так? А мы уж так...

— Сережа! — тихо выдохнул Николай и швырнул реглан на сундук, и тут Сергей крикнул и бросился ему прямо на шею, и все сразу пошло колесом. Они обнимались, а рядом прыгала Ленка, плакала и кричала:

— Сергей, ну что ты его давишь? Идите же в комнаты, товарищи!

— Дай хоть взглянуть на тебя! — с восторгом говорил Сергей, поворачивая его и так, и эдак. — А худой! А бледный! Ну, в гроб краше кладут.

— Я и лежал в гробу восемь лет, — усмехнулся Николай. — Что ты смотришь? Так! Так! Восемь лет в номерованном гробу.

— Д..! — заикнулся было Сергей.

— Ай! Да что вы такое развели, товарищи, — крикнула Ленка со слезами на глазах. — Николай, да ты, наверно, голодный еще (до сих пор она — на людях по крайней мере — была с ним на «вы», но сейчас, конечно, все полетело к черту). Милый ты мой! Ну вылитый Кощей Бессмертный — лица нет, один нос! Ну, идемте, идемте, товарищи!

И под руки она их повела в столовую.

* * *

Получилась чертовщина.

Сергей всегда твердил: «Нина абсолютно во всем права, — до каких пор можно ждать? Нина не из породы бабочек. Ей надо было иметь ребенка и семью, и она *должна* была выйти замуж. А такого человека, как Григорий, еще нужно поискать!» Так он говорил всем и всегда, но сейчас он вдруг сразу понял: то, что она сделала, это чудовищно, противоестественно, и никаких иных слов для этого нет. Вот они сидят, разговаривают, радуются, а ее нет. А ведь это должен быть ее праздник, ее торжество. Кто же так любил, кто же так ждал, как не она! Вот и дождалась, и что же? Можно ей зайти к ним?

Они сидели в столовой и пили чай.

— Ты только что с поезда? — осторожно спросил Сергей (он желал узнать, что Николай уже знает о Нине, что нет).

Николай допил стакан и подвинул его Ленке.

— Прошу, Леночка. Я к вам, братцы-кролики, прямо с Внукова. Дом-то ведь разрушен? Как нет?! А мне сказали — прямое попадание. Значит, нет? Вот что!

Сергей украдкой посмотрел на Ленку. Может быть, он ничего не знает, — разрушили ведь не жилой дом, а театр, а жилой-то дом цел, и там Нина с Григорием, — вот залетел бы!

— И хорошо сделал, что прямо к нам, — спокойно похвалила Ленка. — Нины все равно в городе нет. Она сейчас с театром в Дмитрове. Приедет в конце недели.

Молодец, Ленка, и тут выручила! Черт знает, что за самообладание у баб!

— Ах, так! — естественно откликнулся он. — Я ведь, Коля, по-прежнему ничего о них не знаю! Леночка, надо бы все-таки...

Ленка вдруг встала.

— Я сейчас пойду ему делать ванну, — вот что! Николай, не рассказывай нечего без меня, я сейчас...

Когда она ушла, Николай сказал:

— Ну, а ты как, старик? — Сергей потерянно улыбнулся. — Ладно, знаю, знаю, а что ж ты меня все чаем да чаем, — водка-то есть?

— Боже мой! — испугался Сергей и ударил себя по лбу. — Видали дурака? — и выскочил в коридор. Там в ванной у колонки возилась домработница Маша, а Ленка стояла возле и грызла розовый ноготь на большом пальце.

— Ты слышала? Он же ничего не знает, — отчаянно заговорил Сергей. — Прямо с самолета к нам!

— Я отдам ему свою комнату, пока он не... — печально ответила Ленка и вдруг сморщилась, как от сильной боли. — Боже мой! Боже мой! Нинка, Нинка! Что ж ты такое, дура, наделала!

— А сама нашептывала ей что?!. — сердито шепнул Сергей, косясь на освещенный квадрат матового стекла в двери, за которым находился Николай.

— А я что, умная я, что ли? — всхлипнула Ленка. — И я такая же дура, как и она, Сергей, милый, что ж мы теперь?.. — она схватила его за плечо и прижалась к нему.

— Ладно, пусти! — вырвался Сергей. — Он же послал меня за водкой!

* * *

Когда он вернулся с бутылкой и поставил ее на стол, Николай тянул чай прямо из горлышка заварного чайника, и Сергея передернуло, — так делает и Нина, когда волнуется и спорит. Разговаривает, разговаривает с тобой, кипит, кипит и вдруг подойдет к столу, нальет себе полстакана черного, горького отвара, выдует его одним духом и опять забегала по комнате. Господи, как они все-таки похожи друг на друга!

— А что ж не раскупорил? — Николай взял бутылку за горлышко. — Ух, особая! Стой! — Он вынул из кармана перочинный ножик. — Единственное, что вывез оттуда! — Сбил сургуч, откупорил бутылку. — Ну, за что выпьем?

Сергей солидно сказал:

— Прежде всего — за встречу.

Николай налил себе полный чайный стакан и вздохнул.

— Ну что ж, и это тост! Я как-то пил за железный крюк самому себе... Ух, дерет! Через час я буду без ног! Ничего!

— Пей, пей! — замахал руками Сергей. — Это хорошо с дороги. Сейчас тебе будет ванна.

— Дельно! — одобрил Николай. — Ванна — это очень дельно. Вымыться мне надо.

— Белье тебе приготовили, да придется ушивать, худ ты.

— Да белье я захватил — в портфеле. — Он налил себе еще, но вдруг оставил стакан. — Вот что, Сергей, — и быстро! — чтоб ничего не сочинять: что с Ниной?

Сергей молчал.

— Ну, я знаю, она замужем, — так за кем?

Сергей ответил:

— Да я его мало знаю, Коля.

— Ты его хорошо знаешь, Сергей, и не ври. Она, наверно, к тебе раз десять бегала советоваться.

— Не так это все было, — ответил Сергей, мучаясь, и подумал: «Ну, а я-то тут при чем? Мне-то, товарищи, за что это?» Ему уже не хватало воздуха. — Ты ее не вини, — она долго ждала тебя, Николай!

— Да за что же винить? — пожал плечами Николай. — Нет, конечно, она правильно сделала.

Тут за дверью взорвалась Ленка. Она вся тряслась, лицо у нее пылало — и от волнения, и от газовой горелки, — она и сама не знала, что бы она не отдала, чтоб Нина имела право сейчас войти в эту комнату и сесть с ними за стол. Но она откололась, изменила, — не одному Николаю, им всем изменила, нашла черт знает кого и вот в эту минуту сидит там небось со своей «индийской гробницей» и хохочет, а крутиться приходится Ленке.

— Она стерва! — крикнула Лена, врываясь в комнату. — Она кукла! Никогда никого не любила, кроме своей наружности! Подумаешь, ей припекло! Подумаешь, она не могла ждать!

— Нет, я ее не виню, Лена, — серьезно и спокойно сказал Николай. — У нас не было ребенка, а теперь у нее ребенок, — нет, я даже одобряю ее.

— Подите вы все к бабушке с вашим одобрением, — рявкнула Ленка и подскочила к столу. — Он ее еще одобряет! Стерва она, вот и все! Как она меня направила, когда я к ней сунулась с Володькой, — треск пошел! А потом что? Чего ей не хватило? Ждала, ждала, кричала —

люблю, люблю, а сама в это время на курортах... ух ты! — И она скрипнула зубами.

— Нет, нет, не виню! — повторил Николай и быстро опорожнил стакан. — Плохая твоя водка, Сергей! Не берет что-то! Когда это вышло, Сергей?

— Ее сыну уже четыре года, — ответил Сергей и умоляюще поглядел на Николая. — Коля, милый, не надо об этом, ладно? Завтра решим все! А сейчас выпьем. Садись, Леночка! Ну-ка налей мне, Николай!

— Нет, не берет меня твоя водка! — сказал Николай, отставил бутылку и встал.

Часть III

Глава 1

Николай лежал не диване и разговаривал с Сергеем. Сергей ходил по комнате, думал о своем и отвечал что-то невпопад, так что наконец Николай спросил:

— Да ты меня слушаешь или нет?

— Да, да, — поспешно ответил Сергей и остановился перед ним. — И больше ты ни этого попа, ни Жослена не видел?

— Во-первых, он не поп, а профессор теологии, — солидно поправил Николай.

— Действительно разница!

— Во-первых, это таки некоторая разница, во-вторых, он сейчас уже и не теолог. Из университета его исключило еще лавалевское правительство, а потом пошли нелады по духовной линии, где он сейчас, не знаю.

— Ну, это я узнаю тебе точно.

— Спасибо. Что же касается Жослена, то тут я просто ничего не понимаю. Ты помнишь его по Москве? Ну и вот! И как ты хочешь, я ему верю; так или иначе, записку он переправил бы. — Николай вскочил с дивана. — Нет, она получила эту записку! Она получила ее.

— И ото всех скрыла? Этого не может быть, Николай, — покачал головой Сергей. — Мне-то она все говорила.

— Ах, все? — поглядел на него Николай. — Ну, я же тебе говорил: она раз десять к тебе сбегала, прежде чем...

— Вот тут ты не прав, об археологе я ничего не знал. То есть я знал, но тогда уже было поздно.

— А что такое в этих делах — поздно? — спросил Николай, подумав.

— Ну, это уж лишний вопрос, — поморщился Сергей, его мучили все эти разговоры. — Нет, я не про какую-нибудь ерунду говорю. Беда в том, что у нее появилось к нему настоящее чувство. Когда она мне рассказала о том, что с ней случилось летом, я только сказал: «Молчите и не трепитесь — ничего этого не было» — и тоже подумал: ну, мало ли что! А через несколько дней она уехала к нему. Ну, поздно это или нет? — Николай молчал. — Может быть, об этом не стоит?

— Да, пожалуй, что и не стоит, — согласился Николай. — Но говори, говори — как это вышло? Просто привела его к себе и все?

Сергей подумал.

— Да нет, не привела. Вообще как-то странно получилось. Я до сих пор толком не разберусь. За несколько дней до этого был у нас тот самый разговор, и она сказала: «Никогда, никогда, ни при каких обстоятельствах» — и так сказала, что я полностью поверил, а через три дня уехала на гастроли и очутилась совсем в другом конце, в степи, в палатке у него.

— Он что же, геолог?

— Археолог он! Ну, я как раз был тоже там, и вдруг меня будит фотограф и говорит: «Слушайте, Нина Николаевна в соседней палатке». А через десять минут входит она, вся красная. «Сережа, я сошла с ума». Ну что бы я ей мог?.. Ну, что бы ты сказал?

— Да, нечего сказать!.. Сергей, сейчас регланы уже не в моде? Я что-то сегодня ходил, специально смотрел — ни одного не заметил.

— Вообще, — подумав, ответил Сергей, — тебе надо будет купить в универмаге обыкновенное демисезонное пальто с круглыми черными пуговицами.

— Да, да, — подтвердил Николай, — я тоже думаю: с круглыми черными. Так вот, значит, как было!

— Я еще, по правде, и тогда не думал, что дело кончено, но... — Он поискал слов. — Дело таки было кончено, и я увидел это на следующий день, когда они оба пришли ко мне.

— И потом ты был на свадьбе?

— Был!

Помолчали. Вдруг Николай хмыкнул и покачал головой.

— Что ты?

— А интересно бы на них посмотреть. Он, наверное, сияет как самовар? Он красивый?

— Нет. Высокий, худой, волосатый, неуклюжий.

— И зовет она его?..

— Григорием.

— Ну, кто ж зовет так мужа? Гришенька!

Сергей хмуро молчал.

— Гришунчик, Гришок, Гри-Гри!

— Оставь! — резко оборвал Сергей. — Вот сидишь и нарочно! Сам себя расковыриваешь, зачем тебе это? Больно? Знаю, что больно! Так поплачь! Вот она плакала о тебе не стесняясь, но иголочки себе — вот эти подлые иголочки — под ногти не загоняла.

Николай молчал.

— Ты хочешь знать, любит ли она его? Да, она его любит! Больше или меньше, чем тебя? Не знаю, но думаю, что, наверное, много, много меньше. Тебя она любила с мучением, с болью, хорошо знала, что ты за птица, но расстаться не могла, любила. Про этого она знает, что он хороший, но любит меньше. Так мне кажется, а там не знаю. Уйдет от него? Нет, не уйдет! У нее же ребенок! Мучиться будет, может быть, бегать к тебе, но уйти от него — нет! — Он помолчал, посмотрел на Николая. —

А кстати сказать, вот это «*бегать к тебе*», как – это устроило бы тебя?

– Дурацкий вопрос, Сережа. – Николай вздохнул. – Нет, мучить ее я не стану.

– Так вот это и главное! – подхватил Сергей и схватил Николая за руку. – Не мучь ты ее – не надо! Ну что тут поделать? Ну что? – Он развел руками. – Ну так сложилось! Судьба, война, безвестность, ну что ты?.. Ну что ты тут будешь?!. – Он положил ему руку на плечо. – Крепиться надо, старик, ты ведь и сам кое в чем виноват, правда? Виноват же – ну вот и все! – Николай молчал и смотрел на крышку стола.

– Ты знаешь, Сережа, – сказал Николай серьезно, – ты говоришь – поплачь! Нет, не доходит до меня эта боль – вот весь этот ужас – я тут, а она там, и нам нет пути друг к другу. Ты говоришь – поплачь, – а если слез нет?

– А как ты там? – заикнулся Сергей.

– Там я плакал – о! Там я так потихоньку плакал, что проснусь – и подушка мокрая. Все время о ней думал. Вспоминал все, все позволенное и непозволенное, это меня и спасло. Вот Данте писал: «Нет муки горшей, чем в дни печали вспоминать о счастье». Чепуха это! Ерунда. Если бы у меня не было бы этого, я...

На столе зазвонил телефон, и Николай сорвал трубку.

– Да! – крикнул он и послушал. – Да! Дома! Сейчас передаю. – Он протянул трубку Сергею.

– Тебя.

– А ты куда?

– Это Нина, – ответил он с порога, – я никуда, я тут. – И ушел.

* * *

– Здравствуйте, Сережа!

– Здравствуйте, Нина!

Голос у Нины подрагивает.

— Сережа, я хотела бы вас видеть, но у меня такое кислое настроение, что я боюсь показываться людям.

— Отчего же, Ниночка, оно у вас кислое? — голос у Сергея усиленно ровный — ведь там за дверью стоит Николай, слушает все. — Отчего оно такое кислое, Ниночка?

— И вообще кислое, а кроме того, произошел один непонятный и даже страшный разговор.

— О-о! Даже страшный!

— Даже страшный! Меня спрашивали о Николае.

— Ниночка, одну минутку. — Сергей подходит, открывает дверь: там никого нет — ушел.

— Да, я слушаю, Ниночка, спрашивали о Николае! Кто и при каких обстоятельствах спрашивал?

— Пришел какой-то странный человек — видно, что военный, но в штатском.

— Это что, в театре было?

— Да, в театре.

— Так-так.

— Пришел этот странный человек в штатском и стал меня расспрашивать о Николае и о том, что бы я сделала, если бы он вернулся.

— И что же вы ответили?

— Ну... ну, я сказала, что отец моего мальчика Григорий.

Пауза.

— И потом мне было очень плохо, тут у нас еще репетируется этот «Чужой ребенок». Я играла как во сне, и вот два дня сижу в своей комнате и никого к себе не пускаю.

— Та-ак! Нина, вы сейчас одна?

— Одна. Говорите, я слушаю.

— Так вот, Нина, очень странный вопрос: вы его до сих пор любите?

— Конечно, Сережа.

— А мужа?

Пауза.

— А мужа?
— Разве я смею сделать его несчастным?
— Но кто-то из двоих должен быть несчастным.
— Да?
— Да! И вам придется выбирать.
Долгая пауза.
— Сережа, он пришел?
— Да, он пришел.
— Это он снимал трубку?
— Да.
— И сейчас стоит рядом?
— Нет, он отдал мне трубку и вышел.
Очень короткая пауза.
— Спасибо, Сережа, до свидания.
— До свидания, Нина.

Сергей еще стоит у телефона и слушает. Нет, Нина положила трубку на стол, чтоб к ней никто не звонил.

* * *

Вот тебе и любовь! Вот тебе и ожидание! Гора родила мышь. Гора родила мышь. Гора...

Смотрите, люди добрые, идет по улицам высокий худощавый человек, сам белый, на щеках черные ямины, улыбается и бормочет всякую чепуху. Что ж он бормочет?

— Шиш тебе, дураку!.. Замуж за эллиниста! Эллинист он, что ли! Собираются эллинисты, иранисты, арабисты, гебраисты, кто там еще есть? Ассирологи, египтологи, синологи, санскритологи. Играют в покер, а она: «Мусенька, мой первый муж никогда не играл в покер, почему так?!.», «Профессор, еще кусочек кекса, а?! Мы с Дашей...», «Товарищи, как специалист оцениваю мастерство хозяйки», «Вы меня смущаете, профессор. Ваша оценка...» Ух, сволочи эллинисты-египтологи!

Он выбрался из сети переулочков и прошел в небольшой сквер.

Тут было все так же, как и десять лет тому назад, — те же пыльные кусты, скучный стриженый газон, серый ящик, срезанный как гроб, а возле него песок и метла, фонари, круглый памятник посередине — и сидит напротив памятника нянька, держит на руках мальчишку, а мальчишке три или четыре года, у него блестящие, как у котенка, глаза, и он с удовольствием смотрит на худого дядьку, что сидит рядом на скамейке. А дядька не то пьяный, не то тронутый, все время гудит и улыбается. Нянька посмотрела, посмотрела, да и сказала мальчишке: «Иди, милый, гуляй — вот Аничка с совочком вышла — иди скорее, милый!»

Часов десять утра. Пасмурно и тихо. Солнце в теплых тучках. Позвякивая, прошел голубой обтекаемый трамвай и остановился. Соскакивают пассажиры, у всех свои дела, все куда-то торопятся, — вот сошла веселая компания: девушка в красном, девушка в белом и двое загорелых простеньких парней в голубом. Рукава закатаны, зубы белые. «А не опоздаем мы?» — спрашивает девушка в белом. Девушка в красном смотрит на браслетку: «О-о-о! Еще двадцать пять минут!» Засмеялись и прошли. Быстро и мелко семеня, проходит пожилая дамочка с черной сумкой на молнии. Тоже торопится. А вот широко и размеренно шагает полный румяный гражданин с ответственным желтым портфелем — хотя и пасмурно, но тускло поблескивают никелированные застежки и замочки на карманчиках.

Две девочки-подростка в гимназических платьицах с белыми воротничками проходят, о чем-то толкуя. «Но ты представляешь мое положение?» — солидно и горячо спрашивает одна, с косичками, и Николай понимает: это замечательно, что у нее уже есть какое-то положение! Да, у всех есть свое положение, — только у него нет ни черта — ни дела, ни положения. Росла его жизнь, как сад — бестолковый, запущенный, но такой богатый, — стала его жизнь как пустыня — спокойно, просторно, светло — строй что угодно, но уже в полной пустоте. На песке

строй. Это теолог по-ученому, наверно, говорил: «Гора родила мышь» — нянька его была простая старуха и выражалась проще: «Оглянулся назад — одни спицы лежат». Личной жизни у тебя отныне — нет. Сотня-другая вспомнят тебя хорошо, десятка четыре даже со слезой, а кровь себе портить из-за тебя никто не будет, — к чему им это? Что ты им сделал уж больно-то хорошего — никому, ничего! Вот Ленка и Сергей, что и говорить, друзья старые, преданные, как псы, такие не подведут и не забудут, а вот смотри: радости-то нет — Ленка целый день только и улыбается, как в фотообъектив. Сергей честнее — он просто ходит как побитый и прячет глаза. И понятно почему — ты же нелеп, неправдоподобен, страшен и своими претензиями — где моя жена? где моя квартира? где моя жизнь? — и даже тем, что ты существуешь на советской земле, — у кого же здесь есть еще такая неприбранная, всклокоченная, путаная жизнь? Какой меркой тебя мерить? На каких весах взвешивать? Ну к чему ты выкарабкался и пошел гулять по Москве? Ползи-ка ты лучше с улицы к Сергею домой, в ту комнату, где нету телефона и не позвонит Нина. Десять лет она к тебе приходила. В грязь, в холод, в слякоть — через камень, через тысячи морозных верст, все шла и шла к тебе, забиралась с ногами на твою койку, и вы вспоминали всю свою жизнь. Теперь не она, ты добрался до нее, но она к тебе не придет. Незачем ей приходить к тебе, она теперь ходит к другому, и у них тоже есть чем заниматься, будь спокоен!

Николай сидит, улыбается и постукивает пальцами по колену.

Ах, какие неприятные мысли приходят в голову, когда пасмурно.

* * *

Только что Нина отошла от телефона и снова забралась с ногами на диван, как вошла Ленка, тихая и грустная.

— Не помешала? — спросила она.

Нина подобрала ноги.

— Садись, пожалуйста! Что хорошего?

Они сели. Помолчали. Посмотрели друг на друга.

— Что у тебя такой вид? — с фальшивой озабоченностью спросила Ленка. — Голова болит?

— Немного, — ответила Нина.

Игра продолжается — Ленка приложила руку к ее лбу.

— Да, жарок есть! Градусов тридцать семь. А у тебя холодновато что-то.

— Я открывала фортку.

— А-а! — и Ленка играет бахромкой от кушетки.

— Лена!

— Да!

— Как он выглядит?

Ленка все играет бахромкой.

— Худой очень, щеки провалились, а так прежний.

— Поседел?

— Не знаю! Нет! Может быть, виски немного.

Нина сидела, обхватив руками колени, и задумчиво смотрела на Ленку.

— Спрашивал о тебе, — вдруг сказала Ленка.

— Да? — как будто даже безучастно отозвалась Нина. — И что же, он все знает?

— Он знает, что ты замужем, знает, что у тебя сын. Не знаю, может быть, сейчас Сергей рассказал и еще что-нибудь. Нина, милая, что же будет?

— А я знаю, Леночка?

— Как же ты теперь будешь жить? — Нина молчит. — Какой-то у него реглан, пуговицы длинные и синие — где он такой оторвал, не знаю, — горько говорит вдруг Ленка.

Нина быстро вскидывает голову.

— Слушай, а как у него...

— Что? — молниеносно кидается на нее Ленка.

Нина виновато замолкает.

— Ну и дура! — хлестко и жестоко выговаривает Ленка. — Он же у нас, кто тебе что позволит.

Молчание.

Нина встает и подходит к окну.

— И большой мир, а не разойтись двоим, — сказала она просто и задумчиво, смотря на мокрые крыши. Эта фраза что-то сразу изменила во всем. Ленка встала и подошла тоже к окну.

— Но ведь так же жить нельзя, Нинка! Надо же что-то решать — так, так, так, а не так, так...

Нина посмотрела на нее.

— А что ж решать мне, Лена? Сын мой, я от него никуда не уйду.

— Сын твой, а Николай теперь чей?

Нина пожала плечами.

— Не знаю! Той Нины нет. Я мать ребенка Григория, мне решать нечего.

— А-а! Все это разговорчики, — вдруг зло махнула рукой Ленка. — Та Нина, эта Нина. А вот конкретно — завтра к тебе приходит Николай, — что ты будешь делать?

— Но это ведь ты говоришь от себя, а не от него, так? — спросила Нина, помолчав.

Ленка скверно выругалась сквозь зубы и сжала кулаки.

— Я говорю с тобой как твоя подруга, я говорю как друг Николая, я говорю как... хорошо, я тебе скажу: как его любовница, которую он обошел из-за тебя. Никто надо мной так зло не поиздевался, как ты, Нинка! Вот я и хочу узнать: хоть сама ты чего-нибудь получила? Или так, все фыркаешь и гордишься?

Нина долго смотрит на мокрые крыши.

— А ты не видишь, какая я гордая да счастливая, как я выросла на твоем несчастье.

И снова обе подруги молчат, стоят друг возле друга и смотрят в окно.

* * *

Нянька ушла и мальчишку увела. Он шел и все оглядывался на смешного дядьку, и тут из туч вышло солнышко, и сразу все вспыхнуло, брызнуло, заблестело — и в лужах, и на зелени, и в небе; ослепительно загорелись замочки на портфеле ответственного товарища. Только всего и произошло, а Николаю сразу стало легче. Ну да, жизнь не удалась, он промазал — мотался, мотался и остался в конце концов один-одинешенек, что ж... Его пример — другим наука. Но вот на него упали разлука, война, плен, такие муки, о которых тот, с портфелем на замочках, и понятия не имеет. Что ж, разве он не устоял тут? Устоял! Даже не подумал о легком выходе, а его ох как можно было найти.

И эта мысль подняла его. Он встал и пошел — в конце концов у него же осталось в руках самое лучшее в мире — его профессия. Пусть кто скажет, что она в плохих, неумелых или нечестных руках. А ты оставайся себе с эллинистом. Разноси профессорам чай, пеки им торты, народная.

Он шел и думал так, и ему становилось все легче и легче, потому что на всю улицу и сквер — на головы, лужи и зелень — светило солнце и все вокруг — даже острые углы бронзового постамента — сверкало и радовалось!

* * *

В это время его окликнули. Он обернулся — Сергей.

— Старик, старик, это же никуда не годится: какой был уговор? Уходишь — говори куда и на сколько. А тут что ты делаешь? — Сергей с сомнением смотрел на него.

— Да вот, пройтись пошел, — ответил Николай. — Солнышко тут!

Сергей укоризненно улыбнулся.

— И все оно в одном окне? И именно в этом? Не хитри уж, старик.

Николай обернулся, они стояли перед окнами его старой квартиры. Вот если бы там его увидали — подумали бы, что выслеживает, преследует, набивается на встречу. Он: «Ты смотри, ведь стоит и стоит! Дай-ка я выйду, скажу ему пару слов». Она: «Сиди! Походит, походит и уйдет». Николай даже покраснел — вот занесла нелегкая!

— Идем! Нет, Сережа, я сюда не ходок! Не веришь? Эх, психолог! Ну, скажи сам — это вообще-то возможно для меня или нет?

Сергей посмотрел на него и отвел глаза.

— Ладно, не в этом дело, не только, значит, Ленка правильно определила, где ты. Тебе звонили из МИДа. Просили явиться к начальнику отдела, точно в восемь часов. Сейчас точно семь. Идем обедать, а потом я тебя отвезу. — Он взял Николая под руку. — Я говорил тебе — не плачь, без работы тебя не оставят. Эх, старик, старик, а не заглядывался бы ты все-таки на эти окна — шут с ними, а?

Глава 2

Начальник отдела — черный худой товарищ, весь из костей и эластичных связок — задал Николаю несколько быстрых коротких вопросов — только о здоровье и устройстве, и когда Николай ответил на них, сказал, подытоживая:

— И значит, особенно держаться за Москву сейчас не будете?

— Нет, — ответил Николай. — Не буду.

— Ну вот, вот, — обрадовался начальник отдела и позвонил. — На первое время мы вам предлагаем Ленинград. И это не терпит никаких отлагательств. Ну дня два дать вам могу, и то...

Вошла секретарша, высокая, тонкая, красивая, в красном гладком, как чешуя медянки, платье, маленькая голова у нее была тоже сухая и красивая, как у змейки, но

с гривкой. Она легко и ласково поворачивала ее из стороны в сторону.

— Как у вас с Николаем Семеновичем? — спросил начальник отдела.

Секретарша посмотрела на Николая.

— Все бумаги уже у меня, и если товарищ Семенов зайдет ко мне...

— Сейчас зайдет! Как я понимаю, ваше семейное положение...

— Один! — Николай поднял большой палец.

— Да, да, да! — закачал головой черноволосый и вдруг спросил: — Сильно голову не вешаете? Нет? Ну и молодец! В жизни и не то бывает. — Он кивнул секретарше, и она вышла. — Сейчас я бы хотел вас ознакомить с кое-какими документами. Вы помните Жослена?

— Жослен? Что с ним?! — вскочил Николай.

— А вот! — начальник отдела выдвинул ящик стола, достал оттуда кожаную папку и положил перед Николаем несколько листов голубой почтовой бумаги и несколько больших листов, напечатанных на машинке.

— Читайте: это о вас и вам.

«Уважаемый г-н министр!

Обращаюсь к вашему высокопревосходительству с просьбой, исполнение которой, я думаю, не составит затруднений. Дело идет о моем коллеге, о вашем соотечественнике — Николае Семеновиче Семенове. Я знал г-на Семенова и его жену по Москве, где долгие годы представлял свою газету, но вплотную встретился с ним в июне 1944 года в городе Эн. Примерно за месяц до этого я имел конспиративное сообщение из зондерлагеря от его преподобия доктора нравственного богословия и патристики отца (пропуск). В записке, переданной мне, сообщалось, что г-н Семенов бежал из зондерлагеря близ самого г. Эн и направился на Запад, где и должен был встретиться кое с кем из друзей е.п. Мне предписывалось оказать

всю потребную помощь как в переправе г-на Семенова на Восток или Запад, так и в снабжении его документами достаточной достоверности. Тут же е.п. давал краткую, но исчерпывающую характеристику г-на Семенова. Приводить ее тут я считаю излишним, но она сводилась к перечислению выдающихся человеческих качеств вашего соотечественника. Я, знавший г-на Семенова и раньше, был рад, что е.п., человек мудрый, прозорливый и бдительный, счел для себя возможным пойти в характеристике моего коллеги дальше даже, чем я сам. Итак, я ожидал г-на Семенова, однако он не явился, а те справки, которые я наводил в условиях необходимой конспирации, тоже не дали результатов. В конце августа 1944 года е.п. счел свое дальнейшее пребывание в зондерлагере бесполезным и даже опасным и для себя, и для возглавляемого им дела и бежал. Мы встретились. Несмотря на краткость свидания и отрывистость разговоров, вызванных крайней спешностью и обстоятельствами свидания, е.п. весьма решительно и определенно повторил свою волю насчет переправки моего коллеги. Я обещал выполнить все, и когда счастливый случай через несколько дней действительно свел меня с г-ном Семеновым, я предоставил себя в его полное распоряжение. К тому времени положение г-на Семенова было таково. Он жил по документам, полученным им (или отнятым, или приобретенным иным путем — не считаю возможным входить в подробности), по документам некоего Габбе, офицера эсэс. Получив от г-на Семенова эти и еще некоторые сведения (он лежал в лазарете и потом жил на частной квартире), я предложил ему свой план перехода немецко-французской границы восточнее г. Аахена, причем взялся его снабдить документами. Г-н Семенов согласился. Все остальное было в точности проделано в соответствии с планом. При расставании г-н Семенов передал мне письмо для пересылки или передачи своей жене, заслуженной артистке Советского Союза. Я, разумеется, обещал, однако после-

дующие события слагались далеко уже не столь благоприятно. Я был схвачен органами политической полиции, как-то нащупавшей мои зарубежные связи, заключен в лагерь для иностранцев. При обыске у меня были изъяты все бумаги, в том числе и записка г-на Семенова на имя его поистине обворожительной супруги. Однако содержание ее я помню дословно. Она была стилизована для целей конспирации как национальная русская сага (былина), содержала примерно 50 строк. Ее содержание — это разлука рыцаря (богатыря) с его дамой перед битвой с русским драконом (Горынычем). Вот что сохранилось в моей памяти.

Ты прощай, прощай, ненаглядная,
Я иду-бреду в пасть Горыныча,
А приду ли назад — Господь ведает.
Коль вернусь к тебе, поцелуемся,
Коли встретимся, дотолкуемся.
Ты ж прости мои прегрешения,
Вины вольные и невольные,
И с другими меня не поругивай,
И с подружками не захваливай,
А скажи: жил-был добрый молодец,
А теперь на нем трава выросла.

Вот центральная часть саги. Остальное забыл. Просидел я в таком превентивном (т.е. незаконном) заключении два месяца и бежал. Очутившись на родине, я сейчас же сделал попытку связаться с его преподобием и с моим коллегой. Первое удалось, второе нет. Однако кое-какие сведения до меня дошли: я узнал об активной и даже героической — да будет позволено выразиться так — борьбе г-на Семенова в разных местах порабощенной Франции от заливов Нормандии до гор и лесов Арденн. Я думаю, однако, что вы сейчас имеете более подробные сведения.

На этом я кончаю. Ваш (подпись по-русски).

Мой адрес: (следует адрес). Шлю нам лучшие пожелания.

Заведующий отделом стран Восточной Европы газеты «Лозанн цайтунг» (полная фамилия, имя, адрес).

P.S. Политика моего правительства на допускает меня принять участие в борьбе за свободу и честь Европы. Однако, во всяком случае мое сердце и симпатия, с вами навсегда.

Доводя об этом до сведения В.Пр., прошу принять уверения (подпись)».

— Вот что мы ему ответили, — сказал черноволосый и положил перед Николаем бумагу на бланке Наркомата.

«Наркомат иностранных дел благодарит вас за доставленные сведения о судьбе советского журналиста Николая Семеновича Семенова. Это тем более ценно, что никакими данными подобного порядка советские органы до сих пор не располагали. Было бы хорошо, если бы вы, г-н Жослен, могли снабдить нас более развернутыми сведениями, особенно о днях, близких к настоящему времени. Что же касается до записки, отрывок из которой вы запомнили, то она пока теряет свое значение, поскольку автор ее жив и активно участвует в борьбе против немецких поработителей.

Еще раз благодарим и просим дальнейших сообщений».

— На это мы получили:

«Я очень немногое могу прибавить к своему прежнему письму — группа сопротивления, где, по моим соображениям, находится ваш соотечественник, это именно та боевая организация, которая организовала взрыв на аэродроме вблизи г. Арраса. Основания, по которым я делаю это заключение, тут, конечно, изложены быть не могут, я вполне понимаю и одобряю ваше решение не доводить мое письмо до супруги г-на Семенова в на-

стоящее время, но не согласитесь ли вы передать прилагаемую бумагу либо самому г-ну Семенову, если он вернулся, либо его очаровательной супруге, если его нет в Москве.

Остаюсь (подпись)».

К этому было приложено такое письмо:

«Дорогой друг, мы с вами расстались настолько недавно, что у меня и не могло бы быть повода для такого обширного послания, если бы не масса событий, которые произошли в это время. Во-первых, я уже не могу исполнить ваше поручение. Былины о Горыныче у меня уже нет, она была отобрана при аресте. Про этот арест я скажу вам немного – я был схвачен безо всякого видимого основания, во время получения пропуска на выезд, и заключен в лагерь для иностранцев. Что послужило основанием, я не знаю, но едва ли тот разговор в вагоне. Кажется, я показал тогда, что знаю слишком много. Я, конечно, не вынес всех тех ужасов, и моральных, и физических, какие испытали вы на Востоке, но для меня и этого было предостаточно. Я бежал и теперь опять нахожусь в своем родном городе. Жены со мной нет, ибо обстоятельства складываются так, что мне, может быть, и не удастся написать книгу воспоминаний о фронте Сопротивления, хотя материалов теперь для этого предостаточно. Но об этом в конце. Был у меня е.п., и, выяснив все основные вопросы моей дальнейшей деятельности, мы довольно долго говорили о вас и обо всем, с вами связанном. Е.п. приводил вас как пример атеиста, который, даже не зная Бога, служит Ему. «Душа – христианка», – говорит благочестивый Тертуллиан, а согласно Евангелию, «кто многое возлюбил, тому многое простится». Я возразил е.п., что вряд ли Всевышнему угодно столь возвысить любовь, которая является другой стороной ненависти, но е.п. с большой энер-

гией возразил, что это не так, ибо ненависть ко злу сама по себе уже любовь.

Тогда я передал е.п. то, что вы рассказали мне о разговоре с ним: о горе, породившей мышь. На это е.п. ответил мне, что кардинально он и до сих пор не отошел от этой формулы, ибо в тот час или минуту, когда он поверит в ее ложность, ему придется сбросить рясу и окунуться в мир. А сделать он это не может, ибо идея Бога для него выше идеи мира. Но поскольку я, сказал он далее, уже не священник, а только теолог и кровь врагов запятнала мои руки, коими, может быть, я уже никогда не возьму чаши, я уже тем самым признал и человеческую деятельность, и абсолютную ценность ее в этом мире.

Тогда я спросил: как же с точки зрения Церкви говорить об абсолютной ценности человеческой деятельности, если она по самой сути своей призрачна, противоречива и обречена на то, чтоб кончиться ничем, т.е. мышью, которую родила гора. Ничто так быстро не приедается, как плотское, — и это лучший показатель его ничтожества — ведь так твердит все время е.п. А если это так, то к чему тогда борьба? Зачем тогда жертвы? Наши победы и наши поражения? К чему они? Созданный из персти в персть отойдет же — вот истинная позиция Церкви! — сказал я. Это, сознаюсь, со зла, потому что, как вы знаете, мир для меня так же абсолютен, как и все грешные радости его. На это е.п. ответил мне с обычной своей кротостью: «Зачем же забывать, что в этой борьбе вырабатывается самое ценное: человек. Ибо муки борьбы — тончайший инструмент в руках Господних для отшлифовки душ, и, борясь, убивая и умирая, мы не должны забывать о конечном результате этой борьбы — сознании человека, иначе действительно горсть пыли станет физической целью мироздания». И я подумал, что это правильно. Ничто не пройдет бесследно, все растит

душу, и, например, третичная обезьяна только и могла что рычать на удары судьбы, так как считала их бесполезными страданиями. А ведь это не только обезьяна страдала, — это еще рождался человек. Да будет же так!

Не сегодня завтра отзвучат последние выстрелы, санитары соберут и похоронят последних покойников, и е.п. отслужит панихиду сначала у арки Неизвестного солдата, потом в своей университетской церкви, так неужели кто-нибудь будет вправе сказать этим мертвым, то есть нам с вами, что мы — только чтимая Церковью падаль? Что наша смерть ничего не дала миру и на этот раз война кончится ничем? И опять будет война, и убитые, и над их трупами снова пройдет е.п., маша все тем же кадилом. Нет, нет, не за это мы клали головы, не для этого сходились все крайности. А раз они сводились, значит, и для вас, и для нас есть что-то такое, какой-то такой центр всего, за что стоило умирать. Есть, есть, есть! Оно оторвало вас от жены и погнало в леса Польши, а потом на дюны Нормандии, оно вырвало у е.п. распятие, сунуло ему парабеллум и приказало: «Иди убивай!» — и меня, старого журнального зайца, гонит по делам, в которые мне, по моей профессии и здоровью, и совсем не полагается вмешиваться. А оно гонит! Оно таки гонит! Ибо тому, кто попробовал похлебку из жестяной мисочки и побывал в Катыни — не так уж легко сказать: «А-а, это тебя ведь не касается!»

Ух, каким длинным вышло это письмо, и все равно я боюсь, что вы ничего в нем толком не поймете. Четкости, во всяком случае, нет! Да и откуда мне ее взять? Во всяком случае, как видите, я беру обратно слова о бессмысленной смерти вашей девочки. Она была умная и знала, за что умирает.

Прощайте, а то я никогда не кончу — это ведь как разговор с самим собой, он бесконечен по самой сути.

Ваш...»

* * *

Николай положил письмо на стол.

— Вам понятно, почему мы и это письмо не передали. Оно вызвало бы только вопросы, на которые мы не могли бы ответить. Вот мы и ждали или вас, или второго письма от Жослена, но оно не пришло. Он погиб.

— Как?

— При переходе через линию фронта. Его схватили, — очевидно, было предательство, — продержали с месяц и расстреляли. Недавно в «Юманите» было опубликовано его предсмертное письмо.

Начальник отдела снова подошел к столу, поискал что-то и вынул газетную вырезку, обведенную синим карандашом.

— Переведете?

Николай кивнул головой и стал читать.

«Дорогая Жюси — вот и конец! Сейчас, когда все позади, мне разрешили тебе написать. Военный суд неделю тому назад приговорил меня к расстрелу, и сегодня они это выполнят. Как быстро все кончилось: оглянуться не успел — и жизнь прошла, и приходится умирать. Что же сказать напоследок? Тебя мне очень жалко, но стоит ли горевать обо всем остальном?

Я таки сделал карьеру!

Вийон, Казот, Руше, Шенье — я пятый литератор Франции, погибающий на эшафоте. Это ведь чего-то стоит! Мог ли я десять с половиной лет тому назад ожидать такого апофеоза!

Извини за тон, но мне сейчас нужно написать, как я тебя люблю, а ты знаешь, что для меня это всегда самое трудное! Но — люблю. Люблю, люблю, люблю. — Так люблю, что даже слезы наворачиваются на глаза, когда пишу. Как мне повезло, что я тебя встретил!

Привет всем моим друзьям. Е.п. в первую очередь — ты его, верно, увидишь не раньше конца войны, а это уж не (замарано типографской краской). Он тебе многое

тогда расскажет. А ты скажи ему, что надеюсь на его молитвы, но еще более на его политическую хитрость и политическое благоразумие — и на то, и на другое будет большой спрос после войны.

Целую, целую, целую.

Твой Густав».

Николай тихо положил на стол вырезку, обведенную синим карандашом.

— Так вот чем кончилось его путешествие, — сказал он задумчиво. — Он был по-настоящему хороший человек.

— Вот поэтому он и умер, — сказал черноволосый.

— И значит, есть же такие минуты, когда выход из тупика и есть выбор смерти.

Зазвонил один из телефонов. Начальник снял трубку и послушал.

— Да, у меня... Да!.. Насколько я мог понять — да!.. Нет, конкретно еще ничего! Хорошо, идем! — Он положил трубку. — А вы не поддавайтесь этому самому, — сказал он серьезно. — Это я насчет выбора смерти. Я понимаю ваше состояние, но... — Он взял его руку и задержал в своей. — Но просто не стоит — вот мы сейчас вас так загрузим, что затрещите. Сейчас мы с вами пойдем к... — он назвал одно из самых крупных имен в министерстве, — будет долгий разговор, а потом я хотел бы получить от вас кое-какие сведения. Отец Лафортюн — это и есть его преподобие? Ну так я вас могу обрадовать. Его преподобие живет, работает и здравствует, и, я думаю, вы скоро с ним встретитесь.

Дверь отворила Ленка.

— Ух, ну слава богу! — крикнула. — А мы уж... Сережка! Тот вылетел из комнаты.

— Ты! Ну наконец-то... А я уж тут черт знает что... Устал, старик? Ну какое «нет»! Еле на ногах стоишь!

Слушай, милый, – он помялся, – ты пройди пока в кабинет, а?..

– Я ему сейчас скажу: пусть уходит вон, – резко фыркнула Ленка. – Что такое, ей-богу! Нашел время.

– Там дело такое, – осторожно сказал Сергей, отстраняя ее. – Боже мой, какой у тебя вид скверный... Там дело такое – ко мне пришел этот археолог!

– Эллинист? – прищурился Николай.

– Почему ты его... Ну хорошо, эллинист, эллинист. Так я думаю: незачем тебе с ним встречаться. Ты пройди в кабинет, а я с ним тут скоростным способом.

Николай молчал.

– А может быть, ты сам его хочешь видеть?

Николай молчал и что-то думал.

– Нет, не надо! – вдруг решил Сергей. – Пусть придет в другой раз.

– Я сейчас пойду скажу, – сорвалась Ленка.

Николай схватил ее за плечо.

– Не надо. Я хочу с ним поговорить.

Глава 3

Сидели, пили чай, старались не глядеть друг на друга и разговаривали.

– Конечно, вам мой приход может показаться огромной бестактностью, – сказал Григорий. – Я не к вам пришел, но...

– Да нет, что там! – небрежно усмехнулся Николай, и первый раз поглядел ему в лицо. Глаза, верно, – хорошие, зато все остальное... И вот этот потертый морщинистый дядька – муж его Нины. У них ребенок, она, говорят, любит его – значит, и эту жердь любит? А как же иначе! Мать, жена. И тут ему представилось то, что он видел в бреду: голая Нина, а над ней жилистая костлявая рука с вожделеющими пальцами – вот чья это рука и вот кто он!

Он вздохнул и попросил чая.

— Вам, может быть, неприятно говорить со мной? — спросил Григорий.

— Да нет, пожалуйста, — холодновато ответил Николай и перевел дыхание. — Только вот что — давайте прямо, чтоб не крутить друг другу головы: к Сергею вас прислала Нина Николаевна, так?

— Нет, конечно, — удивился Григорий.

— Ага! Ну хорошо! Так вас интересуют мои намерения в отношении вашей супруги?.. Никаких намерений у меня нет. Я...

— Николай Семенович, — осторожно и мягко сказал Григорий, — вы простите, что я вас перебиваю. Вы не так поняли мой приход к Сергею. Я отлично понимаю, что вы на все имеете право — имеете право, например, прийти к Нине Николаевне и перед разговором выгнать меня из комнаты. Ну и на все, что вы и она считаете возможным, — Николай хотел возразить. — Минуточку! А я ни на что не имею самостоятельного права. Потому что Нина Николаевна такого права мне не дала и не даст никогда.

— Вот это правда, — согласился Николай. — Что правда, то правда.

Григорий посмотрел на него, вдруг вспыхнул, схватил чашку и потянулся через стол к самовару.

— Поставь! — строго остановил его Сергей. — Я сам налью.

— Так вот, я прямо скажу, Николай Семенович, — продолжал Григорий, пересиливая себя. — Вы — первая ее любовь, и до вас мне никогда не дотянуться. Ваша ошибка, что вы...

— Ты о деле, о деле, а не о его ошибках, — сморщился Сергей.

Григорий посмотрел на него.

— Мне нелегко говорить, Сережа, — попросил он, — так ты меня уж не перебивай.

— Сергей, — вдруг неожиданно сказал Николай, — когда я был ранен и бредил, самый большой мой кошмар был, что она вышла замуж за тебя и у вас ребенок. От этого я катался и выл... Да, да, Григорий Иванович, я вас слушаю. — Тот открыл рот. — Только знаете что — давайте закругляться. Вы, наверно, очень хороший и честный человек, это верно, и вы даете мне все карты в руки — это тоже верно. Но я-то плохой человек, и вам ваша супруга, наверное, рассказывала кое-что про мои штучки? Так вот, у меня — очень плохого человека — вертится в голове такая подлая мыслишка: а не потому ли он и великодушничает, что у него на руках такой туз, который с маху бьет всю мою колоду? Что там ни говори, а ваша супруга останется с вами — так? Потому что у вас есть ребенок — так? И меня вы ни капельки не боитесь, а просто не хотите никаких историй! Нина Николаевна, когда не в себе, наверно, очень кусучая особа, да? Я-то с этой стороны ее не знаю! Так? Моя правда?

— Ваша правда.

— Хорошо. Так чтоб ее успокоить раз навсегда, повторяю: никаких поползновений на вашу супругу у меня нет. Встреч с ней искать не буду, писем писать не собираюсь, по телефону не позвоню. Так? Так! Что я вам еще могу сказать утешительного?! Говорите, я готов!

Наступила тишина. Сергей сидел и тревожно смотрел на обоих. На стеклянной двери висела тень Ленки.

— Не следовало бы вам говорить так со мной, — сказал наконец Григорий.

Николай повернул голову и вплотную открыто посмотрел на него — теперь глаза его сверкали зло и насмешливо.

— Извините, как же я должен с вами разговаривать? — спросил он мягко и неумолимо. — Как именно? Какие чувства я должен к вам питать? Как вообще можно относиться к мужу собственной жены? На брудершафт с ним пить? Или об эллинизме разговаривать? Ну как, объясните?!

Григорий встал:

— Извините, я, верно, дурак.

— Постойте! — Николай поднял руку, и Григорий опять сел.

— Да, винить, кроме себя, мне некого, не вы уж так хороши, а я уж слишком плох. Там, на фронте, в землянке, в боях, потом в плену, я думал, что у меня есть на родине большая любовь, и действительно высоко поднимал голову. Но однажды один очень неглупый человек, хотя и поп, объяснил мне, что это чепуха, — вот ты придешь домой, сказал он мне, и увидишь, много ли у тебя осталось от этой любви. Вот увидишь, сказал он мне, как гора родит мышь! Я тогда только посмеялся — еще бы! Моя гора, моя любовь мышей не рожает. И вот пришел домой и нашел в своей кровати — вас. Вы завелись в той пустоте, которая осталась после меня. Что ж, обижаться не на кого, — оказывается, я не любил, а только играл в ногах моей любви. И за это мне нос. Ниной пока владеете вы.

Григория передернуло, но он смолчал.

— Спасает вас, конечно, ребенок, и это вы знаете лучше меня. Мне думается, что это даже было вам и прямо объяснено. Вы оказались сообразительнее меня — ну, ваше счастье.

— Скажите иначе: для моего счастья мне необходимо было ребенка, а вам — для вашего — нужно, чтоб никого не было. Вот и все. Вам нужна была именно пустота, — резко ответил Григорий и встал. — Хорошо! Благодарю за беседу.

— Вам меня не за что благодарить, — затаенно улыбнулся Николай, продолжая сидеть.

Поднялся и Сергей.

— Так вот, товарищи, разговор неприятный, но выяснили вы все. На этом поставим точку, так?

Все молчали.

— Поставим точку. И вот еще: я ровно ни-че-го не знаю! Так? Смотрите, чтоб никто из вас не проговорился Нине. Григорий, это к тебе относится.

— Нет, проговорюсь-то я, — сказал Николай с усмешкой и наконец встал.

— Как? — не понял Григорий.

Николай посмотрел на него.

— Сколько лет вашему сыну? Пять, шесть? Так вот, придет срок — и я приду и уведу от вас Нину! Мою Нину! Пусть ей тогда будет хоть сорок, хоть пятьдесят, — я ведь тоже буду стариком, но она бросит все и пойдет за мной! О, пойдет! Что, не верите? — Он говорил и размахивал руками.

— Стой, стой, Коля, — схватил его за руку Сергей. — Что ты за чепуху понес! Ты соображаешь, что ты такое городишь?!

— Нет, правильно, — крикнула за дверью Ленка. — Все правильно! И я подтверждаю — пусть только Петька немного подрастет. Она на животе поползет за тобой, Николай. Поползет, гадюка, только свистни.

* * *

— Мамочка, у тебя опять болит голова?

— А что, милый?

— А у тебя глазки красные!

— Да, родной, немножечко болит. А почему у зайчика все пальчики цветные? Боже мой, зеленая, красная, синяя! Кого же ты рисовал?

— Да не рисовал, как ты не понимаешь, красками не рисуют — это карандашами рисуют. Я рас-кра-ши-вал!

— А-а! Ну, теперь понимаю — кого же ты раскрашивал?

— Мамусенька, можно залезть к тебе на коленки?

— Лезь, милый! От так, — опля! Нет, на шею сегодня не надо, — вот придет папа, он тебя покатает. Так кого же ты раскрашивал?

— Ну какая же ты, мама, сама купила мне такую книжку и спрашиваешь! Павлина же!

— Ах, пав-ли-на! Ну-ну-ну.

— Мам, мамусенька, а почему у тебя слезки? Ты плачешь?

— Да нет, зайчик, что ты выдумал!

— Ты на папу рассердилась?

— Ну разве на больших сердятся, что ты, заинька!

Он поднимается у нее на коленях:

— Мамочка, а почему от тебя сегодня конфетками не пахнет и губы не красные? Ты никуда не пойдешь, будешь дома? Да, мамочка?

— Да, милый!

— Мамочка, а ты не уйдешь от нас с папой? Никогда, никогда?

— Что-о?

Она спускает Петушка на пол и чувствует, как у нее вспыхивают щеки.

— Стой, стой, что ты такое говоришь, Петушок? Как оставить? Ну-ка говори!

Петушок смотрит в пол.

— Кто тебя учит таким гадостям? Как это так уйду? Ну, уйду, а потом опять приду. Я каждый вечер ухожу в театр, а когда прихожу, ты спишь!

Он все смотрит в пол.

— Нет, ты уйдешь и не придешь — ты нас с папой бросишь и больше не будешь любить: у тебя будет новый мальчик.

У Нины холодеет все: руки, ноги, пальцы, лицо, она старается говорить спокойно, а голос так и срывается:

— Бог с тобой, Петушок, какие ты говоришь глупости! Как же у меня будет мальчик без папы? Ну, смотри ж на меня, когда я с тобой разговариваю.

Она поднимает за подбородок его головку, но голова уже упрямая, неподатливая, и он опускает ее опять.

— Ну я же не знаю, мама! Какая ты странная, я же маленький, — говорит он скучно и неискренне.

Нина поворачивается и кричит:

— Даша!

Входит Даша с ложкой в руке.

— Даша, что же это такое? Вы послушайте, что он говорит: я куда-то уйду от папы, у меня будет мальчик, что это такое? Откуда это?

Даша сердито смотрит на Петушка.

— Не знаю, что это ему еще причудилось, — говорит она строго. — Петушок, ты что это выдумал?

Петушок пунцово краснеет, надувается и молчит, упрямо подогнув одну ногу.

— Это он во дворе что-то услышал, — решает Даша, — небось кино какое-нибудь ребята пересказали — вот он и бухнул.

— Так надо же смотреть, Даша, — упрекает Нина, — ребята там всякие. А ты смотри, заяц, еще раз услышу, что ты водишься с уличными, и не буду тебя никогда любить.

Петушок насупливается еще больше и молчит.

Даша подходит и берет Петушка за руку.

— Ну, что такое наговорил? Откуда что взял? Отвечай!

Петушок пыхтит, надувается и наклоняет голову, пряча кумачовое лицо.

Даша наклоняется и берет его за руку.

— Ну-у? Оглох?

Тут Петушок вырывается, падает, лупит кулаками и ногами по ковру и кричит:

— Уйдите вы от меня! А-а-а!.. Сами во всем виноваты, дряни! Злюки! Никуда я не пойду от папочки! А-а-а!.. Вот вам! Иди одна!

И заливается, и заливается.

* * *

Петушок спит и всхлипывает, а ей нигде нет места. Одевается и выходит на улицу. Бродит по своим любимым переулкам. Слушает начало лекции о скабиозе под каким-то громкоговорителем. Пьет пиво в киоске, заходит в кино. Выходит в темноте во время сеанса, и на нее шикают. Боль все тупее, все нестерпимее, и она из будочки звонит Григорию.

— Пожалуйста, не приводи к себе никого — надо поговорить.

— Конечно, конечно, дорогая, — отвечает он, и голос у него такой, что она поспешно бросает трубку.

Потом идет к окнам Сергея. Везде уже темно, только у Ленки свет. Ленка уступила свою комнату Николаю. Значит, Николай не спит тоже. Он заложил руки в карманы и ходит из угла в угол, наверное, думает о ней. Думает: лежит она с мужем, и им горюшка мало! А она вот стоит на мостовой и смотрит на его окно.

* * *

Голос Нины заставил Григория сжаться ежом, он ясно понимал, что кончилась целая пора их отношений, — отныне многое уже не повторится. Никогда не повторятся разговоры ночи напролет, то, что вот он сидит над какой-нибудь чертовщиной, а она подойдет, разбросает его бумаги, взъерошит ладонью ему волосы, уберет чернильницу и крикнет: «Кончать! Кончать! Петушок, а ну-ка лезь к папе на колени, бери у него ручку! Ну, папочка, нам же скучно, папочка, расскажи нам о каком-нибудь Вавилоне». Или, положим, вот сидит он в институте со своим дедом, работает, разложили они по столу изразцы, наконечники стрел — зеленые и черные, и вдруг телефон и звонкий, всегда извиняющийся голос Нины: «Будьте любезны, позовите Григория Ивановича! Ах, это ты, Гриша? Ну, быть тебе богатым! Гришенька, ты знаешь, сколько сейчас времени? Пол-

восьмого — три часа как кончились занятия, у меня сидит твоя Шура, и мы пьем пиво. Если ты через час не придешь с дедом и вы не захватите с собой по четверти хо-олодного пива, ты в нас не нуждаешься — и пожалуйста, пожалуйста! Нет, Гришенька, в самом деле, у вас ведь там посуды, посуды! Так мы надеемся? Да, Гриша? И с дедом? О-о, Шурочка, выходите замуж только за археолога. Вот это мужчины!»

И никогда не уйдет вот это:

Она сидит, он подошел и погладил по волосам. «Гриша, голубчик, не лезь, мне очень нехорошо сейчас». Они заговорили о чем-то и разошлись в мнениях: «Ладно, Гриша, не будем об этом говорить. Здесь мы не столкуемся». Он сказал, что она не понимает его настроения. «Да, не понимаю, Гриша, и не буду понимать, и давай лучше о чем-нибудь другом».

Так пройдет год, и он опять останется один. Вот и все.

Он вздыхает и встает из-за стола.

Во всех кабинетах темно, все ушли, только в лаборатории горит ослепительная белая лампа. Он заходит туда. Дед колдует над пробирками и колбами, лицо у него багровое (жарко!), пальцы бурые.

— Трофим Константинович, — тихонько зовет Григорий.

Дед поворачивает к нему потное, оживленное лицо.

— Асинька? А, я...

— Трофим Константинович, вы любите Овидия?

Дед думает о чем-то своем, другом, и глядит на него.

— Овидия-то? — повторяет он, еще ничего не соображая и думая о своем. — Ну что ж! Ничего. В гимназии учили «Метаморфозы». Я постоянно имел пять. А... почему вы спросили?

— В этих «Метаморфозах», в мифе о Девкалионе, есть замечательные строки...

— Как же, как же, помню, вот: «Капля камень долбит, но не силой, а частым падением», — счастливо улыбается дед. — А ведь помню, пятьдесят лет прошло, а помню. Вот как вызвездили!

Григорий вздыхает:

— Да, но только это Вергилий, а Овидий-то вот: «О сестра, о жена, о единая женщина в мире!»

— А-а! — спокойно удивляется дед и опять думает о своем. — А-а! Да-да! Это он хорошо оказал. А я, Григорий Иванович, знаете, что надумал? — Дед проникновенно смотрит на Григория. — А не имеем ли мы тут дело с каким-нибудь препаратом окиси железа, а? И пожалуй что так. Я вот...

— О сестра, о жена, о единая женщина в мире! — повторяет задумчиво Григорий и уходит от деда.

* * *

Разговор дома был такой. Она сдержанно спросила:

— Гриша, кто тебя просил встречаться с Николаем?

Он был подготовлен и твердо ответил:

— Ниночка, я был не у него, а у Сергея.

— А говорил с Николаем! Ты ведь меня не спросил, Гриша, правда? — Она очень волнуется и потому говорит все мягче и мягче. — А я взрослый человек и сама знаю, что мне нужно, что нет. Вот твое посещение — его мне было не нужно.

— Ну, извини.

Голос у Нины еще больше смягчается, но остается по-прежнему очень решительным.

— Я понимаю, почему ты пошел, но очень прошу тебя: дай решать мне дела самой, как-нибудь справлюсь.

Он молчит.

— И во всяком случае надо было все начать с меня. Почему ты мне ничего не сказал?

— Я боялся сделать тебе больно.

Она вспыхивает:

— А ему ты не боялся сделать больно, правда?! К нему ты пришел победителем — что он при этом почувствует, тебе было наплевать! Ох, это как раз то, что больше всего ненавижу в человеке, — наплевать на чужое страданье. Ведь *мне* грозит неприятность.

Он вздрагивает: она отделяет себя от него.

— Почему одному мне, Нина? А тебе? А Петушку? — спрашивает он, защищаясь.

Она сжимает кулаки. Тут ее наконец прорвало:

— Молчи! Слышишь, ты уж лучше молчи! Почему он мне сегодня сказал: мама, ты нас не оставишь? Ты не знаешь, откуда это? — Он молчит. — Ты знаешь, откуда это! Вот он никогда бы не пошел на это, понимаешь? Когда он любил женщину, ему было наплевать, кто приехал, кто с ней хочет говорить. Он знал свою силу.

Он помолчал: «Так тебе и надо, дурак!» А потом спросил:

— Ты все сказала? Теперь разреши мне. Так к тебе прийти я просто не посмел — стой, стой, — слушай уж до конца. Да, сознаюсь, не посмел. Ты помнишь наш первый разговор в палатке? Ты мне сказала: я никогда не забуду его — сможешь ли ты вынести эту тяжесть? Я ответил: «Да, смогу! Скажешь “уйди”, я провалюсь сквозь землю, пока ты сама не позовешь!» Так? Выполнил я этот уговор?

— Зачем ты вспоминаешь об этом?

— И этот уговор я выполнил: исчезал с глаз и отсиживался в кабинете, но я ждал, когда ты поймешь! А ты все не понимала.

— Что именно?

Он чувствует, что набрал достаточную высоту и поэтому может кричать. Он и кричит:

— Что он за человек, что у него за любовь к тебе! — вот что ты не могла понять! А понять было просто. Вот ты как-то плакала над его последней открыткой. А я ее про-

чел и ахнул: что же это такое? Что он тебе пишет? Там тяжелейшее отступление, грязь, несклепица, даже предательство — словом, черт знает что, а он распелся о каких-то птичках, о какой-то рыси, суслике, потом дурацкая хохма и подпись: «Прощай, моя синяя птица — твой...» Ну ты знаешь, я прочел и сразу понял: король-то голый — где люди подрывали себя на гранатах, он вспоминает Метерлинка. Ты улыбаешься?

Она улыбается, — как приятно знать, что ни черта он в нем не понимает.

— Ну, ну, я слушаю...

— «Моя синяя птица». И это в такое время. «Синяя птица» — вот кого он любит. Да Синюю-то птицу полюбить легко, вот спроси себя: ну, а если бы он приехал и нашел меня слепую, глухую, с обожженным лицом — что, дал бы он мне хоть руку, чтоб перевести через улицу?! Вот спроси себя так — и сразу все поймешь.

Нина молчит. Он сжимает кулаки.

— А мне ты нужна любая — хоть слепая, хоть глухая, хоть безрукая — любая! — говорит он тихо и яростно. — Ты моя плоть и кровь! Но чем ты лучше, тем и я должен был быть лучше, — мне надо все время работать, чтоб догнать тебя. Иначе я отстану и потеряюсь. Вот какое у меня чувство к тебе! А для него ты синяя птица — легкий он человек и легкой любовью любит.

Нина молчала. Разве и он не прав — прав, конечно.

— Может быть, тебе неприятно — так ты скажи!

— Я слушаю, слушаю, Гриша!

— И было бы не обидно, если бы ты действительно была синяя птица, но ты ведь труженик, работник, ты на десять тысяч верст далека от этой его пошлятины. Как же он тебя поймал? Каким силком? Никак не пойму я того! Но знаю: тебя полюбить ему было легко, его такого полюбить тебе было трудно, а ты все-таки полюбила, поэтому это страшная любовь и цена ей страшная. И когда я понял это и узнал, что он здесь, я не пошел

объясняться к тебе, а прямо пришел к Сергею. Я хотел узнать: что же он от нас потребует, оставит в покое или нет? Ведь мы оба у него в кулаке. Но я надеялся, он решит: «А-а, вышла замуж! А-а, родила сына — ну и черт с ней, изменила, так пусть и живет как знает», — и мы будем свободны от этого кошмара. И вот я пошел к Сергею, а наткнулся на него.

— Ну и что?

— Ну, так и вышло, как я думал. Он мне сказал эдак сверху вниз, с усмешечкой: «Успокойтесь, милейший, встречаться с ней не хочу, звонить ей не собираюсь» — и дальше что-то очень высокое, а смысл такой: на что она мне с ребенком? Пусть мальчишка подрастет, а там уж посмотрим.

— Так он сказал?

— Да, почти что так! Смысл во всяком случае такой. А ты что ожидала, что-нибудь лучшего? Зря!

Нина наклоняется и рассматривает конец туфли.

Он пристально смотрит на нее и подносит руку к ее лбу. Она недовольно отшатывается.

— У тебя что завтра, спектакль? Ой, что-то ты выглядишь неважно. Может быть, мне позвонить в поликлинику, а?

Она все рассматривает туфлю. Что там играть на сцене! Ты вот сейчас сыграй, чтоб поверили.

— Позвонить? — Он приподнимается со стула. Она спокойно вздыхает.

— Нет, я здорова. Завтра у меня тяжелый дань — сразу и утренник, и читка пьесы.

— Да? А выглядишь ты все-таки очень неважно.

Ей уже так плохо, что не хватает воздуха. Еще немного — и она закричит.

— Ну, говори, говори, я слушаю.

— Вот так он мне ответил: «Ни встречаться, ни письма слать не собираюсь». Это не значит, конечно, что он так и думает. Как он думает, я не знаю, — ведь фразеришка,

декламатор, Хлестаков, играющий в Овода. Но, по совести говоря, на кой ему ляд чужая жена с чужим ребенком? Это уж не легкая любовь. Тут нужно хорошо подумать. А думать-то он не любит.

— Как же вы расстались?

— Как? Я попрощался, поблагодарил за беседу и ушел. А что еще больше? — Он подумал. — Нет, по правде говоря, кончили мы с ним не очень хорошо. Оба не выдержали и раскричались. Еще бы немного, немного — и я, по правде сказать, его ударил бы. Он пакостник, Нина. Да, да, в самом обыкновенном смысле этого слова. Я так ему под конец и сказал.

— А он?

— А что он мне скажет на это? Что он вообще может сказать мне? Мне, твоему мужу, отцу твоего ребенка! Да ровно ничего. Его дело уж теперь — молчать, я ему не синяя птица!

* * *

Был утренник. Ставили «Таланты и поклонники». Нина Николаевна играла Негину, и это была ее любимая роль. Она и близко не подпускала к ней дублерш. И вот за полчаса до начала спектакля, когда все актеры уже разошлась по своим уборным и даже пожарники стояли на местах, в кабинет директора вошел Сергей и, не здороваясь, сказал:

— Слушай, что ты такое делаешь с Ниной Николаевной?

Директор театра, крупный румяный мужчина лет пятидесяти пяти, посмотрел на Сергея, усмехнулся и через стол протянул ему тяжелую руку в черных и желтых перстнях.

— Во-первых — здравствуй, Сергей Николаевич.

— Извини, здравствуй, я был сейчас у нее...

— Во-вторых, садись, Сергей Николаевич. — Сергей сел. — Ну вот, теперь и говори: что с ней приключилось?

— Да у нее температура сорок.

— Сразу и сорок? — поморщился директор. — Разбрасываешься, Сергей. — Он наклонился и стал что-то искать в списке телефонов под настольным стеклом.

— Она еле ходит. Ее надо заменить! — выкрикнул Сергей.

— Да! Войдите! — крикнул директор.

Вошел театральный врач с термометром.

— У Нины Николаевны тридцать восемь и пять, — объявил он и положил термометр на стол. — Ей надо сейчас же ехать домой и ложиться в постель.

— Ага, значит, все-таки вы сбавили с сорока, — хмуро улыбнулся директор, отодвигая термометр. — А с тридцатью восемью артисты и играют, и танцуют.

— Да ты... — взвился Сергей.

— Ша! ша! ша! — Директор быстро набрал нужный номер. — Мария Васильевна, у Богдановой есть телефон? А какой? А-а! То-то я не нашел! Так вот что, пусть немедленно приходит и идет гримироваться! Да! Скажите ей: не было бы ей счастья, да несчастье помогло! У Нины Николаевны температура тридцать девять. Да вот сам доктор у меня сидит. А вы с ней не разговаривайте, скажите, чтоб раздевалась и, если недовольна, пусть идет ко мне, но быстрее, быстрее, Мария Васильевна! Задерживать спектакль не будем — у нас же сегодня еще читка! — Он положил трубку. — Это все хорошо, а вот что зрители скажут? Они же не на Богданову покупали билеты! А у нее что, грипп? — обратился он к доктору.

— У нее, прежде всего, отвратительное моральное состояние, — ответил доктор. — Я бы просто посоветовал снять ее на время с таких ролей. Измена любимому — это сейчас роль не для нее.

— Здравствуйте! — поклонился директор. — Я теперь из-за ваших историй театр закрою. Кстати, Сергей, что там такое происходит?

— Ничего!

— Так-таки и ничего?

— Так-таки и ничего!

— И все трое молчат?

— И все трое молчат!

— Ну-ну! Выдержка! — покачал головой директор и быстро сказал: — А вот и она бежит. Да! Войдите!

Нина влетела, сердитая и решительная.

— Слушайте! Что за паника! Я же отлично могу играть!

— Она «может», — язвительно улыбнулся Сергей.

Директор поглядел на него.

— Слышишь?! Вот голос артиста! Мы солдаты! Мольер умер на сцене. Нина Николаевна, дорогая, верю, что хоть и температура, хоть и голова болит, а сыграть вы можете, но вот доктор меня напугал и я уж сдуру вызвал Богданову. Она выехала. Что теперь делать? Почему вы не хотите ее выпустить?

— Да что за глупости, я сама сыграю!

— Правильно — сыграете! Грипп не такое уж дело, чтобы срывать спектакль, но и она сыграет, раз ее уже вызывали — или, — он остро посмотрел на Нину, — или не сыграет? Засыпет роль? О! Тогда другое дело! Ну, так как? Сыграет или нет? — Нина молчала. — Нет! — Он взялся за трубку.

— Да нет, сыграет, конечно, — смутилась Нина.

— Ну, вот и всё! — Директор откинулся на спинку кресла. — А вы поезжайте домой.

Вошла Ленка с манто в руках. Сказала: «Здравствуйте, кого не видела», — подошла и набросила манто Нине на плечи.

— Одевайся! — приказала она строго. — Ну, быстро, быстро! Машина же! Так, Сергей, на ключ! Я отвезу ее домой, уложу и дождусь Григория. Я сейчас ему звонила, — его дома нет, у них там что-то в университете. Нинка, я же жду! Отойди к зеркалу и попудрись! На тебе лица нет, дома испугаются!

— Эх, Сережа! — сказала Нина с тяжелым укором. — Так подвести.

— Сергей молодец! Так с тобой и надо! — отрезала Ленка и прикурила у директора через стол. — Все? Ну, красавица, красавица — одна лучше всех нас, прячь пудреницу, поехали. До свидания, товарищи!

Она взяла Нину за руку и повела из кабинета.

Директор с улыбкой посмотрел на доктора:

— Видите, как она ее повела — за ручку, и та пошла! Вот тебе и Нина Николаевна!

— Вообще, кажется, только эта чета и умеет с ней обращаться, — улыбнулся доктор, — это у них семейное, в крови. Вы знаете, когда Сергей Николаевич привел меня к ней в уборную, так она куда! И слушать ничего не хотела, даже голос повысила. Так он взял у меня градусник и протянул ей: «Вот что, уважаемая, — ультимативно: либо вы сейчас же поставите термометр и мы спокойно посмотрим и решим, что с вами делать дальше, или я вас заворачиваю в манто и тащу к себе в машину — выбирайте». И она сразу же замолкла.

— Потому что знает: заяц шутить не любит, — я взял бы и унес, — хмуро сказал Сергей.

— Что ж, права дружбы велики, — вздохнул директор и снова набрал номер, — Мария Васильевна, так что с Богдановой? Ну и отлично! Она где? Ага. — Он встал и запер ящик стола. — Иду смотреть дебюторшу. Сергей, ты со мной?

— Нет, — ответил Сергей и протянул ему руку. — До свидания. У меня там Николай. Я не хочу его долго оставлять одного.

* * *

Николай медленно ходит по комнате. Неприятно, когда взорвешься и наговоришь черт знает что, а впрочем, шут с ним, пусть не ходит, не выпрашивает компли-

менты. Вот нашла себе Нинка орла, — и, наверно, все эллинисты такие!

Входит Сергей, бесшумно затворяет дверь, стоит и смотрит в спину. Ну что ж ты, чудак, думаешь, что я тебя не замечаю?

— Ну так как, Сережа?

Сергей сконфуженно подходит.

— Ты, Николай, на Григория не сердись. Он, конечно, дурак, но парень золотой души, а ты, понимаешь...

— А наплевать, Сережа, мне на нем не жениться, ты садись!

Сергей садится.

— Он ведь тоже много пережил, — говорит он виновато. — Был чуть ли не в Освенциме. Я читал его письмо Нине. Действительно страшно.

— Ах, вот что! — усмехнулся Николай. — Освенцим вспомнил! Ну хитер!

— Старая история, Коля, — поежился Сергей. — «Она его за муки полюбила, а он ее за состраданье к ним» — это Шекспир, дружище.

— Да не Шекспир это, а старый дурак Вейнберг, — разозлился Николай, — и я тогда еще ей говорил: не связывайся с ним. У Шекспира вот как:

За бранный труд она в меня влюбилась.
Я за сочувствье полюбил ее.

Шекспир знал, за что можно полюбить солдата, — за бранный труд! А у этого сукиного сына что? Какие у него бранные труды? Такие тряпки с покойников там разбирали.

Он помолчал, пофыркал, походил по комнате.

— Я вот ей сейчас тоже напишу: «Милая Нинуля, я пережил то-то и то-то, за десять лет я так исстрадался, что прошу: плюнь на своего обормота и обрати свое нежное женское внимание на меня», — хорошо бы было?

— Ну, перестань, — поморщился Сергей.

— А что, даже представить не можешь меня с таким письмом? Правильно. А я ведь имел бы право сказать: «Приди и вложи маникюр в мои раны, и посмотрим, у кого они глубже».

Сергей молчал.

— Раны у меня, Сережа, куда страшнее и кровавее, чем у этого... эллинист он, что ли? — продолжал Николай, резко останавливаясь перед Сергеем. — Меня бы из Освенцима живым не выпустили, а он вот ушел. Меня допрашивают и от ненависти трясутся... Вот я какой! Нет такого карцера там у них, — он кивнул на запад, — которого я не отшлифовал собой, такой смирительной куртки, в которую меня не затягивали. И кто не такой, я того и знать не хочу! И Нинка была такая же — не знаю, как он уж ее обошел. Ладно, пес с ними обоими. Сережа, милый, я ведь сегодня уезжаю. Так все неожиданно вышло.

— Как? Куда? — переполошился Сергей.

— Сейчас только в Ленинград, а оттуда недели через две уж не знаю куда.

— Посылают?

— Угу.

— А вернешься когда?

— Да уж постараюсь не вернуться. Если Лену не увижу, ты...

Без стука вошла Ленка.

— Коля! — сказала она решительно. — Я только что от Нины. Она хотела бы с тобой поговорить. Что ей сказать?

Николай открыл рот, закрыл его, вздохнул, сел, опять встал.

— Она... — начал он что-то.

— Ну, все-таки не выдержала, — тихо выдохнул Сергей. — Теперь все!

Ленка только стрельнула на него глазами.

— Так что же ей сказать? Она ждет у телефона, — настойчиво повторила она, не замечая лица Николая.

— Ты ни в чем не смеешь отказать Нине, — серьезно сказал Сергей. — И если она захотела...

Опять все трое смотрели друг на друга и что-то соображали.

— Нет! — вдруг решительно отрезал Николай. — Не надо! Не хочу! К черту! Пусть сидит с эллинистом!

— Смотри, Николай! — строго предупредила Ленка и взяла его за рукав. —Это уж будет навсегда.

— Пусти!! — коротко рявкнул Николай, выдернул руку и вышел в коридор.

* * *

И там возле двери ванной стояла Нина. Она стояла в полумраке, смотрела на стеклянную клетку двери и грызла платочек. Она была так неподвижна, что он чуть не сшиб ее с ног и сначала даже не увидел, кто это, но сразу же понял: «Она! Она, она!»

Так с десяток секунд они стояли и смотрели друг на друга.

На пороге показался Сергей, и сразу же Ленкина рука рванула его назад.

У Нины губы все дергались, дергались, и наконец кое-как она сумела выговорить:

— Николай!

Он отошел и спросил ее (конечно, только затем, чтоб спросить):

— Узнала? Переменился?

Она, не сводя глаз, покачала головой.

— Нет!

— И ты все та же, — сказал он угрюмо.

Она, как заводная кукла, подняла руку и отбросила волосы со лба — показалась широкая белая лента.

— Что это? — спросил он.

— Осень сорок второго, — ответила она.

— А-а! — кивнул он. Это была та осень, когда он перестал ей писать.

— Все-таки — увиделись, — произнесла она как бы про себя. — Не обмануло сердце.

— У тебя сын? — спросил он жестко из другого уже угла.

— Да. Смотрит твои книжки. Так же любит зверей, — жалко улыбнулась она.

— Вот как? — недобро усмехнулся он. — Совсем как будто он... — и не окончил, потому что увидел — она вот-вот закричит.

— Ну, что ж, — солидно вздохнул он, — это хорошо. Значит, развитой мальчик.

Дверь приотворилась, и просунулась голова Сергея.

— Николай, мы уходим. Нина, здравствуйте еще раз. Я позвоню... вам мы...

Дверь хлопнула и сразу же открылась: заглянула Ленка.

— Ниночка, дома никого нет, будь хозяйкой. Береги Николая.

— Ну что ж, — сказал Николай Нине, — идем в комнаты.

* * *

Она сидела с ногами на кушетке и курила. Он тихо и мягко ходил по ковру.

— Вот ты сказал, — произнесла она, смотря на него, — о Петушке, что он похож... — Она не договорила. — Ты понимаешь, почему так все вышло? Понимаешь?

— А-а! — поморщился он. — Какая ты все-таки девочка! Ну, конечно, я понимаю, почему все так вышло! Ну и что из этого?

Она молчала.

— Твоему сыну сколько? Пять лет? Точно пять? — спросил он вдруг.

— Зачем тебе это, Коля?!

— Когда ты вышла замуж? — проговорил он, настаивая.

— В августе сорок восьмого.

— Август сорок восьмого, август сорок восьмого... — проговорил он, с трудом вспоминая что-то. — Ага! В конце, в начале?

— В конце!

— Так! — Он сел с ней рядом — и взял ее руку. — Двадцать шестого августа у меня закружилась голова, я упал и расшиб себе подбородок. Меня перевели в больницу, и вот я почувствовал, что сдыхаю. Ты уж мне не снилась — одни жуки, пауки, крюки и всякая пакость. Лежу и чувствую: конец, сдохну!

— Ну и что? — спросила она с ужасом.

Он пожал плечами.

— Да ничего! Видишь, отлежался, а ты в это время вышла замуж — вот так, значит! — Он бросил ее руку, встал и снова заходил.

— Слушай, а он ведь рассердится, когда узнает, где ты была? — спросил он.

Она молчала.

— Не рассердится? — повторил он в упор.

— Какое мне дело! — слегка поморщилась она.

— Пусть?

— Пусть!

— Вот как у вас! — задумчиво проговорил он, смотря на нее.

Она вдруг поднялась с кушетки.

— Николай, я знаю, ты не ожидал меня. Ты бы никогда не пришел ко мне. Так? И я за пять минут не знала, что приду. Но слушай: сидеть и прятаться от тебя я не могу. Не могу, не могу и не могу! Знать, что ты тут, и делать вид, что это меня не касается, нет этого... Ну не могу я так! Я ведь не мужчина. И вот мне представилось, ты помнишь наше прощание, лето сорок первого года?

Когда ты мне еще заказывал краба? Ты смеялся, а я скулила, я как собака что-то чувствовала. Помнишь, я тебе сказала: скажи «останься!» – и я останусь! Ты не сказал. Помнишь это?

Он кивнул головой.

– Так вот, – продолжала она, отворачиваясь, потому что какое-то жесткое круглое яблоко стало ей поперек горла, и она не могла его проглотить. – Вот я сейчас вспомнила все это и подумала: мы так с тобой расставались, я так тебя ждала, а вот встретились на улице – и ты прошел мимо, и я прошла мимо. Ты ведь не заговорил бы со мной? Нет? Ну, я знаю, что нет! Вот я подумала об этом, сорвалась и как сумасшедшая полетела к тебе!

Николай слушал ее и смотрел на стену, а потом спросил:

– А эллинист?

Она только поморщилась.

– А сын?

Она тихо покачала головой.

Он сел рядом и задумался.

– Вот как ты, – проговорил он про себя.

Она протянула руку и взяла его за галстук.

– И опять узлом. Ну-ка, стой-ка! – И сосредоточенно нахмурившись, стала его перевязывать.

Он вдруг пощупал ее лоб.

– Э-э! Дорогой товарищ, да у тебя жарок. А ну-ка, приляг, я достану аспирин.

Он прошел к стенной аптечке, нашел и принес порошок, развернул и, строго нахмурившись, поднес к ее губам стакан воды и напоил из своих рук.

– Ложись теперь!

И сам сел рядом.

– Вот и тут, и тут ниточки, – сказал он серьезно и слегка перебрал ее волосы. – Сегодня ты моя любовь!

Она молчала.

Он посидел еще и встал.

— Ты лежи, я пойду поставлю чай и напою тебя с малиной, а потом придет Ленка...

— Николай, — сказала она сонно, — что такое: я в самом деле хочу спать.

Что-то очень далекое и мимолетное, как воспоминание о чем-то, появилось, сверкнуло в его глазах и вновь исчезло.

— Поспи, — сказал он серьезно, — я тогда разбужу.

Она привычно повернулась на бок и закрыла глаза, — он посмотрел на ее утомленное, как после тифа, лицо, тихо повернулся и вышел. И сейчас же за стеной зазвонил телефон. Он снял трубку и заговорил.

Когда он возвратился, она, уже застегнутая, припудренная, сидела и курила.

— У меня, кажется, часы врут, — сказала она, — ты не заметил, сколько там... — Губы у нее дернулись. Он подошел и осторожно обнял ее.

— Мне же надо идти, — сказала она нежно. — Постой!

— Ну-ну, — сказал он хмуро, — не надо так. Иди-ка ляг опять. А я сяду рядом.

* * *

Прошла целая бездна времени — часа три-четыре.

На улице вдруг потемнело, потом зазвенел о стекло чистый, быстрый дождь и снова выглянуло солнце и стало светло.

Ленка и Сергей пробрались на цыпочках мимо их двери.

Били часы.

Она лежала укутанная в манто, он сидел возле нее. Вдруг зазвонили у парадного.

Он встал.

— Кто-то чужой, — сказала Нина, не отпуская его руки, — не открывай, хозяева дома.

Он осторожно освободился.

— Нет, Ниночка, уже шесть! Это ко мне, в десять мы вылетаем.

— Куда, милый?

Она даже не встревожилась — ничего не доходило до нее. Он поглядел, она улыбалась счастливо и бессмысленно, как спящая.

Он подошел, отпер дверь комнаты и возвратился.

— Пока только в Ленинград.

— Хорошо, милый! — согласилась она. — Я тебя...

— Лежи, лежи, я сейчас пошлю Ленку — она тебя проводит. Вы скажите дома, что я уже давно уехал.

Теперь Нина уже сидела и смотрела на него во все глаза.

— Меня не будет месяц. За это время обдумай все и реши!

— Да, родной! — ответила она, сияя печальными и тихими глазами.

Отворилась со звоном парадная дверь, и по коридору прошли люди. Заговорила Ленка. «Дома, дома».

Он выпрямился.

— Но только думай и решай.

— Я пойду провожу тебя, милый, — сказала она, вставая.

— Лежи, лежи, — он прижал губы к ее лбу, — ух, какой жар. Придешь домой — и сразу в кровать. За тридцать восемь ручаюсь. Сразу ложись, слышишь?

— Слышу, милый. А проводить?..

— Не надо! Долгие проводы — лишние слезы. Я в сорок первом году тоже тебя не проводил. Ну-у! — Они обнялись. — «Прощай, прощай и помни обо мне!» Откуда это? Помнишь?

— Из второго акта «Гамлета».

— Ошиблась — это самый конец драмы, но все равно два ноль в твою пользу.

Вошла Ленка и сухо сказала:

— Нина... Ах, ты уж готова. Идем, я тебя уложу. Боже мой, пышет, как печка. Николай, я тебя провожаю. Идем, Нина, — и она увела ее.

* * *

Они уехали на вокзал. Нина лежала в полузабытьи, но бреда не было.

Сергей подошел и осторожно пощупал ее лоб губами. Она, как заводная кукла, открыла и закрыла глаза.

— Ну как? — спросил он, присаживаясь рядом, и погладил ее по щеке.

Она поняла, о чем он спрашивает, и ответила:

— Все!

— Все? — посомневался он.

— Мы с ним расстались.

Сергей подумал.

— Позвонить Григорию? Или пусть Лена придет?

Она покачала головой.

— Сколько сейчас времени?

— Часов семь. Сейчас посмотрю точно.

— Не надо, Сережа. Дайте мне, пожалуйста, туфли. Я пойду одна.

— Одна? Да вы...

— Я пойду одна.

Он подумал.

— Да, пожалуй, что так лучше. Только постойте — я вас довезу хотя бы до вашего переулка.

В квартиру она вошла сама. Комната в такт с пульсом прыгала перед ней, но она аккуратно разделась перед зеркалом, повесила манто и вошла в столовую. Григорий и Петушок сидели за столом и строили небоскреб за небоскребом. Она подошла и тихо погладила Петушка по волосам. Он быстро обернулся.

— Мамочка, а мы небо... небо... как, папа, надо?

— Небоскреб, — скосоротился Григорий и робко улыбнулся Нине.

— Не-бо-скре-бб! — с удовольствием выговорил Петушок. — Мамочка, в нем шестьдесят пять этажей, только кирпичей у нас не хватает. Папочка говорит: надо купить.

— Я завтра же куплю, Петушок, — сказала Нина. — Ой, какой же домина! — Она поглядела на Григория. — Гриша, я, кажется, гриппую, посмотри, милый, есть температура?

Так же потерянно ухмыляясь, он поднял руку, пощупал ее лоб и испугался.

— Да у тебя к сорока! Боже мой, где ж ты была! Тебе надо сейчас же лечь!

— Сейчас пойду лягу, зайчик! И тебе тоже пора.

— Ну, мама, — возмущенно вскочил Петушок, — и всегда ты меня... — И вдруг воскликнул: — Сразу после театра пойдем! Ага?

— Я не пойду в театр, милый, — ответила Нина. — Иди, детка, спи! Спокойной ночи, милый! Завтра я тебе подарю книжки со зверями.

— Те, что в шкафу? — обомлел он.

— Те, что в шкафу, милый, иди спи.

— Ой, ма-мо-чка! А ты говорила — нельзя их уносить из шкафа, они чужие.

— А сейчас будут твои, иди, милый, иди.

— Даша!

Даша уже стояла в дверях, строгая, замкнутая, неумолимая, как все няньки, когда их детям пора спать.

— Идем, Петя! Видишь, у мамы головка болит. Нельзя ее огорчать!

Нина пошла и легла. Бред захлестывал ее.

У нее было странное чувство нереальности мира, того, что вещи выходят из своих осей и их подбрасывает в такт пульсу. Звуки — сдвинутый стул, хлопнувшая дверь — стали резкими и жесткими, как звук бича. Даже собственный голос звучал как чужой.

И только что она закрыла глаза, как появилось желтое актерское фойе в театре и почему-то буфет с матовыми рядами серебра. Потом — бегущее стадо овец, потом — волны. Нет, так не годится, подумала она и крикнула:

— Гриша!

Он пришел и остановился возле двери.

— Ты... завтра позвони с утра в амбулаторию... как бы у меня... — Мысли у нее путались, и она говорила уже с трудом. — Не надо было столько ходить по улицам.

— А... — начал он и осекся.

— Ну, конечно, шаталась, дура, по улицам, — сердито и просто ответила она и поморщилась от боли, — а потом поехали с Ленкой к ее тетке, там еще промерзла. А ты уж невесть что и подумал, глупый. Нет его, уж и в Москве нет... Он...

И это были последние разумные слова, дальше уже поползли пауки.

* * *

Париж! Париж!

Как хорошо работается рано утром, когда еще только что встало солнце, небо зеленовато, листы в саду тихие и задумчивые и в устье каждого стоит круглая чистая капля, когда зяблики и щеглы порхают и ходят прямо по дорожкам, а в соседнем садике вполголоса разговаривают две старушки — молочница и семидесятилетняя жена содержателя бистро, а ты встал сам, включил плитку, сварил себе кофе, раскусил редиску и пишешь, сидя в халате и туфлях, и черт с ними, с противниками — пусть себе гавкают. Но:

— Ваше преподобие, — сказала Марта из коридора, — к вам ведь опять тот.

Лафортюн, красивый, синеволосый, похожий на индейца, повернул голову и, продолжая писать, спокойно спросил:

— И опять не называет своей фамилии?

— Нет! — Лафортюн все писал. — Сказать, что вы спите?

— Попросите его подождать. Я сейчас.

Он дописал фразу до конца, перечитал ее, аккуратно промакнул ее пресс-папье, встал, оправил перед зеркалом ворот халата и неторопливо прошел в приемную. Хотя солнце еще было низко, в приемной сверкали стекло и бронза — всю стену занимало большое окно. Раньше здесь помещался специальный шкаф с немецкой Богословской энциклопедией, сорокатомным французским словарем святых и толстым томом булл и церковных уложений — сейчас осталась только Богословская энциклопедия, а все остальное заменили другие книги.

Когда Лафортюн вошел, посетитель стоял и приглядывался к заглавиям.

— Здравствуйте, — радушно в затылок сказал Лафортюн. — Мы, кажется...

Затылок гостя и в самом деле показался ему знакомым. Но тут посетитель повернулся к нему и спросил:

— Узнаете?

— Боже мой! — воскликнул Лафортюн в страшном волнении. — Неужели это вы? Николай!

Они крепко обнялись и сели.

— Я знал, что они вас вырвут оттуда, мы с вашим послом были и тут, и там, — говорил он, с восторгом смотря на Николая. — Да вы уж, наверное, сами знаете!

— Все знаю, все, — улыбнулся Николай, — вы настоящий друг, ваше преподобие. — Он помрачнел. — И письма Жослена я тоже видел.

Лафортюн вздохнул.

— Да, да, моя вечная кровоточащая рана, их у меня вообще немало, но это самая большая. — Он вдруг улыбнулся. — А помните дом с пальмами и фонтанами? И жену?

Такую красивую, что за ней бежали мальчишки. Бедняга! Он умер через неделю после вас! — Лафортюн подумал. — А Густав над ямой запел «Марсельезу».

— Он был романтик, — заметил Николай.

— Он был отчаяннейший романтик. Вроде вас, но еще больше представлялся циником и скептиком. — Лафортюн сжал кулак. — И эту смерть над ямой я, поп, никогда не отпущу им. — Он опять подумал. — Разве только когда со Святыми Дарами приду их напутствовать перед виселицей. Тогда прощу. И то от имени Господня, а не от своего.

— А читали газеты? Судья их прощает — и от себя, и от народа.

— Судья! — грубо усмехнулся Лафортюн. — Судьи эти отсиживались в Алжире и Марокко — так что ж им не прощать?! А вот Жослен, стоя над своей ямой, простил их? А Байер, умирая над мусорным ведром — его выворачивало перед смертью, — простил их? А вы их простили? А жена ваша простила? В этом все и дело. Не всякий имеет право прощать!

Николай засмеялся:

— Вот как, ваше преподобие! А Христос-то велел...

— Всех прощать? — яростно подхватил Лафортюн. — Правильно, и сам простил первый — и в этом и есть акт искупления. Но прощал Он их изорванный бичами, заплеванный и пылающий от пощечин. Вот тогда с креста Он и спросил себя: «Могу ли Я простить человека и такого?» — и ответил: «Да, могу, потому что люблю и сейчас». А так, с неба, как Бог, и Он не счел возможным простить. Вот ведь как! Христос был нагой и умирающий и прощал любя, а судья прощает чужую кровь в костюме на шелковой подкладке, заседая в суде между утренней ванной и вечерним мюзик-холлом. Вот в чем разница. — Он сердито махнул рукой. — Впрочем, что это мы с вами — только что встретились и сразу же... Что вы улыбаетесь?

— Когда вы разгорячитесь и размахиваете руками, то становитесь совсем похожим на Рудольфа Валентино, даже очки не портят! Сколько вам лет, ваше преподобие?

— Да теперь уже и не ваше преподобие, — улыбнулся Лафортюн. — А что до Рудольфа Валентино, то я уже десять лет как перешел половину жизненного пути, — помните Данте? Полжизни плюс десять лет — итого сорок пять. Ладно, идемте-ка ко мне.

Лафортюн привел Николая в узкую прямоугольную комнату с таким же огромным окном, завешанным желтою шторой, с кожаными скрипящими креслами, свеже пахнущими касторкой, и диваном, словно выкроенным из целого бегемота. Все три стены уставляли шкафы, а в промежутках висели портреты философов. Когда Лафортюн поднял шторы, стали видны их лица.

— И даже Спиноза и Ренан! — удивился Николай.

— Все пчелы, все пчелы, — вскинул на него веселые глаза Лафортюн. — Все пчелы одного улья. А с каких они цветов собирают мед — это уж их дело. Мед един для всех. Садитесь, пожалуйста!

— Вот как вы еще заговорили, — сказал Николай, опускаясь в кресло. — Но почему же вы все-таки не ваше преподобие?

— А что такое inner irregularities[1], вы знаете? Нет? Я совершил нечто, противопоказанное священнослужителю, — бил немцев. Это стало явным — и меня отрешили. Вот и все.

— Так вот откуда у вас женщина, — понял Николай. — Ага! А ведь по канону не положено.

— Ну и плохо знаете канон, — усмехнулся Лафортюн. — «И да не примет он для услуг никакую женщину моложе сорока лет» — вот как сказано в правилах нашего епископата. А моей Марте уже скоро тридцать восемь. Но это неважно. Теперь уже все тут неважно. Меня не любят ни те, ни эти. Недавно в газете было такое: «Лафортюн, ка-

---

[1] Здесь: внутренние противоречия *(англ.)*.

жется, совершенно серьезно вообразил себя аббатом Мелье, этим идиотическим созданием Вольтера и его безбожной клики, поджигающим костры июльских боен!» Как вам нравится?

— Нравится! Хорошая Марта, ваше преподобие! Вы ее достойны — герой и нарушитель обетов священничества.

— Ладно, ладно, — добродушно отмахнулся Лафортюн. — Благоразумный разбойник! Это что? Из посольства, что ли? У вас такое задание — эпатировать всех попов? — Он сел. — Фу, совсем записался! Ну, сегодня я буду пьян, пьян и пьян и прочту вам Донна по-английски — вы не слышали его теологические стихи? Ну вот, сегодня прочту. О, это вершины глубокомыслия. Послушаете мою декламацию.

— О-о, с огромным удовольствием. Вы вообще талантливый человек, ваше преподобие, только по ошибке марианит.

— Вот это правильно! — ударил кулаком по столу Лафортюн. — Зачем я сунулся в орден? Я верю после моих злоключений в Бога не меньше, а больше, чем раньше, но эта мысль — зачем? — мне все чаще приходит в голову. Монах из меня вышел скверный!

— Зато солдат вы отличный, а товарищ и того лучше!

Лафортюн пожал плечами.

— Хорошо, если так. — Он подумал. — И знаете, может быть, они правы, что запретили мне священничество. — Он подумал еще. — Я многое понял. Беда только, что я не так много еще забыл, не так легко стряхнуть с себя монаха!

* * *

— За нашу встречу! — сказал Николай и поднял бокал.

— За дружбу каторжников, — сказал Лафортюн и тоже поднял бокал.

— За человеческий мозг — самый благородный металл Вселенной, — сказал Николай.

Они чокнулись.

— Теперь за наше будущее, — сказал Лафортюн и снова налил бокал. — Я тогда вам наговорил много нехорошего — так вы на меня не обижайтесь.

Николай пригубил свой бокал.

— «О благодетельная сила зла», — продекламировал он задумчиво. — Молодчина Шекспир...

— У вас все благополучно дома?

— Да, — ответил Николай, — все.

— Так оно и должно быть, — согласился Лафортюн. — Помните, я говорил: «Мир бесконечно больших величин!» Потом я понял: мир бесконечно больших величин ослепителен, но все его тепло расхватали люди, а там один блеск и космический мороз. — Его передернуло. — Он так холоден, что у меня под старость мерзнут зубы и кости — от его света. Я знаю: без него наш мир ослеп бы и погиб во тьме, но только теперь я понимаю, как всю жизнь мне было холодно от него. «Она меня любит». Она! Что за горячие и гордые слова! — Он тряхнул головой. — У меня по вечерам болят ноги, и я скулю: «Она меня любит по-прежнему!» — продекламировал он. — Она вас любит по-прежнему?

— Налейте-ка мне! — попросил Николай и поднял стакан. — Слушайте, Лафортюн, все пошло совсем не так, как я думал, совсем не так!

— Но вы вернулись, и она любит вас по-прежнему? Что ж вам еще? — улыбнулся Лафортюн.

— Правильно, я вернулся, и она меня любит по-прежнему. И у нее сын, и этого ей только и не хватало. Я ей не мог дать этого! Ну, пьем!

— Постойте-ка! — озадачился Лафортюн и поставил бокал обратно. — Я что-то недопонял — вы сказали: у нее сын, а разве...

— Какая нам разница, ваше преподобие. Сын есть сын, и он уже не будет жить в таком окаянном мире, как пришлось нам с вами. — Николай встал, встал и Лафортюн.

Так они и стояли друг перед другом, подняв бокалы. — Выпьем за ее сына, выпьем за мир бесконечно больших величин, где так светло и так холодно, и за нашу землю, которая собрала все тепло его. На ней и темновато, и тесновато, и то и дело бьют в кровь морду неизвестно за что, а жить все-таки надо, и большей части это удается. А разбираться не будем, потому что не сумеем, ладно?

— Да будет так, — сказал коротко теолог, — теперь я могу уже принимать даже и не такие тосты. — И они выпили еще раз.

* * *

Вот уж посчастливилось Петушку досыта наиграться с обезьянами! Мама в день рождения повела его в зоопарк. Это была восхитительная прогулка. Чего они там только не видели!

В попугайнике, например, по сетчатым клеткам метались, пикали и карабкались по сучкам и решеткам зеленые, красные, желтые, аспидно-черные синички.

Хохлатые какаду летали над трапециями — они были и белые, как снег, и розовые, как мрамор или пастила. Попугай, размалеванный грубыми мазками, с длинным синим хвостом и черными кругами возле желтых оголтелых глаз, хлопал крыльями, грыз кольцо и что-то истошно выкрикивал через свой деревянный нос. В других клетках метались туда и сюда, как зеленые медяные огни, неразлучники и еще какие-то темные птицы с металлическим отливом.

— Смотри, заинька, — сказала мама, — это синяя птица, она прилетает к нам из Индии.

Но он тянул ее дальше, в другое отделение. Там они увидели розовых фламинго с фигурными носами, лебедей, черных, как антрацит, королевского фазана, всего в драгоценных камнях, в цепочках, медальонах и ожерельях, павлина, распахнутого, как лучший мамин веер. Потом они спустились вниз, в таинственный аквариум,

там за зеленой толщей, в глубокой и спокойной воде, стояли какие-то странные металлические рыбы, а между ними колыхались водоросли и все время поднимались пузырьки. Тут Петушок присмирел и все время держал маму за руку, и мама сказала: «Ничего, ничего, заинька», — и повела его дальше, уже в самый ад — к черным крокодилам, к сетчатым удавам, к огромным черепахам с морщинистой слоновой шеей и умными человечьими глазами, к каким-то непонятным юрким ящерицам с головами и колпачками каменных шутов на соборах (у папы есть такая книжка). Они загадочно смотрели на Петушка с зеленых веток, и лапки у них были сжаты в кулачки, как у мартышек.

Потом поднялись вверх к солнцу и были у слонов, и старый слон вставал перед ними на колени и тряс головой, а молодого они кормили булками; у бегемота, — но он как раз был под водой, и вокруг бассейна стояла благоговейная толпа и ждала его появления, — потом они видели львов, тигров, леопардов, пантер пятнистых и пантер черных, как ночь, с острова Явы, пум — больших кошек с длинными хвостами, на несгибающихся собачьих ногах, — и возле последней клетки произошла маленькая заминка. Там была всего-навсего рысь, она лежала, вытянувшись на деревянном полу, и не то притворялась, что спит (чтоб не отвечать людям на их глупости), не то в самом деле спала. А перед клеткой стояли трое: какая-то очень красивая, высокая дама в беретке — по всему видно, что артистка, — рядом с ней маленькая, очень серьезная голубоглазая девочка и высокий плечистый человек в черном почти квадратном пальто и мягкой серебристой шляпе. Других посетителей возле этой клетки не было — ни ребят, ни взрослых — никого. Даже служитель сидел очень далеко, где-то между львами и пантерами. Кому охота заниматься обыкновенной рысью, да еще спящей, когда рядом знающие люди катаются на осликах и пони, кормят морковью и белыми булками слона и дразнят обе-

зьян. Красивая дама вдруг посмотрела на маму и тихо улыбнулась, здороваясь, и мама тоже улыбнулась ей и сказала: «Здравствуйте!» А в это время серьезная девочка обернулась к тому, в шляпе, и удивленно сказала:

— Все спит! И у вас она тоже все время спала.

— У меня она... — начал высокий и вдруг увидел маму. А мама густо-густо покраснела, и руки у нее так и опустились.

Петушок стоял и смотрел во все глаза. Разве они были знакомы? Да нет, всем знакомым мама всегда сует руку первая и смеется. Вот и с этой высокой дамой тоже она поздоровалась, а тут оба стоят и молчат. Девочка Петушка не заинтересовала — сразу видно, что представляла — стоит не шелохнется.

— Мамочка, — сказал он, отворачиваясь от нее, — а к мартышкам?..

В это время тот, плечистый, слегка дотронулся до шляпы и сказал:

— Здравствуйте, Нина Николаевна!

— Здравствуйте, — ответила мама. И Петушок не узнал ее голоса — такой он был неживой и стеклянный.

Они постояли с полминуты и разошлись, — он прошел мимо нее, она прошла мимо него, и только красивая дама поговорила с мамой с полминуты, а потом тоже ушла.

А у мамы вдруг заболела голова, она пошла, села на лавку, а Петю пустила одного к обезьянам.

Там как раз ребята из пятого класса «В» дразнили павиана, а тот скалил зубы и лаял на них, — так вот уж они насмеялись!

ЧЕРНАЯ КОБРА

Глава 1

Был канун 8 Марта, и следовало уже пройти по всем магазинам и хорошенько поискать сладкого вина и свежих фруктов (все остальное уже стояло и лежало у Нины в шкафу), но тут опять Николай! Это вечная история — когда его нужно, тогда его и нет!

Нина звонила, звонила из театра по разным телефонам, ни до чего, конечно, не дозвонилась, махнула рукой и пошла домой.

И только-только переступила она порог, как Даша ликующе объявила:

— А у нас Николай Семенович!

— Ну-у? — Нина так обрадовалась и изумилась, что схватила Дашу за руку. — Что ж он делает?

— Все ходил, гудел, — усмехнулась Даша, — стихи читал, а теперь что-то уже и не слышно — не спит ли?

Нина счастливо засмеялась.

— И ведь, наверное, голодный.

— Да кормила его: чаю два раза просил, а от хлеба и всего такого что-то отказался.

— Вот трудный ребенок! — покачала головой Нина и пошла в столовую.

Николай лежал на диване (под ботинки все-таки он постелил газету), курил и читал, на столе стоял пустой стакан с вялым колесиком лимона и валялось вокруг него что-то много окурков.

— Ну, слава богу, — сказала Нина, быстро проходя к окну и открывая форточку, — сам ты, конечно, так и не

догадался! Три дня обрываю все телефоны и никого не застану. Слушай, ты, я вижу, так все и решил бросить на меня, да?

— Ну что ты? — спокойно возмутился он, вставая и садясь. — Я вот вспомнил и прибежал.

— Ты уж вспомнил! — чуть не рассердилась она и в дохе, с влажными волосами, пахнущими талым снегом и капелью, прошла и обняла его за голову. — Здравствуй, милый! Где ты пропадал, а? Всё дела?

Он посмотрел и щелкнул пальцами.

— «Царица льдов, богиня полунощи!» — не помню только, откуда это! — Он еще посмотрел. — И как я только тебя опутал, и сам не пойму. Не гадал, не присушивал, а...

— Опять?! — она сразу отпустила его голову. — Ты опять начинаешь то же самое?! А ну, пусти меня!

Она выкрутилась из его рук и отошла к буфету.

— Нет, это даже обидно! Да что я, уродка, старуха?! Мне в двадцать три года нужно для подпорки красивого мальчика? Ну, говори — так, что ли?

Она так рассердилась, что даже покраснела.

— Ну-ну, прости, пожалуйста, — сказал он и протянул ей руку.

— Я сама достаточно хороша! Мне никакого фона не требуется, пусти! — Она ударила его по пальцам и рассмеялась. — Вот тебе! Довел-таки до греха! Нет, как назло, обязательно заведет что-нибудь такое! Было такое хорошее радостное настроение, и нá тебе!

— Ну, прошу, прошу прощения. — Он поймал и поцеловал ее руку. — Не сердись, я больше никогда...

— А-а, знаю я это твое никогда-никогда! Ну, ладно, пусти! Пойду разденусь! — Она вышла, поговорила возле вешалки с Дашей, вернулась в просторном сером жемчужном платье и с размаху провела ладонью по его шевелюре. — Черт, какая крапивища! Даже страшно — до ста лет не облысеть. — Она опять села возле него. — А читаешь что? А-а... Островского! Вот и отлично! Я как раз

хотела с тобой об этом поговорить! Нравится тебе эта пьеса? — Он усмехнулся. — Ну, что ты смеешься?

— Странный вопрос. Как же Островский вдруг может не нравиться? Но вы что — уж не ставить ли ее собираетесь?

Она посмотрела на него.

— А что? Да, собираемся.

Он пожал плечами.

— Ну, не знаю, что у вас получится.

— Почему же?

Он открыл книгу и стал ее листать.

— Прежде всего, что это? Драма? Вот Островский озаглавливает: «"Светит, но не греет", драма в 4-х актах». Ты согласна с ним? Это действительно драма?

— Ну конечно.

— А вот зритель не поймет этого — драматично. Ведь, собственно говоря, что это такое? Очень хорошо рассказанная со сцены история о том, как тридцатилетняя барынька, эдакая штучка с ручкой, прошедшая огни и воды и медные трубы, по делам наследства приезжает на две недели из Парижа в деревню. А там у нее молодой сосед. Ну, делать барыньке в деревне нечего, скука, и вот ее ради она соблазняет этого деревенского медведя. Отсюда все качества. Он-то думал, что у них любовь с большой буквы, а они-с играли-с, и вот разбитое сердце, разбитая любовь и на сцене два трупа — отвергнутой невесты этого Митрофана и его самого. Оба они один за другим прыгают с обрыва в речку. А мораль сей басни, видимо, такова: «Пожилые красавицы, не играйте с мальчиками, а то пальцы обожжете». Я, конечно, шаржирую, но вот и все, что вынесет зритель.

Она резко спросила:

— Такой он дурак, этот зритель? Он не отличает уж, где анекдот, где драма.

— Ах, боже мой! Да ведь такая барынька и есть анекдот в наше время! — воскликнул он. — Демоническая

натура сейчас сюжет для оперетки или «Крокодила». И она, прежде всего, пошлость и безвкусица. Ей просто не из чего расти, нет тех моралеобразующих сил, которые вызывали ее когда-то к жизни. Почва не та. А ставит кто?

— Нельский!

Он махнул рукой.

— Ну, совсем не будет добра! Начнет искать экономический фон, подводить социальный базис — приближать, дожимать, заострять — и сам собьется, вы все высунете языки. Ты-то кого играешь? Эту утопленницу?

Она засмеялась.

— Нет, ты что, совсем сегодня хочешь меня разжаловать! Такая я уж неинтересная? А Реневу — не хочешь?

Он отложил книгу.

— Эту обольстительницу? А ты с ней справишься?

Она усмехнулась.

— Ну, наверно, дорогой.

— Так ты в этом уверена? Почему?

— Да потому, что я актриса, дорогой.

— И только?

Она очень резко спросила:

— А что, мало?

— То есть скандально мало! А ты представляешь себе Реневу? Ну какая она? Ты когда-нибудь встречалась с ней, разговаривала, видела? Ты думала, как, откуда может возникнуть такая женщина? Постой! Вот Ренева хвастается, что она любит разбивать сердца и жизни, — скажи, откуда это у нее? Что это за Печорин в юбке? Или это просто так, для красоты слога говорится? Видишь, ты молчишь! Для тебя все это разные формы буржуазного флирта, так ведь? Значит, ты даже нехорошо понимаешь, о чем идет речь, — а раз так, то ни о каком вживании в образ и говорить не приходится. Я уж не говорю о том, что она лет на десять-пятнадцать старше тебя. — Он посидел, подумал. — И самое главное: это не только прожженная,

но и смертельно уставшая баба. Все остальное ты найдешь, но где тебе взять ее пресыщенность, опустошенность? Таланта, милая, ведь мало — тут тебе и режиссер ничего не даст. Он не факир, ты не медиум, чтоб перевоплощаться в неведомое. — Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но он положил ей руку на плечо. — Нет, это ты плохо, плохо придумала. И ты, и Нельский — вы еще подумайте, а там поговорим. Я тогда тебе расскажу одну историю. В общем она похожа на историю Реневой. Только обольстительница была повыше рангом.

За дверью зазвонил телефон.

— Господи, кто же это в час ночи? — сказала она и вышла.

Он снова сел и взял Островского. Надо сказать все-таки Нельскому: старых лошадей полная конюшня, а он на такую роль берет чуть ли не девчонку, — он открыл книгу и стал искать нужную страницу. Нина с кем-то вполголоса говорила по телефону, и вдруг одна фраза заставила его прислушаться. Собственно говоря, не сама фраза, а тон. Ни с кем раньше Нина не говорила так. Но тон тоном, а и разговор получался странный.

— Слушайте! — сказала она зло, резко и тихо. — Но если вы сошли с ума, то я-то тут при чем?

«Швырнет трубку», — подумал он, но Нина вдруг, после небольшой паузы, очень спокойно добавила:

— А это уже шантаж. Вот вы меня сейчас шантажируете. — Опять пауза. — Ай, ну стреляйтесь, пожалуйста! Что — мне будет плохо? Нет, мне плохо не будет. И спокойной ночи, я хочу спать!

Николай быстро, наугад, раскрыл книгу, но Нина появилась еще не сразу. Она, наверно, еще минуты три постояла возле телефона и только после этого осторожно опустила трубку и вошла. Он читал, она быстро взглянула на него, убедилась, что он ничего не слышал, подошла к шкафу и стала возиться с посудой, и по тому, как в ее руках звенели чашки, он понял: она очень волнуется.

— Так, значит, ты мне не советуешь? — рассеянно, думая о другом, спросила она.

— Нет!

Она все осторожно, но, кажется, бессмысленно звенела посудой, а потом подошла и села за стол.

— Дай-ка папиросу! Спасибо! Так что за историю ты хочешь рассказать?

Он захлопнул Островского.

— С кем это ты так?

— А-а! чепуха! С подругой, — небрежно сморщилась она и махнула рукой. — Такая дуреха. Ты ее не знаешь!

— И ты с ней на таком высоком накале? — Она встала и что-то переставила на скатерти. — Чем же она так тебя шантажирует? — Она молчала. — Нина! Я же тебя спрашиваю.

Она вдруг резко повернулась к нему.

— Слушай! Но ты же видишь: я пришла и молчу, — значит, зачем же спрашивать? Нужно будет, я сама прибегу и попрошу: «Помоги!»

Он снова взял Островского.

— Хорошо! А тон почему у тебя такой?

Усиленно спокойно она ответила:

— А тон у меня потому такой, что я волнуюсь. Рассказывай, пожалуйста.

Он покачал головой (спросить с нее сейчас было бесполезно) и начал:

— История такая. Жил в Петербурге в пушкинское время, накануне декабрьского восстания, такой молодой, талантливый, умный мальчик — поэт Венивитинов. И вот в двадцать два года он увидел княгиню Волконскую и без памяти в нее влюбился. Это была действительно замечательная женщина. Чудесно пела по-итальянски — она и приехала из Италии, — писала французские новеллы. Была обольстительной собеседницей. Она даже Папу Римского очаровала. Пушкин так ее и титуловал: «Ваше Ватиканское кокетство».

— И какая она была из себя?

Он засмеялся:

— Вечный женский вопрос! Успокойся: как раз такая, как и ты, — высокая, золотоволосая, голубоглазая красавица. Пушкин так и величал ее — «Царица муз и красоты», Козлов — «Пери молодая», Баратынский — «Любимая краса» и, наконец, Веневитинов — «Волшебница» и «Моя Богиня». Влюблены в нее, наверно, были все, да и нельзя было не влюбиться, но дальше академического обожания дело не шло. Все это были солидные, достаточно опытные литераторы — то есть самый наторелый народец на свете, и очень всерьез они ее не принимали. Совсем иначе получилось с Веневитиновым. Мальчишка вспыхнул сразу, и началось «кружение сердец». Ее Ватиканское кокетство обложила его сердце и повела правильную осаду. Мальчишке оказывали предпочтение, его привлекали, допускали к чему-то, авансировали в надежде на что-то очень крупное, а потом отталкивали и взамен предлагали вечную дружбу, то есть: я тебе друг по гроб. А ну, как это ты поешь? «А на большее ты не рассчитывай», — так, кажется?

— Ай, ну какое это имеет значение? Ну дальше, дальше.

— А дальше она ему подарила античное кольцо из геркуланума. Кольцо было обручальное, так он думал. Перед смертью, обращаясь к этому перстню, он писал: «Дружба в горький час прощанья любви рыдающей дала тебя залогом состраданья». Ты чувствуешь, как она четко противопоставила свою дружбу его рыдающей любви?

Пока он рассказывал, она внимательно смотрела на него, а потом почти враждебно спросила:

— Слушай, а что если это и была самая настоящая дружба? Ты, конечно, этого никак не хочешь допустить! По твоему тону я чувствую — стерва, и все! Так ведь?

Голос ее слегка дрожал, она волновалась, он усмехнулся.

— А мальчишка был полный идиот?! Тут ведь так: либо она стерва, либо он дурак, третьего нет.

Она даже сжала кулаки — так разозлилась, но не закричала, а понизила голос:

— А мальчишка был глуп, как вы все в это время! Вбил себе что-то в голову и уж ничего не желал понимать! А что, разве так не бывает? Человек тебе нравится, ты хочешь честно — понимаешь, чест-но! — дружить, помогаешь, чем только можешь, душу отдаешь! И вдруг — натыкаешься на бараньи глаза, пот на лбу и растопыренные пальцы! И только потому, что ты всем чем-то обязана. Ну, как же! Ты же женщина!.. Только не смейся! — не выдержала она и стукнула кулаком. — Терпеть не могу, когда ты играешь в Мефистофеля! Кстати, и не получается это у тебя.

Он покачал головой.

— А что ж ты сердишься, Юпитер?! Нет, Ниночка, нет, дорогая, отлично она все понимала. Он и сам не скрывал от нее своих чувств. Он так и писал ей: «Ты новый огнь в груди моей зажгла». То есть ты подпалила меня, поджигательница, и вот слушай, что это за огонь:

Он не горит любовью тихой, нежной, —
Нет! он и жжет, и мучит, и мертвит,
Волнуется изменчивым желаньем,
То стихнет вдруг, то бурно закипит,
И сердце вновь пробудится страданьем.
Зачем, зачем так сладко пела ты?..

А сладко поют русалки, когда затягивают в омут. Ну разве не ясно, что за огонь она в нем зажгла? Это именно пот на лбу и растопыренные пальцы! Понимаешь, чем это должно было кончиться?

— А она, значит, не понимала?

— А она ни дьявола не понимала! Вот и кончилось у них, как в драме Островского, — дамочка попела, попела, да и улетела в Рим к Папе Римскому. А мальчишка умер.

— От чего же?

Николай усмехнулся:

— От любви, конечно!

— Вздор, — зло отпарировала она. — От этого не умирают!

— Ну да! — слегка развел он руками. — Как будто не умирают. Вот и Пушкин писал: «В каком романе вы прочли, чтоб умер от любви повеса?» Но вот в тысяча девятьсот тридцатом году переносили кладбище и открыли его гроб, чтоб вынуть этот проклятый перстень. Я тогда был студентом и тоже присутствовал на эксгумации, и когда могильщики открыли крышку, мы увидели: руки скелета — у него были очень красивые, длинные музыкальные пальцы — не сложены крестом на груди, а вытянуты вдоль туловища, понимаешь?

— Нет! — ответила она со страхом. — Что это значит?!

— Извержен из лона милосердия Господня, — сказал он торжественно. — Это одна из поповских тонкостей — так они хоронили только самоубийц. Повеса умер-таки от любви.

— Как все это странно! — сказала она и задумалась.

Пили чай. У него было отличное настроение, он шутил, смеялся, рассказывал, наверно, что-то очень смешное, потому что даже Дашка за стеной вдруг фыркнула и залилась. Нина поглядела на Николая, тоже было рассеянно улыбнулась, но вдруг сорвалась и сказала скороговоркой:

— Ну, ты знаешь, извини меня, но у меня роль, я пойду позубрю.

— Ну-ну, — охотно согласился он и поднялся из-за стола. — Иди, иди, а я посмотрю журналы. — Он пошел и бросился на диван. — Я, признаться, вымотался, как пес, — ты знаешь, мы с Максимовым за два дня на лыжах прошли шестьдесят верст.

— Ах, так! Вы, значит, в горах! — рассеянно воскликнула она и вышла.

Он взял журнал, открыл его и стал читать. Прошло уже минут десять, он повернулся уже на бок и отложил книгу, и тут вдруг вошла Нина, в руках ее была горностаевая шапочка. Она прошла к зеркалу и стала ее надевать. Он посмотрел на нее и снова взял журнал. Она надела шапочку и выскочила в переднюю, что-то буркнула Даше и вернулась с манто в руках. Тогда он спросил:

— Ты это далеко?

— Нет! — ответила она с размаху. — То есть я не знаю! То есть нет, нет, ты никуда не уходи, я быстро.

Он все смотрел на нее.

— Тогда объясни мне по-человечески — в чем дело? Куда ты? Зачем? — Она молчала. Он сидел и ждал. — Ну?

— Милый! — сказала она вдруг умоляюще и даже руки прижала к груди. — Не спрашивай ты меня ни о чем, ладно? Я все расскажу потом, я попала в ужасное положение. Я сейчас же должна ехать.

— А то что? — спросил он очень серьезно. — Застрелится?

— Да.

Он подумал.

— Ну, хорошо, куда же ты поедешь?

Она назвала улицу и номер дома, где-то на окраине. Он встал и подошел к телефону.

— Стой, что ты хочешь? — в ужасе воскликнула она и схватила его за руку. — Нет! Нет!

Он слегка отстранил ее локтем.

— Ну, слушай, держи себя в руках, пожалуйста. Как же ты там-то будешь? Ведь тебе еще с ним придется отваживаться. Этого-то не забывай!

Он вызвал гараж, поговорил с ним, потом положил трубку и объявил:

— Сейчас будет! А ну-ка сядь!

Она стояла.

— Сядь!

Села и тут же вскочила.

— Ты же понимаешь, я ему сказала: «Стреляйтесь!» Что если он...

— Что? Застрелится? – серьезно спросил он. – А вполне возможно. Вот приедешь, а тебе скажут: «Вы опоздали только на пять минут».

— Ой! – выдохнула она и упала на стул. Он засмеялся, обнял ее и чмокнул в волосы.

— А ведь лезешь-то в обольстительницы! Зинаиду Волконскую, видите ли, хочешь играть, а на первом же сопляке горишь, как свечка! Это Костя взял тебя в такой оборот? – Она мрачно кивнула головой. – Ага! Поделом! Вот тебе и «Первый снег»! Ну ничего, другой раз будешь поумнее.

— Ну, постой же, мальчишка, сопляк, дрянь! – пригрозила она чуть не плача. – Покажу я тебе, как шантажировать!

— Слушай, слушай, – перебил он озабоченно, – тут ровно никакого шантажа нет, и ты с высоких нот с ним разговор не начинай, я знаю, у тебя это иногда бывает... «Чтоб сейчас этого ничего не было!» – слышишь? А то уж лучше совсем не ехать! Ну?

Она молча кивнула головой. Он подошел к столу, налил ей стакан черного горького чая прямо из фарфорового чайника и поднес к самым ее губам.

— А ну-ка выпей! Вот так! А теперь сядь и приди в себя.

За дверью раздался звонок, потом быстрые шаги – это Даша побежала отворять. Он отнял от ее губ пустой стакан и поставил на стол.

— Ну, быстро пудрись! – приказал он. – Едем!

Глава 2

В студии Костю Любимова считали талантом. Про него, как-то просмотрев сцены из Островского, сказал сам Народный: «Из этого красавчика может выйти толк,

если он только не сопьется. — Он помолчал и подумал. — И не...» — и прибавил уж нечто такое, отчего все ребята так и прыснули, а девчонок как-то сразу не стало. Впрочем, обидеться никто не обиделся, — это же и был стиль Народного. Действительно, Костя стоил и похвал, и опасений, это был похожий на испанца высокий, черноволосый, курчавый парень с такими черными глазами, что в школе его звали Демон.

В студию он пришел прямо из десятилетки, и из-за этого, кажется, в первый раз не то что повздорил, а просто не поладил и не поделил свой выбор с отцом.

Отец у Кости был хозяйственник — директор обувной фабрики. На вид низенький, лысенький, сероглазый и очень смирный человек — так оно и было в действительности, но он почти десять лет вертел одним из самых крупных производств страны, перевыполнял планы, что-то рационализировал, что-то вводил, вновь что-то отменял, и с его авторитетом приходилось считаться многим.

Считался с ним и Костя, и то, что сейчас отец никак не хотел понять, чем может привлекать здорового, способного юношу театр, и пугало, и сбивало его с толку. «Это же все ненастоящее, все фальшь — эти раскрашенные тряпки, холсты, фанера, позолота, — говорил отец, — только ткни — и посыпется. Поглядеть на это, конечно, приятно, но жить среди этого... — и он пожимал плечами. — А ведь там, где все фальшь, там и люди фальшивые! То ли дело уникальный станок — одиннадцать метров в вышину, двадцать шесть метров в длину, на рабочем станке помещаются детали до ста двадцати тонн весом — и ведь это сейчас двадцать шесть метров и сто двадцать тон, а что будет через десять лет? — И пожимая плечами, он говорил: — Конечно, ты уже взрослый человек и должен сам устраивать свою судьбу, но ты пожалеешь! Ах, как же ты пожалеешь!»

Что мог ему на это ответить Костя? Он ведь тоже колебался и только не имел уж сил отказаться от театра. Это была уже его любовь, а он был влюбчив и самоотвержен во всем, что касалось его страсти – будь то любимый учитель, роман «Овод» или девочка из параллельного класса.

С матерью обстояло иначе. Дело в том, что мать Кости сама всю жизнь была актрисой, но только самой дрянной французской школы, – такой дрянной, дешевой и патетичной, что подчас на нее и смотреть было неприятно, и Костя, сам не осознавая этого, презирал мать хотя и добродушно, но глубоко и искренно. В первый день после его разговора с отцом мать ломала красивые, очень полные руки в спадающих браслетах и тянула в нос: «Сын мой, сын мой, что ты делаешь со мной и с собой?!» – так что наконец у Кости засосало под ложечкой и он тоскливо сказал: «Мамочка, ну будет, пожалуйста». Мать ошарашенно замолкла, молчала целую минуту и только потом ответила: «Да, да, у меня гибнет сын, но это только комедия! Да, для него это только комедия, – она хмыкнула, – ну что ж, пускай! Материнское сердце...» Но хныкать перестала.

Итак, Костя стал артистом. Ему везло. На второй год его перевели во вспомогательный состав и положили 320 рублей.

Он теперь уже не только бегал по сцене с шинелью и с винтовкой наперевес, но появлялся и в крохотных самостоятельных ролях, и мать уже не ныла: «Сын мой, сын мой», но, улыбаясь, пела: «Сын мой артист!» и показывала фото – Костя, член венецианского сената, вскочил с места и машет руками. «Не правда ли, у него очень фотогеничное лицо? – говорила мать. – Вот он тут в профиль – смотрите, какая сильная линия лба и носа! Это у него по моей линии... Мой отец...» – и она рассказывала про отца... «Вот и у меня такой же точно характер...» И знакомые слушали ее рассказ, соглашались и завидовали ей и ее сыну. И вот им обоим повезло – студия поста-

вила переходной спектакль «Коварство и любовь», и Костя сыграл Фердинанда, — да как сыграл! Во время большого антракта к нему в уборную (на этот спектакль у него была и своя уборная) влетела холодная и неприступная премьерша красавица Нина Николаевна и чуть не прыгнула ему на шею.

— Костя! Радость вы моя, — крикнула она так звонко, словно серебро рассыпала. — Вот молодец-то! Все мои друзья от вас без ума! Даже Семенов засопел! А это знаете, какой он дракон? А ну, пошли к нему! — и она протянула ему обе руки, а он не знал, жать их или целовать, но она сама стиснула его ладони, тряхнула и бросила: — Он сам! — Никто ничего не говорил! — Сказал: «Я о нем напишу». А вы знаете, как к нему прислушиваются, — он ведь зря никогда не похвалит... хоть ты ему друг, хоть брат. Ну, пошли.

И они пошли к «дракону». «Дракон» сидел в кабинете директора и что-то быстро строчил в блокнот. Был он высоким, плотным, плечистым блондином в черном френче и сапогах. Когда они вошли, «дракон» поднял голову и сказал:

— Ага! — и встал.

— Вот! — Нина торжественно толкнула Костю вперед. — Знакомьтесь!

— Будем знакомиться. — Семенов с ручкой в руке пошел к ним навстречу. — Здравствуйте, здравствуйте, дорогой. — Он оглядел его с ног до головы добрыми смеющимися глазами. — Хорошо играете — ясно, просто, без всякого наигрыша.

— Нет, правда никакого наигрыша? — азартно подхватила Нина. — А худрук говорит...

— А худрук пускай что хочет, то и говорит, на то он и худрук, — усмехнулся Семенов. — Хорошо — и все. Вот придет фотограф, и мы вас снимем, отдельно и в группе. Ну, так вот, Константин, Константин... — Он обнял его за плечи. — Как вас по батюшке-то?

— Семенович, — ответил Костя.

— Фу, да просто Костя, — засмеялась Нина Николаевна, — что за церемонии.

— Так вот, Константин Семенович, поздравляю и разрешите поднести... — Он снял со стола четыре толстых тяжелых тома Шиллера, связанных бечевкой. — Вот, как раньше писали на венках: «Талантливому артисту от благодарного зрителя». Увидели с Ниной Николаевной сегодня эти тома в магазине, сложились и решили поднести лучшему исполнителю. Так вот, прошу вас!

— Ой, что вы! — пробормотал Костя. И книги были роскошными — огромные серебристые тома, но главное — Нина Николаевна! Ведь до сих пор она ни на кого из студийцев не обращала никакого внимания, а сейчас стоит сзади и дружелюбно дотрагивается до его плеча.

— Берите, берите, — сказала она заговорщицки, — там такие картинки, что закачаешься! — И она, как кастаньетами, щелкнула пальцами.

Вошел директор, крупный, постоянно улыбающийся мужчина с толстыми губами и волосами мелким барашком, которого звали «улыбка-перманент». Он со всеми артистами был на «ты» и к месту и не к месту вставлял «Мы старые артисты», хотя говорили, что при нэпе он работал иллюзионистом в Одессе.

— Молодчик, — хлопнул Костю по спине директор, — хорошо! Вот какого партнера нужно Нине Николаевне! Нина Николаевна, чувствуете? А? Фактура-то, фактура, молодость! Свежесть, звонкость! Их не подрисуешь, не подклеишь.

— Да я уж давно присматриваюсь, — весело, хотя и серьезно, ответила Нина. — Вот когда включите «Коварство» в репертуар, даю заявку на Луизу.

— Включим, включим, — пообещал директор, — пусть только режиссер помирится с худруком. Я всегда твержу: «Заслуженные, не уходите в облака, живите с нами, а то

винтик-штосик, а жизнь-то — ау! — и прошла мимо», — и он ткнул Костю. — Ну, а подарок вручен?

Семенов вынул из кармана автоматическую ручку и подал директору.

— Подпиши и вручи.

— Почему я? — попятился директор. — Даришь-то ты!

— Но я же рецензент, — ответил Семенов.

— Ну так что ж, что ты... Да, верно, рецензенту-то неудобно, а подписать бы надо. Такой у него день...

— Господи! Да давайте я подпишу! — беззаботно воскликнула Нина. — Вот еще вопрос! — Она подошла к столу, села и солидно распахнула том. — Ну, так что вам написать? Говорите, Костя.

— Вот вам ручка, пишите, — сказал Семенов.

— Да что, что?

Николай пожал плачами. Нина Николаевна смотрела на него и соображала.

— Ну что может написать старый театральный заяц своему младшему собрату, то и пишите.

— «Мне время тлеть, тебѐ цвести!» — улыбнулась Нина и через всю страницу черкнула: «Несравненному Фердинанду от его будущей партнерши».

Директор взглянул через плечо и хмыкнул:

— Ну уж это вы, моя дорогушенька... Николай, смотри-ка, что она...

Николай посмотрел и засмеялся. Так они стояли и пересмеивались.

— Что вы? — удивилась и обеспокоилась Нина Николаевна. — Разве не так?

— Да нет, все так! — Семенов взглянул на директора. — А? Сообразила же головка!

— «Да будет стыдно тому, кто об этом плохо подумает», — напыщенно произнес директор. — Кто это сказал и когда?

— Вот это правильно, — согласился Семенов, взял пресс-папье, промокнул надпись и, захлопнув книгу, подал Косте. — Прошу.

— Стойте, стойте! — поймала на лету его руку Нина Николаевна. — Я ничего не пойму, я не так что-то написала? О чем вы говорите «правильно»?

Семенов, улыбаясь, тронул ее за плечо.

— Правильно, что так написано на ордене Подвязки.

— Да что, что? Что написано там?

— А вот: «Да будет стыдно тому, кто об этом дурно подумает!» О, уже звонок, пошли!

На другой день было семейное торжество. Пока Костя спал, ему на стол поверх розоватой кружевной салфеточки поставили тоже розовый торт, древняя бабушка вынула из какой-то кубышки десятирублевик, мать приготовила конверт с деньгами. Книги Шиллера лежали стопочкой рядом с тортом, и все домашние и гости приходили рассматривать картинки. Хвалили, читали надпись, восклицали: «О-о!» — и спрашивали: «А что, хорошенькая?» И тогда мать вынимала из конверта фото Нины, и вид у нее при этом был такой, словно она только что приобрела Нину Николаевну по дешевке в антиквариате и теперь та стоит у нее в шкафу рядом с хрусталем и голубым фарфором.

К обеду неожиданно пришел муж тети Оли, физкультурник, капитан футбольной команды «Спартак» Виктор — высокий, сухой человек, всего лет на десять старше своего племянника. У них и отношения были товарищеские — он любил прийти, вдруг схватить круглый столик за одну ножку и поднять его на вытянутой руке, показать несколько новых приемов джиу-джитсу и вдруг — одним молниеносным ударом ребром ладони — свалить Костю на пол, засмеяться и уйти к родителям в столовую. Но сейчас он пришел из столовой веселый, встрепанный и сказал:

— Ну-ну! Поздравляю, поздравляю. Был вчера в театре, видел тебя, — молодчага! Покажь, что она там тебе написала?

Костя открыл книгу, Виктор прочел и рассмеялся:

— Правильно! Тертая баба! Хорошая партнерша — это большое дело в жизни! Ну, поздравляю! Теперь только не подгадь! Баба стоящая, что и говорить, — он сел, — и главное теперь, конечно, подход, — он поднял руку, — правильная тактика, вот что главное!

— Какая еще тактика? — спросил Костя.

— Такая! Прежде всего: узнать, с кем она живет.

Костя пожал плечами: его и возмущал, и привлекал этот разговор — самая возможность так думать и говорить о ней.

— Ну, жил же кто-то с ней? Что она, девочка, что ли? — возмутился дядя. — Как же ты не знаешь?

Костя покачал головой.

— Нет, действительно не знаешь?! — удивился дядя и вдруг снизу вверх провел ладонью по его лицу. — Эх ты — тёпа!! Тёпочка!

— Да ни с кем она не живет! — вырвался Костя.

— Ну, лопух же — лопух! — безнадежно засмеялся Виктор. — Директор у вас кто? Этот толстый кот с бантом? Ну вот, значит, и всё! Понял?

Костя быстро и решительно сказал:

— Этого не может быть!

— Это почему же не может...

— Да они даже... — неудержимо начал Костя, но укололся о насмешливый взгляд Виктора и осекся. — Они даже и разговаривают редко, — закончил он убито.

Дядя добродушно ткнул его в живот.

— Что ж они, при тебе целоваться должны? Целоваться при тебе, лопушок, они не будут — не жди! И по глазам видать: баба — ух, тертая.

Вошла мать в черном атласном платье и обняла Костю за шею голыми, пахучими руками (ждали гостей).

— Мальчик мой, — проворковала она. — Артист! — Она нежно и осторожно поцеловала Костю в лоб. — Еще не очнулся от своего успеха? Ты видел, Виктор?

— Видел, — грубо усмехнулся дядя. — Становится львом — оторвал премьершу.

Глаза у матери ласково и нежно увлажнились.

— Ну что ты мне развращаешь его! — Она ласково провела рукой по волосам Кости. — Он же совсем мальчик!

— Хо-хо-хо! — кругло расхохотался дядя. — Костя, полезай матери под юбку! Мальчик! Я в его лета... Ольга до сих пор мне глаза колет.

Мать туманными и любовными глазами смотрела на Костю.

— Ну и что хорошего! Был хулиган! — Она опять хотела обнять Костю, но он угрюмо увернулся. — Нет, Котик хороший, умный мальчик, ему такие штучки не нужны — пусть себе бегают, а он будет смотреть на них сверху вниз и улыбаться. Мы таких выскочек не любим. Вот Костя пригласит ее к нам, и мы посмотрим, что такая за премьерша.

— Так она и пошла к тебе! — свистнул Виктор. — Не слушай матери, Кот! Все они на одну колодку. А написала «Будущему партнеру» — значит, не зевай, а то потом свои же засмеют.

— Ну, пожалуйста, пожалуйста, — сварливо и ласково сказала мать и увела Виктора с собой.

Вечером к Косте прямо от гостей зашел отец — он был немного под хмельком, в расстегнутом пиджаке, с сигарой во рту.

— Ну, поздравляю, Костя, — сказал он корректно, они пожали друг другу руки. — Видел и твоего прекрасного Шиллера, и фото твоей покровительницы. У матери их целый конверт. Что, это она только на открытках такая царь-девица?

— В жизни она еще лучше, — горячо ответил Костя.

— Ну? — спокойно удивился отец. — Можно сесть? Ты никуда не идешь? Еще, говоришь, лучше? Ну что ж, и так бывает!

Он открыл Шиллера и начал его листать. Костя искоса смотрел на отца — он всегда побаивался его мне-

ний, хотя после той размолвки отец уже ни во что не вмешивался.

— Отличное издание, — честно сказал отец, рассматривая гравюры к «Песне о колоколе». — Это, значит, у них праздник, что ли? Все поют! Еще Пушкин издан так же. Ну, молодец! — Он захлопнул книгу, полез в боковой карман и вытащил бумажник. — Раз, два, три, пять! Держи! — Он протянул Косте деньги. — Купи сам себе что надо, я не знаю. — Он спрятал бумажник. — Ну и еще раз поздравляю и беру почти все слова и советы назад. Ты меня не считай, пожалуйста, каким-нибудь там Писаревым, ниспровергателем искусств и театра. Я потому только тебя отговаривал, что думал — театр у тебя это так — павлиний хвост! Повертишься, потеряешь два года и обратно. Это не годится. А так театр огромная сила. Я помню, что у нас в Жиздре, — он усмехнулся, — что у нас в Жиздре делалось, когда приезжали братья Адельгейм. Знаешь, кто это такие были? Ну, вот, вот! «Трильби», «Казнь», «Уриэль Акоста», «Разбойники» — одни названия чего стоят! И висит афиша во всю стену, а вокруг нее толпа и разговоры: «А вы видели?» — «Слушайте, да неужели они в самом деле братья?» — «А что?» — «Ну! Один такой благородный, а другой — негодяй — отца продал». — Отец засмеялся. — Играли хорошо, но с шипом, криком, топотом, — а люди смотрели и плакали. Но раз плакали — то, значит, действительно становились лучше и добрее! Так вот, благословляю — работай!

— Спасибо, папа!

— Работай, голубчик, работай! Приду посмотреть! Но в звезды (так, что ли?!), в звезды не лезь! Придет твой час, и ты сам по себе загоришься. Если, конечно, есть в тебе чему гореть, — так я говорю или нет?

— Так, папа.

— Загоришься сам — только знай работай! Так и всегда бывает в жизни человека. Ничего, ничего, ничего — и вдруг все ахнули: господи, откуда же это у него?! Как же мы-то жили бок о бок и ничего не видели?! И вот

еще, — он серьезно посмотрел на Костю, — насчет этих самых книг. Что сейчас у вас в театре делается, я не знаю, конечно, далеко не то, что раньше. В двадцать восьмом году пришлось мне иметь дело с опереттой — век не забуду. — Он вынул сигару. — Но не увлекайся! Она что, из Москвы?

— Да, недавно кончила ГИТИС.

— Это что, институт, что ли, такой? Значит, молодая и интересная? Сколько ей лет-то?

Костя пожал плечами. Он как-то никогда об этом не думал.

— Ну все-таки?

— Ну, может быть, двадцать три, может быть, меньше.

Отец засмеялся.

— Двадцать три?! Ну, значит, за все тридцать ручаюсь! Это моя житейская пошлость так говорит, а она редко ошибается. — Он снова взял сигару в зубы и положил Косте на плечо маленькую, сухую руку. — Вот что, Костя! Я тебе говорил: «Не поступай в студию, иди в машиностроительный», — ты меня не послушал и пошел. А теперь у тебя успех — значит, и подавно не послушаешь. Да тут ничего и навязывать нельзя, — но вот с высоты моих лет и опыта: я бы подождал терять голову — посмотрел бы, как и что.

— Я, папа, и...

— Стой! Слушай! Да, я посмотрел бы! Что она тебе книги подарила, это очень для нее хорошо! Очень! Будем думать, что так оно все и есть. Вот у твоей матери до революции была сестра — тетя Муза, — она держала музыкальные классы, было тогда такое название, так она всю себя отдавала своим воспитанникам — и деньги, и время, и себя. Ну всё, одним словом. Сколько у нее из-за этого было скандалов с мужем! Уходила она от него, снова приходила, плакала, ночевала у нас на диване, а справиться с собой все-таки не могла. Так вот, были такие и при царе-косаре. А теперь таких, должно быть, в десятки раз боль-

ше. Даже так — теперь это норма по отношению старшего к младшему. Правильно?

— Правильно, папа.

Отец встал.

— Вот и мне думается, что это правильно, и поэтому этих книг опасаться нечего. Но если это все-таки не так, пусть лучше она, а не ты, останется с длинным носом, — так, что ли, да? Ну, давай руку.

Костя улыбнулся и протянул руку.

— Даю, папа!

На этом и кончили.

Но с этого же все и началось.

Может быть, если бы все молчали, эта хмарь так и прошла бы стороной, а тут Костя начал интересоваться Ниной Николаевной вплотную. Он начал прислушиваться к разговорам, а в театре чего-чего, а трепотни было сколько угодно. Тут даже слово «москвичка» по отношению к Нине звучало как-то особо хлестко. Говорили, например, что она не уехала бы из Москвы, если бы не одна дымная история, так что пришлось уже бежать, но все равно она здесь недолгая гостья, — в следующий же сезон прежний дружок ее утянет не то в Театр Моссовета, не то к Вахтангову.

Другие только смеялись, — какой там Моссовет, какой там Вахтангов! — еще что выдумаете! — она бы и звания не получила, если бы не подвернулся случай — как раз справлялся юбилей Республики, а ей попала выигрышная роль — ну, конечно, молодая, красивая, понравилась кому нужно, — вот тебе и заслуженная, а так бы дудеть ей еще две пятилетки и, кроме грамот горсовета, ничего не видать.

И еще говорили, что она сильно себе на уме! Ну как же? Притворяется недотрогой, а небось с Семеновым только познакомилась и прямо ночью из ресторана махнула в горы — и на целые сутки! Ногу там ему лечила — он

ее где-то вывихнул, лежал, изнемогал, не мог идти, так она его лечила. В общем, та история! Только напрасны ваши совершенства! Она ждала рецензию, а он так ничего о ней и не написал, — то есть, наверно, он-то написал, да редактор вычеркнул. И много еще говорили такого, и все с той же косой усмешечкой, но в одном сходились все — работать над ролью она умеет, ни на какую халтуру не пойдет, и что правда, то правда — есть в ней эдакое святое недовольство собой, зуд в сердце, постоянные поиски то ли образа, то ли зерна роли, то ли просто удачного самочувствия. Бывало: выйдет во время спектакля из своей уборной и, проходя по коридору, остановится на минуту перед огромным зеркалом с золотыми раковинами по углам; стоит и рассматривает себя строго и взыскательно, как знаток ценную картину. Никто ее тогда не окликал — только Елена Александровна, — а с нее всякие взятки были гладки — кричала ей через весь коридор: «Ну хороша, хороша, Ниночка — куда там!»

И Нина Николаевна отвечала ей по-разному — иногда как будто неохотно соглашалась: «Да и мне кажется ничего», но чаще вздыхала, взмахивала оперенными, похожими на бабочки веками и говорила: «Ой, нет, Леночка!.. Посмотри! Наляпана, намазана, как карусельная лошадь», — и проходила через фойе к гримеру.

Про нее говорили всякое, а она всегда была одна, сослуживцы и подруги, конечно, не в счет, но никто к ней не приходил и не вызывал ее по телефону. Семенова Костя никак не хотел считать. С ним она постоянно ругалась. Однажды Костя видел, как он буквально — сослепу, что ли? — налетел на нее в коридоре и они стукнулись лбами. Он даже ойкнул, схватился за голову.

— Хорош! — сказала Нина Николаевна ему очень сердито. — Очень, очень хорош! Фу, и здороваться с вами не хочу!

Семенов прижал к сердцу портфель.

— Извините! — сказал он покаянно. — Я запоздал.

Она покачала головой.

— Запоздал! Это уже не запоздал, а просто не пришел... Ну хоть сейчас-то принесли? И, наверно, опять не все номера! Ну пошли! — и увела его с собой.

А через пять минут он уже катился по лестнице, насвистывал что-то и махал портфелем.

Так неужели эта гордая красавица, замкнутая, холодная, чистая, как снежинка, могла вынести такое наплевательство, пренебреженье?! Где бы была ее гордость, чувство собственного достоинства и каким дураком и пошляком надо быть, чтоб поверить в глупейшую историю с горами и сломанной ногой? Да, держи карман шире — станет она возиться с его ногой! Но Нина Николаевна была еще и талантлива! Так талантлива, что одно ее появление на сцене — то, как она вошла, взглянула, улыбнулась — сразу настраивало зал. Вот это, наверное, и есть настоящее дуновение таланта — посредственность груба, она норовит захватить твою душу в ежовые рукавицы, в когти, талант же только чуть-чуть прикасается к ней. Но вот она вошла и села, и все повернули головы, она легко, вскользь как-то сказала одно слово, а все уже смотрят только на нее, она заговорила — и зал уже пофыркивает, порыкивает, щурится от удовольствия, гудит, а она разгорается все ярче и ярче над их головами, и все замолкли, слушают, и вот, словно резкий взмах рубильника, — одно слово, легкий поворот головы, какой-то жест, и всё вдруг вспыхивает таким ослепляющим светом, что там, под ее ногами, — на мгновение застывают все, даже капельдинеры у двери.

А наутро касса пуста и жучки бойко торгуют билетами. «Артистке везет», — говорят старые театральные лошади и жмут пренебрежительно плечами: ну что ж, молодая, красивая и талантливая — талантливая? Ну да, и талантливая, конечно, — кто же это у нее отнимет?!

Повезло и Косте.

На четвертый день после спектакля, когда он шатался по коридору, его увидел директор и страшно обрадовался:

— Вот кстати-то! Голубчик, не в службу, а в дружбу, слетайте к вашей партнерше вот с этой запиской, а то у нее все время телефон занят — значит, догадалась, сняла трубку. Так съездите? — Он заглянул ему в глаза. — Вон и саночки мои стоят. Вы знаете, где она живет? В гостинице. Ну вот! Ну вот, нате.

И Костя поехал. Отворила ему полногрудая, белолицая, голубоглазая девушка в очень свежем голубом фартучке и белой шелковой косынке. Он сказал ей, что ему нужно, и она просто ответила: «Сейчас выйдет, а вы пройдите в комнату». И толкнула дверь. Костя вошел. Это была довольно большая зала, освещенная висячей лампой в синем абажуре. Было темновато. По углам стояли, как заводи, тихие подводные сумерки, в середине, за столом, покрытым белой скатертью, сидели четверо и играли в карты. Когда Костя вошел, одна из играющих, полная, пышная блондинка со светящимися спереди от лампы волосами, оглянулась и приветливо сказала:

— Вы к Нине Николаевне? Она сейчас! — и крикнула: — Ниночка, к тебе!

— А вы ходите, ходите, дорогая, не держите карты! — подтолкнул блондинку ее партнер, высокий красивый человек лет тридцати пяти, в крагах и с лейкой через плечо. — Вы, товарищ, проходите, садитесь, — она сейчас.

— О, да это же Фердинанд! — раздался веселый голос, и Костя увидел красное, разгоряченное азартом лицо Семенова и его руку с веером карт — то, как она взлетела и упала, — нате, нате, нате! Он бросил одну за другой три карты, засмеялся и встал. — Ага! Кончил! Нина, вы там скоро?

Послышались стремительные шаги, дверь напротив отворилась, и сразу стало слышно, как мощно, словно

авиамоторы, гудят примусы и грохочет по столу скалка, — наверно, раскатывается тесто. Вошла Нина Николаевна, на ней были цветастые домашние туфли, легкое платье с закатанными рукавами, фартучек и косынка, такая же, как у той девушки, что отворила ему дверь. Пальцы у Нины были липкие, белые и черные, и она держала их далеко от себя.

— Здравствуйте, Костя, — сказала она улыбаясь, — что, опять собрание?

Он протянул ей конверт, она обтерла руки о фартучек, разорвала конверт и начала читать:

— Испортите глаза, Нина Николаевна, подойдите к столу, — равнодушно посоветовал высокий с лейкой.

— Да что ты там читаешь! — воскликнула Елена Александровна, вскакивая с места (она и была четвертым партнером). Нет дома, и всё! Еще новости — в выходной им работай! Дай-ка сюда.

— Стой, стой! — поморщилась Нина, отклоняясь от ее руки. — Это же «Театр у микрофона», надо согласовать текст. Костя, присядьте — я сейчас буду готова, — и она быстро вышла из комнаты.

— А мы останемся без хозяйки? Очень оригинально! — пожал плечами Семенов и крикнул вдогонку: — Нина Николаевна, вы что же это, надолго собрались?

— Да нет, туда и обратно! — ответила Нина из-за двери, и сразу же зазвенела вода. — Тут дедушка Серапионыч. А вы играйте.

— А-а, само собой, — успокоился Семенов и снова сел, — только вы скоро-скоро, да?

— Ну я же сказала — полчаса, — беззаботно ответила Нина, появляясь уже в манто и в меховой шапочке.

Тут Даша подошла и значительно посмотрела на нее.

— А-а! — вспомнила Нина. — Да, да, сейчас. Костя, ну-ка идите сюда! Познакомьтесь с моей девушкой. Вы ей очень понравились. — Нина их познакомила. — Можете гордиться, Костя: моя девушка очень строгий

ценитель — мне от нее знаете иногда как достается? А вашу партнершу совсем даже не одобряет. Когда я сказала ей, что буду играть с вами, она даже в ладоши захлопала. Правда, Даша?

— Ну-ну, не смущай девушку — иди уж! — строго сказала Ленка и выпроводила их.

Они вышли на улицу. Была мягкая, влажная ночь. Спокойно светили белые шары у гостиницы. В саду за оградой из черных копий на высоком синем снегу лежали четыре золотых, спокойных прямоугольника — окна гостиницы.

— Ой, какой хороший вечер! — улыбнулась Нина. — А они сидят в карты играют. — Она обернулась к Косте: — Ну, вам куда?

— Обратно. Я играю в массовке, — ответил Костя.

— О! — радостно удивилась она. — Значит, едем вместе. — И спрыгивая с плоских, широких ступеней, она крикнула: — Дедушка Серапионыч, прокатите?

Санки стояли рядом. Старик в меховой шапке, белом овчинном полушубке, подпоясанный кушаком, — все честь честью, как и полагается ямщику, — привстал с облучка и радушно и важно поклонился.

— Доброго здравия, Нина Николаевна. — Он старательно до последней буквы выговорил ее отчество. — Прокатим, прокатим! — Она подошла и откинула меховую полость. — Пожалуйте! Что? Похоже, что и в выходной нет покоя?

— Нет, дедушка Серапионыч, — весело вздохнула Нина, усаживаясь. — Вон какого кавалера за мной прислали!

— Да, кавалер-то неплох, — пренебрежительно сказал Серапионыч и, не глядя на Костю, слез с облучка, подошел и застегнул полость. — Да ведь, наверно, у вас и свои гости сидят?

— Четверо сидят, дедушка!

— Ну вот, то-то и оно-то, — засмеялся старик, — мы знаем, Нина Николаевна одна никогда не живет. Ну, прикажете прокатить? Держитесь!

И тут пошел пушистый снежок, такой легкий, что он не падал, а порхал и кружился. И только лошадь понеслась, как Костю сразу обдало острой снежной пылью, а тут пронесся ветер и невесть как и откуда швырнул в лицо целую пригоршню звонких рассыпчатых игл. Костя невольно зажмурился, а Нина Николаевна засмеялась, крикнула «Держитесь!» и спросила:

— А какие стихи о зиме и снеге вы знаете? — И вдруг, не ожидая ответа, наклонилась к нему и, ласково поблескивая глазами, не задекламировала, а заговорщически тихо заговорила:

— Счастлив, кто испытал прогулки зимней сладость!
Кто в тесноте саней с красавицей младой,
Ревнивых не боясь, сидел нога с ногой...

Откуда это, знаете?

— Нет.

Нина Николаевна положила на его ладонь руку в серебристой перчатке и слегка сжала ее:

— Жал руку, нежную в самом сопротивленье,
И в сердце девственном впервой любви смятенья,
И думу первую, и первый вздох зажег,
В победе сей других побед прияв залог...

Чье это?

Он не знал и обалдело смотрел на нее. Лошадь разогналась. Серапионыч вдруг гикнул и привстал. Ветер так и пел в ушах Кости. Это не ветер пел, это ухала кровь. Лицо любимой сверкало рядом, то в лиловом свете фонаря, то опять в темноте и в винтовом кружении голубого снега. У него сразу потяжелели колени и дыханье стало колючим. Он осторожно взял ее руку. Она не отнимала. Он поднес ее ладонь к губам и поцеловал в не стянутый лайкой душистый кружок ладони.

— Не знаете? — спросила она не двигаясь.

Он покачал головой и снова поцеловал ее ладонь.

Тогда так же, не отнимая руки, она вдруг деловито сказала ему сверху:

— Совет старшей: никогда, Костя, не балуйте этим женщин. А то они сядут вам на шею. А стихотворение это Вяземского. Приходите, я дам вам книгу.

Что Костя в театр приехал с Ниной Николаевной и, прощаясь, она ему тряхнула руку и серьезно сказала: «Так жду — приходите», — видели и слышали все студийцы и после конца занятий обступили его да и стали расспрашивать. Он начал рассказывать о том, как все это вышло, дошел до Серапионыча и стихов Вяземского, и тут случилось что-то очень странное и неожиданное — вдруг его язык повернулся куда-то не в ту сторону, и он ляпнул: «Мы с ней сговорились ехать на каток». «Господи, что же это я такое...» — мгновенно вспыхнуло у него в голове, и тут же он добавил: «Завтра или послезавтра поедем».

Забрал он с катком очень высоко: каток находился далеко за городом, и чтоб добраться до него, надо было потерять целый день. В театре знали, что Нина Николаевна часто бегает по двору на «норвегах», но на загородном катке она не была еще ни разу и все только грозилась:

— Вот выберу выходной и уеду к Серапионычу в горы. Правда, дедушка Серапионыч?

И дедушка Серапионыч — разговор о катке чаще всего возникал при нем и из-за него — солидно подтверждал: «Как прикажете, как только прикажете, Нина Николаевна, так и будет, — много вами довольны».

Когда Костя сказал про каток, послышались восклицания. Кто-то обомлел: «Здорово!» Кто-то крикнул: «Не трепись ты!» А Онуфриенко, высокий, плечистый третьекурсник с эспаньолкой и усами, всегда одетый по последней моде, деловито, не удивляясь, спросил: «Сама предложила?»

— Сама! — ответил Костя.

— Толково!

Помолчали.

— Что ж, дай бог нашему теляти волка загнати, — вздохнула староста курса Надя Соколова, полная волоокая девушка, про которую на всех стенах писали: «Надя Соколова — поэтесса и корова». — У ней же этот журналист...

— Это еще какой? — насмешливо спросил Онуфриенко — он работал в филармонии кассиром и поэтому знал все театральные сплетни. — Уж не Семенов ли?

— Конечно, Семенов.

Онуфиенко грубо фыркнул:

— Ну, много же вы все, оказывается, знаете! Семенов тут ровно ни при чем.

— Ничего, а в кино всегда вместе, — улыбнулась Надя. — Нет, Костя, не связывайся. Только смеяться будут. Ты ее еще не знаешь. Она, когда ее трогают, такая занозистая, — и отошла, не желая продолжать разговор.

— Агентство ТАСС, — грубо усмехнулся ей вслед Онуфриенко, — все видим, все знаем! Кого же это она занозила? Заноза.

— А ты знаешь, как она Народного шуганула? — спросил кто-то. — Эх, и шуганула! Он ей что-то сказал такое, так она как повернется к нему...

— Правильно! Не лезь с поганым языком, — похвалил Нину Онуфриенко. — Какая уважающая себя женщина станет слушать Народного. Так при чем тут заноза? А Костя ей нравится, и всё.

Он сказал это «нравится» так твердо, убедительно и просто, что все замолчали. Еще постояли минут пять, поговорили сначала о том, что нет, это чепуха — ничего не выйдет, а потом о том, что это очень легко может выйти, ничего тут и хитрого нет, — что она тут одна, ей скучно, с актерами связываться не хочет, потому что знает — звонари, а Костя будет молчать. Таких случаев сколько угодно, например... и шли примеры.

— И потом, он молодой, сильный парень, — подытожил Онуфриенко, — таких бабы любят.

— А она старуха? — язвительно спросил тот же голос, что говорил о Народном.

— Не старуха, а знаешь, какие они выходят из ГИТИСа? — спокойно повернулся к говорящему Онуфриенко. — Москва, она, брат, слезам не верит, там так: сначала на диван, а потом на экран. Там... — Он засмеялся и взял Костю за руку. — Тебе, Любимов, в какую сторону? Ну, и я к парку, идем. Пока, товарищи!

— А что ж ты недоговорил? — спросил вдруг чей-то голос, такой злой, что Косте показалось: словно кто хлестнул бичом. Костя посмотрел — так и есть: говорил Рябов, его товарищ по курсу.

По лицу Онуфриенко пробежала быстрая гримаса, но сейчас же он оправился и свысока улыбнулся.

— А что мне договаривать? Что тебя именно интересует? Говори — я договорю.

— А ну, товарищи! — Рябов раздвинул толпу и подошел к Онуфриенко вплотную — у него было поджатое ненавидящее лицо, а на скулах прыгали желваки.

Все приумолкли — назревал настоящий серьезный скандал. Дело в том, что Рябов был любимец Нины, и это знали все. Она питала какую-то слабость к этому серьезному, хмурому парню с ярко-желтыми волосами и некрасивым широким лицом. Когда она входила в студию и видела ребят, она прежде всего искала глазами его и, найдя, ласково здоровалась: «Здравствуйте, Гена!» — и шла первая с протянутой рукой. Иногда же она, проходя, говорила: «Гена, есть разговор. Зайдите». И он деловито и хмуро кивал головой. Сейчас он стоял, стиснув кулаки, и смотрел на Онуфриенко.

— Да неужели подерутся! — весело ахнул кто-то, но все на него зашипели, потому что и в самом деле могли подраться.

— Слушай, что тебе надо? — вдруг спокойно и угрожающе спросил Онуфриенко. — Что ты прыгаешь?

— А то, что ты врун и пакостник, — крикнул Рябов.

— Я? Врун? — как будто очень удивился Онуфриенко. — Нет, это даже интересно! С какой же стати мне врать, что я, ревную, что ли?

Рябов стоял, тяжело дыша, он все время хотел что-то сказать и не мог.

— Я знаю, — начал он и осекся, задохнувшись. — Просто тебе досадно, что она... А-а, знаем мы таких субчиков, видели.

— Во-первых, не плюйся, пожалуйста, у тебя гнилые зубы. — Онуфриенко демонстративно обтерся. — И во-вторых — что ж мне досадно? Что? Что я не стреляю десятки у нее до стипендии? Да, я не стреляю — у меня свои есть. Я служу!

У Рябова только губы двигались, а слова с языка не шли.

— Что? Может быть, опять вру? — Рябов молчал. — Ну, то-то и оно-то. — Онуфриенко победоносно посмотрел на ребят. — И почему, когда я говорю, что у нее перебывало много мужчин, — это пакость? Ты что ж? Равноправия не признаешь? Что, женщина не такой же человек, как ты, ей не так же хочется жить? Ты можешь, а она — нет? Рассужденьице!

Кто-то угодливо подхихикнул, кто-то возмущенно сказал: «Вот скотина».

— Да на черта ты мне нужен со своими бабами! — вдруг взорвался Рябов. — Иди ты к дьяволу со своими шлюхами! Кот! А ее трогать не смей!

— А то что? — вежливо улыбнулся Онуфриенко и картинно погладил усики. — Пожалуешься? «Нина Николаевна, а что там про вас Онуфриенко рассказывает?! Я из-за вас поругался!» Ну, иди, иди, говори! Она тебе еще десятку до стипендии даст. Больше ничего таким не

дают! Эх, продажная шкура, от кого получаешь — тому и мурлыкаешь!

Рябов молча размахнулся, но Онуфриенко ловко изогнулся, удар прошел мимо, и вдруг он схватил Рябова за обе руки и на минуту распял его в воздухе — вверх косым крестом и вниз.

— Ну? Ну? — сказал он насмешливо. — Ну, дальше-то что? Ну? Я же жду! — и вдруг так толкнул Рябова, что тот отлетел и ударился спиной о стену. — И имей в виду: это я еще тебя не ударил, а что будет, если ударю? Ты подумай-ка об этом! Идем, Любимов! А то еще расплачется: «Нина Николаевна, а меня за вас...»

Кажется, ясное дело, Костя сбрехнул, и всё на этом бы и кончить, — а то вот уж дело доходило до драки, — но не тут-то было!

Раз, раздеваясь в передней, — он пришел с занятий, — Костя услышал, что в его комнате громко разговаривают мать и тетя Оля, жена спартаковца Виктора. Ольга смеется и говорит: «Но, действительно, написать такое...», а мать проникновенно и со вкусом «декламирует»: «Но я боюсь за своего мальчика, я очень боюсь за него, Оля».

«Сейчас расплачется!» — с отвращением подумал Костя и повернулся, чтоб уйти. Ему всегда было душно в присутствии декламирующей матери, но в это время сзади появился отец и удивленно и строго спросил:

— Ты?! Эт-то что еще такое? А ну, войди! Подслушивать! — и толкнул дверь.

Мать и Ольга сидели и листали Шиллера — у матери в руках был один том, у тетки другой.

— Здравствуйте, — хмуро поклонился отец. Обе вскочили. — Ну что вы вгоняете парня в краску? Вот — он даже войти не решается — торчит у двери.

Тетка оставила Шиллера и, не замечая отца, бросилась к Косте.

— Котик! Красавец! Вот какие у тебя, оказывается, победы! Ну молодец, молодец! — и она стала его быстро и мелко целовать. — Семен, ты видел, что ему написала?

— Видел — глупо, — холодно ответил отец. — А что ты в таком ажиотаже?

— Она же такая красавица! — жалобно сказала мать. — Ты, наверное, не видел ее еще без грима? Ты посмотри, — и она сунула отцу в руки несколько карточек — все, что Костя собрал и хранил в Шиллере.

Отец бегло пробросал карточки в руках и положил на стол.

— Хорошо! Но при чем тут «победы»? Что ты крутишь ему голову и как-то хочешь все по-особому понимать? Не по-людски, а... — он махнул рукой.

— А когда женщина называет мальчика своим будущим партнером, как это понимать? — спросила насмешливо тетка.

И тут засмеялась мать, но как-то странно засмеялась — очень затаенно-старушечьи-шаловливо и мелко-мелко: словом, очень нехорошо рассмеялась. Костю так и передернуло.

Он повернулся к ней спиной и резко сказал:

— Нина Николаевна сама играла Луизу.

— Ах, так! — обрадовался неожиданной помощи отец. — Играла в той же пьесе? Ну вот и все! Вспомнила, как она тоже была щенком, и расчувствовалась — все понятно!

На этом бы и кончить, но тут тот же самый дотошный черт, что и давеча, дернул Костю за язык, и он ляпнул:

— Она меня приглашала на каток.

Наступило изумленное молчание.

— На-та-ша, — вдруг тихо и лукаво позвала Ольга, не отводя от Кости горящего кошачьего взгляда, — прощайся со своим мальчиком!

Тут отец так рассердился, что стукнул по столу кулаком.

— Слушайте, вы! Преподобные сороки! Кончите вы это или нет? Это я серьезно, Ольга! Ну что ты вбиваешь ему в голову? К чему? Хочешь, чтоб он попал в глупую историю? Так он попадет, голова-то у него такая! Ничего особенного нет, — обратился он к Косте, — значит, едет целая компания и приглашает тебя («Компания, Костя?» — прищурилась тетка), и Костя... — продолжал отец гневно, повышая голос и оглядываясь на тетку, — и Костя должен вести себя как человек, а не как стиляга. Видел я у них таких в плащах и шляпах. Вот этот твой высокий, например. Когда они едут, Константин?

Костя покосился на тетку, та состроила ему глазки.

— Не знаю, папа, кажется, в следующий выходной.

Отец бросил на Ольгу строгий взгляд и героически сказал:

— Я тебе дам свое авто. Поезжай. Это хорошо, что тобой не пренебрегают.

Он величественно кивнул, повернулся и вышел.

Костя стоял растерянный, с бегающими глазами.

— У, ты мой глупый! — сказала мать и чмокнула его в лоб. — Ничего-то он еще у меня не соображает, ничего не видит! Идем-ка за стол.

В коридоре тетушка больно ущипнула Костю за руку.

— Партнер, — горячо шепнула она, — ну смотри же, будь ей подходящим партнером, Кот!

С Костей началось что-то очень странное, он попутал ложь и правду. До сих пор он совершенно ясно и твердо знал, что с Ниной Николаевной у него ничего нет и быть не может. Но вот явилась тетушка Оля, подмигнула серым блудливым глазом, и все, что сначала было только выдумкой, шуткой, мечтой, теперь обрело плоть, кровь и достоверность жизненной практики. И когда это произошло окончательно, когда он убедил себя, что это все может быть и есть, — пришли муки и томления. Она начала

сниться. Он научился, не отрывая карандаш от бумаги, рисовать ее профиль, нашел в старом номере журнала «Пробужденья» (у матери был годовой комплект) стихотворение, где рифмовалось «Нина» и «судьбина», списал на отдельный листок ватмана, обвел рамкой и, показывая ребятам, говорил: «Мое». Ребята хвалили, и только поэтесса Надя Соколова сказала: «Уж больно оно какое-то старорежимное. Ну какая теперь у человека судьбина? Нет, мне не нравится».

Но он пошел и дальше — звонил Нине, держал трубку у уха и слушал, как она фыркала, сердилась и кричала:

— Да, да, да! Ну, я слушаю! Я вас слушаю! Товарищ, вы или опустите трубку, или говорите, что вам надо! Станция, станция!

Куда бы он ни шел, он встречал ее на пути: она стояла возле кино, проезжала мимо него на площадке трамвая, выходила или входила в магазин, — он бежал за нею, и всегда оказывалось, что это не она, только спина да плечи чуть похожи. Его стали интересовать и мучить ее знакомства — такой, например, вопрос — сегодня выходной, она не играет, так где же она? Одиннадцать часов уже, а у нее в окнах и не зажигался свет. А однажды с ним произошло что-то вообще совершенно непонятное: в актерском фойе, когда никого не было, он подслушал разговор: Елена Александровна подошла и тихо спросила Нину: «Так что ж?» Нина убито покачала головой: «Нет! Я ошиблась». Елена Александровна вдруг облегченно вздохнула: «Ну и везет же тебе, Нинка!» Нина печально улыбнулась: «Вот это, по-твоему, везет?!» Елена Александровна мгновение неподвижно смотрела ей в лицо, потом фыркнула и резко отошла. «Дура! Болтаешь ты черт знает что, даже слушать противно!» Костя ничего не понял из этого почти масонского разговора, но на него вдруг неизвестно откуда налетели такой страх, такая тоска, такое чувство утраты чего-то очень дорогого и важного, что он оделся и стремглав бросился домой. Там он сидел один на отцовском

диване, не зажигал огня, и все внутри его ныло и болело. С этого проклятого вечера он — верх мужского унижения! — стал ходить возле гостиницы и ждать ее. Но она выходила, и он сразу же убегал, чтоб даже случайно не встретиться, потому что лицом к лицу с ней он с беспощадной ясностью понимал, что все это чепуха, чепуха, чепуха и ни с чем похожим к ней и сунуться нельзя; но она проходила мимо, он переставал ее видеть, и все томления начинались снова: каток, поездка в авто, разговоры наедине — и дальше, дальше, до самой развязки.

Вот так бы и оставить ее в этом блеске и тепле, не вынимать ее из воображения, но что делать со студийцами? Уже пошло, пошло греметь по студии, и одни уже по-настоящему завидуют, другие посмеиваются, девчонки ревнуют, а Онуфриенко каждый раз, выслушав его последний рассказ, спрашивал:

— Ну, и все?!

И тут Костя тупился и воровато говорил:

— Ну вот еще! Выдумаешь тоже!

И Онуфриенко отвечал словами Виктора:

— Экий ты лопух! Ничего не понимаешь! — И это тоже было приятно.

Врать о ней стало его почти физиологической потребностью. Он уж дня не мог бы прожить без новой сказки о ней.

Теперь и рассказы о катке не удовлетворяли его — надо было что-то новое, и вот однажды он рассказал Онуфриенко об одном очень длинном и хитро задуманном разговоре, где все вертелось на остриях, на двусмысленных вопросах и ответах, которые были почти полным признанием. Онуфриенко хмуро выслушал до конца (был выходной, и они шатались по городу) и сказал:

— Вот что я тебе скажу: прохлопаешь ты все на свете. — Он сурово посмотрел на него. — Ну а что? На кой ты ей черт нужен со своими рассуждениями? У бабы кровь из зубов идет, а он сопли на кулак мотает. Плюнет, и всё.

— Плюнет? — как бы колеблясь спросил Костя.

Онуфриенко грубо фыркнул:

— А смотреть, что ли, будет?

— Так что ж, по-твоему, делать? — спросил Костя.

— А вот! — И тут Костя увидел, что Онуфриенко прямым путем привел его к гостинице. — Вот сейчас же, и так, чтоб я видел, заходи и говори с ней, понял? А я тут буду ждать.

И Косте пришлось зайти.

Он думал, что дело обойдется так — он скажет Онуфриенко: «Подожди тут — я узнаю: дома ли?» Зайдет в гостиницу, быстро поднимется на ресторан-крышу, возьмет в буфете пару апельсинов, потом, запыхавшись, выскочит и испуганно скажет: «Идем скорее» — и уже на углу объяснит: «У нее там и директор, и худрук, и какой-то военный! Я еле ноги унес», — и по дороге, выворачивая из кармана апельсины, расскажет: «Выскочила за мной в переднюю и сует-сует мне что-то в карманы. Темно, не вижу что, а посмотрел: апельсины! Нет, она хорошая баба», — и Онуфриенко, конечно, поверит — доказательство-то в руке! Но все получилось по-иному. Когда он заикнулся: «Ну, ты меня тут...» — Онуфриенко вдруг задумчиво сказал: «А стой-ка, и я поднимусь — позвоню», — и спокойно взял Костю под руку — это было так неожиданно, что Костя сразу потерялся. Они вошли в вестибюль и пошли по лестнице — Костя впереди, Онуфриенко за ним. Поднялись по одной лестнице, поднялись по другой, устланной красными дорожками, и остановились на площадке возле трех пальм и зеркала.

— Ну, она на этом этаже живет? — сказал Онуфриенко. — Так?

— Да! — подтвердил Костя.

— И в эту сторону — стой-ка! — Онуфриенко подошел к лестнице и посмотрел на дощечку с номерами. — Да, в эту! Ну иди, я буду звонить, — и он подошел к телефону.

Костя пошел, дошел до номера Нины, остановился возле двери и вдруг почувствовал на затылке взгляд Онуфриенко. Ему страшно захотелось обернуться, но он не посмел, а как заводной поднял руку и громко, отчетливо постучал, и сейчас же сзади звякнул телефон и Онуфриенко сказал:

— Будьте любезны, дайте... — и назвал какой-то номер.

Костя надеялся, что дома никого не окажется или откроет ему Даша, но дверь вдруг сразу распахнулась, и на пороге показалась Нина, на ней была простая белая блузка и на ногах широкие туфли из белого меха.

— Здравствуйте, Костя, проходите, — сказала она без всякого удивления и побежала обратно.

— Я... — начал Костя, проходя за нею в столовую.

Нина кивнула ему: «Садитесь», — и подняла со стола телефонную трубку.

— Ложная тревога, это Костя, — сказала она. — Слушайте, так, значит, я ему даю Вяземского. — Послушала и засмеялась: — Сколько можно повторять! Все будет в порядке, все будет в полнейшем порядке. — Послушала еще. — Так не прощаюсь — жду! — Она положила трубку. — Здравствуйте, Костя, еще раз. Очень хорошо сделали, что наконец зашли. Сейчас принесу вам книгу. — Она вышла и вернулась с толстым томом. — Вот! Только, Костя, условие: книга Семенова, так что не растрепать. Я за вас дала слово. Так вот, — она села с Костей рядом и раскрыла книгу, — вот это самое стихотворение, и смотрите, какое оно огромное: одна страница, вторая, третья и вот кусок еще тут. Но — замечательное! Семенов от него с ума сходит. Вот он сейчас придет, вы попросите его прочесть — он его замечательно читает. — Она перелистала еще книгу и положила ее на стол. — Так попросите! Костя, вы давно живете в этом городе?

Вопрос был неожиданно простой, и Костя ответил на него так же просто. Он говорил, а она сидела и слушала.

— Вы знаете, — сказала она вдруг и опять как будто без всякой связи, — я через месяц после моего приезда попала в горы и все там излазила. Боже мой! Какая же красота! Я, Костя, в детстве, кроме поля и речушки, так ничего и не видела. Жила в деревне, паслась с гусями и об этих горах и понятия не имела. Была, правда, в Крыму, но разве там горы!

«Вот оно, — подумал Костя, — значит, правда они были в горах». И ему стало холодно.

Он улыбнулся и спросил:

— Вы одна были?

— Ну, одна! — засмеялась она. — Нет, конечно! Что я там знаю?! Приехали за мной из заповедника, а потом один из моих спутников вывихнул ногу, так мне пришлось его чуть не на плечах тащить! Да еще через колючки! Так знаете, как я исцарапалась! Ого! Но все это чепуха перед тем, что я там видела. Горы! — Она даже зажмурилась от удовольствия. — Вы знаете, я сидела на краю обрыва, возле костра, и смотрела, как восходит солнце, — нас в горах застала ночь, и я видела, как ледники были и красные, и розовые, и сиреневые, и какие-то почти перламутровые. И так обидно было, что мужчины спят и на всю эту красоту смотрим только я да Нерон — черная собака.

— Ваша? — спросил Костя, только чтобы не молчать.

Она засмеялась.

— Ну откуда у меня собака? Охотоведа Максимова — противный такой, колючий — все время на меня потихонечку шипел! Ну, впрочем, я его понимаю. Артистку, эдакую фифочку, привезли в заповедник. У него так и лезло из глаз: «Здесь у меня, милая барышня, не пикничок!» А потом мы были у горной речки — маленькая, а такая злющая.

В дверь осторожно постучали.

— Он! — сказала Нина. — Так попросите его прочитать «Первый снег», ладно? Да, да! Войдите!

Отворилась сначала одна дверь в коридор, слегка пошаркали ногами о половик, потом отворилась другая дверь. На пороге стоял Онуфриенко.

— Извините, Нина Николаевна, — сказал он, кланяясь, — у вас мой товарищ, пошел и застрял.

Нина встала и сказала:

— Проходите, проходите, пожалуйста. Я рассказываю Косте о горах, — и вдруг взглянула на свои ноги и всплеснула руками. — Ой, неряха! До чего же досиделась и так принимаю молодых людей! Ну простите, мальчики.

В это время сзади Онуфриенко скрипнула дверь и появилась большая и тяжелая фигура Семенова.

— А передо мной не извиняетесь!

Нина радостно засмеялась:

— Перед вами — нет! Вы же свой!

— «А ты свой», — говорила мне мать в день моего ангела, когда приходил неожиданный гость и съедал мои пирожные. — Семенов подошел и пожал руки мальчикам.

— Здравствуйте, друзья! Это вы интересуетесь Вяземским, Фердинанд?

Костя кивнул головой.

— Очень рад! Хороший поэт! Что же вас в нем заинтересовало?

— Нина Николаевна прочитала мне «Первый снег», — сказал Костя.

— А-а! Это тогда, в санях? — потянул Семенов и сел. — Место и время подходящее.

— Нина Николаевна, как вам понравился каток? — вдруг спросил Онуфриенко. Вопрос прозвучал так резко, что сразу наступила тишина.

— Каток? — Нина с удивлением посмотрела на него, потом на Николая. — Какой каток? Каток неплохой, но...

— Но очень далеко, — почти выкрикнул Костя, вскакивая. Он понимал сейчас только одно: надо увести разговор подальше от этой темы, иначе катастрофа. — Это

два часа ходьбы, — прибавил он почти заискивающе и стал быстро-быстро листать Вяземского.

— Ну, на машине Семена Петровича минут сорок, не больше! — неумолимо усмехнулся Онуфриенко. — Вы туда, Нина Николаевна, сколько ехали?

И Костя совсем сгорел, он был так начисто вышиблен из седла, что даже ничего не сумел сказать, — только сидел и улыбался.

— Я... — робко начала Нина, глядя то на одного, то на другого, то на третьего и ничего толком не понимая.

И тут вдруг решительно встал Семенов.

— Каток очень хорош, Нина Николаевна его хвалила, — сказал он твердо. — Нина Николаевна, а вы забыли, куда мы собираемся? Пора, пора! Вы же еще одеваться будете? Ну вот! Извините, друзья, — повернулся он к мальчикам, — увожу хозяйку — деловое свидание. — Он подошел к Косте, который все еще не мог оторваться от Вяземского, и положил ему руку на плечо. — Так с книгой осторожно и не особенно долго, да? Нина Николаевна, голубушка, мы же запаздываем.

И Нина быстро попрощалась с мальчиками и вышла в другую комнату.

Одеваясь перед зеркалом, она спросила через дверь:

— Куда же ты меня везешь?

— Никуда, — ответил он сухо, — ну-ка иди сюда!

Она вошла к нему в блузке и с расколотыми волосами. Николай сидел и хмуро листал книгу.

— Даже Вяземского позабыл Костя. Слушай, кто это второй?

— Ну, наш студиец, а что?

Николай захлопнул книгу.

— А то, что он стоял возле двери и только когда увидел меня, постучался в дверь.

— Вот как?! Нехорошо подслушивать, — равнодушно ответила Нина, вошла в комнату, посмотрела на него, по-

качала головой, молча размотала и сняла с него шарф и шапку, молча отнесла в переднюю, вернулась и слегка тряхнула его за плечи.

— Ну? И шубку тоже прикажете снять с вас, барин?

Он встал и сбросил шубу.

— А в чем там дело с катком? — Нина не поняла. — Ну вот этот, с усиками, тебя спросил: понравился ли тебе каток? Так ты что, рассказывала, как мы ездили на каток?

— Здравствуйте! Это зачем же?

— Да вот я тоже думаю, что как будто незачем, — так, значит, ничего не говорила?

— Нет, конечно! Снимай же сейчас калоши! Это что еще такое! В комнату в калошах! Вот что значит жены нет! Ну, погоди, доберусь я до тебя!

Он усмехнулся и свистнул:

— Улита едет!..

— А вот женю на себе, тогда узнаешь — едет она или нет! Ну вот! Так, значит, никуда мы не идем! Ну и хорошо! Я люблю с тобой сидеть дома! Знаешь, ты абсолютно не кавалер для прогулок.

Она вышла, пошушукалась о чем-то с Дашей и вернулась.

Он сидел, курил и о чем-то думал. Она подошла и обняла его за шею.

Он поднял глаза.

— А знаешь, мне этот, с усиками, резко не понравился! И как хочешь, но странный визит! Не находишь?

Она недовольно отпустила его и отошла.

— Наоборот, я очень рада, что ребята заходят ко мне так запросто! А тебе, я вижу, это не нравится! — Она всегда подсознательно защищала от него свою свободу.

— Опять те же глупости, — поморщился он. — Но разве ты не видела, что тебя ставили на очную ставку?

— Как?

— А так, один спрашивает с демонической улыбочкой, а другой клонится, горит и обливается потом. Эта

эспаньолка, видно, большая ехида! У нее и повадочки прокурорские, ну как же? Сталкивает, допрашивает, сличает, выводит на чистую воду. Нет, зря ты спуталась с ребятами.

Она резко ответила:

— А знаешь, ты все-таки выбирал бы выражения, а? Что это значит: «спуталась»? Я, выражаясь твоим блатным языком, спуталась только с тобой, и больше ни с кем я не путаюсь. Думай, что говоришь.

— Хорошо, — ответил он твердо, — но мальчишек ты брось.

— И опять-таки говорю тебе: выбирай...

— Брось мальчишек! Ты с ними связалась, и очень нехорошо связалась. Пишешь двусмысленности, читаешь двусмысленные стихи, двусмысленно себя ведешь. И парень забил себе что-то в голову — и правильно: должен был забить. Он тебя считает неспособной на такие штучки, а ты способна и играешь. Нет, это ты скверно, скверно придумала. Он тебе не мышка.

Он говорил очень резко и спокойно, она опустила голову.

— Ну, прости меня, — сказала она просто. — Ты прав, конечно. Это верно — нехорошо! Я больше не буду. Я тоже все поняла и сделала выводы.

И Онуфриенко тоже сказал:

— Ну, прошу прощенья, брат. Я ведь тебе верил только процентов на пятьдесят.

— Да? — удивился Костя. Они уже шли по улице.

— Да. Считал, что ты немного все-таки гнешь лишнего. Ну прибавляешь кое-что. Но ты не сердись: кто же на свете не врет? Я сам, когда рассказываю, беру лишку.

Костя искоса, но внимательно посмотрел на него — не разыгрывает ли? Нет. Онуфриенко смотрел на него просто и искренно.

— Поэтому ты и про каток...

— Именно поэтому! Говорю: прости — виноват.

Несколько шагов прошли молча, потом Онуфриенко вздохнул и сказал:

— Значит, верно: любит тебя! И ничего тут не скажешь — любит!

Это последнее «любит» он произнес с такой железной уверенностью, что у Кости замерло сердце и на эту минуту он тоже поверил: «Да! Любит!» Целые пять минут они дружно шли нога в ногу.

— А что она на пять лет старше тебя, это чепуха, — словно прочитал его мысли Онуфриенко. — Знаешь что? — Он вдруг остановился, и голос зазвучал, как флейта. — Знаешь что? Женись на ней, а? А она пойдет. Я уже вижу, что пойдет.

Костя молчал. Он был счастлив.

— Помни, брат, — строго произнес Онуфриенко, — второй раз такую не встретишь, — это всей души советую: женись! — и сейчас же заговорил о другом.

Глава 3

Через три дня в одно очень теплое февральское утро, когда капало со всех крыш и город был весь до краев наполнен прозрачным стеклянным перезвоном, Семенов зашел в театр. Шло уже четвертое действие — массовка, и она подобрала всех студийцев из уборных и коридоров. Николай походил по мастерским и фойе, постоял около столярки, с наслаждением втянул запах скипидара и стружек и спустился в буфет. И там тоже никого не было, только за стойкой полная волоокая буфетчица читала «Графа Монте-Кристо» да в самом уголке за отдельным столиком сидела такая же волоокая и толстенькая, как снегирь-пухляк, поэтесса Надя Соколова в своей постоянной мохнатой фуфаечке шоколадного цвета, задумчиво поглаживала забинтованное горло и помешивала чай ложечкой. Николай тихо про-

шел к стойке, заказал что-то и, неся перед собой тарелочку с пирожными, подошел к Наде

— Что грустите, Надя Соколова? — спросил он ласково.

Она быстро обернулась.

— Если вы не возражаете... — Николай отодвинул от стола стул и сел с ней рядом. — Надя, вот эта тройка — ваши, а мои — эти песочные. — Надя переполошилась, вспыхнула, но он спокойно отложил себе два пирожных и пододвинул ей тарелку. — Отчего вы не на сцене и одна и грустная?

Надя печально погладила горло:

— Связки у меня что-то. — Она все время болела ангинами.

— Так вы кричите на своих пасомых! Ай, ай, Наденька!

Надя задумчиво посмотрела на Семенова и вдруг решилась:

— Николай Семенович, можно с вами поговорить серьезно?

— Вполне, Надя, — дружелюбно кивнул Николай, — слушаю вас.

— И кон... кон-фи-ден-ци-ально, — старательно выговорила Надя, загораясь все больше и больше.

— И конфиденциально тоже можно. Но только идти для конфиденции никуда не потребуется? Нет? Ну и хорошо — валяйте тогда.

Надя посмотрела на него, открыла было рот, но сейчас же осеклась и схватила пирожное. Николай посмотрел на нее и встал. Он прошел к столику, заказал бутылку пива, два стакана, вернулся, сел и сказал:

— Итак?

И тут Надя, глядя ему в глаза, пожаловалась:

— У нас очень неладно с Любимовым.

— Да? — Николай наполнил стаканы и один подвинул Наде. — Что же именно с ним происходит?

— Какой-то странный он стал, — сказала Надя, нервно теребя кончик скатерти. — Пьет! На занятия не ходит! — И она пригубила стакан.

— За ваши успехи! — Николай чокнулся с ней. — Хорошо, и чему вы это, Надя, приписываете?

Надя поколебалась, подумала.

— Все Онуфриенко, — сказала она вдруг, — это он все! Страшно неприятный человек.

Николай смотрел на нее внимательно и ласково.

— Чем же, Надя, неприятный?

— Пьет, устраивает вечеринки, у него всякие там... Какие-то у него знакомые, — нервно, отрывисто и резко говорила Надя, — циркачи какие-то; работает он в филармонии кассиром, а деньгами — так сорит! Откуда эти циркачи? К чему они?! — она негодующе пожала плечами.

— Но как вы, однако, о циркачах! — покачал головой Николай. — Нельзя так, Наденька, цирк — это большое искусство.

— Господи, да какое же это искусство! — ужаснулась она. — Это же просто-напросто... — И она не нашла нужных слов.

Николай нахмурился.

— Ну а что ж вы, не можете притащить его на собрание и пробрать с песочком: почему пьешь? почему дурака валяешь? почему на занятия не ходишь?

— Так у него же всегда на все уважительные основания, — хмуро сказала Надя. — Справки от врача, и потом... — она не закончила.

— Ну, ну?

Надя хмуро смотрела на скатерть.

— Рябов однажды по поручению комитета говорил с ним, и Костя сказал: «Вот вам мои справки от врача, и всё! А будете разводить сплетни — уйду из студии».

— Ну и скатертью ему дорога, — возмутился Николай, — и плевать на него, если он такой, что не считается с то-

варищами... так, Надя? — Надя молчала. — Что, разве не так, Наденька?

— Не наплевать, — ответила тихо Надя. — Нам на Костю не наплевать.

Это «нам» прозвучало как «мне», и Николай так это и понял.

— Ну хорошо, — сказал он, — но вот вы сказали «пьет», что ж он — буянит, не работает, приходит пьяный в театр?

— Ну что вы! — почти суеверно испугалась Надя. — Нет, нет!

— Но тогда, Надя, может быть, и вообще не пьет? Кто видел-то?!

Надя подумала.

— Я видела! — сказала она хмуро.

— На праздниках?

Она все смотрела на скатерть.

— Нет, не на празднике. Он стоял пьяный возле гостиницы и смотрел в окно.

Наступила небольшая пауза, а потом Надя заговорила горячо и тихо:

— Нина Николаевна очень хорошая, честная, добрая, ей ничего никогда не жалко, мы ее все любим, но зачем она играет Костей? А она ведь играет! — Николай молчал. — Что ж, разве она не понимает... Ой, что я говорю, — и Надя прижала ладони к разгоряченному лицу.

— Нет, нет, — спокойно заверил ее Николай, — я вас слушаю. Вы правильно говорите.

— Они ездили за город на каток, и она по дороге читала ему какое-то стихотворение, что-то такое «мы едем на каток, и я тебя люблю» и что-то там еще. И он целовал ей руку, и она смеялась и учила. — Надя говорила, морщась, как от зубной боли. — И это уже пошло по студии, и... — Надя что-то проглотила. — Она же любит вас... Зачем же она...

— Так! — Николай встал. — Надя, еще один вопрос: с ним никто больше не говорил? Разумеется, не о катке, а о том, чтоб не пил, не пропускал занятий, и вообще...

— Нет.

— Так пусть поговорят. А я нажму с другой стороны.

— Но, Николай Семенович, — всполошилась Надя, — вы...

Николай сжал ее руку.

— Все будет в полном порядке. Никто ничего не узнает. А поговорить с Костей надо сегодня же.

Николай зашел к Нельскому. Нельский, чистый, выбритый, без пиджака, в перламутровом джемпере, стоял перед столом, курил и рассматривал какие-то лежащие перед ним эскизы. Увидев Николая, он поднял голову.

— Как раз думал о тебе! Ты к Ниночке пойдешь? Ну так и я с тобой.

Николай сел.

— Пойдем. А что-нибудь случилось?

— Да вот, видишь, принес художник костюмы, — горько усмехнулся Нельский.

— А ну? — протянул руку Николай.

Нельский быстро собрал эскизы и спрятал в стол.

— А-а! Даже показывать не хочу. Наляпал, намазал дурак как на цыганскую юбку да и говорит: «Это — романтический стиль». А что ты так рано пришел? Поссорился опять? Так?

— Нет, не так, — сухо ответил Николай. — Слушай, что из себя представляет Онуфриенко?

Нельский пожал плечами.

— Ну как что? Ты ж видел его — тот, высокий, в модном пиджаке.

— Я спрашиваю не кто он, а что он. Ну анкетно, анкетно!

— Анкетно? — Нельский подергал ящик. — Двадцати пяти лет, служащий, работает в филармонии.

— Разве не в цирке?

— Нет, не в цирке, с циркачами он только иногда ездит летом. Холост, под судом и следствием не был. Что еще? Сын коммерческого директора Госспирта. Вот и все, пожалуй!

— А лично?

— Ну а лично ты его опять-таки видел — играл Яго в переходном. И, надо сказать, отлично играл, одет с иголочки, надушен, финтит. А вообще очень способный парень — пожалуй, самый способный на курсе.

— А Любимов?

— Э-э, нет! Не тот коленкор! — засмеялся Нельский и снова сел. — Вот ты думал — ну кто такой Любимов? Красавчик, резонер, декламатор, маменькин сынок, Митрофанушка. Поэтому он так и хорош в «Коварстве». Сама роль сшита по нему. Это вы с Ниночкой так разахались вокруг него, а его еще дрессировать и дрессировать! Вот так-то, друзья!

— А у Онуфриенко что?

— А у Онуфриенко отличная техника. Ритм. Чувство общения и подачи. Он умеет мячик и бросить, и поймать. С ним легко играется.

— И вообще ты его оставляешь в труппе...

— Конечно, оставляю.

— Конечно, оставляешь! Ну, а ты знаешь, что он большая и препаскудная бестия? Не знаешь? Вот очень жалко, что не знаешь. Ты худрук и не видишь, что у тебя творится под носом. Он и сам пьет, и других спаивает.

— А ты не пьешь? — быстро и резко спросил Нельский.

— Я...

— Не пьешь, значит, — ехидно улыбнулся Нельский. — Ну, хорошо, а спаивает он кого? Девочек?

— Костю Любимова.

— А черт бы вас! — Нельский стукнул ладонью по столу. — Прямо не Костя, а какой-то Иосиф Прекрасный —

все-то его обижают, прижимают, соблазняют, а теперь еще, значит, и спаивают! Ну так пусть твоя любовь посадит его себе под юбку. Вот я ей, кстати, такой эскиз несу... А вот ты, кстати, знаешь, что я вчера из-за него и нее имел преотвратительный разговор?

— А что такое?

— Вот то самое, дорогой, — Нельский со зла кулаком раздавил спичечную коробку, — то самое, что приходит ко мне вчера Рябов и говорит: «По студии ходят гнусные слухи про Нину Николаевну», — и сам дрожит. Ну, мне понятно: Нина Николаевна — это же божество, сверхчеловек! Я спрашиваю: «А кто и что — конкретно?» Пыхтел, пыхтел, давился, давился и выдавил: «Любимов не так ее понял, а ребята разнесли». — Нельский посмотрел на Николая. — Слышишь? Ребята теперь уж виноваты.

Помолчали.

— Говорят, что они ездили на каток? — спросил вдруг Николай.

— Ах так, значит, все-таки ездили? — страшно удивился Нельский. — Ах, шут же вас дери совсем! Что ж она делает? Где же такт? Чувство меры? Со студийцем? — Он посмотрел на Николая. — И главное — ей ведь сказать ничего нельзя, — сразу зафыркает, как дикая кошка: «А я вас просила бы о моей репутации не заботиться. Я уж сама как-нибудь...» Ну, не заботиться, так не заботиться — пес с тобой, что мне, больше всех нужно? Пошли! — Он подошел к вешалке и снял пальто. — А вот дойдет до нее — будет скандал, — сказал он вдруг, оборачиваясь, — ты же понимаешь, чтó ребята могут трепать! Ах, ах! Где вы только росли, товарищи!

За дверью вдруг что-то треснуло, загудело, а потом запела дверь и вдруг словно частый дождик забарабанил по крыше — кончился акт.

— Пошли, пошли, — повторил Нельский, — а то сейчас придут актеры.

— Слушай, а что это за циркачи такие? — спросил Николай, поддерживая ему пальто. — Ты не знаешь?

— Понятия не имею, — ответил Нельский, — какие-то иллюзионисты, но деньги имеют. Много денег. Видел я их худрука. А как же, и худрук есть! Знаешь, какой барин — розовый, полный! Кок у него такой! Басок! И фамилия — Суриков! Чувствуешь?! Так! — Он надел шляпу, но вдруг снял ее и быстро сказал: — Вот что: ты иди, а я сейчас же за тобой.

— А что?

— Ну, надо же кончить с этим красавцем. Вот вызову да и...

Николай взял из его рук шляпу и молча надел ее ему на голову:

— Идем.

— Я через...

— Идем, тебе говорю! Она виновата, она! А ты будешь костить парня. А знаешь, что в такие годы задеть мужскую гордость...

— А что ж делать, по-твоему?

— Ничего! Одернуть хорошенько Онуфриенко, а тебе ей сказать слова два на ухо, чтоб пришла в чувство. Я уж в это дело мешаться не буду, а то подумает, что ревную.

После конца массовки к Косте вдруг подошел Рябов и спросил:

— Домой?

Костя посмотрел на него. Рябов говорил, а в глаза не смотрел, и лицо у него было кривое. Весь-то он морщился, супился, как сердитый ежик. Косте стало жалко его, и он великодушно сказал:

— Да! Ведь нам, в самом деле, по дороге.

— Ну так я оденусь, — быстро сказал Рябов и побежал по лестнице.

Когда через пять минут они вышли вместе из театра и молча остановились на площадке, каждый пони-

мал, что им надо объясниться, но ждал, чтоб другой начал говорить первым. Было тихо. Над улицей по черным мокрым деревьям дул теплый, почти морской ветерок, и Костя с шиком расстегнул пальто и подставил ему грудь. Он вообще выглядел очень солидно — на нем была мягкая серебристая шляпа, а в руках палка с фигурным набалдашником, да и пальто было модное — в большую зеленую клетку из шоколадного кастора. Рядом с ним Рябов в своем рыженьком ватном пальтишке выглядел совсем пацаном. Он и сам, верно, это почувствовал, потому что только поглядел на Костю, нахмурился и отвел глаза.

— Так куда мы? — весело спросил Костя, хотя они собирались домой.

— Вниз! — буркнул Рябов, и они пошли и с добрых полквартала опять молчали и ждали, кто же начнет первый. Наконец Костя сказал: «Смотри, как все потекло». И они заговорили об этом. И верно, на всех крышах висели плакучие корявые мутные сосульки, похожие на корневища.

— А по-старому-то еще февраль, — солидно сказал Рябов, кивнув на крыши, и опять они шли и молчали.

Но вдруг за поворотом как маяк блеснул желтый и зеленый ларек, и вокруг него люди — очень много всяких людей, — и над головами их туда и сюда порхали две мутно-желтые кружки, одна полная, с пеной, другая пустая.

— Слушай, а что как нам пивка? — с отчаянной легкостью спросил Костя и остановился.

— Ты пей, я не буду, — хмуро ответил Рябов.

— Это почему? — очень удивился Костя.

— Ты пей, — повторил Рябов угрюмее.

— А ну-ка пошли! — вдруг решительно схватил его за плечо Костя и потащил к ларьку. Больше уже Рябов не вырывался.

Когда через полчаса они отошли от ларька, уже темнело. По улице шло много народу, но что-то никто никуда

не спешил, и ребята все время натыкались на чужие колени, спины и груди. Они говорили так громко, что слышали только себя сами.

— И вот я тебе говорю как товарищу: ты ведешь себя, как свинья! — кричал Рябов. — Нина Николаевна так радовалась твоему успеху, книжку тебе подарила, — а что говорил про нее этот гад? А все стоят и улыбаются. И ты тоже улыбался.

— Я не улыбался, — поправил Костя.

— Ты не улыбался, но ты с ним пошел под ручку, зачем ты с ним пошел под ручку? Что, ты не знал, что за такие слова бьют по морде?

— Что она меня на каток звала — это не вранье, мы ездили, — сказал Костя и поглядел на Рябова: верит ли? Рябов верил.

— Ну что ж, ты ей нравишься, — твердо и просто сказал он. — Она и меня два раза брала в горы, но я же молчу, а ты ходишь, звонишь, — Онуфриенко назвонил, Наде назвонил-назвонил... Э, да всем ты назвонил! И все думают черт знает что! Что она твоя любовница — вот что все думают. — «Твоя любовница» Рябов сказал так громко, что парочка, идущая сзади, фыркнула, и он сказал ей: «Рановато, пожалуй, немного, а?»

— И за это морды бьют в кровь, — выкрикнул Рябов, свирепо оглядываясь на говорящего.

И вдруг оба вздрогнули и замолкли — мимо них под руку с Еленой Александровной прошла Нина. Она смеялась, мелко жестикулировала левой рукой и, заглядывая в лицо сдержанно улыбающейся подруге, что-то быстро и весело ей рассказывала. Она пролетела мимо мальчиков, даже не заметив их, — только там, где женщины прошли, осталась и еще долго лежала и не таяла ароматная полоса: запах ее волос, рук и одежды. И вдруг (с пива, что ли?) бурный восторг поднял Костю и понес. Все осветилось, все стало легким и выполнимым. Он схватил Рябова за локоть.

— Больше Онуфриенко ничего тебе не скажет! — пообещал он горячо. — Не веришь? Честное комсомольское. А если скажет... Ну, в общем, он не скажет. Теперь слушай: можешь ты пойти к ней?

— Это зачем? — неприязненно удивился Рябов и вдруг крикнул: — Ты смотри, смотри!

Подруги стояли на углу возле большой плетеной корзины с фруктами и разговаривали с продавцом. Продавец, ладный, высокий малый в полушубке, вертел в руках апельсины, тыкал то в один, то в другой пальцем и что-то объяснял. Все трое улыбались.

Костя оглянулся.

— А где мы сейчас?! Ага! Значит, это они возвращаются в гостиницу. Слушай, у тебя хватит духу пойти к ней и вручить подарок от нас обоих? — Он говорил быстро, решительно и отрывисто.

— Какой еще подарок? — спросил Рябов недоверчиво.

— Ведь ты же любишь ее? — Рябов резко вырвался. — Да что там отпираться — любишь ведь! Я же вижу — и ничего плохого тут нет. Ну, так да? Да? Говори же!

— Да ты пьян, что ли, дурак? — сердито вырвался Рябов. — Пусти руку.

Но Костя опять поймал его за локоть.

— Ты ее любишь! — сказал он твердо и певуче. — А что ты сделал во имя своей любви? Любовь должна горы переворачивать. Ее надо каждую минуту доказывать. А чем мы ее доказали? Ничем! Ведь так!

— Не кричи, пожалуйста, как идиот, — зло оборвал Рябов и покраснел. — Люди смотрят! Стоит посередине улицы и орет черт знает что!

— Ничем ты не доказал, Рябов, своей любви, ни ты, ни я, — поэтому и смеются. Ладно, они не будут смеяться, пойдем!

— Да куда? Сумасшедший!

— К ней! Она же получила звание. Ее нужно поздравить, поднести ей цветы, а мы... Ну, идем, идем!

У Кости был отчаянный и простой план, тем более отчаянный, что совершенно простой: зайти в один дом и унести оттуда корзину или горшок с цветами. Какие цветы ему нужны, он не знал, — какие только подвернутся, те он и утащит. В доме, куда он шел, были и розы, и лилии, и ландыши, и настурции, и еще какие-то красные и синие цветы на высоких стеблях с острыми черно-зелеными пятнистыми листьями, похожими на щук, — названия их он не знал. Наткнулся на все это богатство он случайно. Как-то, еще летом, шел он купаться и увидел, что на набережной, возле маленького, белого, по-южному открытого со всех сторон дома, стоит желтый лимузин и в нем рядом с шоферским местом торчит кадочка с низенькой кудрявой пальмой и стоят большие круглые горшки с цветами — синими, красными, белыми, золотисто-желтыми, похожими на распустившиеся перья жар-птицы. И только успел удивиться тому, что все в этом доме настежь, как из распахнутой двери выскочил забавный старичок, в очках, в чесучовом пиджаке и в красных матерчатых туфлях, вскочил на подножку лимузина, обхватил пальму, прижался к ней носом и лбом и, откидываясь назад, потащил кадку, но из открытой двери навстречу ему строго вышла женщина, очень полная, белокурая, с волосами назад, и сказала просительно и сердито: «Господи, я же просила вас ни за что тут не браться», — и вынула у него из рук пальму. «Я...» — начал смущенно старичок. «А потом будете лежать с сердцем», — сказала женщина. Когда они оба исчезли, Костя осторожно заглянул в дверь... Боже мой! Да это был целый ботанический сад! Царство цветов! Цветы стояли на подзеркальнике, росли в совершенно черном и поэтому очень глубоком зеркале, колыхались розовыми бабочками и шапками поверх белых аккуратных салфеточек, еще где-то и над чем-то. Их было так много, и они были такие необычайные — синие, розовые, желтые стройные гиганты, — что Костя

так и оцепенел. Но тут выскочил парень в синем комбинезоне (наверно, шофер), а за ним опять старичок, и шофер сердито буркнул Косте: «Молодой человек, не мешайтесь!» — а старичок остановился и очень смешно спросил: «Вы ко мне? Нет? Извините!» — и затрусил дальше.

Костя поскорее пошел прочь. А на другой день, идя из театра, он специально сделал крюк и подошел к этому дому. Теперь дверь была закрыта и на ней висела белая дощечка:

Доктор ЯЩЕНКО
кожные и венерические...
Прием от

Костя спрыгнул на мостовую и заглянул в окно, но увидел только кремовые ажурные занавески и сквозь них золотистый свет. Верхнее же окно возле балкончика, сплошь заставленное и обвешанное цветочными горшками, светилось спокойным белым огнем, и в нем кто-то быстро ходил, все время мелькала быстрая и длинная тень. Больше Костя к этому дому не ходил, и только вот сейчас его озарило: позвонить, зайти в переднюю и как уж там выйдет — неизвестно, но утащить горшок с цветами. Он чувствовал такой подъем, что верил: цветы у него обязательно будут — он возьмет их приступом.

Отворила ему старуха в совиных черных очках и с метелочкой из розовых перьев в руке.

Костя сказал, что ему надо доктора. Старушка посмотрела на него и что-то подумала.

— Так они сейчас не принимают, — сказала она. — Вы из университета или как?

Костя взволнованно и твердо повторил, что он очень, очень просит принять его. Это совершенно необходимо. Он говорил и дрожал. Старушка поколебалась, постояла немного и вдруг быстро сказала:

— Ну, подождите — пойду скажу, — и вышла.

Костя огляделся. Цветов было по-прежнему много: стояли белые корзины с ландышами, красные и желтые тюльпаны в отдельных крошечных горшочках, огромные роскошные и грубые ирисы, потом розы, лилии — бери любое и беги. Он схватил горшок с пунцовыми розами, прижал к себе, сделал несколько шагов к выходу и вдруг остановился и поставил цветы на пол. Надо, чтоб правая рука была свободна, а то как же откроешь английский замок? Он подхватил горшок левой, но тут послышались быстрые шаги и вошел очень высокий, худощавый человек с длинным, чисто выбритым лицом и в черной круглой шапочке. Его щеки прорезывали жесткие прямые складки. Сзади, обхватив его за колено, шел крохотный мальчик в матроске.

Костя быстро поставил розы.

— Здравствуйте, — кивнул мужчина. — Подожди, Котик, не шали. Вы к доктору? Ее сейчас нет дома. Так что, если вы...

— Нет, нет, — испугался Костя и сразу понял, почему так странно глядела на него старушка в очках, — я совсем не затем! Что вы!

— Тогда вы, может, объясните, в чем дело? — спросил мужчина. — Да вы присаживайтесь, пожалуйста!

Голос был резкий, очень ясный, хотя и негромкий. Костя стоял в замешательстве. Собственно говоря, ничего не изменилось, — тот ли, этот ли, какая разница, но, как всегда бывает при неожиданных неудачах, ему казалось, что если бы сейчас вышел тот старикан в туфлях, прищурился и сказал бы: «Ах, значит, вы, молодой человек, все-таки ко мне?» — все пошло бы совершенно по-иному.

— Вы из университета? — спросил высокий.

И Костя вдруг бухнул:

— Нет, я из театра!

Хозяин удивленно посмотрел на него.

— То есть из анатомического театра?

— Нет, из Академического. Ну из Республиканского.

Улыбка высокого стала совсем недоумевающей.

— Но вы садитесь, пожалуйста. Так чем же все-таки мы вам можем служить? Я вот профессор математики, жена моя — венеролог, это же к театру... — Он пожал плечами и стал гладить мальчика по волосам («Сейчас, милый, сейчас»).

«Попал! — подумал Костя. — Вот это попал!» — И вдруг отчетливо сказал:

— Наш творческий коллектив просит вас обоих принять участие в чествовании заслуженной артистки республики — нашей премьерши... — Фамилию он не назвал.

Профессор удивленно пожал плечами.

— Спасибо, но какое отношение имеет венеролог к вашей премьерше? Я, конечно, передам жене, — поспешно добавил он.

Тогда Костя вытащил из бокового кармана бумажник, вынул из него пачку блестящих фотографий Нины и молча протянул профессору.

— Да нет, что такое? Зачем? — слегка поморщился профессор, но фото взял, взглянул и быстро посмотрел на Костю, но тот молчал и рылся в бумажнике. И вдруг лицо профессора осветилось улыбкой, а глаза пояснели.

— Гляди-ка, Ванечка, — сказал профессор ласково, — какая красивая тетя! Ах, какая она красивая. И эта! И эта! Это все одна и та же, только платья разные! — Он целую минуту рассматривал поясной портрет Нины, потом протянул фотографию Косте и убежденно и мягко сказал:

— Очень, очень красивая женщина. — Он снял мальчика с колен. — Котик, позови-ка скорее маму. Да, но чем же мы все-таки можем вам служить?

Костя положил фото на стол.

— А это вам лично от юбилярши. Нам сказали, что у вас лучшие розы в республике.

И тут профессор улыбнулся по-настоящему — не одними только высокомерными губами, а всем лицом, так

что даже твердые, прямые линии по бокам щек, похожие на складки хитона на старых фресках, стали милыми и простыми.

— Это откуда же у вас такие сведения? — спросил он ласково и с хитрейшей улыбкой.

Голова Кости работала на 120 лошадиных сил. Он все вспомнил, все связал.

— Мы были в ботаническом саду, — сказал он деловито, — и оттуда нас послали к вам. Сказали: «Только у него. Если он вам даст».

— Да, конечно, пошлют ко мне! — торжественно воскликнул профессор. — Ну как же! У них же там одни георгины и шиповники! Разве это розы? Это же шиповники! А вы видели у меня махровый сорт «Звезда Версаля»? Ну как же, в газетах писали — профессор Граве прислал мне из Венсеннского ботанического сада. — И глаза у профессора уже поголубели так, что он сразу стал похож на того старика в шлепанцах и чесуче. — Так какой сорт вы хотели бы поднести? Я бы вам, например, рекомендовал махровые сорта. Замужней женщине, актрисе полагается подносить только красные и черные розы.

— Да она не замужем! — пылко воскликнул Костя.

Профессор тонко улыбнулся.

— Голубчик, не в этом дело, — цветы имеют свою символику и назначение. Так, например, девушкам подносят ландыши и лилии.

— Так она и есть девушка! — вспыхнул Костя.

— Как то есть девушка? Она же актриса! — Профессор дико посмотрел на Костю, хотел что-то спросить, но сейчас же схватил со стола фотографии и стал их рассматривать. — Ах, значит, она вас и прислала ко мне? Ну, добре! Тогда что же нам подобрать, ландыши или... — Он на минуту задумался. — Вот! — сказал он очень твердо. — Порекомендую вам лилии. У меня сейчас есть изумительные высокогорные ливанские сорта. Помните, может быть, что говорится в Библии о лилиях Сарона? Ну вот

этот сорт у меня как раз и есть. Идемте-ка! – И он потащил Костю за собой по лестнице.

Питомник – или оранжерея – был сплошь заставлен лилиями – не было видно ни пола, ни потолка, ни полок, ни столов, одни листья, стебли и высокие узкие цветы с толстыми грубоватыми ярко-желтыми тычинками, – только потом он стал различать ящики, горшки, корзины. Лилии были изумительны. Изумительна была их стройность, простота и слаженность. Изумительна была белизна, такая полная и яркая, что от нее не хотелось оторваться, – такого цвета бывают лебеди, одежда святых на картинах, старинные статуи.

В комнате было жарко и сыро. На стене висел большой термометр с красными и синими делениями и над ним какой-то круглый предмет, похожий и на часы и на барометр. Вовсю светила большая круглая лампа.

– Ну вот, – радушно пригласил профессор, – выбирайте, а я... – И он быстро вышел.

Костя стал выбирать и вдруг увидел, что не все лилии одинаковы: их полная и чистая белизна имела несколько оттенков – тут была и чуть заметная просинь, и блеск и переливчатость авиационного шелка, и желтизна старого мрамора.

Профессор вернулся с высокой полной дамой в коверкотовом костюме, той самой, что вырвала когда-то пальму из рук смешного старика.

– Здравствуйте, – улыбнулась дама, – Клавдия Николаевна. – Они пожали друг другу руки. – Мы с мужем очень рады, что можем быть вам полезны. Я несколько раз видела вашу юбилyяршу.

– А ну, молодой человек, скажите, сколько ей лет? – лукаво спросил профессор, смотря на жену.

– Двадцать два! – ответил Костя.

– Вот – двадцать два! – подтвердил профессор сияя.

— И заслуженная? — слегка удивилась его жена. — Она действительно показалась мне очень молодой, но... дай-ка! — Она долго рассматривала карточку и наконец сказала: — Очень славное лицо!

— Правда, славное очень? — обрадовался профессор.

— Правда! Но молодой человек, может быть, торопится на торжество, а ты задерживаешь его! Так что ты хочешь ему дать — розы, лилии?

— Ну конечно лилии! И не «Славу Бурбонов», а что-нибудь из высокогорных ливанских сортов — ну, например, «Царица Савская». Вот, пожалуйста, выбирайте. Нельзя только, — он поискал глазами, — вот этот куст нельзя — он один у меня, — и вот этот, а все остальное — и этот, и этот — пожалуйста!

— А может быть, молодой человек по роду своих чувств предпочитает более яркие цветы? — улыбнулась Клавдия Николаевна. — Георгины, гвоздики, розы? — Она ласково поглядела на Костю. — Извините, я лет на пятнадцать старше вас, поэтому позволительно мне спросить вас...

— Клава, ну не будь же нескромной, — азартно и радостно воскликнул профессор.

— ...Спросить вас: вы дарите цветы просто юбилярше или близкому вам человеку?

— Да Клава же! — рассмеялся профессор и взмахнул руками. — Вот еще бестактная, ей-богу! — Но полная белолицая женщина улыбалась так ясно, просто, дружески, что Костя не смутился.

— Моя любовь! — ответил он серьезно.

— Ну-у? — торжествующе хохотнул профессор и потер руки. — Ну какие же могут быть тут яркие цветы? Какие розы и какие гвоздики? К чему они?! Тут молодому человеку могут помочь только одни белые лилии!

Когда Костя вышел от профессора, Рябова, конечно, уже не было. Кто же будет ждать столько?! Костя

подумал и пошел домой. Он нес корзину с цветами, и на душе его было очень спокойно и ясно. Перед его глазами стояла улыбка этой полной спокойной женщины, и он думал о том, как завтра он принесет эту корзину Нине, что ей скажет и как она удивится, увидев эти лилии, засмеется и захлопает в ладоши. А вечер был совсем весенний – с крыш, с водостоков, с голубых, белых и желтых сосулек спадали медленные, тяжелые, как мед, капли... Светила насквозь прозрачная луна, и все было синим и ясным. Улыбаясь, он влетел в парадное и позвонил. Отворил ему отец. Он так и вышел с ручкой – видимо, сидел и писал в кабинете.

– Ну, наконец, – сказал он, присматриваясь к Косте. – А тебя товарищ заждался. Целый час сидит.

– Рябов? – обрадовался Костя – только его бы он и хотел увидеть в эту тихую светлую минуту, – вот бы они уж наговорились о Нине.

– Ну уж кто, не знаю – не спрашивал! – слегка поморщился отец. – Э, а это что у тебя? – Костя отвернул край розовой бумаги. – О-о! Цветы! Да какие еще! Откуда это ты? Кому?

– Нине Николаевне, – гордо ответил Костя, – у нее день рождения.

– Молодец! – горячо ударил его по плечу отец. – Правильно! За подарок – отдарок. Ну-ка, покажи! Слушай, да это лилии! И еще какие! Ах, какая же все-таки красота! Где достал?

Костя молча посмотрел на отца, хотел что-то сказать, но вдруг чмокнул его в щеку и, застыдившись, побежал к себе. Дверь его комнаты была полуоткрыта. На фоне окна, зеленого от луны, сидел Онуфриенко.

– Отыскался пропащий! – сказал Онуфриенко, вставая, и затушил папиросу прямо о крышку стола. – Ждал я тебя, ждал и хотел уже уходить! Где ж ты был? А это что?

Костю так и передернуло — всего меньше он хотел бы видеть Онуфриенко. Он молча поставил цветы, подошел и включил свет.

— И нечего тебе было сидеть в темноте, — сказал он сварливо, — оставь цветы, помнешь!

Словно не слыша, Онуфриенко отвернул край розовой бумаги.

— О-о! — потянул он одобрительно. — Дельно и в самый раз! Где достал? Кому? Возлюбленной?

— Какие у тебя все противные слова, — мучительно поморщился Костя.

Онуфриенко вдруг поднял голову и с любопытством, внимательно посмотрел на него.

— Э-э, да она тебя, кажется, турнула, — догадался он. — Ну что ж молчишь? Турнула, да? Ладно, твое дело! Бери корзину, пошли.

— Куда?

— Сколько раз я тебя просил: не кудыкай, не будет пути. Ну, раскачивайся же! Я тебе говорю: запаздываем. Верно, откуда цветы-то?

— Наверно не украл, а дали! — агрессивно и грубо ответил Костя.

— Знаю, что украсть не сумеешь, — презрительно усмехнулся Онуфриенко, — спрашиваю, кто дал.

— Профессор Ященко.

— Что-о? — У Онуфриенко на секунду даже отнялся язык. — Какой профессор Ященко? Я серьезно спрашиваю!

— Да я серьезно и отвечаю. Тот самый.

С минуту они молча смотрели друг на друга.

— Где он живет? — вдруг быстро спросил Онуфриенко.

— Оставь, пожалуйста, — резко оборвал его Костя, — что еще за допрос! Следователь, что ли?

— А то, что ты мечешь! — засмеялся Онуфриенко. — Говоришь, а что говоришь — не знаешь. Ященко за любую поганую рассаду удавится.

— Ну? Это ты правду сказал? — иронически покачал головой Костя.

— Вот тебе и ну! Я такого скота еще и не видывал! Злой, мелочный, мстительный! И гад! Я и его Клавдию Ивановну знаю. Тоже профессор — по хорошим делам! Попади ей в лапки — век не забудешь! Не врач, а инквизитор!

Онуфриенко встал и застегнул пуговицы.

— Готов? Так бери цветы и пойдем. — И он протянул руку к корзине.

— Не хватай, говорю! — рассердился Костя.

Онуфриенко вдруг расхохотался.

— Да нет, ты что, действительно все это приготовил для Ниночки? — Костя молчал. — Дурак! Вот действительно идиот! Ты знаешь, как она тебя с ними турнет? Такие же покойникам носят — он же тебе лилии и нарциссы дал, самые что ни на есть кладбищенские цветы! Ну, ты идешь или нет?

— Куда?

— Опять кудыкаешь? К одной интересной женщине в одну интересную артистическую компанию — устраивает это тебя или нет? Ну, и корзину бери, там она как раз кстати. Эта дама толк в цветах не знает. Цветы и цветы! Дай сюда! Пошли! Ехать далеко, вызовем авто!

Глава 4

Ехали они действительно долго, проехали парк им. Горького, весь в белых и синих огнях, потом прилегающую к нему небольшую темноватую площадь с одиноким полосатым киоском под фонарем. Тут уже пошли совсем грязные и темные улицы, и наконец автомобиль дернулся и остановился перед пузатым, двухэтажным, видимо еще купеческим, особняком. В окнах верхнего этажа сквозь ажурные занавески звучала музыка — то рояль, то патефон, то радио.

— Дай сигнал! — приказал Онуфриенко шоферу и выскочил из кабины. После третьего гудка из темного парадного выбежал высокий худой человек и подскочил к Онуфриенко.

— Ну, слава богу! А я думал, что не приедете. Все в порядке... она...

— В порядке! — ответил Онуфриенко и открыл дверь кабины. — Ну, вылезай, Костя, только осторожнее с бутылками. Вот, знакомьтесь: мой друг, артист Любимов. Это — мастер цирка, зови его Владимир.

Костя и мастер цирка пожали друг другу руки. Мастер цирка оказался парнем лет тридцати, очень высоким, худым, с пышными волнистыми волосами, — автомобиль стоял под окнами, и Костя мог хорошо разглядеть его. Он был с головы до ног весь какой-то жухлый, палевый — волосы его были ржаво-рыжими, тщательно запудренное простецкое лицо со вздернутым носом было осыпано золотистыми веснушками, джемпер был светло-шоколадный, брюки-бриджи и просто рыжими, такими же, как затейливо инкрустированные туфли-лодочки. Даже напульсник на руке, покрытой рыжим пушком, был из желтой кожи. А в общем мастер цирка чем-то напоминал желтую ящерицу.

— Спирта не привез? — спросил Онуфриенко мастера цирка.

— Литр.

— Ну и хватит. И скажи... — Они о чем-то тихо поговорили, и потом Онуфриенко опросил громко: — А из баб кто?

— Любы нет. Позвонила, что муж вернулся ночью.

— Врет?

— Врет, конечно, хахаль к ней пришел, тот, косой.

Посмеялись над хахалем.

— Ну, а моя тут?

— Твоя-то тут. Два раза о тебе спрашивала.

— Порядочек! — Онуфриенко сразу повеселел. — Костя, Владимир он только для тебя и меня. А для прочих он факир Педжаб Рамачерак. Видел афиши?

— Рамачерак — как же это...

И Костя вспомнил большой фанерный щит перед зданием филармонии. На щите были киноварные пальмы, черная кобра, стол с какими-то золотыми кубками и ларцами, узорчатый мраморный жертвенник и дымок над ним, а в голубом квадратном воздухе парил саркофаг, и из него поднималась красавица, вся в белых цветах и розовых вуалях. Сам Рамачерак в чалме с аграфом, в цирковых золотых одеждах стоял среди всей этой кутерьмы и жестом Медного всадника показывал на парящий гроб. С чалмы — от алмаза — расходились зеленые, красные и синие лучи, из-под насупленных бровей сверкали магнетические глаза, а у рыжего глаза были близорукие и растерянные, как у человека, только что снявшего очки, и мягкий рот пьяницы.

— Это вы? — спросил Костя изумленно.

Рыжий сложил руки на груди и важно поклонился.

— Милости прошу, — сказал он напыщенно.

Вошли в сени, пахнущие рогожами, и поднялись по темной лестнице. Дверь, обитая черной клеенкой (вверху горела желтая лампочка), была открыта. Они вошли без звонка. В прихожей пахло влажным мехом и висело и лежало на сундуке много одежды — манто, шубы, дохи. Рядом стояли калоши и фетровые ботики.

— Сюда, сюда! — сказал Рамачерак и провел их в светлую комнату со столом, придвинутым к стене, ослепительными венскими стульями и пузатым комодом. На комоде на белой скатерти с мережкой сиял стеклянный шар, и в нем плавали стеариновые лебеди, а со стены из точеной рамки улыбался высокомерно и милостиво полный, очень культурный мужчина со стоячим воротничком и мопассановскими усами, — все это бросилось в глаза

Косте прежде всего, а на компанию он обратил внимание уже потом. Компания была и большая, и пестрая. И буквально пестрая — цветастые платья, сиреневые костюмы, полосатые яркие галстуки, серый и шоколадный коверкот, — и потому пестрая, что кого тут только не было! И пожилые мужчины, лет за сорок (впрочем, потом он увидел, что как раз мужчин-то и не хватает), и пышные дамы с двойными подбородками, и совсем, совсем молодые зеленые девушки. Патефон истошно орал с круглого столика, но его никто уже и не слушал. Только одна худая дама с очень достойным и обиженным лицом стояла над ним и меняла пластинки.

— Ну вот, — сказал рыжий, — и наша компания. А вот... Софа!.. Софа, ну-ка иди сюда!

Но Софа уже и так шла к ним. На Костю она произвела впечатление взрыва — чего-то невиданно яркого и богатого. Это была черноволосая, очень бледная круглолицая дама с японской прической, высоким гребнем и тщательно вырисованными щеками, бровями, ресницами. Она была еще очень молода, но роковой бледностью, злой чернотой волос, а главное — мягкими кровавыми полными губами напоминала женщину-вамп с литографированной обложки какого-то переводного романа.

— Моя сестра — наша старшая ассистентка и медиум, — пышно сказал рыжий. — Софочка, знакомься, это — Любимов.

Вамп подала руку и сказала мягко и ласково, рубя слова и вкладывая что-то в каждое:

— Очень, очень приятно — Мерцали. — Онуфриенко вдруг слегка наступил Косте на ногу. Костя удивленно посмотрел на него, но Онуфриенко подобострастно и нагло кланялся какой-то сухопарой даме с розой в жестких лошадиных волосах, и лица его не было видно.

— А где Нина Николаевна? — спросила Мерцали.

Онуфриенко быстро ответил:

— Она очень извиняется. Ее вызвали вместе с ведущими артистами в ЦК. Она послала вам цветы! — И он подал корзину.

— Какая прелесть! — ахнула Мерцали. — Ну, спасибо! И вам, и ей...

И тут опять тот же нечистый дернул Костю за язык, и он ответил очень легко и просто:

— Немного погодя я ей позвоню, она приедет.

— Ну конечно, позвони, — спокойно поддержал его Онуфриенко. — Что она будет одна там сидеть!

— Так! — слегка поклонился рыжий. — Извините, я на минуту уведу от вас сестру. Там надо... Софочка, пойдем.

— Извините, товарищи! — улыбнулась Вамп. — Пойду поставлю цветы в воду.

Когда они остались вдвоем, Костя сурово взглянул на Онуфриенко.

— Слушай, что ты там наплел Мерцали?

Онуфриенко посмотрел на него, обидно фыркнул.

— Она такая же, мой милый, Мерцали, как Володька — Рамачерак. Ее фамилия — Шурка Чачасова, она же в этой квартире и родилась. — Он хохотнул. — Видишь, и лилии пригодились! Здесь все пойдет. — Он взял Костю за пуговицу и приказал: — Вот что: Ниночку надо достать. Ее ждут.

— Слушай, да ты соображаешь, что ты говоришь, или ты ничего... — до полусмерти испугался Костя. — Ты им что-то уже обещал от ее имени?

— И не от нее, а от твоего, — терпеливо разъяснил Онуфриенко. — А обещал я это потому, что ты это сделать можешь и надо это сделать —понимаешь? — тут ее ждут.

— Да слушай же!.. — окончательно сробев, крикнул Костя.

— Тише! — улыбаясь, стиснул ему руку Онуфриенко. — Тише же! И ты это, конечно, сделаешь. Они прекрасные люди! Ладно, вон хозяйка появилась, идем к столу.

За столом Костя и Софа очутились рядом, и она сразу налила ему чего-то приторного, душистого и очень горького — не то зубровки, не то ерофеича — и сказала:

— Ну, за первое знакомство!

Он пригубил и поперхнулся.

— Ну, нельзя же так сразу, — остановила Софа. — И надо закусывать. Стойте-ка! — Она потянулась через стол и положила ему на тарелку большой полупрозрачный кусок белорыбицы. — Кушайте!

Так она налила ему и вторую: «За дружбу», и третью — чтоб жена любила, а за что была четвертая, он уже и не заметил.

У Кости вообще было очень странное ощущение. До этого он уже пил, и не раз — но все это было либо в складчину на вечеринках — и тогда ему приходилось столько же, сколько и всем, т.е. не особенно много, либо наскоро с ребятами: кто-нибудь принесет в кармане пол-литра на двоих — и вот двери на ключ: разлили по стаканам, раз-раз! Выпили, понюхали корочку и пошли, — а тут сама дама наливает, подкладывает — то, другое, третье, ухаживает, да еще лукаво спрашивает: «А эту?»

— За вас! — горячо ответил Костя.

Она покачала головой.

— А ваша дама? Нет, настоящий мужчина должен сохранять верность своей любимой. За вашу даму!

Было и хорошо, и страшновато. От Софы пахло очень по-женски — черной смородиной. У него уже кружилась голова, — наливая или накладывая, она наклонялась к нему очень близко, и он видел, какая у нее кожа и какая она вся мягкая, податливая и чуть утомленная, и от нее веяло на него той ущербностью и истомой, которая так и ставит на дыбы мужчин. И Костя уже меньше пил, чем глядел на нее.

А гости пили вовсю, ели, острили и смеялись, вдруг стали громко кого-то с чем-то поздравлять — наверно,

очень смешным, потому что все хохотали, — потом опять вдруг кто-то что-то предложил, и все захлопали в ладоши и стали вскакивать с мест и кричать: «Просим, просим!»

— Сейчас Владимир будет танцевать, — сказала Мерцали. — Посмотрим?

Сдвигали стулья. Двое в расстегнутых пиджаках стояли возле столика и поспешно, рюмку за рюмкой, хлопали ерофеича. Онуфриенко подавал белую лилию высокой плечистой даме с круглым румянцем на желтых щеках и что-то ей наговаривал. Все это Костя увидел каким-то косым куском, ударом пульса, выхваченным из всего остального, очень ярко и мгновенно. Так ярко, что это он и запомнил на всю жизнь, так мгновенно, что он ничего ни с чем не связал и ничего не сообразил. Не так много он, в сущности, и выпил, а захмелел порядком, и собственный голос уже отделился от него и казался чужим.

— Так посмотрим? — спросила снова Мерцали. — Вы вообще любите украинские танцы? — И по ее тону Костя понял, что надо ответить: «Нет!» — и сейчас же действительно со стороны услышал свой голос:

— Нет! И я вообще не танцую!

— Да? Ну, тогда идемте ко мне! — приказала Софа, и Костя вдруг опять увидел, что они очутились в маленькой комнате с белой кафельной печкой, высокой, как сцена, кроватью под тканьёвым одеялом в голубых розах и с двумя подушками — огромной и поменьше. На стене висели афиши с черепами и змеями и огромная многокрасочная фотография: Софа в ажурном платье, вся в цацках и браслетах и с кубком в руках. Стоит, улыбается и смотрит на него.

— Совсем не похожа? — сказала Софа. — Рот не тот, правда?

Он что-то ей ответил и взял ее за руку, сначала за одну, потом за другую. А она улыбалась и так же, как на портре-

те, смотрела на него. Тогда он обнял ее сначала за плечи, а потом и за спину. Они были одинакового роста и теперь стояли плечом к плечу, как супруги на старых семейных фотографиях. Она молчала, и у Кости сразу потяжелело дыхание. Она подождала еще с полминуты и, не дождавшись ничего, спросила:

— Костя, вы давно знакомы с ...? — Она назвала Нину по фамилии.

— Да ну, какой там! Да ну, уж что ж там, — пробормотал Костя, мягко ломая ей пальцы, и снова оба замолчали. Она туманно улыбалась. Он стоял и тяжело дышал.

— Вам не надо так волосы носить, — вдруг тихо и деловито сказала Мерцали и горячей ладонью красиво откинула ему волосы со лба. — Вот видите, как хорошо так! А ну, посмотрите в зеркало.

И тут Костя вдруг нашелся и обрадованно крикнул:

— Какие же у вас замечательные глаза, Софа!

Она взглянула на него и вдруг расхохоталась:

— Ой, боже мой!

Он нахмурился и неловко обнял ее за шею. Она тихонечко, снисходительно засмеялась и осторожно разжала его руки.

— А вы, оказывается, азартный! Ну, стойте, там же гости. Да ну, Костя! Идите лучше сюда, я покажу вам мои туалеты. — Она подошла к шкафу и раскрыла его. Сразу нежно и остро повеяло духами. Платьев — кружевных, легчайших — было много, штук двадцать пять. Она вынимала их одно за другим, прикидывала на себе и объясняла: — Это вот костюм Изиды — видите, сколько серебра, и на лице золотая маска из пресс-папье, она лежит у меня отдельно. А это баядерка, видите, в вуаль вплетены водяные лилии. А в этом я поднимаюсь из гробницы — оно прозрачное, под него поддевается трико. А вот это костюм Саламбо, я его надеваю только для номера со змеей. А ну-ка, Костя, подайте-ка мне эту плетенку.

Костя подал.

Это была корзинка тонкого плетения. Круглая, небольшая, с отверстием посередине.

Мерцали села на кресло. Положила корзинку на колени, раскрыла ее и приказала: «Смотрите!»

Костя заглянул и отшатнулся.

Черная кобра лежала, свернувшись, на дне и глядела на Костю мертвыми глазами.

Он невольно сжал руки Мерцали.

— Не бойтесь, не бойтесь, — улыбнулась она, — смотрите. — Она положила одну руку на стенку корзины и стала что-то чертить в воздухе. И вот послышалось тонкое острое шипение, как будто вырвалась струйка пара, глаза гадины зажглись черным огнем, змея начала медленно раскручиваться, толстые мозаические кольца ее вздулись, тронулись и поползли все разом, одно мимо другого. Она вдруг поднялась над корзиной на высоту локтя и остановилась, смотря на Софу неподвижными круглыми глазами, а та наклонилась к ней так близко, что лицо ее и птичья голова змеи были на одном уровне, сделала еще насколько пассов правой свободной рукой (левая все лежала на стенке корзины), и вот змея медленно, волнообразно заколебалась, горло ее раздулось, как у рассерженного гуся, щиток с очками тоже раздулся, стал почти плоским, и тут вдруг кобра широко раскрыла мертвенно-синюю пасть, брызнула тончайшей струей яда и заиграла похожим на черную гвоздику быстрым жалом. Тогда Мерцали наклонилась, взяла голову гадины сочными кроваво-красными губами и мягко всосала ее, а хвост обвила вокруг шеи.

Костя стоял окаменев: вся эта игра со смертью повергла его в такой ужас и восторг, что он не мог вымолвить слова.

Софа Мерцали сейчас по-настоящему казалось ему колдуньей, вставшей из древней гробницы и подчиняющей себе все живое и мертвое.

А Софа вынула голову кобры изо рта и швырнула змею прямо на взбитую подушку — та так и осталась лежать, мертвая, как веревка.

— Вот такой номер. — Она встала и обтерла губы платком. — Ну, идемте к гостям, а то хватятся.

— А кобра?

— А кобра пусть лежит, — она уже заснула.

В зале к Косте подошел Рамачерак и мягко поймал его за локоть.

— Ну, я вижу, вам не скучно? — спросил он. — Нравится компания? Ну, отлично. — Он еще покланялся, посмеялся, посмотрел ему в лицо и ласково добавил: — А с вами как раз хочет поговорить наш худрук. Как, вы не против? Ну, тогда поднимемся. Он у себя в кабинете.

Худрук занимал весь второй этаж. Первое, что Костя увидел в его кабинете, это круглый стол, почти до полу покрытый черной бархатной скатертью со звездами, похожими на серебряные кленовые листья. На звездах этих стояли: чугунная чернильница с черным орлом, раскрылатевшим, словно слетевшим с бутылки «Ессентуки», и рядом шесть разноформенных золотых кубков — один так даже на львиных ножках.

— Наша аппаратура, — усмехнулся Рыжий. — Всё его работа. В этом подстаканнике, например... — Он взял кубок, и тут вошел хозяин. Это был румяный, полнощекий мужчина, лет шестидесяти, с толстой бычьей шеей и волосами в кружок. Одет он был в шелковый халат с блестящей пряжкой на поясе. Он вошел и тихо остановился на пороге, глядя на Костю голубыми водянистыми глазами. Рыжий испуганно отдернул руку...

— Да нет, показывайте, показывайте, — милостиво разрешил худрук. — От друзей у нас нет секретов. Вам нравится этот кубок? — спросил он Костю ласково. — Это для нашего нового номера «Эликсир молодости». — Он взял

кубок и повертел его в руках и так, и эдак. — Не правда ли, эффектно? Это по моему эскизу. Я сам все рисую. Так! — Он поставил кубок обратно. — Давайте же знакомиться. Всеволод Митрофанович Стрельцов, — он задержал руку Кости в больших мягких и теплых ладонях, — руководитель Театра художественных иллюзий и театрализованного гипноза. Присаживайтесь, коллега. Вот тут, против меня, а я уж по старости лет... — И он изящно опустился в кресло. — Вы курите? Володя, голубчик, там на тумбочке... Вот спасибо, милый. — Он протянул Косте застекленный ящик сигар. — Пожалуйста, не настоящая гавана, но очень хороши. Так вы видели уже наш коллектив в действии?

— Софа показывала им номер со змеей, — сказал Рыжий.

— Ага! Вы видели все вблизи? Ну, и какое впечатление это все на вас произвело? Правда, интересно?

— Ну еще бы! — воскликнул Костя.

— Так что, я вижу, вы даже обманулись! Все это — эти эликсиры, самовоспламеняющиеся алтари, дамы-невидимки, летающие гробницы, черные кобры — все это просто можно заказать или даже просто зайти да и купить в любом магазине цирковых приспособлений. А наши фокусы с зеркалами? Например, женщина, распиливаемая надвое. Разве не было таких фокусов и раньше? Да сколько угодно и сейчас, и сто лет тому назад! А успехом пользуемся все-таки мы, не они! Почему это так?

Он лукаво и весело посмотрел на Костю.

Костя пожал плечами.

— Потому что они фокусники, а мы артисты, — заученно сказал Рыжий.

— О-о! — торжествующе поднял палец Стрельцов. — Правильно! Мы артисты, а они фокусники. Говоря конкретно, мы первые поняли, что фокус — это чудо! С этой мыслью я и пошел в цирк. — Он взглянул на Костю и щелч-

ком сбил пепел с сигары. — Вот вы совсем молодой человек — моя фамилия вам, наверное, ничего не говорит?

Костя уже сам думал об этом. С первых же звуков этого мягкого барственного голоса ему стало ясно: перед ним сидит далеко не заурядный человек, один из ветеранов сцены, может быть, народный Союза, память ему подсунула что-то очень знакомое, и он задумался, вспоминая.

— Нам про вас говорили в лекциях по истории театра, — сказал он.

Рыжий покачал головой, Стрельцов с улыбкой повернулся к нему.

— Ну откуда же Константину Семеновичу знать? Он же еще мальчик! — заметил он снисходительно. — Нет, Константин Семенович, я не артист, я — писатель.

— «Издевающаяся Магдалина», — почтительно пробормотал Рыжий.

— И это было, — добродушно усмехнулся Стрельцов. — И «Издевающаяся Магдалина» была, и бюллетень группы «Ничевоков» «Собачий ящик», и с Есениным снимался — оба в цилиндрах и во фраках, а в содружестве с Велимиром Хлебниковым написал сюиту «Девий Бог», он мне тогда еще... Да, было, было! — Стрельцов вздохнул, задумался и опустил голову, на секунду наступила пауза, и вдруг он встряхнулся и снова бодро посмотрел на Костю. — Так вот, я, старый писатель, сподвижник Есенина, пошел в цирк! Зачем? Отвечу коротко, но вы поймете: мы, люди современных городов, потеряли то, что отлично знали древние: зрелище как важнейшее событие нашей личной жизни: «Хлеба и зрелищ», — и на этом веками воспитывался народ. А мы эту жажду необыкновенного заменили хохмами, рыжими да дрессированными мышами и совсем забыли, чем она была когда-то для человека. Вот чтоб восстановить зрелище в его правах, я и пошел в цирк. И боже мой, наткнулся на такое, что у меня опустились руки. Рутина? Нет, рутина — полбеды. «Где, когда,

какой великий выбирал путь, чтобы протоптанней и легче?» — это я хорошо запомнил, но эта воинствующая гордая бездарность, эти чисто выбритые сладкие физиономии, — я смотрю на этого сукиного сына и вижу, понимаете, вижу, что для него в мире уже не осталось вопросов! Ему все уже ясно! — Стрельцов резко махнул рукой и на секунду даже приуныл, но сейчас же и воспрянул. — Но нашлись талантливые помощники, — он ударил Рыжего по плечу, — так сказать, энтузиасты своего дела, — вот мой ближайший сподвижник и ученик. Он пришел ко мне первым — обучи! посоветуй! я чувствую, у нас что-то не то! Хорошо, сказал я, будем учиться вместе — вы у меня, я у вас. Прошло десять лет, и наш коллектив настолько выучился, окреп, что ныне сами собой из него выделились две самостоятельные группы — театрализованного гипноза и группа чисто иллюзионная, а для этого требуются, во-первых, люди, а во-вторых, еще и талантливые люди, — все остальное у нас уже давно есть. Вот мы и предлагаем вступить вам в наш коллектив.

— Вам и вашей даме, — вставил Рыжий.

Стрельцов кивнул головой.

— Совершенно верно: вам с вашей дамой! Поговорим о ней! Для чего она нам нужна? А вот для чего. Вы присутствовали когда-нибудь на обычных сеансах гипноза? Ну, в рабочих клубах? Да? Ну, очень хорошо! В чем же их гвоздь? Стойте, я вам скажу: наберет гипнотизер желающих из публики и заставит их проделывать всякие неожиданные непристойности: закричит, скажем, «вода» — и какая-нибудь дамочка вскакивает на стул и, визжа, задирает юбку. Ну, у нее там белье несвежее, еще чего-нибудь. Публика грохочет, и действительно смешно, потому что любой балаган забавнее всей классической литературы, и однако же... Да, войдите.

Вошла Мерцали. Она теперь совсем походила на свое литографированное изображение. У нее было белейшее, почти светящееся лицо и черные губы. В волосах — чере-

паховый гребень. Она прошла и остановилась за креслом Кости. Стрельцов усмехнулся:

— Я сейчас отпускаю его, Софа. Так вот, на такие штучки мы не пойдем, но чтоб вышибить их, нам нужны красивые здоровые люди, которые бы импонировали зрителю. Артист должен быть красив, тогда и в чудеса поверить легко. А ваша дама именно та прекрасная незнакомка, которую и ожидает зритель. И вот скажу вам: чтоб студийцу приобрести такую невесту, ему самому надо обладать незаурядным обаянием, мощной, так сказать, эманацией личности. По Софе вижу, что вы этим обладаете.

Костя сидел как на иголках: он чувствовал Софу каждым миллиметром, — как она стоит сзади, как наклоняется к нему и как двигаются возле его затылка ее черные губы.

Вдруг Стрельцов спросил:

— Кстати, какая у нее ставка? Софа, вы, кажется, хотели узнать?

— Полторы тысячи, — ответила Мерцали около Костиного уха.

— Ну-у? — обрадовался Стрельцов. — Так мало? Я думал, хоть три, три с половиной. — Он посидел, подумал, посмотрел на Костю. — Ну, а у вас, наверное, и совсем какие-нибудь гроши. Так вот, пятнадцать тысяч за гастрольную поездку — это идет, товарищ артист?

— Идет! — ответил Костя, как попугай, сейчас его волновала и мучила только Софа.

— Ну и по-моему пойдет, — солидно согласился Стрельцов, — это вам двоим за два месяца. Творческая же задача такова: гипнотическое перевоплощение. Тут будет и баядерка, и Саламбо со змеей, и Анна Каренина, и просто — девушка спешит на свидание. Представляете, как это интересно самой актрисе? А мы ей... А я ей помогу и творчески, и литературно — это уж моя часть. — Он провел рукой по своей поповской шевелюре. — И еще одно:

пусть она не боится, нам не надо ни звания ее, ни фамилии — она просто девушка из публики. Что еще? Да! Гостиница за наш счет. — Он встал. — Вот, подумайте и передайте Нине Николаевне.

— Я сейчас же ей позвоню, — сказал Костя и взял за руку Мерцали.

— Позвоните, позвоните, — благосклонно разрешил Стрельцов. — Ну, берите его, Софа, — я больше вас не задерживаю.

Все встали.

— А вы? — спросил Костя, шатаясь.

Стрельцов вздохнул и бледно улыбнулся.

— Я же ничего не пью, кроме «Ессентуков». У меня же ожиревшее сердце; я еще посижу, поработаю над программой.

Домой Костя попал уже в полдень. Из всего, что было после разговора с Стрельцовым, в его памяти остался пестрый клубок чего-то дымного и бессвязного.

Так, он помнит, как чуть не расшиб, рассердившись на кого-то, телефон, как читал, завывая, стихи Есенина, как потом он вдруг ворвался в комнату Софы, — его держали, но он вырвался, дорвался до кровати, рыча схватил нагревшуюся возле печки кобру, обвил ее вокруг шеи и стал рваться к гостям, а Софа его не пускала и тихо уговаривала, и кончилось тем, что он разомлел от жары и его вырвало тут же — и он помнит, как Онуфриенко выводил его во двор и совал ему в рот два пальца. Но совершенно отчетливо он помнит только одно — черное небо в крупных синих звездах, спокойное, высокое, чистое, а он почему-то лежал на снегу, смотрел на него и говорил, как ему казалось, что-то очень высокое, вроде: «Звезды, о звезды мои, вы светите миллионы лет», — но тут вдруг какая-то женщина взволнованно сказала над ним: «Что же вы смотрите? Это же готовое воспаление легких», — и его подняли и понесли по ступенькам, а он

притворялся мертвым, так, чтобы у него обязательно свисала голова и мотались руки. Потом вверху над ним распахнулся светлый квадрат и голос Стрельцова произнес оттуда: «Так пить, ах, ах!» Его внесли и положили на ковер, а он вдруг вскочил, закричал, и все опять смешалось. Так его и привезли домой. Кто-то помог ему добраться до кровати и раздел, — матери не было, она уехала в горы; отец зашел только на третий день, и у них был разговор.

Отец пришел к нему вечером, втянул обеими ноздрями воздух и сказал: «Ты что ж, куришь, а не проветриваешь», — проворно вскочил на стол (он был странно верток и ловок), распахнул форточку, соскочил и сел на край кровати.

— Ну, как голова? — спросил он деловито.

— Ничего, спасибо, — сконфуженно улыбнулся Костя.

Отец молча смотрел ему в глаза.

— Болит? А как тебя привезли, помнишь?

Костя покачал головой.

— Значит, и как я тебя раздевал, тоже не помнишь? — Отец внимательно, без улыбки, смотрел на него. — Что ж, с артистами пил?

— Да! — виновато ответил Костя.

— Что ж они недосмотрели? — Костя молчал. — Не хотели, наверно. Эх! — Отец вдруг положил ему руку на плечо. — Слушай, парень, ругать я тебя не собираюсь. Это, я знаю, было в первый раз, и поэтому в большую (он подчеркнул это слово), в большую вину я тебе этого не поставлю, но имей в виду: не с того ты начал. Так — извини — у тебя ни черта не получится, и мне хочется думать, что ты это уже понял, правильно?

— Да! — ответил Костя.

— Прячешь глаза, значит стыдно. Это хорошо: попробовал раз, узнал, что это такое, ну и хватит. Живешь со

мной — будь человеком. Теперь вот что: от Нины Николаевны тебе привет.

— Как? — подскочил Костя.

— Лежи, лежи, — криво усмехнулся отец, — опять сорвет. А так: у нас в клубе был концерт, и она выступала, так я после подошел к ней и представился: отец такого-то, и сразу же зашел, конечно, разговор о тебе, она спросила, почему ты пропускаешь занятия, не болен ли. Я говорю: «Болен, Нина Николаевна». Она покачала головой: «Всё товарищи, наверно». Я говорю: «Да, наверно что так, Нина Николаевна». Так знаешь, что она меня спросила? «А вы не знаете, зачем он мне звонил ночью?»

— Я? — подскочил Костя.

Отец покачал головой.

— Даже и этого не помнишь? Значит, наговорил чего-нибудь. — Костю передернуло — отец положил ему ладонь на плечо. — Ну ничего, она все понимает, говорит: «случается», «он не девочка». Должен тебе сказать, очень она произвела на меня хорошее впечатление: без всяких этих актерских финтифлюшек — простая, ясная, честная. — Отец встал. — Ну, поправляйся! Я еще зайду попозже.

В эту ночь у Нины как раз сидел Николай. Когда зазвонил телефон, Нина в ночном халатике стояла над электроплиткой и сушила волосы.

— Боже мой, да кто же это? — испуганно спросила она и взглянула на лежавшие на столе часы-браслетку.

— Наверное, ошибка, — ответил Николай — он сидел за столом и читал вслух «Советское искусство». Нина посмотрела, подумала и отошла к электроплитке.

— Ну, ну, я слушаю.

Но тут снова зазвонили.

— Нет, не ошибка, — сказал Николай, — подойди, а то не дадут покоя.

Она сердито тряхнула распущенными волосами и подошла к телефону.

— Да, — сказала она и потом: — Здравствуйте! Что, что, кому передаете? (Пауза.) Да, я! Простите, кто это? — Ей что-то ответили, и она быстро, через полуоткрытую дверь, покосилась на Николая и вдруг понизила голос. — Слушайте, а почему в такое время? Вы знаете, что сейчас три?! Ну вот! — Она послушала еще. — Нет, сейчас я ничего не могу слушать. Завтра! Завтра! (Пауза.) И когда будете в другом состоянии. — Она бросила трубку и возвратилась в комнату.

— Нет, какая наглость! — сказала она, снова распуская волосы над плиткой.

— Кто это? — спросил Николай.

— Костя! — ответила она сердито.

— Ага! — улыбнулся Николай и довольно потер руки. — Значит, все-таки сбываются мои слова — пьяный?

— Ну конечно! — ответила она раздраженно, и на глазах у нее блеснули злые слезы. — Ну конечно, вдрызг пьяный!

— Но сначала вызвал тебя не он. Подошел потом?

— Да! И там еще какие-то орут!

— Сволочи! — вдруг тихо и крепко сказал Николай и встал. — Ведь поят щенка, понимаешь?

— Почему его поят? — рассердилась она. — Сам он пьет, по-моему.

— Его поят и натравливают на всякие глупости, — глядя ей в глаза, упрямо повторил Николай.

— Да кто, кто? — воскликнула она раздраженно. — Кто это спаивает, кто это натравливает? Что это за таинственные они?

— Твой Онуфриенко в первую очередь. А виновата ты.

Она нервно взглянула на него, пощупала волосы и выдернула штепсель.

— Нет, ты положительно невозможен — вот не приглянулся парень, он и будет грызть меня, как старая свекровь!

— Да ты понимаешь, что такое происходит там?! — крикнул он. — Парня накачали и заставляют звонить. А ты со своими штучками дала повод к этому. Ой, попадешь ты в историю! Ой, попадешь! Он что тебе, кажется, что-то предлагал?

— Что-то предлагал, — убито согласилась она. И вдруг взбеленилась: — Слушай, что, это все стоит обсуждения? У нас с тобой другой темы нет, наверно, да? Читай, пожалуйста!

Он взялся было опять за газету, но вдруг повернулся к ней.

— И помнишь...

— Читай! — рявкнула она со слезами в голосе и стиснула кулаки. — Читай, пожалуйста!! — Он посмотрел, пожал плечами и снова начал с первой строчки.

Она сидела перед зеркалом, заплетала волосы и думала о своем, — все это ей очень не нравилось.

Через три дня Костя оправился настолько, что мог прийти в театр. Ставился «Овод». Костя сидел в актерском фойе в костюме контрабандиста и ждал массовки, и вдруг прибежал Онуфриенко и сказал:

— А ну иди скорее к Ниночке — она тебя зовет.

— Где она? — спросил Костя, холодея, и встал.

— У себя! Смотри ж, не ударь в грязь лицом.

— Слушай, кто ей тогда звонил? — спросил Костя.

— Здравствуйте, я ваша тетя! — насмешливо поклонился Онуфриенко. — А сам как будто не помнишь? А-а, брось притворяться — не люблю!

У Кости даже в глазах потемнело.

— Мне нечего притворяться, я ничего не знаю.

— Ну-у! — потянул Онуфриенко и остановился. — Как будто? А не помнишь, как после этого ты бросился к Софе — «Она меня не любит — кусай меня насмерть, гадина!» Чучело вырвали, так он с лестницы прыгнул

и растянулся. И в снегу лежит, со звездами беседует. Еле-еле ведь унесли.

Костя молчал и дико смотрел на него. Онуфриенко вдруг ударил его по плечу:

— Ну вот, видишь, что бы было, если бы не я! Я же вовремя нажал рычаг, и она ничего не услышала. Ты уж орал в пустую трубку. Понимаешь? — Костя все молчал. — Она тебя любит, а это единственное, что важно, иди к ней и говори смело — и скорее! Софа будет ждать.

Нина ходила по уборной. Она была так рассержена ночным звонком, что не выдержала и пожаловалась Ленке, а та ей еще поддала жару: «Обязательно позови и отругай! Еще новое дело — он будет по ночам звонить! Обнаглел!»

Но Костя зашел такой помятый, несчастный, так он потерянно остановился у порога, что у нее язык не повернулся для серьезного разговора.

Однако и прежней она быть с ним не могла.

— Ох и вид же у вас, — сухо сказала она. — Вы посмотрите в зеркало — зеленый, больной, под глазами синева! Зачем вы встали? Вы же лежали.

— Да нет... — начал Костя. — Я ничего!

— Да, ничего! А сами еле на ногах стоите. Ну, садитесь скорее. — Он сел. Она мгновение присматривалась к нему, а потом уж совсем мягко спросила:

— И наверно, только что из кровати. Да?

— Да!

— Питок! — Она взяла его за пульс, потом прикоснулась ладонью ко лбу и решительно подошла к столику и сняла телефонную трубку.

— Доктора, — сказала она в рупор. И потом: — Вы свободны? Зайдите, пожалуйста, ко мне; не я, а один студиец! Что — не знаю, но сидит и горит. Ой, как старо, доктор! Так жду. — Она положила трубку.

— Хотела я вас, Костя, сегодня хорошенько отругать, злилась, злилась, а посмотрела на вас — и вся злость про-

шла. Ну, ладно, а вот если бы вы спьяну позвонили Задольской — представляете, что было бы? — Она невольно улыбнулась — так ей ясно представилась толстая визгливая бабища в рейтузах и в бумажных папильотках у телефона: стоит, держит трубку, злится и ничего не понимает, а ей кричат в уши всякую чепуху. — Ну, вы представляете? — повторила она с улыбкой.

— Представляю, — серьезно ответил Костя.

— Ну, и надо это вам? По-моему, совсем не надо! Так? О чем вы хотели говорить?

— Меня просили передать вам работники цирка... — Он запнулся, поискал нужных слов, ничего не нашел и совсем по-дурацки ляпнул: — Они вам предлагали пятнадцать тысяч.

— Постойте, постойте, — вытаращила глаза Нина Николаевна, — кто они? Я же еще так и не узнала, от кого вы звонили.

— Со мной говорил Стрельцов, — уклонился от прямого ответа Костя.

Нина пожала плечами.

— Ну, и Стрельцова я, Костя, никакого не знаю. Кто это такой?

— Он из цирка. Факира Рамачерака видели?

— А-а! — рассмеялась Нина. — Этот, что весь театр обклеил змеями?! Ну-ну! Значит, его фамилия Стрельцов. Но я-то зачем ему нужна? Там ведь у него какие-то летучие гробы, черные кобры.

— Гипноз!

— Ну, еще того лучше — гипноз! — Она вдруг расхохоталась. — Я же, Костя, не гипнотезерка, я... — В дверь постучались. — Да!

Вошел крупный, черный, продымленный мужчина в бакенбардах, курносый, с короткой черной трубкой в желтых прокуренных зубах.

— Иду и слышу, разговор о гипнозе, — сказал он, сдержанно осклабясь. — Несравненная Нина Николаевна ста-

рается вбить в голову молодому человеку, что она не гипнотизерка! Ловко!

— Что же ловкого? — спросила Нина Николаевна улыбаясь. — Здравствуйте, доктор.

— Здравствуйте, обожаемая! Валяйте, валяйте, может, он вам по молодости лет и поверит. — Доктор вынул изо рта трубку и выколотил ее о подзеркальник. — А вы, молодой человек, спросите меня, как доктор утверждаю: всякая артистка до пятидесяти — гипнотизер самой страшной силы. А таких, как Ниночка Николаевна, Толстой в «Крейцеровой сонате» называл просто «наркотиком». — Он сел. — И был в моей театральной практике такой случай...

— Извините, доктор, я вас перебью на самом интересном месте, — сказала Нина, — но сейчас мне идти. Вы хорошо знаете цирк: что из себя представляет Рамачерак?

— Что? — Доктор звонко продул трубку и стал ее набивать двумя пальцами. — Что? А вот видели афишу — гроб, призрак и кобра? Ну вот, это он и есть, — обыкновенная низкопробная труппа шпагоглотателей. Но с претензиями. Есть у них там одна хитрая, но дурная бестия. Эдакий старый педофил. Ну, любитель молодых девочек, проще. Сейчас как раз ищет жену! Э, стойте, он меня и о вас спрашивал.

Нина пожала плечами.

— Странно! Чем же именно я его интересую?

Доктор улыбнулся.

— Ну, это я не знаю: чем-то интересуете, значит. Но меня о многом он тоже не спросит. Просто интересовался, сколько получаете, откуда вы. Ну и все такое.

— А самому Рамачераку сколько лет?

Доктор засмеялся.

— Рамачерак! Рамачерак — молодой осёл, ему поди и тридцати нет. Стрельцов спрашивал, их худрук. А этого гуся я помню еще по пятнадцатому году, по кабачку «Бродячая собака». Он тогда ходил весь разрисованный,

в петлице деревянная ложка, а на щеках — и тут, и тут — две собаки в эдаком-переэдаком положении. — Он засмеялся и покачал головой.

— Так что ж он... того? — спросила Нина, смотря на доктора во все глаза.

— Какой там того! — махнул рукой доктор. — Учился со мной на медицинском факультете! И неплохо учился! Степень имеет — сейчас выступает перед сеансами с пятнадцатиминуткой: «Гипноз и внушение». Раньше там были и йоги, и факиры, и ясновидящие — теперь министерство все вычеркнуло — остались лишь Павлов да собаки. Так! — Доктор встал. — Молодой человек может зайти ко мне через пять минут. Я буду у себя в кабинете и приму его. А впрочем, по совести-то, ведь ничегошеньки-то у вас нету! И не советую вам с эдаких лет бегать по докторам! Ничему они вас хорошему не научат, поверьте! Ниночка Николаевна, позвольте вашу ручку. Что ж он — вам послал билет?

— Послал!

— А-а? Видели вы шута? — засмеялся доктор. — Я ему говорю: «Ну ты сам посуди, за что нас с тобой может полюбить молодая женщина, на кой мы ей?» Отвечает: «Женщины любят за интеллект». Ну-ну, сходите, сходите! — Он махнул рукой и вышел.

Нина взглянула на Костю.

— Слышали? Хорошая компания? Эх, Костя! Куда вы, голубчик, лезете! Хорошо, так что ему от меня надо?

Костя молчал.

— Да раз уж начали, так кончайте, — поморщилась Нина, — что ему от меня надо?

— Номера художественного перевоплощения! — выпалил Костя.

— Что-о? — изумленно поднялась Нина и так посмотрела на Костю, что он сразу же вспотел. — Как же так? Ну-ка, объясните. — Костя молчал. — Что, тоже по воздуху летать? Ну?

— Да! — неожиданно брякнул Костя.

У Нины вспыхнули лицо и шея.

— Черт знает что! — сказала она крепко и тихо, смотря на Костю гневными блестящими глазами. — И у вас хватило...

За дверью постучались, и женский голос значительно сказал: «Двенадцатое явление!»

Нина встала и сурово приказала:

— Пошли! — Они вышли в коридор. Она шла впереди и не оборачивалась. — Ну что я вам могу сказать? Ну что?

Костя молчал.

— Скажу только одно — не ходите вы к ним, ради бога! На что они вам? Ну, а если уж пойдете...

В конце коридора с папироской в зубах показался Онуфриенко — совсем одетый, в плаще и шляпе. Он поклонился Нине. Она холодно кивнула головой.

— Костя, жду! — крикнул Онуфриенко.

— И с Онуфриенко вы зря связались, — сказала Нина. — Что он вам, друг?

— Да я...

— Очень зря! — повторила Нина и ушла.

Вот этот последний разговор, торопясь и перебивая саму себя, Нина рассказала Николаю.

Он сидел рядом с ней, глубоко запустив руки в карманы черного кожаного пальто, слушал ее и смотрел в окно. Ехали уже по окраине, сильно трясло, и рассказ Нины, очень бессвязный, был еще бессвязнее и от этого.

— Ты же понимаешь... — говорила Нина, всматриваясь в лицо Николая. Она каждую фразу начинала с этого «Ты же понимаешь» и все не могла добраться до самого главного. Он, тем не менее, не перебивая, дослушал до конца и сказал:

— Вот я сижу и думаю: как хорошо, что мы поехали. Ну какой же... ну, уж я не знаю, чего больше — дурак или

мерзавец этот Стрельцов, а? — Она пожала плечами — он улыбнулся. — Знаю я эту пакость. Ну, погоди, я тебя оженю на молодой! — Он посмотрел в окно. — Подъезжаем! Значит, боевое задание таково: в квартиру заходим вместе, я тебя жду в передней, ты проходишь к Косте, берешь его за руку и уводишь. Так?

Она кивнула головой.

— И никаких объяснений, недоумений, упреков, обид. Просто берешь его очень ласково за руку и говоришь. Слушай, что ты говоришь: «Здравствуйте, Костя, вы меня звали? Ну вот я и приехала к вам». Тут они все скопом, конечно, будут тебя приглашать остаться, ты опять так же ласково скажешь: «Нет, Костенька, едем ко мне, у меня там все брошено, все двери настежь. Здесь авто», — и больше ни слова. Поняла?

— Да.

— Ну и отлично. Говорить сейчас с ним не о чем. Сначала надо привести парня в себя, а там будет видно. — Он постучал в окно. — А ну впритирочку к самому подъезду. Так! Посмотри на меня. Улыбайся! Хорошо! Молодчина! Пошли!

А между тем там, на втором этаже за дверьми, обитыми черной клеенкой, шел настоящий скандал.

Стрельцов злился и кричал. Это был грубый, злой старик, привыкший за долгие годы своей ловкаческой карьеры к тому, что на людей надо либо кричать, либо кланяться им. Иные отношения он считал только промежуточными и называл их «нюхать друг друга». Сейчас он сидел у себя в кабинете за столом, осыпанным белыми звездами, пил жиденький чай, сосал с ложечки брусничное варенье и раздраженно выговаривал Рыжему.

— И вы тоже, дорогой... Вы тоже хороши! Ну кого вы мне привели? Кого? Мальчишку! Сопляка! Тогда он напился, сейчас он напился! И вот теперь извольте тереть

ему уши и выслушивать всякие глупости — кому это нужно? Мне это нужно? Мне это не нужно!

Рыжий молчал.

Стрельцов взял стакан и начал пить.

— Больше всего виноват я. — Он глубоко хлебнул и поставил стакан. — Я человек доверчивый, сам никогда не вру, поэтому и другим верю. И сейчас я поверил. Сознаюсь, поверил! Мне говорят: любовник, — я верю, говорят: он приведет ее к нам, — я опять верю. А оказывается, не только ничего похожего нет, но и вообще я жертва какого-то нелепейшего шантажа! — Он стукнул стаканом по столу. — Меня, видимо, считают за полного дурака. — Он рассерженно пофыркал. — Ну что ж, может быть, кое в чем я и дурак, но я...

На пороге появился Онуфриенко и встал, слушая.

— Что? — тихо спросил его Рыжий.

— Не знаю, — косо улыбнулся Онуфриенко. — Он ей звонил, она ответила — стреляйся!

— Вот! Бол-ван! — ударил мягким ватным кулаком по столу Стрельцов и вдруг вскочил. — Слушайте. И он ей, наверно, сказал там и адрес, и мою фамилию. Слышите, Онуфриенко?! Ну, что ж вы молчите? Сказал?

Онуфриенко слегка пожал плечами.

— А что ж не говорить! Конечно, сказал. Надо ж знать, куда ей ехать.

— А подите вы к дьяволу! — завизжал Стрельцов. — Устроили какое-то посмешище да еще... Кого ты ко мне привел?! — Обрушился он на Рыжего, чуть на плача от ярости. — Кого, я спрашиваю?! Один — дурак, сопляк-мальчишка, психопат, врун, а другой — жулик. Да! — взвизгнул он, подпрыгивая на стуле. — Да, да, я имею право так квалифицировать эти штучки!

— Слушайте, а что вы разоряетесь? — вдруг очень грубо оказал Онуфриенко. — Ничего еще не случилось, а вас уже бьет истерика! Что я к вам с ним, набивался? Гляди,

Володька, ему жениться надо, а я виноват, — обратился он к Рыжему, — интересное дело, а? — Стрельцов, онемевший от ярости, молча и бешено смотрел на него. — Да что, в самом-то деле! «Приведи, приведи», — ну вот я и привел. Мне не жалко!

— Да кого ты привел! Сволочь ты! Дурак ты! — заорал чуть не плача Стрельцов. — Ее любовника ты привел? Артиста ты мне привел!

— Ну ты вот что, — угрожающе двинулся к нему Онуфриенко, — ты сократись, понял? Я тебе не вот этот, кого ты тыкаешь, ты у меня сразу...

— Ну, ну! — радостно завопил Стрельцов, вскакивая с места. — Ну, что ты мне? Ну?

Вошла старуха и взяла со стола пустой стакан и пошла вон из комнаты.

— Идите туда, — сказала она ворчливо, — приехала там какая-то... Обнимается с пьяным.

Стрельцов вскочил и бросился из комнаты.

— Ну? — со спокойной насмешкой в спину спросил его Онуфриенко. — Видел? Вот приехала — бери ее, женись! Посмотрю я: много ты возьмешь? — и подмигнул Рыжему.

Нине отворила старуха и на ее вопрос сурово ответила: «Проходите — он там, в зале». Костя сидел возле телефона, свесив голову и правую руку через спинку кресла.

Глаза у него были закрыты, и она не поняла — заснул он или потерял сознание? Но он не заснул и сознания не потерял, а просто изнемог от всего. Час тому назад к нему пришел Онуфриенко, отвел его к окну и спросил:

— Так что ж, будешь ей звонить или нет?

— Да я же звонил, — ответил Костя.

— Хорошо, где ж она?

— Ну, придет, наверно.

— Наверно! — грубо усмехнулся Онуфриенко. — А ты на часы посмотри — час! Когда ж она придет? — Костя

молчал. — Значит так: наплел, нахвастал — и все? — Костя молчал. — Идем! — Онуфриенко взял Костю за руку, вывел из комнаты и подвел к телефону. — Ну? Звони!

— Слушай, оставь ты меня в покое, — взмолился Костя, с тоской глядя на Онуфриенко. — Ну вот не пришла она, обманула — так что я могу сделать?

— Но ведь обещала? — спросил, чего-то соображая, Онуфриенко.

— Обещала.

— Так что ж ты тогда боишься, дурачок! — ласково и грубо сказал Онуфриенко. — Эх, лопух! Раз обещала — кровь из носа, пусть идет! Софа!

— Попрошу вас, не трогайте меня, — болезненно крикнула Софа из своей комнаты.

— Софа! Ниночка все-таки придет, сейчас позвоним. Нет, Костя молодец, я всегда говорил... — Он быстро набрал номер — это и был тот второй звонок, на который Нина ответила: «Стреляйтесь!»

....

— Ну, — сказала Нина, наклоняясь над ним, — вот вы меня звали, я и пришла.

Костя взглянул на нее и стал подниматься.

— Нина Николаевна! — сказал он ошалело — ее приход был чудом, и он так это и понял: вот, случилось чудо, она пришла его спасти.

— Так нам лучше всего сейчас же ехать ко мне, — продолжала она тихо и серьезно, — у меня дома никого нет, я все бросила и примчалась к вам. — Костя все смотрел на нее. — Ну, вставайте же, пошли, ну? А где его пальто? — тихо спросила она у Мерцали, что стояла рядом.

— Сейчас! — Мерцали повернулась и быстро вышла.

— Вы сядьте пока, Костя, — ласково сказала Нина. Он сел, и она наклонилась еще ниже, к самому его лицу. — Вам принесут пальто, вы проститесь с хозяевами, и мы пойдем.

Кланяясь и расточая улыбки, влетел Стрельцов.

— Нина Николаевна! — воскликнул он и простер руки. — Ради бога, извините! Хотя мы вас и ждем все целый вечер, а я — больше всех, но ваше появление почти неожиданно... Этот юноша...

— Здравствуйте, — кивнула ему Нина и тоже протянула руку. — Вы Стрельцов?

— Он самый, он самый, — замурлыкал Стрельцов, целуя ей руку, — наш юный друг, наверно, уж кое-что рассказывал вам про меня. — Нина кивнула головой. — Ну, тем лучше, значит, вы в курсе — разрешите же представиться: Всеволод Митрофанович Стрельцов, руководитель театра иллюзий, — он еще раз коснулся губами до руки Нины, — прошу пожаловать!

— Простите, — мягко извинилась Нина, — но сейчас меня ждет шофер и мне очень некогда. Молодого человека я от вас забираю!

— Очень, очень жаль! — Стрельцов изгибался все круглее и круглее. — Я понимаю, конечно, сейчас уже поздно. («Очень поздно», — серьезно подтвердила Нина.) Очень поздно, но... вы в авто? С шофером вашим мы сговорились бы, — он говорил, всматриваясь в лицо Нины, — если бы...

Дверь отворилась, и вошел Николай, легонько поклонился всем, мельком, но внимательно взглянул на Костю, прошел к окну и повернулся к ним спиной. Увидев его молчаливую сильную фигуру, Стрельцов вздрогнул, но сейчас же опять заулыбался и закланялся.

— Конечно, о деле говорить сегодня уже не стоит, но я бы вас хоть познакомил с коллегами. А ваш шофер... — он искоса поглядел на Николая. — Он подождет. Сколько будет стоить, мы это ему...

Николай вдруг повернулся лицом.

— Шофер-то подождет, — любезно согласился он, — да она-то не останется. Но... вы что же, действительно считаете Нину Николаевну вашей коллегой?

Стрельцов вздрогнул и поднял на Николая очумелые глаза.

— Извините, как вы сказали? — спросил он прищурясь.

Николай молча с улыбочкой смотрел на Стрельцова. Тогда Стрельцов посмотрел на Нину, но она тоже молчала.

— Вы извините, — сказал Стрельцов, собираясь с мыслями, — но я вас, наверно, не так понял. Не зная вас...

— Ну, знать-то вы меня, положим, знаете, — усмехнулся Николай, — только, конечно, позабыли. — И он вдруг пошел к Стрельцову, не вынимая рук из карманов. — Так не знаете? — спросил он, останавливаясь.

— Нет, — Стрельцов попятился, — извините, как...

— Да вы смотрите, смотрите как следует. — Николай снял шляпу. — Ну?

С полминуты они молча стояли друг против друга.

— Боже мой, — воскликнул Стрельцов, — неужели это... — Он остановился.

— Ну! — крикнул Николай.

— Коля! — В голосе старого писателя прозвучали и изумление, и страх, и растерянность, все то, что он хотел выдать за радость.

— Да, Коля! — ответил Семенов и снова надел шляпу. — Правильно! Ну, здравствуйте, старый знакомый. — Он протянул руку.

— Здравствуйте, Коля, — так же боязливо ответил Стрельцов. Они обменялись рукопожатием. — Боже мой, боже мой, вот так встреча! Сколько же лет мы не виделись?

— С двадцать восьмого, — ответил Николай. — А знаете, вы мало переменились, только пополнели уж очень. — Николай говорил, спокойно улыбаясь, и Стрельцов тоже облегченно вздохнул.

— Не пополнел я, Колечка, а потяжелел и отсырел — года, года! Они свое берут. Ах, Коля, Коля, ну что ж мы, однако, тут стоим.

— Да нет, мы сейчас едем, — неприятно улыбнулся Николай. — Нина Николаевна, собирайте скорей вашего молодого человека, где его пальто?

Софа подошла и протянула пальто Нине.

— Вот!

— Большое спасибо, — поклонился ей Николай. — А шапка где? Пожалуйста, отыщите шапку, и шарф у него, кажется, был. Да, вот какие дела... Вас ведь, кажется, зовут Всеволод Митрофанович?

— У вас, Коля, просто гениальная память, — кисло улыбнулся Стрельцов.

— Ну, не такая уж, положим, она у меня и гениальная, но вас я, Всеволод Митрофанович, крепко запомнил. — Он подошел совсем вплотную. — Так какая же судьба Евлахова и Кудрявцева?

Стрельцов вздрогнул. Наступила пауза.

— Не знаете? — зло спросил Николай.

— Нет! Они, кажется... — пролепетал Стрельцов. С него уж давно слетел весь его лоск и шик, и сподвижник Хлебникова стоял теперь тихий и смирный.

— Так, значит, даже и не поинтересовались? — жестко усмехнулся Николай. — Ну, я вам скажу: они очень плохо кончили.

— Да, — пролепетал Стрельцов.

— Да, кончили!!! А начали-то они с вас, с вашей «Зеленой лампы» — «Горишь ли ты, лампада наша», — зло засмеялся он. — Ах, черт бы вас!.. Ну, как вы тогда уцелели, я не знаю. — Он посмотрел ему прямо в глаза. — То есть вру, конечно, отлично знаю — как. А было такое время, когда я вас искал и вам опасно было попасть мне на глаза — это через год после того, как вы уехали с дрессированной свиньей, с этого, мне говорили, и начался ваш цирк. Да, так вот, в эти два года не дай бог было попадать вам мне на глаза, Всеволод Митрофанович. Я бы просто вас убил, и всё! Но теперь это время прошло, я постарел, остыл и ничего не хочу зарабатывать себе на шею, но... — Он огляделся. — Надо сознаться, разрослись вы пышно. — Он посмотрел на Онуфриенко. — Говорят, не так страшен черт, как его малютки. Вот вы уже себе и смену нашли.

— Кого это? — спросил Стрельцов, переводя дыхание.

— А вот этого грошового Яго. — Семенов ткнул в Онуфриенко. — Он, я вижу, вполне понял свою роль у вас и что вам от него надо.

— То есть подождите, — ощерился Онуфриенко, — о чем же вы говорите?

Семенов взглянул на него.

— А вот о чем, — он указал на Костю. — Ваша работка? Признаете?

— Что та-ко-е? Ах, вот как? — Онуфриенко подскочил к Косте и схватил его за плечо. — Ты слышишь, что говорят? Ты — это моя работа! Что ты там наговорил? А ну-ка!

Николай шагнул и сбросил руку Онуфриенко с Костиного плеча.

— Оставьте его! Пока с вами говорю я, а не он. Вот когда Нина Николаевна приехала на ваш вызов и сидит тут, вы понимаете, что вы тут наделали? Как вы вообще могли изуродовать вашего товарища?

Онуфриенко вдруг засмеялся.

— Изу-ро-до-вать! Да бросьте вы его, ради бога, запугивать! Что вы, глупенького нашли? Какая там жизнь! Чем она изуродована? Вот еще, маленький он, что ли?

— Ну и вы-то не особенно взрослый, и в большие негодяи вы никак не годитесь, — усмехнулся Николай. — Ладно, с вами тогда пока все! — Он подошел к Косте. — Ну, Фердинанд, пошли — вставай!

— Нет уж, тогда постойте! — крикнул Онуфриенко и заступил выход. — Если вы ставите вопрос так, то пусть кто напутал, тот и отвечает! Подумаешь — благодетели! Всеволод Митрофанович, вы-то чего же молчите? — набросился он на Стрельцова. — Видите, как они повернули дело, мы же, выходит, и виноваты за то, что нас обманули. А? Ловко?

— Да-да, — задвигался Стрельцов сразу, выходя из транса, — да и в самом деле, что вы там такое наговори-

ли, а? — Онуфриенко открыл было рот, но Стрельцов так и взвизгнул: — Не мешайтесь, пожалуйста, Онуфриенко, а то действительно получается... Константин Семенович, что вы обещали нам две недели тому назад? Что говорили о Нине Николаевне сегодня? Только всё, всё говорите.

— Да ничего я не... — испуганно крикнул Костя, осекся и побледнел.

— Да ничего он не говорил! — не сдержавшись, со слезами в голосе крикнула Нина и беспомощно посмотрела на Николая, но тот молчал. — И ничего я не хочу слышать.

— Да нет, вы уж послушайте, послушайте, — вдруг побагровел Стрельцов, и у него запрыгало лицо, — уж вы будете настолько любезны, что послушаете! Если вы собрались тут у меня поднимать скандал, то... Я спрашиваю вас еще раз, Константин, — глядите в лицо, когда с вами говорят, — я вас спрашиваю, — он с расстановкой произнес каждое слово, — говорили вы сначала своему сокурснику Онуфриенко, а потом, придя сюда, и мне, последний раз час тому назад, что Нина Николаевна приняла наше предложение и согласна вместе с вами — с вами, — он тоже поднял палец, — выехать в турне?

— Потому что она... — крикнул Онуфриенко.

— Да постойте, Онуфриенко, вы действительно все путаете, — поморщился Стрельцов. — Так говорили или нет? Но только прямо, прямо.

— Я... — начал Костя и беспомощно взглянул на Нину.

— Да нет, прямо, прямо, я вам говорю! — зарычал и задрожал от ярости Стрельцов. — Да или нет?

— Я... — начал Костя, но у него опять не повернулся язык, и он снова замолчал.

— Софа, куда вы там, к черту, запропастились, — рявкнул вдруг Стрельцов, — идите сюда! Уже сбежала! Ну, что ж вы молчите, молодой человек?

Вошла Софья Мерцали и молча встала у двери.

— Стойте-ка, я ему кое-что напомню, — ласково улыбнулся Онуфриенко. — Костя, вот стоит женщина, которая относится к тебе лучше всех, вот скажи перед ней — перед ней стыдно соврать: говорил ты, что Нина Николаевна приняла предложение Стрельцова? Ну? Да ну же, институточка!

— Да! — выдохнул Костя и быстро взглянул на Мерцали.

— Ох, да не кричите же, не кричите же вы так! — вдруг издерганно закричала Мерцали, и у нее сразу потекли по щекам слезы. — Не кричите вы, пожалуйста! — Никто не кричал. — Разве нельзя говорить спокойно?

Онуфриенко вздохнул, но даже не взглянул на нее.

— Вот видишь, довел Софу до слез. Да, ты говорил. Это честно и по-мужски, но скажи, почему мы все — Софа, Всеволод Митрофанович, Володя, я — тебе поверили? Были какие-то для этого особые основания? Понимаешь, особые!

— Для выяснения этого же вопроса... — радостно воскликнул вдруг Стрельцов, — скажите...

— Стойте! — перебила Нина и встала. — Для выяснения этого же вопроса разрешите мне одно слово. Товарищ Стрельцов, что вам нужно от Кости? Костя, говорите им всё — да, я ваша любовница. Это вам было нужно? Так вот, я говорю — я его любовница. Что дальше? — Она посмотрела на Семенова, но тот все так же неподвижно — руки в карманы — стоял возле Кости. — Всё? Вы довольны? Вы все довольны?

Наступила мгновенная тишина.

— Эх, не останавливается дирекция перед затратами! — досадливо щелкнул языком Онуфриенко.

И тут Мерцали вдруг бурно кинулась вон из комнаты, и слышно было, как там она упала на зазвеневшую кровать и со всхлипами истерично залилась.

— Еще сумасшедшая! — недовольно сморщился Онуфриенко и повернулся к Нине. — Значит, вы, Нина Николаевна...

Николай подошел и тронул Нину за руку.

— Идем! Все! Молодчина! — сказал он негромко.

Нина выдернула у него руку.

— Подождите! — сказала она резко и подошла к Онуфриенко. — Спрашиваете, что это значит? Вы единственный из этой компании, кому я отвечу по существу: смотрите — вот что это значит! — И, коротко размахнувшись, она так два раза ударила его, что он ойкнул и схватился за глаз.

— Вот и все, — сказал Николай спокойно. — И теперь вопрос, кажется, действительно выяснен. Вставайте, Костя, пошли!

Судьба здорово поиздевалась над Костей — вот и случилось то, о чем он так страстно мечтал и рассказывал сам себе сказки, — он лежит в кровати Нины, притворяется спящим, а она сидит над ним, простая, светлая, в сером домашнем платье, и что-то читает. И не поймешь, поздно ли сейчас или очень рано, потому что она опустила шторы и стало так сумрачно, что ей пришлось зажечь настольную крохотную лампу с рубиновым абажуром. Он лежал и думал, что он скажет, когда проснется. Мыслей приходило много, а сказать все-таки было нечего. Иногда он приоткрывал глаза и сквозь туман ресниц видел ее, всю такую домашнюю и простую, и слышал, как шуршат страницы. Так прошло много времени, и вдруг Даша приоткрыла дверь и что-то сказала. Нина кивнула головой, положила книгу на стол и вышла. Минут десять никого не было, и он опять лежал и думал. Как ни странно, но то, что он находится у нее, а она отхаживает его, отняло у него последнюю надежду.

Через десять минут вошла Даша, улыбнулась ему и сказала: «Здравствуйте, Константин Семенович», —

быстро разобрала ночной столик и накрыла его чистой салфеткой. Он хотел спросить ее что-то, но появилась Нина Николаевна, в фартуке, с подносом, поставила поднос на стол, сняла фарфоровую миску, тарелку для супа и другую тарелочку с тонко нарезанной французской булкой, потушила рубиновую лампочку и тихо сказала (как будто и знала, что он не спит):

— Костя, ну-ка, садитесь на кровать, а я тут... — подошла к окну и стала возиться с занавеской.

Костя поднялся, плотно закутался в одеяло, сел и свесил ноги.

— А туфли, Костя, под кроватью, — сказала Нина не оборачиваясь, и он наклонился, надел ее мохнатые, пушистые шлепанцы.

— Нина Николаевна, — робко позвал он.

Она наконец справилась с занавеской и подошла к нему.

— Ну что, дорогой? — спросила она, садясь рядом. — Минут через двадцать прилетит Семенов, и мы пойдем с ним по магазинам. Ведь Восьмое марта — не забывайте этого!

— Ой! — забеспокоился Костя. — А я у вас лежу.

— А вы мой больной гость, поэтому и лежите, — ласково пояснила Нина, — в этот день каждая женщина приглашает своего друга. — Она открыла суповую миску и стала наливать суп. — Кушайте, Костя, а я посижу рядом. Знаете, я и Софу пригласила.

— Софу?! — вскочил Костя.

— Да! И вам, по-моему, надо будет перед ней извиниться за всю эту историю. — Он смотрел на нее. — Вы не находите, что вы перед Софой очень виноваты? Она-то, кажется, не находит этого, но, по-моему, вам бы самому для себя надо извиниться. Софа очень хороший человек. Ее братец так, дрянцо, а она хорошая.

— Да, но я!..

— Насчет всего остального, — она взяла Костю за руку, — вину мы с вами разделим ровно пополам. Я тоже очень виновата перед вами, потому что вела себя глупо и нетактично. И что самое непростительное, Костя, — я ведь люблю. И как, Костенька, люблю!

— Да? — спросил Костя и даже не почувствовал новой боли — так ему уже было все равно.

Нина посмотрела на него.

— Вот видите, как я вам смело сказала, что люблю, а ему сказать так же прямо и просто — язык не поворачивается, а он меня об этом не спрашивает. Такой он дурной. — Нина вдруг смутилась и вскочила. — Ой, да что это я вдруг расплакалась! Вы не слушайте меня! Глупости все это! Теперь о вас. Вы все время хотите мне сказать, что с вами больше этого никогда, никогда не случится, так?

— Да!

Она опять села и усмехнулась.

— Ох, это «никогда, никогда, никогда!» Сколько раз я себе это повторяю, а толку нет.

— Нина Николаевна...

— Нет, не это, не про вас, — засмеялась Нина, — это мое специфически женское. Как раз вчера Семенов рассказал мне и в связи с вами о Василиске. Это огнедышащий дракон — очень темного происхождения, но, кажется, сын петуха и змеи. С ним никто не может справиться, потому что на кого он взглянет, тот каменеет, но стоит только ему самому показать зеркало, как и он обращается в камень. Вот так и с вами. То вы видели только Стрельцова и Онуфриенко, а вчера вы увидели и самого себя в их компании. Ну и всё — больше вы туда не сунетесь, так?

— Да, Нина Николаевна.

— Никогда и ни за что! Всё! Кроме того, у нас с завтрашнего дня начинается настоящее дело: худрук и Нельский наконец помирились — значит, примерно с двадцатых чисел пойдут у нас репетиции, а в апреле мы с вами пойдем на большую сцену. Значит, будет у Мар-

тышки хлопот полон рот. Костя, что вы такой печальный, вы не рады?

Но Костя и сам не знал, рад он или нет. У него не было на душе ничего, кроме смутного чувства какого-то очень большого непорядка — того, что он не то что-то утратил, не то чего-то еще не нашел. Просто хотелось содрать черепную коробку и хорошенько ногтями прочесать — продрать — зудящие мозги, — тогда, может быть, что-то прояснилось бы.

Нина смотрела на него и улыбалась грустно и ласково.

— Ну хорошо! — сказала она, поднимаясь. — Кушайте. Сейчас влетит с покупками Семенов и начнется сабантуй — он же не может, чтоб было тихо. — Она встала и пошла, но сделала два шага, вернулась и села опять.

— И все-таки за одно я на вас в обиде, и знаете за что?..

Он кивнул головой: «Да?»

— Вот эти подлые пятнадцать тысяч! Как вы могли мне звонить об этой пакости, а? Ведь это гадость, гадость, гадость — неужели вы не понимаете этого?

— Теперь я все понимаю, Нина Николаевна!

— Только теперь! А вы должны были сразу же выругать, может быть, даже ударить этого мерзавца, и, конечно, не за меня, не за меня одну то есть... — Она помолчала и продолжала, смотря ему прямо в глаза. — Вот раньше было такое пошленькое выражение «святое искусство», и над ним все смеялись, потому что какое оно святое, если оно (а театр-то особенно) и такое-то, и такое-то, и такое-то. А знаете, хоть пошленько, хоть и смешно, а все-таки какой-то уголок правды это слово выражало, и даже не так плохо. В том окаянном мире искусство и вправду было святым. Да и то взять: для каждого человека его профессия должна быть самой лучшей, а то у него из жизни ничего хорошего не получится. Вот мне и хочется, чтоб вы поняли это. Тогда не будет никакого разговора о пятнадцати тысячах вместо

двух, а от дружбы со Стрельцовым вы будете убегать на десять верст и совсем не то вы увидите в милой Софе, хотя она, — Нина улыбнулась, — безусловно, черная кобра. Но вот это надо именно почувствовать. Так понять головой этого мало. — Костя молчал. — А не почувствуете, — сказала вдруг Нина очень резко и сухо, — и артистом никогда не будете — разменяетесь на халтуры, девочек, дамочек, фотокарточки — наружность у вас подходящая! Ну, что ж! Не вы первый, не вы последний.

— Не сердитесь, Нина Николаевна, — попросил Костя.

— Ай, да не сержусь я, — слегка нахмурилась она, — то есть сержусь, конечно, но не за себя, а за вас. Это мерзкое, мерзкое предложение, Костя... Это все равно как если бы вы предложили мне... ну уж, я даже не знаю и что... сами придумайте, но чтобы вы ни придумали, вы в худшем случае замахнетесь на женщину, а тут у меня хотят откупить мое человеческое место в жизни. Ну что я без него? Домашняя хозяйка? Мужнина жена? Переписчица его бумаг — не больше?

Тут Костя осмелился и, понимая уже все, для чего-то все-таки спросил:

— Кого — его?

Нина Николаевна не ответила на этот жалкий вопрос; но она как-то особо посмотрела на него и сказала:

— Кушайте же, Костя, скорее, он придет, а мы не готовы...

И только что она сказала это, как по коридору послышались шаги, стукнула дверь, одна, другая, и голос Семенова спросил:

— Нина Николаевна, можно? Фердинанд в порядке? Одет? Умыт? Накормлен? Опохмелен?

— Да, да, — сказала Нина, — мы ждем тебя, заходи-ка!

Было слышно, как Семенов пыхтит и снимает галоши, потом он отворил дверь и вошел. И на этом кончилась любовь и ревность студийца Константина Любимова.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПИНЬКИ

I

Лет десять тому назад я попал в чрезвычайно неудобное положение и еле из него выбрался.

Случилось вот что.

Однажды пришел ко мне товарищ и объявил, что он решил жениться. Шла весна 44-го года. Я пятую ночь дежурил в газетной типографии, и ко мне через каждые двадцать минут звонили и что-то требовали или спрашивали. Я измотался, изругался, ошалел до того, что у меня заболело ухо, и если бы товарищ пришел один, я бы попросту послал его к черту, но он привел с собой свою кузину, мою жену, совсем не охотницу до ночных прогулок, и я сразу понял, что дело серьезное.

— И так все это спешно, товарищи? — спросил я тоскливо, глядя то на них, то на мокрую груду гранок на краю стола. — Почему ты ночью и зачем она с тобой?

Владимир хотел что-то сказать, но лишь глубоко вздохнул и покраснел. Он был красивый, по-южному черноволосый, очень похожий на сестру лицом, но такой конфузливый, а от этого подчас такой резкий и развязный, что мы редко приглашали его в свою компанию. Так он и путался с женщинами.

— Смотри, Володя, — вмешалась жена, — он даже не поинтересовался: на ком! Владимир просит тебя сходить к Нине и выяснить их отношения.

Я так и вскочил. У меня даже ухо прошло.

— Их отношения? Володька, что это значит? — Он молчал. — Да разве вы встречаетесь? — Он молчал. — Ну, Ленка! Ну, сводня! — сказал я ошалело. — Всего я ожидал, но такого... Володька, да что ты слушаешь? Это же бред!

— Ничего не бред, они отличная пара, — отрезала Ленка. — Ты с ней дружишь и обязан помочь Володе.

От этой бестолковщины у меня снова заболело ухо, и я сел.

— Володя, ну ты же знаешь, — сказал я тоскливо, — Нина ждала и будет ждать Николая.

— Хм! Как он, однако, за нее уверен, — тонко улыбнулась Ленка. — Как уверен! Вот знаток женского сердца.

— Так что? — спросил Владимир и быком посмотрел на меня. — Ты мне поможешь или нет?

— Да в чем я тебе должен помочь? В чем? Нелепый ты человек! — закричал я.

Он вскочил и забегал.

— Володя, милый, — продолжал я, — не сердись — Николай мой друг. Ты не бываешь в этой компании и не знаешь. Я его подвел к Нине, я — один — был на их свадьбе. («А свадьба-то была?» — пробурчала Ленка.) А тебе что, попа надо? Я провожал его на фронт — один, Нина была на гастролях. Когда пришло от него последнее письмо, она прибежала ко мне в типографию, ночью, даже без калош, а лил ливень. («Такая же малахольная», — пробурчала Ленка.) На день их встречи она третий год из посторонних приглашает только меня — с Ленкой она часто ссорится, со мной — никогда. Ну, с какой мордой я сунусь к ней? Даже если у тебя есть какие-то основания... Но в это я не верю, конечно. — Он дернулся в мою сторону. — Я знаю, ты сейчас скажешь, что он погиб, — милый, да кто это знает? А что, вы меня — не хоронили? Ну, вот я опять пропаду, так что ж, тебя кто-нибудь пошлет сватать Ленку и ты пойдешь? — Он молчал. — А меня посылаете? Нехорошо, товарищи!

— Лена! Ну же! — подтолкнул ее Владимир.

— Э-э! Не туда ты все гнешь, — поморщилась Ленка. — Пока он думал, что все дело только в нем, ну, скажи, много он говорил тебе о ней? — Я молча улыбнулся. — А то не говорил? А как он прибежал ко мне тоже ночью? Ну, правда, — нахмурилась она, — раз он сошел с ума и прибежал к тебе. Я уж его ругала за это. Но ведь тем дело и кончилось. А теперь, — она торжествующе поглядела мне в лицо, — вот уж неделю он думает иначе!

— То есть? То есть? — вскочил я со стула. — Что ж произошло неделю тому назад? — Она молчала и, улыбаясь, смотрела на меня. — Владимир, я с тобой говорю. Она не хочет ждать Николая — так я тебя должен понять? — Он оглянулся на Ленку. — Говори только со мной! — крикнул я. — Да или нет?

— Да! — крикнула Ленка. — Она уже не хочет его больше ждать и поэтому выбросила его суслика.

— Да! — подтвердил Владимир, но далеко не так уверенно. — Она мне это сказала.

И сразу стало так тихо, что я услышал, как внизу ревет ротационная машина. У меня сжалось сердце. Я любил Нину и согласен был отдать ее только Николаю, видеть же ее с этим вылощенным, женоподобным пижоном было бы для меня просто невыносимо, а они оба сидели и смотрели на меня.

— Хорошо! — наконец отрубил я. — Посмотрим! — Подошел к аппарату и набрал номер ее квартиры. К телефону подошла она сама.

— Ниночка! — проговорил я нежно. — У меня сегодня есть пара часов свободных, и я...

— Ой, — воскликнула она, — Сережа! Милый! А я к вам звонила и вчера, и сегодня, по крайней мере пять раз. Где вы пропадаете? — Голос у нее был простой и ласковый.

— Там же, где и вы, родная, на работе.

— Так неужели?..

— Неужели, в самом деле, все сгорели карусели, — засмеялся я, — не болтайте глупости — в одиннадцать часов вечера не поздно?

— Даже рано! Нет, приходите, приходите. Я тогда не пойду на примерку, а прямо со спектакля домой. Слушайте, Лена на меня сердится?

— А черт ее знает, что она там делает. Ну, целую ваши лапки и бегу. Итак, в одиннадцать часов.

Я повесил трубку.

Владимир стоял красный и перепуганный — мало ли что я мог ляпнуть по телефону.

— Ты говоришь, что она тебя любит? Что она забыла из-за тебя Николая? — сказал я зло. — Сегодня я это полностью узнаю, но помни, если она только скажет «нет», — это и к тебе, Ленка, относится, — чтоб ты раз и навсегда...

— Ну, само собой разумеется, — ответил Владимир и прижал ладони к раскаленному лицу. — Если она скажет «нет», я больше не покажусь ей на глаза. Это само собой разумеется.

* * *

Она сама отворила дверь («Даша, накрывайте стол — пришел пропащий»). Стащила с меня шинель, подпрыгнула, сорвала фуражку и торжественно потащила в свою комнату.

— Почему же мимо вешалки? — спросил я, задерживаясь перед зеркалом.

— Выйдет ночью мама на кухню, увидит вашу шинель и будет мне целый месяц строить глазки, — объяснила она. — Понимаете?

— Понимаю! — засмеялся я. — И у вас появился страх иудейский. А помните, как вы рычали на Ленку: «Кого хочу — того и люблю, а на всех остальных мне плевать». Такая вы были храбрая.

— Я и сейчас такая, — ответила она. — Но Николая я любила, а слушать от вас гадости не хочу («“Любила”... — отметил я. — “Любила”, а не “люблю” — плохо!»).

— Какие же гадости, Ниночка? — сказал я, проходя за ней. — Быть вашим любовником — для меня это отличная марка.

Она засмеялась.

— Не льстите, не купите! Я на вас не действую. Это уже проверено, — она снова засмеялась. — Знаете, что я сейчас вспомнила? Однажды моя подруга — очень красивая девочка и с характером — выходила замуж за моего дружка. Мы целую ночь с ней стряпали. И вот она лепит, лепит пирожки, а потом вдруг сядет на стул и обхватит голову руками: «Ну что ж мне делать? Не знаю, не знаю, не знаю! Помнишь, он рассказывал, как Дож венчается с морем — бросает в залив обручальное кольцо. Вот это то же самое. Мне же за ним не уследить — надо мной все мальчишки будут смеяться». Я говорю: дурочка, потерпи, — они же быстро истаскиваются. Лет через десять и твой, и мой будут сидеть дома и составлять буквари.

— Благодарю вас, Нина Николаевна, — низко поклонился я, — и за буквари, и за то, что мы быстро истаскиваемся; и за себя, и за Николая благодарю.

— Ну, надо же было успокоить Ленку, — беззаботно ответила она. — Кстати, она вам не говорила — мы опять поцапались? Понимаете, вчера после репетиции приходит она с Владимиром и...

— Стойте — «с Владимиром»! А вы часто встречаетесь с этим красавцем?

Я увидел, что она мнется.

— Ну... нет, не часто... раза два в неделю, — ответила она, подумав.

— Так часто? — Она молчала. — Нравятся вам такие, Ниночка?

Она суховато пожала плечами и спрятала глаза.

— Что значит «нравятся»? Он ваш друг...

— Э-э, Ниночка, играете краплеными, — засмеялся я. — Во-первых, он нам не друг, во-вторых, наших с Николаем друзей вы никогда не признавали. Помните, как вы кричали на Николая: «Твоя любовь — не моя любовь!»

Она помолчала, а потом сказала:

— Но это же совсем другое дело. Вот в клубах и частях я иногда читаю Маяковского. Так вот, у него есть такие строчки:

...у меня на шее воловьей
потноживотые женщины мокрой горою сидят...

Это — слушайте!

Это сквозь жизнь я тащу
миллионы огромных чистых любовей
и миллион миллионов маленьких грязных любят.

Это про вас с Николаем. Любя́т ваших я презираю прежде всего потому, что они и маленькие, и грязненькие, но любови — тут я всегда молчу. Вот смотрите, мы поцапались с Ленкой, а я такая, что могу двадцать лет с ней не разговаривать и все-таки она будет моей самой лучшей подругой, а разойдись вы с ней, и мы через месяц не узнаем друг друга.

— Спасибо, Ниночка, — сказал я и через чашки и вазочки (мы уже пили чай) протянул ей руку. — Если все это относится к молодому человеку, вопрос исчерпан.

Она с минуту думала, а потом честно сказала:

— Не относится, Володя мне действительно нравится — он чистый, хороший, воспитанный, нежный. — «Не такой, как вы с Николаем», — понял я. — И я зря сказала, что он ваш друг, — я знаю, вы его все недолюбливаете. Но был бы он ваш враг, все равно нравился бы мне — вот и все, что я могу пока вам сказать.

— Пока? — спросил я.

— Да, — ответила она твердо. — Да, пока!

Я выпил свой стакан и задумался. Ну что ж, всему свой срок и черед. Продолжать этот разговор было бы уже бессмысленно. А Нина сидела и смотрела на меня.

— А ведь вы за этим и пришли! — сказала она вдруг.

— Ниночка, — строго ответил я. — Я пришел прежде всего затем, чтобы вас увидеть. Только за этим! Вот увидел и... — я стал подниматься.

Она ловко поймала меня за руку и усадила опять.

— Ну, не надо говорить со мной так, — попросила она, — уж и рассердились, конечно. Я в прошлое воскресенье чуть не погибла во цвете лет, где вы тогда были? Один Володя со мной возился! Изменщик — вот кто вы такой!

II

— Ну, хорошо, пусть я буду, выражаясь высоким стилем вашей Даши, изменщик, но чуть не погибли-то вы, от чего ж? — спросил я.

— Так, ничего, — ответила она сухо, — раз вы не приходили... — Но, конечно, не удержалась на этой строгой высоте и заинтересованно спросила: — А разве вам ни Лена, ни Вол... ни Владимир ничего не говорили?

Я покачал головой. Она сразу же встрепенулась и забыла все свои обиды:

— Ой, это же ужас! Шел «Собор Парижской Богоматери», я играла Эсмеральду и вот... Вы же знаете Пиньку?

Ну, еще бы я не знал этого поганца, этого гнусного суслика, который свистал, подгрызал мебель (жильцы пообещали его выбросить, и поэтому, когда все уходили, его брали с собой) и так тяпнул Нину за палец, что ей с месяц пришлось носить черную повязку, к великой ярости режиссера, конечно. Еще бы я не помнил эту дрянь! У Николая только и разговора было о нем — подумайте: первый дрессированный суслик в мире!

Но тут следует сделать отступление.

Николай был журналист, но в нем, несомненно, сидел Брем — безумный растрепанный зоолог с огромными глазами и истеричной любовью ко всему живому. Нам всем иногда приходилось солоно от его штучек — то черепаху тебе подарит, и она грохает по квартире и гадит во всех углах, то занесет белых мышей и оставит их на пару дней, а они живут у тебя всю зиму и до истерики

каждый день пугают Ленку, а она, кажется, только мышей и боится. Но надо было быть Ниной, чтоб переносить все, чему он ее подверг за два года их совместной жизни.

Животных она вообще не любила («Вот уж когда мне будет шестьдесят...»), а он переехал к ней с филином Попкой, ежом (а это похуже даже черепахи) и золотыми рыбками — вуалехвостами.

Днем Попка сидел на елке и только хлопал глазами, а ночью летал по комнате, бил посуду, если ее забывали на столе, и ухал.

Не успела Нина привыкнуть к Попке, как появился волчонок — Вольфганг (значит, тезка Гёте). Николай с шиком водил его по городу, и, когда заходил в театр к Нине, Вольфганг сидел возле галош и зонтиков, и возле него всегда стояла толпа. Если к нему подходили, то он сразу же вскакивал и рычал, при этом шерсть у него вздыбливалась, а глаза зажигались желтым накалом. Нина его ненавидела, страстно, как человек человека, до дрожи в голосе, и когда он вдруг сдох (его кто-то отравил), молча подарила мне автоматическую ручку с золотым пером. Но место Вольфганга заняла ручная лиса. Это был умильный ласковый зверь, но репутация у него была преотвратительная: у соседей по даче пропадали куры, разлетались голуби, кто-то рвал кроликов, и, хотя преступник ускользал, а улик не было, все говорили, что у Лизаньки (так звали лису) рыльце сильно в пушку. Лису кто-то застрелил или украл — в общем, и она пропала, — и появился ворон Nevermore (помните у Э.По: «Ворон крикнул: Nevermore!»). Вот его Нина уважала и даже дружила с ним. Ворон сидел постоянно на одном месте, молчал и ни в какие домашние дела не мешался.

— Ну вот, — лояльно говорила Нина, — что я про него могу сказать? Солидная пожилая птица, никого не трогает, не скандалит, пусть живет хоть еще сто лет — пожалуйста!

Но за вороном появилась Воспитанница — это была царственно великолепная рысь. Ее Николай (а после кон-

ца Вольфганга и Лизоньки он быстро поумнел и что-то понял) выкармливал где-то в глубоком подполье, тайком от всех нас, и привел к Нине только тогда, когда она из котенка превратилась во взрослого зверя.

Нину рысь не замечала, она хозяйкой ходила по ее коврам, лапой отворяла двери, когда хотела спать, прыгала на Нинину кровать и сбрасывала подушки, встречала и провожала гостей и, когда мы вечером собирались вокруг самовара, сидела, выпрямившись, на отдельном стуле и внимательно слушала разговоры. Она занимала у Нины бездну времени. Бывало, зайдешь к ним и Нина выбегает из кухни с засученными рукавами. «Ниночка, с чего это вы сами занялись стряпней? Даша-то где?»

— Проходите, проходите. Я готовлю Воспитаннице ужин. Варю мясо. Сейчас освобожусь!

А рядом ходит Воспитанница — важная, холодная, вежливая и обнюхивает шубу.

Раз я сказал:

— А знаете, Ниночка, мне иногда кажется, что хозяйка-то здесь Воспитанница: Николая она признает, а вас прописала на жилищных излишках.

— А что ж, — ответила она очень серьезно, — вот знаете, Николай как придет, так прямо к ней, и они целуются.

Я рассмеялся.

— Да вам вот смешно, — огорчилась Нина, — а у нее, может быть, эхинококки — ведь она все-таки кошка!

Я схватил Нину за руки и повернул к себе.

— А ну-ка, посмотрите на меня — да вы же ревнуете!

Она обиделась, вырвалась, фыркнула и ушла на кухню.

— А что вы думаете, — крикнула она мне оттуда, — из Джамбула послал телеграмму: «Здоровье Воспитанницы», а обо мне ни слова, — разве ж не обидно?

А через десять минут я видел, как Николай и Воспитанница здоровались, — они целовались-миловались, хлопали друг друга то руками, то лапами, ложились на

ковер, переворачивались с боку на бок и мурлыкали. А Нина стояла рядом и уж не сердилась, а смеялась и чуть не плакала от умиления.

— Да куда ж ты к ней лицом, у нее же глисты! Ну смотрите, Сережа, как жить с таким уродом!

Но я знал — она, между прочим, и потому его любит, что он урод.

Конец Воспитанницы был таков.

Когда Николай уехал на фронт, а Нина спешно вернулась с гастролей, рысь целый день ходила за ней, вопросительно глядела на нее и мяукала (это не мяуканье, конечно, это гортанный лесной крик, немного похожий на призывный крик оленя). Подойдет к Нине, встанет против нее, смотрит и требовательно мяучит. Нина, которая сразу похудела, побледнела и вдруг приобрела легкую походку лунатика, продолжала по-прежнему заботиться о ней.

Горе сближает больше, чем радость, и однажды Даша рассказала мне об одном их разговоре.

— Плохо тебе? — грустно спрашивала Нина у рыси. — Скучно? А мне каково? Вот легла бы рядом с тобой и замяукала! А кормить-то тебя надо! — Рысь молчала и смотрела на нее. — Эх, зверина! Я-то тебя понимаю, да ты-то никак меня не поймешь.

А так все шло по-прежнему. Мясо у Воспитанницы было всегда, и когда я приходил к ним, Нина, как и раньше, выходила из кухни в фартучке и с засученными рукавами, но Воспитанница не ходила уже вокруг меня и не нюхала морозную шубу, а тихо лежала на своем матрасике под роялью и дремала. Только когда мы сели за стол, она вдруг поднялась, подошла ко мне, постояла и ушла. Когда месяца через два я встретил Нину в театре, она мне сказала:

— А знаете, вчера приходили из зоопарка и уговорили меня отдать им Воспитанницу.

— Как?! — воскликнул я.

Она спрятала глаза.

— Под сохранную расписку, до его возвращения. — И так как я молчал, объяснила мне: — Ну, всю душу из меня вытянула — зацепит лапой за платье и тянет. А у меня и так все из рук падает. Вот уж вернется наш хозяин...

Но Нинин хозяин все не ехал, а слал жизнерадостные открытки, а потом и открытки перестал слать — замолк совсем, и Воспитанница так и осталась в зоопарке. Но однажды Нина позвонила мне и, не здороваясь, сказала:

— У меня такое горе — погибла Воспитанница!

— Как так? — обомлел я.

— Все я виновата, — голос у Нины дрожал. — Оказывается, они там стали ее запирать, а меня не было целую неделю. Она три дня ходила по клетке не останавливаясь — думали, привыкнет. Куда! У нее же характер Николая — с ними злом ничего не сделаешь! Вечером ее стало рвать, а утром пришли, а она уже холодная. Что ж я теперь ему... — Голос у Нины дрожал, и она замолчала.

Так погибла Воспитанница моего друга — остались ворон, золотые вуалехвосты, филин Попка да суслик Пинька.

III

Шли дни и месяцы. Николай давно попал в рубрику пропавших без вести, в волосах у Нины появилась серебряная прядь.

Золотые вуалехвосты сдохли, ворон и Попка улетели, только Пинька — любовь и гордость Николая — все жил и портил мебель. Он словно чувствовал, что у него все впереди.

Так и случилось.

В 44-м году, зимой, театр решил поставить для клубов и госпиталей какую-нибудь мелодраму полегче и позабористее.

Остановились на «Соборе Парижской Богоматери».

Нашли старую инсценировку, перепечатали и передали мне с просьбой почистить и поджать.

Я очинил карандаш, да и начал крестить. Массовые сцены – прочь! Вставные номера – прочь! Все, что не умещается на трех досках поверх двух бочек, – тоже прочь! Так я вычеркнул примерно 25 процентов текста, и пьеса приобрела легкость необыкновенную. В таком виде ее начали репетировать, и месяца через три пригласили меня на прогон.

Мне понравились все, кроме цыганочки Эсмеральды. Ее играла Кручинина. Ну, слов нет, заслуженная артистка республики Кручинина-Задольская очень хорошая актриса, и Анну Каренину или Любовь Яровую она исполняет отлично, но ведь Эсмеральда – это тоненькая, легкая стрекозка – она танцует, поет и водит по улицам старого Парижа белую козочку с позолоченными рожками. Танцевала и Кручинина – но, товарищи! Ведь спектакль будут смотреть молодые ребята, они в бабах толк понимают, на все наши условности им плевать; если в тексте стоит «18 лет», то не давайте же сорок! И потом – наружность, наружность! Ведь Эсмеральда – красавица, а что такое Кручинина? Так я и сказал режиссеру.

– Да, конечно, – ответил он мне невнятно, – мы об этом уже думали, но...

Тем дело пока и кончилось, но вот однажды, придя домой, я застал у себя Нину. Она крепко спала на диване, подложив под голову ладошку.

На стуле лежала сумочка, под стулом валялась роль, а на пуфе столбиком стоял Пинька, подозрительно смотрел на меня и подсвистывал. Я постоял, постоял, полюбовался на спящую Нину, погрозил кулаком Пиньке и вышел – надо было раскупоривать консервы, ставить самовар и поить чаем обеих подруг. Когда через час влетела Ленка, я уж успел занозить об лучину руку и замазаться сажей.

Ленка ахнула и оттолкнула меня от самовара.

— А Нинка где? Лежит, книжечку читает? — спросила она, вырывая у меня косарь. — Ох уж эти барыни! Ниночка, ты же обещала мне...

— Тсс! Она спит!

— А-а! — сразу осела Ленка. — Ну-ну, пусть спит. Она, верно, чуть с ног не валится. Послушай! — Она подошла ко мне и понизила голос. — Ты чего-нибудь понимаешь? Ведь если Николай не вернется, я не знаю, что с ней будет. Вот сломал девку! И чем? Ведь они постоянно ругались! — Она засмеялась. — За три дня до войны я его встретила на улице — бежит! ничего не видит! Я: «Стойте! Куда вы?» — «А... Леночка... Здравствуйте, дорогая... Все хорошеете и хорошеете? Да понимаете, портфель я где-то...» Ну, я чуть ему не сказала: «А ну, пощупайте скорее — голова-то у вас на месте?»

Я только что открыл рот, как вошла Нина. Волосы у нее пристали к лицу, глаза еще спали, она улыбалась и поправляла прическу.

— Полюбуйтесь на гостью — пришла и завалилась спать. Леночка, в ванне какое полотенце твое? Здравствуйте, Сережа, я ведь к вам по делу!

— Петь и танцевать будет, — улыбнулась Лена и, подойдя, убрала ей со лба волосы. — Вчера был такой скандал — Кручинина наотрез отказалась играть. Началось все с танцев. Худрук посмотрел и говорит режиссеру: «От танцев Серафимы Ивановны я вас прошу отказаться, репетируйте с дублершей». Она: «Как?» — и к Нинке: «Рано вы, Ниночка, лезете в звезды». А я ей...

— Ну, ты наговоришь, — нахмурилась Нина, — в общем, Сережа, Эсмеральду играю я, и вот кое-что мне нужно от вас дополучить... Дело-то вот в чем... — Она полезла в сумочку.

Оказалось, что танцевать Нина будет с козочкой. Так и полагается по Гюго. Такая козочка есть — рожки у нее золотые. Сейчас козочка заканчивает курс наук в уголке

Дурова и дней через двадцать будет готова к выходу. Так вот, ее надо отразить в тексте.

— Ниночка, а зачем вам она? Ну ее, а?

— А вы представляете, как обрадуются раненые, когда увидят козочку, — ответила Нина.

— Ты опять рысь заведи, — серьезно посоветовала ей Ленка, — пусть она пляшет! Что там коза? Без рыси ничего не выйдет! Такая же, ей-богу, психовая, как оба эти друга. Идем-ка умываться! — и она схватила ее за плечо. — Ой, что это?

Из Нининого жакета вдруг вылез Пинька, вскарабкался на плечо, поднялся столбиком и защелкал на Ленку зубами.

* * *

Через месяц мне прислали билет на премьеру, но в тот день я опять дежурил, а потом как-то все получалось так, что уж и рецензии у нас появились, а я все не мог вырвать свободного вечера.

Но однажды в редакцию ночью влетел Владимир. Я только что послал материал в машинное бюро, и у меня оказалась бездна свободного времени — что-то десять-пятнадцать минут, — и я сидел над стаканом чая и мирно поклевывал носом — в это время он и влетел.

— Ты спишь? — спросил он удивленно и, подойдя к окну, распахнул его. — А на улице-то какая благодать! Вставай, проводи меня. Твоя шинель?

Глаза у него блестели, от него пахло «крымской розой», а вместо галстука чернел бантик-бабочка. Я никогда его не видел таким и поэтому даже перепугался.

— Стой, стой! У меня же работа! Что такое случилось? Э-э, брат, да ты в подпитии! Все сестра просвещает! Здорово! Где же это вы так?..

Он сел и улыбнулся в пространство.

— Я только расстался с Ниной.

— Ну и что же?

Он вдруг вскочил.

— Слушай, да ведь это талант! Талантище! О ней кричать надо! Что вы пишете: «Молодая талантливая актриса создала обаятельный образ уличной танцовщицы»! Ну что это такое? Дай большие заголовки! Подбор! Полосу с ее портретами! Через два года все народные будут перед ней ничто! Когда Арбенин уносит ее на плече с эшафота, зал ревет! Что ты смеешься? Я говорю — зал стонет.

— Хорошо. Что ж она, и танцует и поет?

— И она танцует, козочка танцует, и у козочки рожки золотые. Ах, Нина! Я теперь всю ночь не усну! — Он вскочил и забегал по кабинету.

Я посмотрел на него и засмеялся.

— Да ты сядь, не мелькай, — эк тебя разбирает! Ты мне вот что скажи...

Он вдруг улыбнулся.

— Прибегаю я к ней в антракте: «Ниночка, разрешите вас поцеловать», а она серьезно подставляет щеку. «Только не замажьтесь, Володя, я же крашеная, как скамейка»! Как все это у нее просто получается.

— Да, она не ломака, — согласился я. — Скажи, значит, она чувствует себя хорошо?

— Я проводил ее до самой двери, — вдохновенно продолжал он, ничего не слыша. — Она мне говорит: «Ну, Володя, спасибо, — иду спать, сегодня я целый день на ногах». Я ее спрашиваю: «Ниночка, когда же мы увидимся?» А она улыбается: «Ну, когда? Да заходите с Сергеем в воскресенье в театр после утреннего представления — как раз мы с Дашей сговорились варить пельмени». Сережа, милый, пойдем, а?

Он схватил меня в объятья, и я еле вырвался. Он был как безумный и ничего не понимал.

— Не знаю, не знаю, дорогой, ты видишь, что на столе делается? От Николая ничего?

Он молчал и завороженно улыбался.

— От Николая ничего? — повторил я.

— Да не спрашивал я, — досадливо поморщился он и вдруг закипел: — Не понимаю я вас, ей-богу, вбиваете вы

ей в голову черт знает что, грызете, грызете ей сердце, как крысы, — зачем? Она вас совсем не просит!

В это время мне из машинного бюро принесли материал и положили на стол.

Я встал.

— Ну, дорогой, мне надо работать! Слушай, Володя, — я взял его двумя пальцами за бантик, — не трогай ты Нину — это серьезно. Сейчас у вас такие замечательные простые отношения. Идет с тобой, болтает, смеется, вот даже позволила себя поцеловать. А начнешь вздыхать, да загадывать, да объясняться — так она тебя и видеть не захочет. — Он молчал. — И знаю я ее... («Хорошо знаешь?» — загадочно спросил Владимир.) Представь себе, очень хорошо. Все твои догадки — чепуха! Понял, голубчик? Чепу-ха на постном масле. Ну иди, иди. Утром я Нине позвоню — поблагодарю за приглашение и передам все твои восторги.

Он встал.

— Но ты скажешь, что в воскресенье мы?..

— Скажу, все скажу — иди!

* * *

О том, что случилось через три дня в воскресенье, Нина мне рассказала так:

— В этот день я ждала вас с Владимиром, и поэтому мы с утра стали с Дашей делать пельмени, только что слепили первую сотню, часы бьют десять — ну, я схватилась, Пиньку за пазуху и бежать. Первые два акта кончились благополучно, а в седьмой картине у меня переодевание (замечу в скобках, это та картина, где Арбенин-Квазимодо похищает Эсмеральду с эшафота). Вы помните костюм? Это важно. Широкий белый балахон с рукавами в обтяжку, подпоясанный веревкой. Когда я после антракта зашла в уборную, платье уже лежит на плечиках на стуле, а на нем сидит Пинька. Я его сняла, погладила и посадила на подзеркальник, только что стала одеваться, он мне — раз! — на плечо. Ну, тут я его даже слегка нахлопала.

И только что я подошла к зеркалу, как мне позвонили из госпиталя, насчет шефского концерта, стала я разговаривать и забыла про Пиньку.

— Ой, Ниночка, кажется, я начинаю понимать. Ну, ну?

— Ну, тут пришел Владимир. Пошли мы с ним к козочке, покормили ее морковью — Володя специально принес. Тут же мне инспектор труппы передал роль — прямо от машинистки. Только стала я ее листать — зажигается красная лампочка: подготовиться. Когда стали мне перед выходом накладывать цепи, я спрашиваю палача: «Васенька, а вы моего суслика не видели? Он тут нигде не бегает?» Вася говорит: «Нет, не бегает!» Хорошо, вышли на сцену. (Замечу в скобках: из зрительного зала это выглядит так: мимо собора на эшафот движется траурная процессия — впереди кардинал в багровой мантии, за ним два черных монаха в капюшонах, за монахами Эсмеральда со скованными руками и зажженной свечой, за ней палач в полумаске и опять монахи, монахи... Гремят колокола, воет хор, народ в ужасе безмолвствует, — это не совсем исторически грамотно, но очень эффектно.) Вышли на сцену. Как я стала взбираться на помост, он и пискнул у меня в балахоне. Это, значит, он там, дрянь такая, в складках пригрелся и заснул, я его толкнула — он и зашевелился. Лезет в рукава, а рукава стянуты, лезет к вороту — и ворот закрыт, но вы представляете, как я себя чувствую? (Замечу в скобках: вполне представляю. Я сам был когда-то в таком положении — это именно тот ужас, когда вдруг замечаешь перед собой зрительный зал — черную ямину, полную глаз, и все они ждут скандала, когда сразу опускаются руки и голос дает петуха.) Я стою, смотрю вниз и думаю: вот-вот рухну. Палач шепчет: «Что с вами?» Я отвечаю: «Пинька!» Он сразу все понял. Я говорю: «Васенька, ради бога, заслоняйте меня!» Но куда там! Я метра на два поднята над сценой — меня со всех сторон видно. А в зале такая тишина, та-ка-я ти-ши-на!

Она остановилась и посмотрела на меня.

— В общем, когда на эшафот вскочил Арбенин, я так и рухнула ему на руки — и это было чувство такого избавления, что я даже обняла его — и, знаете, по-настоящему обняла. Публика так и заревела, как он меня вытащил — уже не помню. Лежу, всхлипываю, а он кричит: «Да с ней же плохо — где доктор?!» Потом возле двери Владимир и худрук заговорили. Худрук кричит: «А я вам говорю: сюда я вас не пущу». Володя что-то заикнулся, а худрук: «И будьте добры, оставьте сцену». Я говорю: «Владимир Николаевич...» Тут худрук зашел, наклонился надо мной и говорит: «Ну, как себя чувствуете? Доиграем, голубушка, а?» Я отвечаю...

Она замолкла.

— Ну и...

— Ну и все, — устало вздохнула она. — Играла я, конечно, на сплошных накладках. Штейн влил в меня чуть не триста грамм водки — ничего, как вода! Потом пошли ко мне...

Она опять замолчала.

— Вы, конечно, обманули. Так мы втроем и съели и выпили все — я два дня лежала. Температура тридцать восемь. Володя не отходил от меня... А Пиньку он снес в бактериологический институт. Вот и все.

— Да, да, — ответил я, думая о своем, — да, да, Ниночка, вы совершенно правы. Пинька подлец, он вас чуть не уморил, но Коля-то...

И вот тут она набросилась на меня.

— Слушайте, а сама-то по себе я для вас что-нибудь значу? — сказала она это как будто бы и спокойно, но я сразу понял: дело Николая — табак.

— То есть как это, Ниночка, сама по себе? — спросил я мягко.

— А вот так: сама по себе, — повторила она настойчиво. — У вас все Николай, Николай, Николай! Что скажет Николай, когда он приедет и увидит? Что скажет Николай, когда я ему скажу... Вот Пинька, конечно, дрянь, его надо выбросить, но ах! Николай в нем души не чает. И так всег-

да! Зачем вам постоянно напоминать мне об этом моем кресте — что он, недостаточно тяжел?

Я пожал плечами.

— Но вам никто не мешает его и сбросить в любую минуту, правда?

Она хмуро посмотрела на меня.

— Ох, не знаю! Вот пришли же вы выяснять мои отношения с Владимиром: не дай бог он мне еще понравится! Ну да, он мне понравился! Вот, говорю прямо — понравился. И знаете почему? Мы с ним попросту болтаем и хохочем во все горло. Какое ему дело до того, что там кто-то держит меня за сердце, он и знать этого не хочет. Для него важна я. А у вас?! Боже мой, какие у вас всех вытянутые лица, как вы почтительны к моему горю. Вы точно знаете, и какое оно большое, и сколько оно весит, и как мне тяжело; да чего вы только не знаете!..

Она, кажется, хотела сказать что-то еще, но закусила губу и замолчала.

Я сидел, смотрел на нее и думал: «Кончено, кончено, кончено!» С Николаем все кончено, надо уйти и послать Владимира.

— Ну, что ж, — вздохнул я, — извините, Ниночка.

Нина посмотрела на меня, быстро встала из-за стола, подошла к тумбочке и включила радио.

Сразу стало шумно и беспокойно, как на вокзальной площади. Нина стояла и слушала.

— Мазурка, — сказал я хмуро, — я очень люблю Шопена.

Она подошла и взяла меня за руку.

— Вот вы сами видите, — сказала она, виновато улыбаясь, — как опасно думать хорошо о людях. Вы все считали меня героиней, а оказалась самая обыкновенная дрянь! Но ведь надо хоть один раз сказать о себе всю правду.

— Может быть, — невесело согласился я, — может быть, один раз это и нужно.

Нина помолчала, а потом сказала:

— Ну так вот! Я позвонила Володе и попросила его зайти и, когда зашел, отдала ему суслика: «Возьмите и отнесите этого зверя в бактериологический институт. С директором я уже сговорилась». Он увидел, что у меня на глазах слезы, и спросил: «Ниночка, неужели вам до сих пор жаль эту рыжую дрянь?» А я уже не могла говорить — так у меня сдали нервы и так позорно разревелась! Он испугался и бросился ко мне, но я сказала: «Не подходите и не вздумайте утешать, если бы вы только знали, как я себя сейчас презираю». Тут он, наверно, сразу все понял и спросил: «Ниночка, то, что вы расстаетесь с этим сусликом, что-нибудь значит?» Я ответила: «Ну конечно, Володя». Тогда он: «Так как же, Нина, я от вас могу уйти? Разве я теперь вас оставлю одну? Не гоните меня», — и встал на колени. А я вспомнила, что и Николай однажды стоял передо мной так, и сказала: «Идите, Володя, идите, я вам скажу, когда». На другой день я уж хотела ему позвонить, но он пришел сам с Ленкой, после спектакля, а Ленка так и сияла. Я рассердилась и выгнала обоих, а на Ленку еще накричала.

— Правильно, — похвалил я, — Ленка сводня, гнать ее!.. Но раз так, зачем уж мучить парня. Он, конечно, сейчас сидит у Ленки, разрешите, я позову его к телефону. — Она молчала и думала. — Ну, можно?

— Ну что ж, пожалуй, — невесело согласилась она, — звоните, я сейчас! — Она повернулась и прошла к себе в спальню. Я вышел в коридор и набрал номер. Трубку, как я и думал, снял Владимир.

— Ну, дорогой, — сказал я, — звоню я от Нины. Мы весь вечер толкуем о тебе.

Нина подошла и встала сзади.

— Она мне сказала, — продолжал я, злобно отворачиваясь от нее, — что ты ей действительно очень нравишься, — я был кругом не прав, — и поэтому...

Тут что-то село мне на плечо и царапнуло ухо.

Это был Пинька.

Он стоял столбиком, усмехался, щелкал зубами и готов был освистать меня сейчас же. Такой у него был наглый и торжествующий вид.

Тогда я крикнул «минуточку!» и прикрыл ладонью слуховую трубку.

— Ну? — шепнула она.

— Свинья! — сказал я шепотом Нине. — Самая настоящая свинья! Действительно, нашли чем шутить.

— Ну что ж я могу сделать с собой, если я такая размазня, — виновато ответила Нина. — За Пинькой я прибежала ночью, мне не хотели его отдавать. Так я чуть все стекла не перебила. Выскочил дежурный врач: «Пусть берет, пусть берет».

Я швырнул телефонную трубку и обнял ее.

— Хорошая вы моя, — сказал я нежно, — если бы вы только знали, какая вы хорошая! Как мы вас все любим!

Она несколько секунд молчала, прижавшись ко мне, а потом сказала:

— Ой, как у вас сердце бьется, значит, вы тоже волнуетесь? Ну, кончайте скорее с ним.

А трубка висела и сердилась.

Я поднял ее и сказал:

— Так вот, Володя, Нина Николаевна знает, что ты хороший парень и поймешь ее правильно. («Да, да», — ворковала трубка.) Она просит... — Я взглянул на Нину, она кивнула головой. — Она просит: до приезда Николая к ней не заходить.

— Что?! — ошалела телефонная трубка. — Что-что?!

Я опять взглянул на Нину. Она молча рубанула воздух: кончайте!

— Пинька вернулся, — ответил я, глядя ей в глаза. — Вот он сидит у меня на плече и смеется над нами обоими. Понимаешь?

БРАТ МОЙ ОСЁЛ

Чтобы любовь была нам дорога,
Пусть океаном будет час разлуки,
Пусть двое, выходя на берега,
Один к другому простирают руки.

Шекспир. «Сонеты»

Глава 1

Нина уезжала на гастроли на Кавказ.

За час до отъезда он зашел к ней в комнату.

На полу стоял открытый чемодан, а она сидела на диване и что-то шила. Перед ней лежала груда одежды. Когда Николай зашел, она подняла голову и улыбнулась.

— Решила с иголкой осмотреть твои костюмы. Слушай, что ты такое делаешь? Все пуговицы на пиджаках еле держатся. Все пришлось пришивать. — Она встала и положила пиджак. — Нашел?

— Вот не знаю, то ли? — и он положил на пуф белый кусок глицеринового мыла. Она посмотрела.

— Умница! То самое! Спасибо! — Сунула кусок в чемодан, закрыла его, задвинула чемодан под стол и подошла к Николаю.

— Все. Можно ехать!.. — Он молчал. — Ну что ты такой?

— Да нет... — сказал он.

Она взяла его за плечи и внимательно заглянула ему в глаза.

— В самом деле, что с тобой такое? Ну, хочешь, я не поеду — заболею и всё! Ну?

— Здравствуйте! А роли?

— Сыграет Богданова — только и всего, — сказала она решительно. — Нет, ты говори прямо! Я с удовольствием плюну на все и никуда не поеду. И никакой жертвы с моей стороны! Ну!

Он тихонько засмеялся и обнял ее.

— Нет, поезжай, поезжай! Что ты! Богданова будет за тебя играть?! Нет, нет, — поклонись за меня Черному морю, обгори, как черт, что ли, и привези мне краба.

— И обгорю! — ответила она задорно. — Ау, прощайся со своей снегурочкой. Приеду вон как та тетка, — она показала на бронзовую Венеру. — Прогонишь?

Он откинул ей волосы, повернул ее в профиль, что-то прикидывая.

— Нет, пожалуй, не прогоню, — только не лупись, пожалуйста. А когда на пляже будешь загорать с «мальчиками», вспоминай обо мне почаще. Что-то мой старик сейчас делает? Я-то на пляже с мальчиками, а его, небось, в Голодную степь погнали. Вот так вспоминай!

— С «мальчиками», «на пляже»! — обиделась она. — А ты знаешь, что все пять постановок — на мне одной?! Богданову не берут! — Она вздохнула. — Нет, дорогой, рога я тебе наставлю уж в Москве. Там у меня времени не хватит! К сожалению, конечно! Ладно, какого же тебе привезти краба?

— Настоящего, зеленого. Я знаю, там тетки продают вареных и лакированных — так мне таких не надо! И побольше — ну вот такого! — Он показал на расписное блюдце для пуговиц.

Она покачала головой.

— И зачем тебе такую гадость?

— Сделаю пепельницу.

Она недобро усмехнулась.

— И будешь опять курить по сотне в день! Нет, не привезу!

— Но, Ниночка!

— Нет и нет! Привезу я тебе каменное сердечко с тремя аравийскими пальмами: «Помни о Кавказе», ящик винограда, ну, и литров пять портвейна — всё!

— Святая простота! Что ж ты думаешь — не привезешь ты мне краба, так я и...

— Всё, всё, всё! Идем-ка за стол! Ну как ты без меня будешь жить? Не представляю! Ведь тебя и обедать не залучишь домой. Слушай, дай мне слово — обедать дома и курить не больше пачки в день! Обещаешь?

— Обещаю.

— Смотри, Николай, я тебе верю.

Он засмеялся.

— Милая, когда же ты мне перестанешь верить? Я ведь тебе наобещаю что угодно!

— Пусти меня!

Она сердито вырвалась и пошла. Он побежал, поймал и обнял ее у двери.

— Уйди, Николай! Я серьезно говорю — уйди, твои вечные шуточки.

— Любовь моя! — сказал он вдруг так горько и прочувствованно, что она сразу же затихла в его руках. — Хорошая моя! Как бы я без тебя только жил, любимая?

Она стояла красная, потупленная и счастливая. Это в первый раз он сказал ей «моя любимая».

— Ну, постой, — сказала она, чувствуя, что вот-вот расплачется и тогда все пойдет кувырком — и разговор, и прощание, и поездка. — Ну, постой же, Николай, мне надо еще просмотреть твои носки.

— Любовь моя, — повторил он тихо, присматриваясь к ней, и разжал руки.

Она быстро вышла из комнаты, хлопнула дверью сердито, открыла шкаф и, не видя ничего, стала рыться в каком-то барахле. Ей сейчас было все одно — что платки, что носки, что тряпки. «Любимая!..»

Автомобиль пришел через полчаса, погудел-погудел под окном и увез ее.

Это было в середине июня 1941 года. Больше они не встречались.

* * *

И вот прошло шесть лет.

Ребята — хорошенькая Таня-Лисичка, Миша-Жаба и два пацана, такие маленькие, что у них даже имен не было, а просто «эй, пацан», — сидели на высоком берегу и смотрели на взморье. Стояла тихая, почти безветренная погода. Это место хорошо было защищено от ветра скалой, и волны здесь не ударялись о берег, как везде, а набегали бесшумные, мягкие и ласковые, как серые кошки. Та, из-за кого они забрались сюда, лежала к ним спиной и ела виноград. Мякоть она высасывала, а зернышки и кожурку зачем-то аккуратно сплевывала себе в горстку. На ней был лиловый купальник и круглая черная шапочка, и со спины, как ни верти, а она совсем не походила на знаменитую артистку.

— Да, может быть, это еще совсем и не она, — разочарованно сказал Витька, — в кино она высокая.

— В кино знаешь какая она красивая! — прищелкнула языком рыженькая Таня. — И глаза! Большущие, как у оленя!

— Да это все грим, — авторитетно объяснил Миша-Жаба — он был самый старший, учился в пятом классе и уже курил, — а теперь она лежит и загорает. Это уж без грима.

Тут купальщица вдруг вскочила на ноги, выкинула из ладошки косточки и побежала к морю. Две чайки, разомлевшие от жары и лени (они, как куры, раскрыв клювы, сидели на зеленой глыбе известняка), для вида чуть подались в сторону, но сейчас же снова застыли, распустив, как веер, по одному крылу.

Купальщица пробежала несколько шагов по отмели, споткнулась, упала на колено и вдруг поплыла, качаясь на волнах и блестя ладошками.

— Она! — сразу почему-то решила Таня. — Видишь, Миша, да?

Мишка кивнул косматой головой, и все замолкли, только пацаны, которые еще ничего не понимали, как

галчата, вытягивали шейки и громким шепотом спрашивали: «Где? Где?»

В это время из-за склона вышел толстый человек в чесуче, остановился и стал смотреть. Потом прибежала рыжая собака, сделала несколько быстрых падающих кругов по берегу, для шутки гавкнула на чаек и тоже застыла рядом с хозяином, подогнув переднюю ногу, высунув язык и часто дыша.

Купальщица доплыла до сетей – они стояли стеной, и на их шестах сидели странные черные птицы со змеиными головами, – покачалась немного на волнах (навстречу ей шел катер, и с него что-то кричали), потом легла на спину и поплыла обратно, сильно отталкиваясь ногами.

Человек стоял и смотрел, а собака плясала, припадая к земле, и все умоляюще смотрела на него. Купальщица доплыла до отмели, встала, увидела человека в чесуче и радостно засмеялась.

– Доктор! Вот кстати! А мне вас как раз и нужно!

– Сейчас он задаст ей, – восхищенно шепнула Лисичка. – Это доктор Григорьян из санатория Крупской – он всех ругает за режим!

– Здравствуйте, здравствуйте, – многозначительно пробасил Григорьян и протянул толстую, мягкую ладонь, взял ее руку. – Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь – перебой! – Он отпустил ее руку. – Значит, все-таки саботируем, да?

Купальщица наклонила набок голову и запрыгала на одной ноге, вытрясая воду из уха. Потом схватила волосы в кулак и начала их выкручивать. Волосы были мягкие, светлые, как латунь. Теперь ребята видели ее всю: лицо, глаза с ласковыми ресницами, маленький нежный рот – всю ее ладную, четкую, сильную фигуру.

– Она, она, – повторяла Таня в восторге. – Ах, какая хорошенькая!

Витька кивнул головой и сказал: «Дай!» А Мишка-Жаба только насупился, запыхтел, но сказать ничего не сказал.

Доктор вдруг густо покраснел и отвернулся.

— Ну, одевайтесь, — сказал он быстро и сурово. — А я...

— Куда, доктор? Садитесь-ка! Я же буду загорать, — воскликнула знаменитая артистка. Она с размаху, как в воду, бросилась на песок, обняла рыжую собаку за шею и повалила ее.

— Будем загорать, Альма, ладно? Ну, ну, только не в лицо.

Доктор потоптался и тоже сел.

— Тубо, Альма! А где плетка? Я т-тебя, дура! Лежать!.. Я почему вас ругаю? Ну, сердце, положим, ничего, но ведь вот — ну-ка оттяните на груди, — он быстро царапнул ее крест накрест, — ведь вот какие штучки наливаются. Это уж придется с невропатологом говорить. — Она гладила собаку за ухом и не слушала. — Так зачем я вам понадобился?

— Доктор, — повелительно сказала знаменитая артистка, бросая собаку. — Мне нужно краба.

— Новое дело — ей нужно краба! — удивился доктор. — А зачем?

— А вот зачем, — она подумала. — Ну, в общем, перед отъездом я должна достать большого краба.

— А на курортном рынке что?

— Большого, доктор, огромного, ну, вот вроде вашей шляпы, а потом, краба мне нужно натурального, зеленого, во всем его безобразии, и скорее, — через неделю мы уезжаем. Ну, что вы опять качаете головой?

Доктор посмотрел во все глаза, усмехнулся и вдруг встал и махнул головой по направлению к Высокому берегу.

— А ну сюда! — крикнул он. — Тут можно заработать на «Казбек»! — Он засмеялся. — Где же ваше сценическое

внимание? С утра за вами ходят пять шпионов, а вы их не замечаете? Этот Мишка – ух, тип! Первый драчун, а нежен и влюбчив, как девочка. Он вам не только краба, а самого морского черта в корзинке притащит – вот смотрите-ка!

Впереди сломя голову летела Таня-Лисичка, за ней Витька, потом Миша-Жаба, а дальше уж катились малыши.

Увидев их, артистка вдруг всплеснула руками, подхватила самого маленького и страшно серьезного пацана, подняла на руки и стала жадно и быстро целовать его в шейку.

Вот так и получилось, что в антракте в уборную летнего театра вошла толстая администраторша и сказала: «Нина Николаевна, к вам эти ребята с корзиной».

Нина Николаевна, в гриме и короне, уже одетая для следующего действия, сидела на бутафорском кресле со львами и терпеливо ждала, когда ее кончат рисовать. Она уже сильно устала, и поверх грима на лбу проступили крупные капельки, как на запотевшем кувшине, а надо было держать голову прямо, гордо улыбаться и не двигаться. Когда администраторша сказала о ребятах, она сделала движение сейчас же вскочить, но художник закричал «минуточку!» и умоляюще поднял толстый карандаш. Нина вздохнула и села.

– Марья Николаевна, – спросила она, – они тут в фойе? Ведите их сюда. Сколько их? Всех, всех, конечно.

Ребята пришли присмиревшие и перепуганные. До того они целый акт просидели во втором ряду на трех пустых стульях (это были места администрации) и видели все – то есть прежде-то всего они видели Нину. На ней была какая-то багряная длинная одежда с золотыми разводами, ожерелье на шее и запястьях и блестящий убор на иссиня-черных цыганских волосах. Она гневно ходила по сцене, смеялась нехорошим злым

смехом, и голос у нее звучал насмешливо и резко, как у ночной птицы. И лицо у Нины было совсем иным — резкий прямой нос, злая бледность, прямые черные брови, занесенные на лоб, и высокомерный и твердо замкнутый рот.

Рыженькая Таня (она сразу растеряла всю свою бойкость) робко попросила у соседа, толстого румяного полковника с седым коком, программу. Тот сунул ее из-под перламутрового бинокля не глядя. Программа пошла по рукам, и ребята узнали, что Нина — грузинская царевна, а ее партнер — сам царь Иван Грозный. Царь Иван Грозный хотел ее сговорить на любовь, а она насмешливо качала головой, не соглашалась и хлестала его короткими злыми фразами. Было полутемно — синие, красные и зеленые отсветы лежали на лицах актеров, и они походили на восковых кукол из музея.

У Нины оказался злой характер. Она долго издевалась над Грозным. Но потом он стал рассказывать о себе, о своей матери, о том, как она умерла, а его начали мучить чужие, и Нина заслушалась, поверила и вдруг тихо села на кресло с высокой орлиной спинкой. А он все ходил по своей разноцветной комнате с красными, желтыми и синими стеклами, все говорил и говорил, и глаза у Нины становились все тише и ближе, и когда он вдруг уверенно подошел к ней и по-хозяйски положил на ее голову жесткую руку со скрюченными пальцами, у Нины и рот был податливый, и глаза уже не те, и она тихо наклонила покорную голову.

Это и был конец.

Опустили красный бархатный занавес, и все захлопали и закричали, а толстый полковник с коком вскочил и замахал биноклем. Кричали минут пять. Потом занавес поднялся и вышел Иван Грозный, аплодисменты увеличились, но часть публики стала называть Нинину фамилию, и тогда Грозный подошел к заднику, увешанному иконами, протянул руку и вывел Нину. Она вышла

уже спокойная, улыбающаяся, даже простая, но совсем не та, что на пляже.

Она искала кого-то глазами, Таня подумала, что, может быть, их, и вскочила, но, оказывается, Нина смотрела поверх голов и улыбалась в пространство.

Потом занавес совсем упал, к ребятам подошла толстая администраторша, сказала: «А ну, пошли», — и увела их за кулисы.

«Конец! — решительно сказала Нина художнику. — Конец!» — и соскочила со стула.

— Здравствуйте, ребята! Он в корзине? — Это опять была их вчерашняя знакомая, и ребята сразу же успокоились.

Только Мишка стоял насупленный. За ребятами вошли бородатые бояре, рынды в белых кафтанах, митрополит, королевич Магнус с золотой цепью и в жабо, — все они наклонились над плетенкой. Краб сидел под виноградными листьями, и, когда корзину перевернули, из-за теней от голов (здесь горели ослепительные белые лампы) можно было разобрать только выставленные вперед клешни, все в костяных пупырышках, и медленно шевелящиеся ноги. Это был преогромный крабище, корявый, колючий, в шипах и шишках.

Актеров набиралось все больше и больше. Все они происходили из разных мест Союза, некоторые и Черное-то море видели впервые, поэтому все стояли полукругом и смотрели.

— Где вы такого большого достали, мальчики? — спросила какая-то тоненькая царевна с фатой на лбу и в крошечных жемчужных туфельках и слегка тронула краба за панцирь. Краб не двинулся, только на секунду прижались к броне и снова поднялись черные стебельки.

— А он не кусается? — спросил Мишку чей-то молодой веселый голос.

Мишка обернулся и чуть не закричал: спрашивала ведьма с клочковатыми седыми волосами, глубокими черными складками и носом крючком. Но у нее были такие сияющие голубые глаза и такая молодая белозубая улыбка, что Мишка машинально ответил ей: «Нет». Тогда ведьма, смеясь, протянула очень красивую тонкую руку с черным колечком и розовыми ноготками и потянула краба за клешню.

— Ну, осторожно! — крикнула Нина, но ведьма уже ойкнула и отдернула палец.

— Вот тебе! — досадливо сказала Нина. — Как же так можно? У него же черт знает что в клешнях!

Она отвела ведьму к зеркалу — та трясла рукой и ойкала, — строго сказала: «Держи палец так!» — и достала из-за зеркала крошечный пузырек с йодом. Оттого, что народу нашло много, в уборной стало жарко и сильно запахло конфетами (только одна Таня знала, что это пудра). Потом пришли Иван Грозный в роговых очках и Малюта с рыжей бородой. Малюта сказал: «А ну-ка, ну-ка — это возле греческого кладбища, наверно?» — и опустился на корточки.

Но задребезжал звонок, и актеры бросили краба и двинулись к дверям.

— А я в двадцать восьмом году, — весело похвасталась раненая ведьма, — тоже с девчатами раков ловила. Мне, что ж, тогда... лет восемь, наверно, было — так мы стащим из дому селедку и...

— Иди, иди! — подтолкнула ее Нина. — Палец-то не разбереди! — и обняла Таню за спину.

— Ну, сорок минут я свободна. — Она сняла корону, подошла к двери, приоткрыла ее, высунула голову в коридор и ласково позвала: — Тетя Дуся! Тетя Дусенька, милая, что я вас попрошу, — и дальше все шепотом. Потом вернулась и радостно сказала:

— Ах, Миша, Миша! Какой крабище! Вот одолжили вы меня!

Весь стол был завален всякой всячиной – лежал виноград, рахат-лукум, пастила, «Косолапый мишка», печенье, еще что-то! Ребята сидели, чинно пили чай с пирожными, пацан – на коленях у Нины, и рассуждали.

– А почему вы на Ивана Грозного сначала кричали, а потом заплакали, – спросила Таня, – вам его жалко стало?

– Я просто поняла, Танечка, что он за человек!

– А что ж он за человек? – спросил угрюмо Мишка.

– А вот вы же слышали, Миша, как его все обижали и мучили, а он ни на что не обращал внимания – молчал! И все-таки добился своего. Вот за это я его и полюбила.

– И по правде тоже полюбили бы? – спросила Таня.

– И по правде тоже, Танечка, – вот будет тебе лет семнадцать, ты тоже полюбишь такого.

– А потом что? – спросил Мишка еще угрюмее. – Вы так с ним и останетесь жить?

– Нет, потом меня убьют, не захотят, чтоб мы с ним жили. В последнем акте я уж в гробу, и все меня целуют. И кто убил – тоже целует.

Наступила тишина. Мишка пыхтел.

– Тетя Нина, – вдруг серьезно спросил пацан, – а вы в цирках на лошадках тоже представляете? Я раз видел.

– Ах ты мой хороший! – расхохоталась Нина. – Он уж в цирке был и лошадок видел. А вот приходи ко мне, я тебя на ослике покатаю! Придешь? Приходи, приходи, милый! Ладно, что ж мне с крабом-то делать? Если кипятком его, то он покраснеет, а так...

– А вы его посадите под кровать, и к вечеру он уже будет готов, – сказала Таня, – они без воды не живут.

– Нина Николаевна, а зачем вам такой краб? – осмелился все время молчавший Витька.

– Да на стол же! Вот еще непонятливый! – поморщилась Таня.

Нина подумала и ответила:

— Есть у меня, Витя, друг-товарищ — он страшно любит всякую тварь. Вот я ему его и подарю. На пепельницу.

Наступило почему-то неловкое молчание.

— Он тоже артист? — робко спросила Таня.

Нина усмехнулась:

— Нет, он совсем не артист, он... он просто очень хороший человек. Веселый, добрый, живой. Вот я его уже пять лет как потеряла из виду и... — Она подумала и добавила: — И без него мне очень скучно.

— Потому что, если бы он был с вами, вы всюду бы ходили с ним вместе — и купаться, и в театр? — понимающе спросила Таня.

Нина вздохнула:

— Вот уж не знаю! Нет, если бы он был сейчас со мной, то по целым бы дням пропадал бы с вами на рыбалках. Я бы его только ночью и видела.

— Так ведь все равно было бы скучно, — удивилась Таня, — зачем же он вам тогда?

— Нет, скучно не было бы, Танечка, только ругались бы мы часто. Я бы сказала ему: «Ну, куда ты все время пропадаешь? Мне же скучно!» А он бы ответил: «А я с пацанами крабов ловлю, ты мне не мешай, пожалуйста, лучше айда с нами!» А мне нельзя было бы идти — я же играть должна, — вот мы и ругались бы.

— И было бы весело? — недоверчиво спросила Таня.

— И было бы очень, очень весело, — печально ответила Нина, — очень, очень! Вот вырастешь, встретишь такого и сама все поймешь, Танечка!

Глава 2

Всю ночь краб просидел в корзине, а вечером следующего дня Нина вытряхнула его оттуда и туфлей загнала под кровать, а потом прилегла на минутку да и заснула.

Разбудил ее Григорьян.

— Любовь моя, — сказал он расслабленно, — во-первых, в платье и туфлях красивые женщины не спят, а спят так только старые холостяки да неряхи, а во-вторых, любимая моя, я сейчас иду к себе в кабинет. Зайдите-ка ко мне минут через пятнадцать, мне вы что-то не нравитесь. Потолкуем.

В кабинете Нину он и сестра заставили снять кофточку, и тут пришел другой доктор, высокий, длиннолицый, похожий на ксендза, с тонкими и прохладными пальцами, и они минут пятнадцать ее выстукивали и переворачивали. Потом Григорьян отошел, а незнакомый доктор сказал:

— А теперь я вас попрошу снять носки и лечь на эту кушетку. — Нина легла. — Так, закройте глаза! Какой палец я трогаю? А теперь? К себе или от себя? Запишите-ка, и пошли: рефлекс Бабинского, рефлекс Бехтерева, рефлекс Оппенгейма.

А после высокий доктор сказал: «Ну, спасибо, можно встать», отошел, сел к столу и начал писать. Григорьян спросил его что-то вполголоса, тот ответил, и они быстро и невнятно заговорили, потом высокий доктор сказал: «Хорошо, я напишу», снял халат, низко поклонился Нине и ушел вместе с сестрой. А Григорьян сел на его место к белому столу, положил на него обе руки и сказал:

— Ну что ж, моя люба, нервочки вы свои испортили вконец. Давайте-ка их теперь ремонтировать, а? — Он помолчал, побарабанил пальцами по столу и продолжал: — Ну вот, он мне тут много чего написал — хвойные ванны, электризацию, душ Шарко... Хорошо, все это начнем, но суть же не в этом, моя люба, правда? — Нина молчала, а он продолжал еще ласковее: — В таких острых случаях мы — по секрету, конечно, — говорим своим пациентам, — он перегнулся через стол и громко шепнул: — «Отрегулируйте свою вите сексуале». Понимаете?!

— Нет, — пробормотала Нина, но тут же неожиданно и мгновенно поняла все — даже и то, почему доктор краснеет, пыхтит, когда видит ее на пляже, почему они так часто встречаются возле моря и еще многое-многое, даже то, зачем у него сейчас бегают глаза. А он, видя, что произвел впечатление, помолчал и заговорил строго и внушительно:

— Люба моя, я сейчас только доктор, значит, существо вполне бесполое и могу сказать все. Мужа вам ждать нечего, он погиб — в плену или бою, но погиб! — Она смотрела на него, прямая и бледная: вот она получила и еще одно предложение. — Красавица, заведите-ка себе, как говорят у нас, стимулка, не из мальчишек, конечно, а из людей, которым вы доверяете, — это я говорю вам как ваш врач, а как друг и поклонник этих лапочек скажу... что такое? Стойте! Куда вы?! Ну, я извиняюсь, извиняюсь! Нина Николаевна, да вы меня не так...

— Нет, нет! — кричала Нина, пробегая по коридору. — Нет, нет, я...

Она вся дрожала. У нее перехватывало дыхание, и теперь уже по-настоящему замирало сердце, и она все-таки не могла понять — почему. То ли от предложения толстого доктора, сделанного чуть ли не на амбулаторной кушетке; то ли ее пугало, что это уже замечают другие; а может быть, просто нервы не выдержали. Да что ни делай с телом, как его ни оглушай горами и морем, как ни смиряй работой, а оно все равно будет упрямиться. Разум — нет! Чувство — нет! Сердце, конечно, конечно, — нет! А тело все равно брыкается, и его ничто, даже сильная любовь и тоска не берут, а только смиряют на время («мой брат осёл» — так, дойдя, верно, до отчаяния, называл его какой-то средневековый схоласт, — вот теперь и ей понятно, почему — осёл!).

Она шла так прямо и быстро, что ее даже не останавливали, — наверно, думали: дамочка опаздывает на свидание.

Так вот, значит, какие мысли возбуждает она!

Недаром Ленка подсовывала мне своего двоюродного брата, думала Нина, по ее мнению, это был товар на большой (иначе она не выражается): красивый черноволосый высокий юноша с газельими глазами. Так что ж еще надо! И он мне нравился. Когда он снимал с меня ботики, то обязательно опускался на одно колено, раза два я даже позволила себя поцеловать, и когда это наконец случилось, Ленка стала глядеть на меня такими сияющими, и счастливыми, и заговорщицкими глазами, что я со страха накричала на обоих и выгнала их из уборной. С тех пор ты, брат мой осёл, и начал брыкаться, привел бессонницу, вот эти проклятые приторные сердцебиения, сны, о которых никому не расскажешь, и все остальное...

Она пересекла весь парк, постояла немного над обрывом, посмотрела на расходившееся внизу мутно-зеленое море, на каких-то серых птиц, похожих на уток, — они спокойно качались возле берега, — тихо наклонилась, сорвала жесткую душистую кашку — такие тут растут прямо из камня, — погрызла ее, повернулась и пошла обратно.

Вечерело. Через сучья сверкало золотое и розовое небо. Стояли белые фонтаны, похожие на невест в подвенечном платье, и когда она подходила к ним, вдруг вспыхивали крошечные радуги, пахло почти приторно душистыми табаками и резедой. Над клумбами, разукрашенными, как торты, кружились бесшумные и таинственные бражники.

Она шла, грызя жесткий стебелек, и внутри ее все было пусто и тихо.

Тут ее и догнала толстая администраторша — жена доктора Григорьяна.

— Ниночка, милая, — взмолилась она, простирая к ней маленькие пухлые ручки, все в кружевах и кольцах, — вы же сегодня у нас! Неужели забыли?

— Да нет, я и шла к вам, Марья Николаевна, — тихо улыбнулась она («А что, если намекнуть?»).

— Ну вот, вот, — обрадовалась Марья Николаевна, — идемте, дорогая! Что, расстроил вас этот старый дурень своими советами? («Ах, подлец — рассказал!») Ну, я думаю! Ух, пальчики-то — как ледышки! И еще без кофточки! Как будто мы и без их дурацких советов сами не знаем, что нам делать! Стойте-ка, я вам укутаю плечи... Вот так! Вот так! Ах, Ниночка, Ниночка, какая же вы умница! Как вы прекрасно представляете древнюю царевну! Вы знаете, я пришла со спектакля и говорю мужу: «Ну...»

И они пошли по дорожке, разговаривая о театре.

* * *

Часа в два ночи Марья Николаевна и доктор с фонариком проводили Нину до ее комнаты и зашли, кстати, посмотреть краба.

Краб сидел под кроватью возле чемодана. Зеленый луч фонаря вырвал его круглый черный щит и непонятное сплетенье усиков, клешней и ног — все это вместе походило на электробатарею.

— Какой же он все-таки огромный, — удивилась Марья Николаевна, — сколько я здесь живу, а такого не видела.

— А жив он? — спросила Нина, из-за ее плеч заглядывая под кровать.

— Сдох! — определил доктор. — Видите, лежит набекрень, завтра можно уже чистить, я тогда приду со скальпелем. — Он выпрямился, отошел от кровати и сел в кресло.

— Дуся моя, вы еще сердитесь? — спросил он умоляюще. — Дайте лапку.

— Нет, конечно, доктор! — ответила Нина, но руку не дала. — Вы ведь хотели мне добра.

Тут в ее голосе так явно прозвучала насмешка, что толстуха вдруг подняла голову и тревожно поглядела на нее, но сейчас же отвела глаза и снова занялась крабом.

— То-о-олько добра! Исключи-ительно только добра! — строго выговорил доктор, и в глазах его блеснуло вдруг что-то очень злое. — Да слушайте, а что это вы с ребятами сдружились? С самыми пацанами. Чай с ними в театре распиваете? Правда это?

— А что? — высокомерно спросила Нина. — Да, правда.

— Да нет, ничего! А вы знаете, что такое сублимация? Нет? Жалко, что нет! — доктор рассмеялся так нехорошо, что Марья Николаевна быстро подошла и тронула его за локоть. — Это с Мишкой, значит? Свирепый кавалер! Ах, чудачка, чудачка! — Он встал. — Ну, пока. Спокойной ночи. Завтра приду резать краба.

Когда он наконец ушел, Нина села и сдавила себе виски: «Сублимация». Ах, какой наглец! Даже жены не стесняется, а та, дуреха, ничего не замечает! А что если замечает и молчит? Ведь это тогда в сто раз страшнее.

* * *

Но резать краба не пришлось. На следующее утро доктор принес ванночку для препаровки, скальпель, пинцет, разложил все это на столе, сказал Нине: «Ну, так-с!» — и нырнул под кровать. Вылез он оттуда, ругаясь и махая рукой. Нина вспомнила Ленку и улыбнулась.

— Укололись? — спросила она невинно.

— Кой черт укололся! — сердито ответил доктор, рассматривая палец. — Йода, конечно, у вас нет?

— Конечно, есть, доктор! — кротко ответила Нина и достала из-за зеркала крошечный черный флакончик.

— Нет, вот дьявол! — удивился доктор. — Третьи сутки без воды — и не издох! Никогда бы не подумал.

— Э-э, мало ли, что вы не подумали! — улыбнулась Нина.

Доктор все смотрел на свой палец.

— Какую-нибудь лучинку найдите-ка, — приказал он. — И даже ноготь посинел, гадина! Милая, а что вы так сияете? Что произошло для вас радостного? — Он обмотал лучинку ватой и стал мазать палец. — Пропал ноготь! Ах ты!.. Так что же вас так развеселило?!

— Да вот, стою, вспоминаю наш разговор.

— Ну и что же? — Доктор даже перестал промазывать ноготь. — Какое же это... «А краб-то жив, а ты, дурак, что каркал, вот цена всех твоих предсказаний» — так?!

— Примерно.

— Да не примерно, а точно так. Ну, блажен, кто верует!

Нина стояла, опустив голову, и улыбалась.

Доктор швырнул лучинку и подошел к ней.

— Да! Но не думаете ли вы, что если бы вдруг и случилось такое чудо и он пришел бы, о!.. Вот тогда и начались бы ваши настоящие беды! Что? Неужели вы не понимаете, что лучше всего ему теперь и не...

— Понимаю! Все понимаю! — ответила она. — Но пусть он возвращается, пусть только возвращается, и все будет хорошо.

* * *

Она говорила: «Пусть возвращается, и все будет хорошо», — а между тем произошло нечто, что, может быть, меняло многое. Однажды ночью, гуляя с ребятами по высокому берегу, возле маяка она увидела — стоит по колено в воде человек в белом, поднимает со дна какие-то камни, и с рук его в воду падают капли голубого огня. Нина толкнула Мишку:

— Миша, неужели это так море светится?

— А вы разве не видели? — удивился Мишка. — А ну сойдем.

Они сбежали с косогора и остановились на берегу. Стало вдруг темно (луна зашла за тучку), но человек в бе-

лом стоял возле самого берега, и они его видели ясно. Когда они подошли, он выпрямился и сказал им как старым знакомым:

— А я и не думал, что море тут так светится.

— Так это еще что! — обиделся за свое море Мишка. — Вон, вон в той бухте — так оно под веслами горит, смотрите, вон, вон там!

Человек бросил камни и пошел на берег. Они — Мишка и она — стояли возле маяка в зоне света и, когда человек встал рядом с ними, смогли хорошо разглядеть его — он был широкоплеч, но страшно худ и высок — кожа да кости, — на лицо особенно, но с лица этого сияли такие ясные, веселые, вместе с тем скорбные глаза, что она не могла не ответить ему улыбкой. А он узнал ее и засмеялся от радости.

— Вы? Вот это кстати! А я уж сам хотел вас найти! — Он прямо об сорочку обтер большую костистую руку и протянул ей. — Макаров, Григорий Иванович. Ну, спасибо, Нина Николаевна, — вот это искусство! Даже не верится, что это на сцене. Ведь я сам... Нет, очень, очень хорошо.

Они пожали друг другу руки. Нина стояла и гадала — кто ж он такой? Бухгалтер, товаровед? Железнодорожник? Адвокат? Или — скорее всего — учитель языка и литературы? Она спросила:

— Вы когда были? Не помните, кто играл Грозного?

Он засмеялся.

— Нина Николаевна, я ведь не про эти живые картины говорю! Это-то, конечно, дешевка! — Он махнул рукой. — Помните, конечно, как у Чехова одна старая барыня говорит: «Когда я не сплю по ночам, то закрываю глаза крепко-крепко и рисую что-нибудь историческое, из древнего мира». Вот это она себе и нарисовала. — Нина с любопытством смотрела на него: вот так разговор получается! Это только Николай так умел ее

резать. — Вы — это, конечно, вы, — продолжал он, — но текст, но роль, но этот кривой кинжал! Как это у Пушкина: «Владеть кинжалом я умею — я близ Кавказа рождена!»

Нина фыркнула, — нет, он молодец. Вот бы познакомить его с Николаем!

— А что не так? Нет, все это не для меня, но вот вы играете подпольщицу накануне казни — и это уж совсем другое дело.

— Почему? — спросила она.

Он щелкнул пальцами.

— Понимаете, это так просто у вас получается, что даже не сразу пугаешься, зато потом становится по-настоящему страшно. Вот когда вы ходите по камере, застегивая и расстегивая все одну и ту же пуговицу, и никак не можете соразмерить шаг, все натыкаетесь на стену — я понимаю сразу очень многое. Я сам был два месяца в таком положении и помню свои первые три дня, то есть пока не свалился с ног.

— А где это было? — угрюмо и недоверчиво спросил Мишка.

Незнакомец подумал.

— Это было, милый, в Чехии. Есть в Праге такая тюрьма...

«Спросить о Николае!» — быстро подумала Нина.

В это время с высокого берега посыпались камешки и женский бас испуганно сказал: «Да нету и тут!» — и сейчас же зажегся фонарик.

— Вас! — почему-то сразу догадался Мишка.

Тот кивнул головой.

Нина уж давно привыкла к тому, что у части мужчин, при знакомстве с ней, оказывалась необычайная биография — так ее знакомили с тигрятником, любовником Веры Холодной, капитаном португальского каботажного судна, сыном Есенина, — но сейчас она почему-то поверила сразу.

— Но как же вас не... как же вы ушли? — спросила она и со страхом подумала: вот он сейчас скажет: «Вылез из канализационной трубы» или «Плохо зарыли, и я встал» — и все окажется чепухой, но он ответил:

— Они меня, кажется, принимали за другого, а впрочем, не знаю, просто перегнали в лагерь советских военнопленных — это было много хуже расстрела.

— Хуже? — со страшным любопытством подхватила она.

— Ну, это уж я потом понял, — ответил он, виновато улыбаясь. — А тогда я был рад. Я там работал на сортировке тряпок — каждый день умирало по сорок-пятьдесят человек. Это было буквально теплое местечко — у меня и койка была отдельная, возле печки, а это знаете что такое?

Нет, она не знала, что это такое, но вдруг стало и тяжко, и мерзко, и страшно за этого изможденного человека, и сердце ее дрогнуло.

А он поглядел на нее и спохватился.

— Ну, простите! Нашел что рассказывать! А там меня ищут. Я ведь сбежал от опеки.

И он быстро пошел наверх, а там уже неуклюже слезали толстая дама в подвесках и два ее спутника. Все трое — в зеленом пятне фонаря. Нина прислушалась.

— Но ведь это же надо быть идиотом! Форменным идиотом, — раздраженно и громко говорила толстая дама. — Мы кричим, мы беспокоимся, а он...

— Ну, сляжете и только! — мягко говорил мужчина. — Вы этого хотите — да? Ну, пожалуйста, лежите еще хоть год!

Свет клином метнулся вдоль по дороге — вырвал косым куском кривое дерево, голубой киоск, груду ящиков возле него, и голоса стали смолкать.

Так она ничего о нем и не узнала.

* * *

Встретились они опять через три дня — вчера. Она гуляла по каменистому берегу под утесами и вдруг увидела его. Он стоял в воде почти до горла, лицом к горизонту, и барашки, набегая, обдавали его брызгами. Тогда он улыбался и морщился.

Она оглянулась — берег был пуст, только на газете лежали белый костюм, часы и лейка. «Сбежал-таки!» — весело решила она и пошла дальше, к своему месту под скалой. Здесь, лежа на гальке лицом вниз — нельзя же играть красавиц, и шпионок, и цариц с носом, как молодая картошка, — она впала в обычный полусон, и ей почудилось, что это не тот незнакомый стоит по горло в воде, а Николай, каким она его видела в последний раз. Она плачет и говорит: «Ты же утонешь, идем отсюда, — у меня как раз выходной», — а он пристально глядит ей в лицо, улыбается и качает головой — и вот это и есть кошмар: солнце, море, улыбающаяся голова Николая в море, и ни звука от него.

Она вскочила и села. Глаза у нее были мокрые. Она плакала. По-прежнему кружили и кричали чайки, и солнце стояло так же высоко. Значит, спала она всего только несколько минут. «Вот дался он мне! — подумала она. — Только его мне и не хватало». Но день был такой высокий и ясный, так грело солнышко и такой хороший ветерок трепал ее волосы, что она даже и на себя не могла сердиться.

Около ее ног в воде то вспыхивали синими искрами, то снова потухали веселые черноморские мальки — целая стая их. Раньше Нина их подкармливала, но сейчас у нее ничего не было, поэтому она только постояла, посмотрела и пошла обратно.

Тот по-прежнему стоял в воде, но уж по пояс, и смотрел на волны. Ее он не видел.

Она покачала головой и пошла в театр.

Глава 3

В третий раз они встретились так за пять дней до отъезда. Нина с ребятами пошла посмотреть на крабов. Крабы жили под камнями; в пасмурные дни они прятались, а как только выглядывало солнышко, выползали и рассаживались на зеленых, синих, белых, черных и желтых глыбинах. Больших крабов здесь не было, гуляла только мелкота, но смотреть на нее было тоже очень интересно. Выползет такой малютка из щели, заскользит по камням, выберет место под солнцепеком и застынет так, а протянешь руку — раз! И нет его, — куда он ушел? как? — непонятно!

Вот тут над камнями и нашел Нину Макаров.

— Нет, так не поймаете! — услышала она над собой его голос. — Я три дня сюда ходил и только перемазался.

Нина посмотрела на него, и ей вдруг стало очень весело и легко.

— Я вот никак не пойму, — сказала она, доверчиво смотря ему в глаза, — куда же они прячутся?

— А вот! — ответил он и легко перескочил к ней на камень (ребята так и ахнули). — Во-первых, вы мутите воду и поднимаете рябь, а они за ней и скрываются, во-вторых, вы не туда смотрели — они ползут вбок — о! Видите, видите! — Он цепко ухватил ее за плечо. — Вот он уже где!

— Да, да! — ответила Нина, смотря в воду. — Верно, верно! — Он отпустил ее.

— Я весь измазался, — повторил он, — и так ничего и не поймал.

«Сейчас же спросить о Николае!» — быстро решила Нина, но вдруг вместо этого сказала:

— А у меня есть огромнейший краб — вот, наверно, с десяток таких.

— Ну-у? — удивился Макаров. — Эти вот друзья притащили? И что, уж как следует вылущенный, высушенный?

— Пока живой, сидит у меня в комнате, — ответила Нина. Они стояли рядом и смотрели друг другу в глаза.

— Вот как? — спросил Макаров.

— Так он все никак не сдохнет, — крикнула Таня, — четыре дня без воды — и ничего!

Макаров вдруг снял лейку и сказал:

— А ну, стойте так! — Он опять прыгнул на берег («Спросить его о Николае!»), поднял лейку и прицелился.

— Стойте, не двигайтесь — раз! — Он щелкнул и опустил лейку. — Ребята, идите-ка к Нине Николаевне! — Он щелкнул. — Два! Молодой человек, и вас прошу туда же — сниму вас особо с Ниной Николаевной. Три! И кажется... — Он выбросил белый кусок ленты. — Да, всё! Остальное израсходовал на греческом кладбище.

— А что там интересного? — спросила Нина.

— Там дочка генерала Фольбаума похоронена, — весело сказала Таня, — а над ней вот такой ангел стоит, — она раскрыла руки, склонила голову и полузакрыла глаза, — и как будто летит. Это потому, что она утопилась от любви.

— Это как же так? — Нина все смотрела на Макарова.

Мишка только презрительно хмыкнул, а Таня заговорила.

— Тут так было, она влюбилась в грека и гуляла с ним, отцу и донесли, он зазвал ее и спрашивает: «Катя, Катя, ты ничего не знаешь?» Она говорит: «Нет!» — «Если будешь ходить с греком, я тебя прокляну». — «Ну и проклинай, пожалуйста!» И сама пошла и утопилась.

— Нет, правда? — спросила Нина, оборачиваясь к Макарову.

Он пожал плачами.

— Разве ребята зря что расскажут? Наверно, правда. Ну, вы домой? Тогда нам, кажется, по дороге.

— Да, кажется, — согласилась Нина, — идемте. — И она опять не спросила о Николае.

Дойдя до санатория, она простилась с ребятами и с Макаровым, вошла в свою комнату и заперлась. У нее было какое-то смутное беспокойство, но она как следует не могла разобраться в нем.

Он, пожалуй, чем-то похож на Николая, только тот сейчас бы подружился с ребятами и Мишка не стал бы киснуть. А сейчас Мишка обижен, он уже мужчина, и когда мы с ним были в городском парке, он заказал себе отдельно бутылку нарзана и пил стаканами, а девчонки пили лимонад. Ну что ж, четырнадцать лет. Я в двенадцать уже писала любовные стихи.

Она прошла к кровати, сбросила платье и осталась в одних плавках и лифчике. Так жарко, что и платье тяготит. Ох и обгорела же она, — вся кожа в лохмотьях, — стыдно показаться на общем пляже! Ничего, зато будет хороший ровный загар — жалко, что нельзя еще подставить лицо под солнце.

А Таня ничего не видит, что делается с Мишкой, — вот тебе и женская чуткость, где она у Тани? Это будет преравнодушная девица! Ничего, она хорошенькая — это ей пойдет.

Нина прошла по комнате и остановилась перед зеркалом. Ты еще неплохо выглядишь, мой брат осёл!

У нее были хваткие руки и желтое сильное мальчишеское тело, и она с удовольствием рассматривала его: нет, больше загорать не надо, все дело не в окраске тела, а в цвете лица, а он у меня такой, решила она, что с ним не сравнится никакая бронза. Да Николай не такой, не такой, не такой!

Она села на корточки и заглянула под кровать — краба не было. Она заглянула с другой стороны — и там не было. Куда же он девался? А-а, наверное, комната была открыта, пришел Григорьян, увидел, что краб готов, и унес его препарировать. Так! Значит, краб все-таки подох!

Господи! Ты знаешь, я не верю в Тебя, не умещаешься Ты в моем сознании, но если Ты есть, если Ты все-

таки есть — спаси его! Ты же понимаешь, Господи, что все остальное просто маргарин — все эти ласковые Жоржики в лодочках, Ассы, охотники на уссурийских тигров, ответработники, неуловимые мстители из партизанских отрядов, поэты, актеры, ученые, ну на что мне эта дрянь! Господи, спаси его! Господи, спаси его! Со мной делай что угодно, но его спаси, пусть он придет! Да Ты спасешь его, в это я верю! Господи, благодарю Тебя. Ничего Он не спасет! Не сходи с ума, пожалуйста, и вообще тебе надо бросить эти глупости и отрегулировать свою вите сексуале! Выходи замуж, и всё! Чего там ждать без толку. Вот крабиха под камнями небось тоже ждала своего урода, а его теперь потрошит доктор Григорьян.

Она подошла к столу и увидела в зеркало, какое у нее лицо. Губы улыбаются, а глаза плачут. О чем? О себе? О Николае? О том, что этот худой дядька так похож на него? Она вдруг рассердилась! Ну и похож, да, похож, и всё! Поэтому ты и лезешь к нему, поэтому ты только и думаешь о нем! Вот даже о Николае не можешь его спросить. И зря ты кричишь: «нет, нет, нет!» Брат твой осёл все равно лягается! Вспомни-ка свои сны! Думаешь о Николае, а вспоминаешь что? Бессовестная. А твоя дружба с ребятами! С Мишкой! Все это, голубушка моя, сублимация, и больше ничего. Выходи замуж и перестань играть в куклы.

Она села и сдавила виски. Лицо у нее пылало. Она говорила Николаю, что уже не может жить без него, но он никогда не объяснялся ей в любви. Он никогда не расспрашивал ее ни о чем. Он даже и «моя любимая» сказал ей только однажды, перед разлукой, и вот, все-таки... все-таки.

Она сидела и плакала и от горя, и от унижения, а возле ножки стола лежал дохлый краб, и она видела, что он мертв, и ей было так душно и нехорошо, что она думала — вот-вот у нее не выдержит сердце и остановится.

* * *

Да, в куклы нужно перестать играть — пора!

На другой дань ребята, как обычно, провожали Нину со спектакля. Было шумно и очень весело, но возле самого санатория, прощаясь с ними, Нина вдруг задержала руку Миши и тихо сказала:

— Мишенька, вас дома не хватятся? Ну, подождите тогда, я сейчас... — и быстро пошла по дорожке.

Мишка запыхтел и сел возле фонтана.

Была безветренная лунная ночь. Каменные ворота казались голубыми. Тополя, тоже голубоватые, ясно выделялись на зеленом небе, а дальше за обрывом дышало и вспыхивало темное море с дрожащей лунной дорожкой посередине. Косо носились бесшумные летучие мыши. Мишка стал смотреть на них, и тут подошла Нина. На ней был белый пушистый джемпер с двумя мягкими шариками на груди. В руке она держала замшевую сумочку.

— Вы знаете, Миша, — оживленно сказала она и сунула в руки Мишке сумочку, — а краб-то ваш жив!

— Ну-у? — очень удивился Мишка.

Она счастливо засмеялась.

— Вчера я думала, что он уже готов, а сейчас тронула, а он поднимает клешню — наделю без воды, а? — И она взяла Мишку под руку. — Миша, вы ведь взрослый, мужчина, а я ужасная трусиха, проводите-ка меня на кладбище. Хочу посмотреть эту мраморную девушку при луне — говорят, замечательно хороша. Так проводите меня?

— Провожу! — буркнул Мишка.

Она помолчала и спросила:

— Вы сейчас в пятом?

— Да.

— Ну вот, — улыбнулась она, — через пять лет вы уже кончите школу и приедете ко мне в гости таким потрясающим мужчиной!

Он повернул голову и посмотрел на нее.

— И я скажу: «Миша, дорогой, как же вы выросли!» А вы ответите: «А вы-то как постарели, Нина Николаевна, вот паутинка возле глаз, в волосах белые ниточки».

— Что вы говорите! — бурно возмутился Мишка.

— А я вам отвечу: «Мишенька, вы их только потому и не замечали раньше, что сами были мальчиком, а они были». — Она откинула волосы и показала белую прядь. — Видите, какая я старенькая. — Она обняла его за плечи. — Когда вам будет столько же, сколько мне сейчас, я стану играть одних старух.

Тут Мишка вырвался, и лицо его передернулось.

Она тихо засмеялась и поймала его руку.

— Но ведь до этого еще далеко! Не обижайтесь, Миша, давайте лапу. Мы же друзья на всю жизнь, правда?

Памятник был в самом деле очень хорош. На мощном черном пьедестале — при месяце на нем все время вспыхивали быстрые лиловые искры — парила нежная женская фигура. Была ли это сама умершая или только тень ее прилетала к этим печальным камням, — трудно было понять замысел художника. Девушка стояла с опущенной головой, глаза ее были полузакрыты, а руки бессильно опущены.

— Тут и стихи есть! — сказал Мишка.

Нина наклонилась.

«Явись, возлюбленная тень,
Как ты была перед разлукой!» —

молил кто-то умершую.

Тут Мишка быстро и испуганно шепнул:

— Нина Николаевна!

Она обернулась: он!

— Здравствуйте, Нина Николаевна, — сказал он, кланяясь. — Вот неожиданная встреча!

— Да, очень неожиданная, — подчеркнуто сказала Нина. — Вы что же, тоже гуляете?

— А вот видите, — он показал на «лейку», — хочу снять этот памятник при луне, не знаю только, что выйдет.

— А ничего не выйдет! — буркнул Мишка. — При луне надо, знаете, какую выдержку?

— Да? — спросил он доверчиво.

Нина крепко держала Мишку за руку и холодно смотрела на Макарова.

— А вы сами снимаете? — почтительно спросил он Мишку.

— Ну как же! Он с меня сколько снимков сделал, — ответила за него Нина и с материнской гордостью перебрала Мишкины волосы. — У него есть «Пионер».

— А-а! — серьезно кивнул Макаров. — Да-да-да! Знаю эту систему.

— Нина Николаевна на следующее лето привезет «ФЭД». Вот тогда мы и будем снимать, — запальчиво сказал Мишка.

— Так то на следующее лето! — кротко улыбнулся Макаров. — Нет, вы уж снимайте Нину Николаевну сейчас. — Он снял с груди «лейку» и подал ее Мишке. — Прошу вас, настоящий «Цейсс» сорок второго года. Берите, берите, Миша. Это на память о крабах.

Мишка молчал.

— Нина Николаевна, ну уговорите же вашего друга не смущаться.

Нина подумала: «Да и Николай бы сделал так — ему никогда ничего не было жалко».

— Ну, что ж, — сказала она невесело, — это же подарок, от чистого сердца.

— От чистого, от чистого! — обрадовался Макаров и, подойдя, красиво надел фотоаппарат Мишке через плечо. — Вот! Владей, Фаддей, моей Маланьей!

У Мишки был очень подавленный и даже несчастный вид, и он еле сказал:

— Спасибо!

— На здоровье, дорогой. — Макаров засмеялся и повернулся к Нине: — Ну, наконец-то я с блеском вышел из положения, а то я все пальцы пожег — какой я фотограф!

В это время послышался старческий кашель. Она оглянулась и увидела в желтом пятне света Бога Саваофа, как его рисуют в церквах посередине потолка. Он стоял на плите и, подняв фонарь, смотрел на них.

— А я-то думал, не хочет ли кто ангела свинтить, — сказал он и посмотрел на Нину. — Это ты, Нюша?

— Здравствуйте, дедушка, — улыбнулась Нина, — нет, мы ничего не трогаем. Вот пришли памятник посмотреть, можно?

Старик опустил фонарь.

— А почему же нет? Смотрите — вот он весь! Заборов нет, разломали добрые люди. — Он потоптался на месте. — Папироску у вас не выпрошу?

Нина взяла у Миши сумочку, вынула оттуда нераспечатанную коробку «Дели» и протянула старику.

— О-о! Вот за это вам большая благодарность, — очень обрадовался он, — а то не могу махорку — в груди першит. — Старик бережно взял коробку и поднес ее к фонарю. — «Дели», — сказал он удивленно и весело и даже покачал головой.

Улыбнулась и Нина.

— А не страшно вам тут, дедушка?

— Это кого ж?! — опять весело удивился старик, и Нина поняла, что он давно привык именно к этому вопросу. — Упокойников, что ли? Нет. Упокойников я не боюсь, а вот которые живые, те иногда да пакостят! И особенно ребята — разве нонешнего ребенка чем испугаешь? — Он подошел к памятнику, посветил и ткнул

бурым корявым пальцем в пустое отверстие на пьедестале. — Вот, выколупали барышню Фольбаум, а спросить: зачем? — и сами не знают. Это который был с вами, первеющий босикант — ему все здесь надо. А мертвый не завистливый, все свое уже получил сполна — его теперь дело гнить.

— Дедушка, а отчего она померла? — спросила Нина.

— Да смерть пришла, вот и померла, — равнодушно и ласково ответил старик. И по легкости его тона Нина поняла, что он этот вопрос считает пустым. Как же люди до сих пор не поняли, что все они, сколько их ни есть, умирают только от смерти. А всякие болезни — это только ее хитрости и предлоги для дураков. Но так как Нина ждала, он добавил: — С ноги все пошло: зашибла ногу и зачаврела. — Он открыл фонарь и закурил. — Ну, однако, прощения прошу. Пойду посмотрю, куда он... первеющий босикант!

Он отошел, и наступило короткое молчание.

— Вы разочарованы? — мягко спросил Макаров. — Да, умерла от костного туберкулеза. Сюда до сих пор ходит ее младшая сестра. Ей уж сорок пять лет. Кладбище на сносе. Мы увозим памятник в Новороссийск.

— Миша, — крикнула Нина, отворачиваясь от него, — Мишенька, где вы?

Никто ей не ответил.

— Не зовите! Сбежал ваш кавалер, — усмехнулся Макаров. — Как сумочку вам отдал, так и сбежал. Пошел показывать «лейку». («Нет, не в “лейке” дело», — подумала Нина.) Так что, если разрешите... — И он подал руку.

Она подняла глаза и медленно поглядела на него — ну что ж, значит, так — лишилась поклонника. Ах, Мишка, Мишка!

— Буду вам очень благодарна, — выговорила она сухо, — я здесь впервые и...

* * *

Когда разгуляются двое,
За руки берутся они...

Песня

Двое идут и молчат. Он держит ее за локоть, а она подняла голову и смотрит вдаль.

— Осторожно, — робко предупреждает он, — здесь родники... Как бы вы...

— Знаю! — отвечает она не глядя. — Спасибо.

Склон кончился. Санаторий. Они останавливаются перед голубыми воротами. Уже и лавочки все пусты, и одиноко чернеют пасти бронзовых дельфинов.

Дальше, в глубокой тени от ворот, кто-то стоит и курит. Виден огонек от папиросы.

— Поздно, Нина Николаевна, поздно, — басит кто-то из этих потемок.

— Ну, — говорит Макаров, неловко улыбаясь, — вот вы и... — Но дальше слов не хватает, и оба молчат.

— Ну, спасибо, — улыбается она, — спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — отвечает он чрезмерно оживленно.

Она быстро поворачивается и идет. Вот она прошла площадку, вот задержалась на секунду возле бронзовых дельфинов и поправила чулок, потом поговорила с кем-то, — он выступил ей навстречу из темноты, — они пошли рядом и скрылись в тени.

— Нина Николаевна! — зовет он в отчаянии, и у него такое чувство, словно он кричит в окно уходящего поезда и знает, что его не услышат. — Нина Николаевна, а краб?!

Она выходит на свет.

— Что?!

— Да ваш краб — он еще жив? — спрашивает он умоляюще.

В тени у ворот слышен сердитый смешок и папироса описывает огненный полукруг — это тот сказал что-то колкое.

— А-а, верно! — вспоминает она и вдруг кричит: — Слушайте! Идите сюда! Если он жив, мы его отпустим, хорошо?

Он робко подходит и останавливается перед ней.

— У меня есть карманный фонарик, — говорит она. — Только ведь надо отъехать от берега, а где достать лодку?

— Господи, да я... — вырывается у него, и он не оканчивает, потому что это значит многое, а прежде всего: любовь моя, что там думать о какой-то лодке — да я не только лодку сорву с цепи — подумаешь, подвиг! — я катер уведу, только прикажите.

— Лодку я достану! — говорит он.

— Да? Так вот что: я пойду за крабом, а вы идите за лодкой и... только где мы встретимся? — Она думает и решает: — Вот! У каменистого берега, где ловили крабов, да?

И она бежит в ворота и дальше, в парк, между голубыми и белыми фонтанами, каменными физкультурницами — «В здоровом теле — здоровый дух!» — между черными кустами сирени, доверху полными тихим мучительным жужжанием.

Ему пришлось изрядно попыхтеть, прежде чем он перевернул и спустил на воду чью-то черную и лоснящуюся, как дельфин, лодку с крепким смоляным запахом. И только что он, измазанный, как черт, выскочил на берег, как пришла она. Краб сидел у нее в круглой шляпе с пером — в такой в ТЮЗах выходит на сцену кот в сапогах.

— Смотрите, — сказала она, — еще немного — и он был бы готов.

— Да, да. — Он с интересом рассматривал это чудовище, похожее на сторукого индийского бога. — Какой

огромный, смотрите, у него уже пена возле усиков. А ну посветите! Слушайте, да он уже ослеп.

— Ну-ну! — испугалась она и схватила его за руку.

— А вот видите, белые пятна на этих стебельках? Это же у него глаза! Да, ослеп, ослеп, хотя, может быть, это... А ну едем!

Краба они выпустили возле огромной черной глыбины, похожей на купающегося слона, — остановили лодку, вынули краба из шляпы, и Макаров, осторожно перегнувшись, выпустил его. Здесь было неглубоко, и в желтых кругах света ясно виднелись водоросли, то комковатые и почти черные, как застарелая лягушачья икра или береговая тина, то светло-зеленые и аккуратно расчесанные, как волосы русалок. А между камней стояли прямые черноспинные рыбы и спали. Краб пошел на дно, упал на спину и с минуту пролежал неподвижно.

— Обмер! — сказал Макаров.

— А не умер? — сдавила она его плечо.

Ее волосы лезли ему в глаза, и ее висок бился рядом с его виском. Так они через борт лодки и смотрели на краба.

— Глядите, глядите! — крикнул он.

Сначала медленно заработали ноги, потом поднялись и опустились клешни, сначала одна, потом другая. Черные стебельки задышали и задвигались. На них уже не было белых пятен, краб перевернулся и встал. От лодки пошли волны, и прозрачные тени их набежали на него. Он все стоял, огромный, уродливый, резко выделяющийся даже среди подводных камней. Макаров опустил весло и ткнул его. И вдруг краб подобрался, припал ко дну, неуловимым крабьим движением метнулся не прямо и не вперед, а вбок — раз! — и исчез под зеленой глыбиной.

— Все! — сказал Макаров. — Ушел!

Она быстро обернулась к нему. Лодка покачнулась, и они стукнулись носами. Тут он увидел, что одна его

рука лежит на спине Нины, — он вспыхнул и поскорее снял ее, но она только посмотрела и покорно опустила голову.

* * *

Психея же в ответ:
— Земное, что о небесном знаешь ты?

Двое прощаются на площадке перед санаторием. Уже рассвело, и слышно, как по всему городу утомленно, кончая ночную смену, брешут псы. В кустах затренькали первые зарянки. Но кузнечики еще молчат, город еще спит, спит, спит...

— Ну иди, милый, — молит она, — иди, а то увидят.

Он вновь обнял ее.

— Ну иди же, — повторяет она жалобно и покорно, — мне же надо выспаться. Смотри, какие у меня глаза.

Он осторожно целует ее в глаза.

— Но когда же мы увидимся?

Она вздохнула.

— Вот видишь, какой ты! — говорит она с нежным укором. — Ты хочешь у меня забрать все, все, а мой Николай ведь жив. — Он в страхе смотрит на нее — она впервые произнесла это имя.

— Ниночка, — спрашивает он, — при чем тут твой Николай?! Почему он твой? Неужели ты хочешь...

Она бледно улыбается.

— Милый! — отвечает она очень ласково, но так, что у него опускаются руки. — Милый, я больше уж ничего не хочу, понимаешь — ни-че-го!!

Она берет его руки и крепко жмет их тонкими сильными пальцами.

— Прощай, милый, это все! Завтра я уезжаю! — И быстро идет к санаторию. Вот она уже прошла площадку, вот она обогнула бронзовых дельфинов, вот она...

— Ниночка! — кричит он. — Ниночка, подожди!

Она оборачивается и, продолжая идти, смотрит на него, и он сразу осекается — это так, как будто та мраморная девушка подняла наконец ресницы и посмотрела на мир.

Он останавливается, и она уходит.

А в воротах все на том же месте стоит доктор Григорьян. Он тоже не спал, и поэтому лицо у него усталое и задумчивое.

— Ну, Ниночка Николаевна, — начинает он, но она легко отстраняет его и, даже не поглядев, проходит мимо.

Навстречу ей опять улыбаются гипсовые физкультурницы — одна с веслом, другая с мячом, и снова черные кусты сирени наполнены тем же мучительным жужжанием. В ней же теперь все было тихо и спокойно; она знала, что бы там ни было, а Николай приедет и она его дождется. Вот нашел же ее этот его двойник, и краб тоже досиделся до своего часа. Сейчас он уже опять под своими родными камнями. Все, что хочет жить, то и будет жить!

В комнате она не спеша разделась, аккуратно развесила и расправила свое платье и в одних трусах и лифчике прошлась к окну и обратно. И тогда из зеркального шкафа вышла ей навстречу высокая женская фигура с сильными и нежными руками, чистым телом, точно вылитым из куска авиационной стали, и лицом, выписанным на снегу тончайшей акварелью.

И, улыбаясь, Нина тихо спросила:

— Ну что, брат мой осёл, доволен ли ты мной? Оставишь ли ты теперь меня в покое?

СТО ТОПОЛЕЙ

Я не держу. Иди, благотвори.
Ступай к другим. Уже написан Вертер...

Пастернак

Глава 1

I

Макаровы поругались. Он сидел на кушетке, а она пересчитывала посуду и раздраженно говорила:

— Всю войну ждала, как дура, посылала, посылала посылки, а ведь это так: всю ночь на улице, а утром иди в больницу — работай!

— Катя, я тебе, конечно, очень благодарен, — сдержанно начал он и нервно вынул портсигар, — но...

— Не смей здесь курить! — вдруг взвизгнула она. — Я тебе говорю! — Вырвала у него портсигар из рук и швырнула на стол.

Он встал — руки у него тряслись, — подошел к столу, взял портсигар и спрятал в карман.

— Нет, так жить я не могу, — сказал он убежденно.

— А ты думаешь, я могу? — спросила она злобно. — Ты не можешь, а я могу?!

Они стояли лицом к лицу, готовые обозвать друг друга, ударить ногой, плюнуть в лицо, и уж у обоих не хватало дыхания. И тут он вдруг сразу осел: боже мой, да где же у него были глаза? Чем она его взяла? Ногами? Так вон они торчат, как боржомные бутылки!.. Жестяным смехом? Тем, что у нее сейчас вздувается и ходит под блузкой? А то что еще у нее есть?

— Вот что я тебе скажу, — начал он спокойно, и тут она вдруг всхлипнула, быстро вышла из комнаты, и там под ней запели пружины. Он подошел к двери и запер

ее. С минуту было тихо, потом она вдруг забарабанила: «Отвори!!!»

Он молчал.

— Отвори!!!! — заорала она так, что задребезжала посуда. — Сейчас же... отвори... Придут гости.

Он прикусил губу: да, еще гости — черт их дери совсем. С этого и началось: она попросила его сходить в гастроном, он сидел, писал и коротко ответил, что занят, тогда у нее сразу полыхнула короткая шея, и она спросила: «А любовные письма писать да фото ото всяких получать — на это у тебя время хватает? Да?» И начала, и начала...

Он взглянул на часы — семь! Они придут в восемь! Сбежать разве? Будет еще хуже.

— Где ты был? У каких же это таких знакомых? Знакомые! А вот они думают, что ты два года — два года! — торчишь в Средней Азии и у тебя даже нет приличной квартиры! Васильеву дали, Трусову дали, Турманжанову дали, Крутько на что баба, а целый дом оторвала, а тебе шиш — торчи в бараке! И до каких пор ты вообще намерен здесь оставаться? Ты мне говорил: на одно лето, — ну ладно, пусть на год, — а потом я заберу материалы — и в Москву на камеральную обработку, — ну и что ж — где твоя камеральная обработка? До сих пор ни с места. А обо мне ты думаешь? Я училась, росла, работала в клинике, делала доклады, а здесь я что? Хороший муж видит в жене не постельную принадлежность, а друга, товарища, ты же... — Ну и завела, завела. И самое поганое: она кричит, а у него опускаются руки, — делай что хочешь, только молчи!

Месяц тому назад он, например, увидел ее в трамвае на задней площадке, под руку с каким-то круглолицым толстячком в сером плаще. Тот что-то рассказывал и сам смеялся, и она смотрела на него, загадочно щурилась и улыбалась, как Джоконда (кстати, они и похожи чуть-чуть). И вдруг его так затрясло, что он по-

скорее спрыгнул на ходу, а сказать ей все-таки ничего не сказал.

Да-с, вот так — личная жизнь пропала!

Он вынул портсигар и закурил. И улыбнулся — что ж теперь делать? Вот закуривай, и всё!

А ты, моя любовь, где-то ты теперь? В Москве, конечно? Тебе ли помнить о том, что случилось там, «где море вечно плещет на пустынные скалы». До сих пор у меня в ушах эти строчки!

Вот сижу в палатке — ночь, голая степь, песок, барханы, а я все перебираю и перебираю свое богатство. Ты спросила, а я тебе ответил, я спросил, а ты засмеялась и сказала: «Милый, не все сразу, потом как-нибудь». И так далее, и так далее, ан и ночь прошла, и пора расставаться.

Екатерина Михайловна вышла из умывальной чистая и свежая. От нее пахло мятой.

— Гриша, — сказала она ласково, — и все-таки тебе придется сходить в гастроном.

Он молчал. Она подошла и потянула его за ухо.

— Ты слышишь? У нас нет печенья!

— Только я тебя прошу, — ожесточенно и тихо ответил он, — не трогай ты меня — иду я, иду!

II

Гостей предполагалось много, но пока пришли трое: профессор — оказалось, это и есть тот толстячок в сером плаще; какая-то красивая блондинка в цветастом платье; худой старичок с чеховской бородкой и падающим пенсне.

Толстяк сразу же загрохотал и начал что-то рассказывать, блондинка бросилась на шею хозяйке, и они стали пищать и громко целоваться. Это он все видел из кабинета. Когда они торжественно, парами, ушли в столовую, он лег на диван и закрыл лицо «Роман-газетой».

С час они его не трогали, а потом тихонько зашла Екатерина Михайловна и позвала: «Гриша!» Он молчал. Она села на край дивана, сняла с него «Роман-газету» и ласково провела ладонью по его волосам.

— Ты что, заснул? Вставай! Идем к нам. — Он стряхнул ее руку. — Ну что ты? — ласково наклонилась она к его лицу. — Ну?

Он быстро сел.

— Слушай, уйди, — попросил он тихо и резко, — ради бога, уйди!

Нежно и нагло улыбаясь, она его обняла за спину и заставила встать.

— Не будь школьником! С тобой хочет познакомиться мой шеф — идем!

— Это какой же, — спросил он зло, — этот, с которым ты даже в трамвае?..

— Тот самый, — ответила она, — идем!

Гости уже были на взводе. У профессора багровело лицо, и он что-то рассказывал и опять смеялся. Худой старик с умилением через стол смотрел на него и кивал головой, а красивая блондинка лебедем выгнула голую руку и протянула Григорию.

— Вот, привела своего медведя, — добродушно сказала хозяйка, — заснул на своей археологии. Еле вытащила. — И она взъерошила ему волосы.

— А я о-бо-жаю археологию! — многообещающе улыбнулась блондинка. — У меня по истории постоянно было «хор.». Все ребята обижались: «Почему Грекова все время на катке, а в четверти у нее “пять”?»

— Ну, вундеркинд, вундеркинд, — засмеялся толстяк. — Э-э, Екатерина Михайловна, непорядок, а ну-ка штрафную вашему мужу!.. Полную, полную, — ну, пошли!

В это время зазвонили, хозяйка крикнула: «Они», — и побежала в переднюю, за ней вышла и блондинка.

— А у меня к вам, коллега, большая просьба, — обратился к Григорию толстяк. — Вы знакомы с Ниной

Николаевной? Голубчик! Еду в Москву на съезд невропатологов, у них конец сезона, но все равно к ним не попадешь. Если бы вы черкнули ей. — Григорий молча и дико смотрел на него. — Очень, очень прошу! Я люблю этот театр. А ваша знакомая — моя самая большая любовь в нем!

Дверь распахнулась, и вошли трое: высокая женщина с лицом классной дамы, малютка лет сорока пяти с хрупким личиком хорька и кто-то крупный, толстогубый, курчавый, горбоносый, с глазами навыкат. Все они шумели. Григорий встал и быстро вышел.

— Так мне надеяться? — крикнул вслед толстяк.

III

Григорий прошел в кабинет и заперся. Стучи не стучи — не открою. От черноморской встречи у него осталась фотография: «Дорогому другу на память об одной осени». Получил он ее так.

Как-то в степи, изнемогая от тоски, он написал ей пару строк на театр и отдал шоферу. Вместо ответа она послала это фото, и он понял: о прошлом она помнит, но это и все, больше писать ей не надо, — и он и не писал. Однажды эту карточку в его дорожном планшете обнаружила Екатерина Михайловна. Он вышел из ванной, а она сидела за столом, вертела ее в руках и язвительно улыбалась.

— Ин-те-рес-но! — сказала она с нажимом. — Очень, очень интересно, кто же это такая, а?

— Да так... знакомая, — ответил он невнятно и стал тереть лицо полотенцем. — Дай-ка, — и протянул руку.

Она слегка ударила его по пальцам.

— Не хва-тай! Посмотрю — отдам! Ах, то-то ты пропадал по ночам! — Она еще повертела карточку и швырнула ее на стол. — Возьми! Физиономия типичной...

— Слушай, Катя, — сказал он тихо, сдержанно и бешено открывая лицо, — я бы все-таки просил...

Она с любопытством посмотрела на него, и он замолчал.

— Ну, ну, что ж ты не защищаешь ее? Защищай!

Он осторожно поднял карточку и спрятал ее в жилетный карман, повернулся и вышел.

— Подумаешь! — фыркнула она вслед.

А ночью она вдруг сказала:

— А я ведь таки узнала ее, — она четко назвала фамилию, — что ж — расту! — Он молчал. — Ну-ну, преуспевай, преуспевай, не возражаю! Видела я ее на сцене — ничего. Ноги высоко умеет задирать, значит и...

Он молча отвернулся от нее и закусил угол подушки. Больше об этом они не говорили.

IV

Утром, облачаясь перед зеркалом во что-то душистое и дымчатое, Екатерина Михайловна сказала:

— Чтоб не забыть — ты ведь там что-то обещал Ефиму Марковичу? Будь любезен — выполни! Он зайдет. — И ушла, шурша, как змея, и оставляя ароматное облако. Он подумал, посидел за столом, поглядел на «Аленушку» (она всегда разительно напоминала ему Нину) и начал вдруг сразу и не думая писать.

«Дорогая Нина Николаевна, благодарю вас за фото. У меня целая кипа ваших портретов, но этот, без грима, лучше их всех. Первый год я был как сумасшедший — увижу какую-нибудь женщину и иду за ней: уж не вы ли? Теперь я твердо знаю: вас здесь нет и не будет. Но это только присказка, сказочка-то вот: *Шеф и вообще добрый друг и благодетель* (подчеркнуто) моей жены просит помочь ему попасть к вам в театр. Можете ли вы его устроить хоть на два, на три спектакля? Вот и вся просьба! А с мужем вашим что? Вернулся ли он? Целую ваши руки — ваш...»

Когда пришел профессор, он отдал ему запечатанный конверт.

— Вот! И думаю, она сделает.

— Спасибо, — поклонился профессор, пряча письмо, — привезу вам ответ.

Григорий поморщился.

— Ну какой там ответ? Ответа не будет.

Толстяк вдруг тронул его за локоть.

— Может быть, что-нибудь словесно? Что скучаете, тоскуете, думаете и всё такое, а? О работе что-нибудь?

— Она не интересуется археологией, — косо улыбнулся Григорий, — а тосковать... Нет! Скажите: тосковать мне некогда. Целые же месяцы в пустыне. Не бреюсь по декадам. В городе не бываю.

— Женат? — поинтересовался толстяк.

— Женат! — жестко, с нажимом подтвердил Григорий и посмотрел ему в глаза. — Да, я женат, и вы *хорошо* знаете мою жену. Вот если зайдет разговор — впрочем, он не зайдет, — скажите: живем мирно, не ссоримся, — что еще? Ну, о чем она спросит, о том и расскажите. Вот так, значит. А билет она...

Толстяк взял шляпу.

— Все расскажу и привезу вам ответ.

V

Когда на другой день Екатерина Михайловна зашла в клинику к профессору, он, уже без халата, стоял перед фаянсовой раковиной и мыл руки.

— Ну так что, получилось? — спросила она.

Он посмотрел и отвернулся к раковине:

— Дал!

— Таки дал! — жадно подхватила она и села.

— При мне написал пару строк и дал, — ответил профессор и сорвал полотенце. — Вот, кажется, у меня здесь, посмотри-ка, в этом кармане. У меня руки мокрые! Нашла? Нет? А-а! Ведь я был не в этом костюме. Там всего две строки! Ну, вот и все! Говорить с ним об этом не надо, слышишь?

— Слышу, — ответила она. Ее сердил тон профессора.

Тот скомкал полотенце и швырнул его на диван, потом подошел к шкафу и надел пальто.

— Идем! Проводишь меня до министерства. Он что, уже уехал?

— Теперь уже да! — ответила она и вытащила ему воротничок. — А почему ты не носишь мою вышитую рубаху?

— Под пиджаком-то? — Он взял тросточку и, приосанясь, взглянул в зеркало. — Эх, седею!.. Идем! И знаешь что? Ничего там у них не было — просто наговорил он ей комплиментов, баба и растаяла. — Она смотрела на него. — Ну, может быть, встретились раз.

— Раз?

Он поморщился.

— Ну два, ну три, я знаю — сколько? Вот и всё. Идем.

— На комплименты-то он мастер, — недобро подтвердила она, идя за ним по коридору.

— Ну вот и все. Он симпатичный. — Она поглядела на него. — Нет, симпатичный, симпатичный! Вот у нее и осталось хорошее воспоминание. А все твои домыслы... — профессор махнул рукой. — Слушай, так я тебя жду, да?

— Не знаю, — ответила она сухо, — я готовлюсь по восьмой теме.

— Так бери книги и приходи! — Она шла и смотрела в землю и молчала. — Приходи! — приказал он. Она опять не ответила. Еще с десяток шагов прошли молча.

— И ты в самом деле собираешься к ней? — спросила она.

Он засмеялся.

— С этим письмом-то? Нет, к знаменитой актрисе с этаким не сунешься. Я в самом деле думал с твоих слов, что у них что-нибудь, а тут так... какая-то чепуха! — Они уже стояли на широких ступенях министерства. — И, милая, не тирань ты его зря! Пусть связь перегнивает, и когда вам будет все равно...

— Нет, мне никогда не будет все равно, — ответила она с достоинством. — Какой ты, ей-богу! Ты уж думаешь, что если я живу с тобой... Как странно! — Она сердито засмеялась. — Да прежде всего: я его люблю. Ты об этом-то думаешь?

Он махнул рукой.

— Слышал!

— Ну и вот... — Она сунула ему свои холодные пальцы. — Прощай!

— Так придешь? — Он задержал ее руку в своей.

— Нет! Пусти!

— Женюсь только на тебе! — сказал он вдруг тихо и нежно и сжал ей кисть. — Только! И не злись, пожалуйста! — Он взялся за бронзовое кольцо на двери. — Жду в восемь! Будь точна! Мужчинам некогда!

Глава 2

I

Сидя в кабине шофера (они везут заступы и консервы), Григорий развернул блокнот и начал читать. Это был черновик статьи, написанной им весной для молодежного журнала.

«Парфы напали внезапно, ночью. В городе никто ничего не знал. В дворцовой караулке сидел солдат. Перед ним горела лампа и лежала парфенская бронзовая бляшка, а он снимал с нее копию... Мы нашли все это вместе — нож, недорезанную костяную пластинку, бронзовую бляшку, разбитую лампу — вот только часовой сбежал.

В соседнем помещении трое солдат с ложками сидели вокруг бронзового котла и ели; на фото № 3 вы видите этот котел, три ложки и обугленные черепа троих. Во дворцовом амбаре кошка несла ночной дозор, она пожадничала, не рассчитала силы и спрыгнула за добычей в такую огромную пустую макитру (фото № 4), что обратно выпрыгнуть не смогла. Так и лежат: кошка, мышка

и разбитый кувшин. Еще в соседнем помещении во время пожара четыре человека сливали в один сосуд масло, этим повезло еще меньше, от всех четырех остались только четыре челюсти.

Все остальное в городе спало.

Так их и застала смерть».

Он захлопнул блокнот — нет, чепуха, какой-то экспрессионизм, а это все-таки научный журнал.

— Марат, — спрашивает он, — когда остановимся?

— Еще! — отвечает шофер — и зубы у него блестят.

II

Грузовик переваливается с боку на бок, и Григория укачивает, — он смотрит в окошечко: солончаки, белая жесткая трава, такая сухая, что сунь спичку — и она вспыхнет: мертвая, убитая, как глиняная макитра, земля, курганы, гулкая, как бубен, степь, вся в холмах да впадинах, — вот и все, что сечет желтоватое окно кабины. Да еще, конечно, телеграфные столбы — они стоят, они гудят, и на проволоках их сидят золотистые, как будто сонные щурки с китайскими глазками и длинными черными клювами — ни дать ни взять росписи с ваз. А жара такая, что все мертво и молчит. Воздух течет как вода, желтые и белые камни так накалены, что, кажется, плесни на них — и они зашипят и запрыгают. Гимнастерка у Марата на спине черная и на ней соленые подтеки, а сам он от пыли желтый, как малаец.

— Так, может быть, выпьем, Марат? — спрашивает Григорий. — У меня водка в термосе — холодная!

— Ну так что ж! — отвечает шофер, и они опять летят.

Григорий достает термос, отвинчивает пробку, наливает ее всклянь, опрокидывает, раз, и два, и три — и протягивает Марату.

— Ну, будем здоровеньки, — говорит Марат, поворачивая свое желтое лицо. — Дай бог не последнюю! Оп!

Но Григорий уже не слышит его.

«Дорогая моя, ты мне тогда сказала: “Странный ты человек — быть в наше время археологом...” и пожала плечами. Я так и не понял — как, серьезно ты это или нет? Дорогая! Археология досталась мне не даром. Это для меня не тихая пристань, о нет! Начать с того, что в студенческие годы я грузил уголь на Павелецком вокзале, и пил (нельзя было там не пить), и уставал так, что на семинарах меня спрашивают, а я сплю, — и ничего, кончил отличником. Поехал на Черное море, работал там в местном музее и написал “Керамика киммерийского Боспора эпохи империи — технология, клейма, роспись”. Получил за нее кандидата и был приглашен в Среднюю Азию. Как ящерица облазил все пустыни — там всякое было: получал солнечный удар, раз отбился от партии и чуть не сдох без воды, другой раз меня ужалила змея и я заступом отмахнул палец на ноге, третий раз пьяный шофер опрокинул на меня машину — я два дня не говорил, месяц не видел, оправился, но с осложнением — пришлось жениться на врачихе. Написал “Бактрия-I”. Том до индийского похода Александра Македонского.

Дорогая моя — это стоящая книга. 41-й год. Ухожу на фронт. Протопал от Белой Церкви до Воронежа и от Воронежа до Керчи. Там попал в котел. Диски — все! — гранаты — все! 10 пуль — всё! Схватили чуть не за руки: “Жид?” — “Нет”. — “Комиссар?” — “Нет!” — “Кто же?” — “Археолог”. Засмеялись и не били. Герр оберст говорил по-французски и английски — он, оказывается, сам доктор, специалист по России. Это был тот специалист! И пошло! От Крыма до Саксонии я прошел все лагеря военнопленных: Феодосия, Киев, Бобруйск, Варшава, Дюссельдорф. Из Дюссельдорфа бежал. Через две недели поймали и лупили. Это было так — под ругань я вылезал с чердака, а возле слухового окна стоял один здоровила (тоже, небось, доктор), держал браунинг за дуло

и ждал. Лупил в упор по переносью, как гвозди забивают, — ничего, отлежался и тут!

Доставили в какой-то бестолковый лагерь, а оттуда три месяца на Пражском вокзале — и посадили в военную тюрьму. Вызовет герр лейтенант, а под столом уткнула в лапы нос овчарка, с большого волка: чуть шевельнусь — она вскакивает. А так было ничего. Сначала били резиной, а потом и бить перестали. Когда меня допрашивал шеф, мы курили сигареты и говорили на прекрасном русском языке. Он все хотел узнать, кто мне дал кусок антрацита и научил его бросать в тендер паровоза. Кусок этот лежал тут же, так на вид уголь и уголь, а если бы он попал в топку — от паровоза и пути осталось бы лишь перекрученное железо да, может быть, горсть солдатских пуговиц с номерами. А камера была такая, что в ней и днем горел эдакий желтый лимон с толстой спиралью. А мне все больше снилось Черное море, волны, и я по горло в воде, и надо мной чайки. Солдаты меня днем не будили (полагалось будить), но говорили: "Ти партизен, тебя пук-пук! Эршисен, скоро, скоро". А коридор убирал какой-то субчик с гнилыми глазками, он тоже говорил: "Наверное, что расстреляют — ты же не в сознании". Не расстреляли, прохвосты, — перегнали в зондерлагерь. Стало в сто раз хуже. Надзирателями были мошенники, коты, педерасты. Вот они уж и гуляли! Да как! Подойдет к тебе такой кот, сорвет с тебя фуражку и швырнет за колючую проволоку. И теперь так — придешь на вечернюю проверку без фуражки — свалят и разобьют голову сапогами — так ныряй прямо под серпантинку — солдат бьет только в голову!

Работал я там в морге — сортировал и паковал тряпки с покойников. Обувь — в один тюк, одежду — в другой. Это с тех, кто особым составом прибывал во вторую зону. Жить там полагалась с проверки до проверки, то есть сосчитают и айда в печь, — но зато почти не били. Через три месяца я вошел в доверие и по приказу на-

чальника выламывал у покойников золотые зубы. Делалось это такой проволокой с крюком, — я здорово напрактиковался! Что ж, они мертвые, а мне надо было выжить. А фронт между тем все приближался, немцы нервничали, перестали выпускать за зону, и я понял: надо бежать, не то ликвидируют заодно с лагерем и его покойниками. Потому что они уж выкапывали покойников и жгли. Бежал. Попал к нашим, и тут на меня сразу свалились — тиф, воспаление легких, сотрясение мозга; упал с кровати — отнялись ноги, и месяц меня возили на колясочке. Как только встал, приполз в академию — прошу командировать в Азию. Зачем? Там у меня есть одно недоделанное дельце. Ученый секретарь вынул из кармана зеркало и подал мне. "Ну? Таких отправляют в Среднюю Азию? Отправить-то я вас отправлю, да не туда", — и прислал путевку в санаторий. Тут я встретил вас. Все! С этого момента считаю все с начала».

Он выхватил термос и присосался прямо к горлышку.

— О-о! — сказал с уважением Марат. — Так пить!..

III

Степь кончается сразу. Вверху холмы и солончаки, а под обрывом беспокойная желтая река в воронках и водоворотах. Мечом к мечу стоит над ней осока — и сизый камыш. По влажному песку стелятся хваткие белые подморенники и крошечные, как божьи коровки, цветы незабудок.

Григорий соскакивает и скатывается на песок. Желтые трясогузки, завидев его, отскакивают в стороны и начинают бегать около самой воды. Ох, как красивы эти дикие берега! Вот растут ивы, и с них свисают шапки белых цветов, но это не ивы цветут — это стоят над желтой рекой мертвые деревья, а на косточках их пышно разлеглась цепкая и хищная «змея» повилика.

Григорий делает несколько шагов и чуть не падает — словно граната взрывается у него под ногами и со свистом проносится над осоками. «Фу, окаянная же сила! Как напугал!»

Марат смеется.

— Чуть на фазана не наступили — вон он где сидел. Недаром Шуру так испугал... ну, купаться будем или поедем?

IV

Доехали. Он, вымытый, в свежем белье, сидит в палатке и ждет чая. Шурочка колдует над спиртовкой и рассказывает:

— Нашли в раскопе пятом жилое помещение и в нем ориентированные вот так (на столе лежит быстрый карандашный набросок, и она, рассказывая, подбегает и что-то дорисовывает) фрагменты посуды, кости, и вот тут — лошадь.

Григорий смотрит.

— Здравствуйте — она-то откуда?

Шурочка улыбается, охотно показывая зубы.

— Мы уж думали: может быть так — лошадь вырвалась из загоревшейся конюшни и, обезумев, вбежала по скату крыши, а бревна и рухнули.

Он сурово смотрит на нежное девичье лицо, на ухо под светлым завитком и соглашается.

— Очень возможно. Это ваша мысль?

Она расцветает, хватает чайник и, с размаху переливая, наполняет ему стакан.

— Но вы обратите внимание на другое: по находкам видно, что борьба шла не везде — сопротивлялись только в центре, а в боковых помещениях сразу перебили всех — там только кости и брошенное оружие.

— И что это, по-вашему, значит?

— Значит, их врагов впустили через боковые входы и изнутри. Было предательство — может быть так, а?

Он молчит.

— Часовой в дворцовых воротах тоже не ждал нападения, раз он сидел и резал по кости.

— И с парфянского образца, Шурочка. — Он встает. — Молодец, умница — от этого и будем исходить. В городе было много парфов, они впустили врага изнутри. — Он берет стакан и пьет. — Так погиб Рим, так погиб Вавилон, так погиб и наш город. Рабы предали господ — вот вам и концепция.

Она вдруг вскакивает.

— Григорий Иванович, — спрашивает она вдохновенно, — вы очень устали? Нет? Григорий Иванович, сейчас полная луна, идемте, я вам покажу, что мы сделали.

Он допивает чай и ставит стакан.

— Пошли, Шура.

V

Город имеет несколько напластований — древнейшее, примерно современное гибели Вавилона, и последнее — большой мусульманский город XIV века с остатками садов, разноцветных дворцов, мечетей, огромной бани.

Все это, конечно, под холмами, а он давно добирался до них. В самый месяц войны ему удалось пролететь над пустыней — сначала все шла степь да степь, и вдруг через ее серую пелену, как через мутное стекло, проступил город: он увидел прямоугольники, квадраты, светлое русло большой дороги, черные решетки внутренних планировок. Прильнув к окну, он смотрел на это чудо. А город все рос и рос — снова стали видны призрачные кварталы, уже не существующие более тысячелетия стены, башни, ворота и на юг от этих ворот и башен — широкая полоса — главная дорога и каналы, каналы, каналы. У него было такое чувство, словно дух города все еще продолжает парить над солончаками, создавая призраки площадей, садов и проспектов.

Все это он увидел всего однажды, но запомнил на всю жизнь. Да что на жизнь! Даже в смертной камере накануне расстрела ему нет-нет да и думалось — а хорошо было бы добраться до этих холмов с заступом.

— Шурочка, — начал он, — там сорок заступов... — И не окончил. Очень громкий, на всю степь, чей-то голос назвал фамилию Нины — и вслед за тем она заговорила сама.

— А у нас теперь и радио есть, — весело оглядываясь, сказала Шура. — Кирилл включает утром и вечером Москву.

Он поднял глаза. Они стояли под громкоговорителем.

VI

Нина читала отрывки из «Цыган». Разговор Алеко с Земфирой. Григорий закрыл глаза и старался поймать хоть что-то знакомое, но сейчас и смех, и голос — все было чужим и холодным. Так иногда, придя в скандальном вдохновении с американского фильма, разговаривала с ним Екатерина Михайловна. Но ему представилось не это, а другое.

Вот он взбесится от тоски, под каким-нибудь предлогом плюнет на все и приедет к ней, а она выйдет к нему на минуту сама, не сядет, его не посадит, мило поговорит с ним минут двадцать, еще поинтересуется чем-нибудь, но тут пробьют часы, и она испугается и воскликнет: «Ох, уже двенадцать! Извините, дорогой, — спешу, спешу, а вы заходите». И он сразу поймет, что такое провалиться сквозь землю.

— Очень хорошо читает! — похвалила Шура.

На секунду наступила тишина, потом послышалось сиплое шипенье и шум — все громче, громче. Это аплодировал Большой зал Консерватории, Дом союзов или Политехнический музей, потом сразу тишина — и голос Нины заговорил нежно и просто:

— Там, где море вечно плещет
На пустынные скалы,
Где луна теплее блещет...

Григорий открыл глаза. Небо, залитое луной, было металлически голубоватого оттенка, как перекаленная сталь. Неподвижно стояли под этой холодной луной белые холмы, то цепью, то поодаль друг от друга, и на земле лежали черные четкие тени холмов, палаток, травы — не степь, а фантастический лунный пейзаж, и только живой голос Нины журчал и плыл над этой пустыней — как будто лежала и мурлыкала большая кошка. Он уже не слушал слова, ощущал ее лицо, глаза, манеру рассказывать, смотреть прямо в глаза, как будто это она упиралась головой в луну и шла по степи.

Потом снова тишина, посыпались аплодисменты, заскрипели стулья, и мужской отлично выработанный голос произнес: «Антракт десять минут!» — и снова все потонуло, остались степь, холмы да луна над нами.

— Пошли! — вздохнула Шура.

— Чтоб не забыть, — сказал он, идя за ней, — пусть завтра Алексеев зайдет ко мне. Есть пакет. Пожалуйста — не позабудьте.

Глава 3

I

Толстячок пообещал привезти Григорию ответ и соврал — Нина ему ничего не передала. Разговор вообще вышел странный. Она прочла письмо (профессор сидел у нее) и положила его на стол.

— С удовольствием, но вот как сделаем, — решила она. — Накануне вы позвоните мне, и я все устрою.

Голос у нее был мягкий, ласковый, но и строго деловой. О Григории ни слова, ни вопроса. Он понял это и встал.

— Ну, большое, большое спасибо вам, Нина Николаевна («пожалуйста, пожалуйста», — ответила она ско-

роговоркой). Я всегда был поклонником вашего театра и вашего прекрасного...

— Да, да, — торопливо перебила она. — Так вот звоните, пожалуйста. — Он поклонился и взялся за тросточку. — Но вы очень торопитесь? — спросила она вдруг. — Тогда посидите, расскажите мне о Григории Ивановиче. Он пишет, что... — Она что-то осеклась.

Профессор посмотрел и опустился на стул.

— Ну, что он пишет, я не знаю, — сказал он без улыбки, — но передать вам он мне кое-что да наказал. — Профессор вынул из кармана трубку. — Вы позволите? — набил ее и раскурил. — Да! Так просил он передать вам вот что... — Он опять задержался, разгоняя ладонью дым. — Что он женат на враче Екатерине Михайловне, живут мирно, не ссорятся. — Она дернулась, но ничего не сказала. — Не скучает, потому что день и ночь в степи в долине Джуз-Терек (это значит Сто Тополей), а скучать там некогда, там знай копай. Вот и вся его жизнь.

Она пожала плечами и неловко улыбнулась.

— Но он, кажется, доволен ею, и я рада за него.

Профессор сидел и курил.

— Радоваться, положим, тут нечему, — сказал он хладнокровно, — все это вранье! Скучает он в песках по вас как собака. Только что не воет. А с женой ведет себя как полный идиот.

— Ну... — начала Нина.

— Постойте! И жену я его тоже знаю хорошо, она мой ординатор — это фрукт, я вам скажу.

Нина молчала и изумленно смотрела на него, а он продолжал, затягиваясь все глубже и глубже, так, что совсем скрылся в дыму.

— Это тот фрукт! В тетке шесть пудов — раскатать, так выйдут: я, вы, он — и еще останется на собачку. Ругается с ним непрестанно, плачет и падает в обморок. Она невропатолог и знает, как это делается, он археолог и поэтому не знает и пугается, она откровенно — до от-

вращения, до мозга костей лжива и лжет не просто, а истерично, вдохновенно, со слезами на глазах — это все рассказы о необычайной и, заметьте, платонической любви к ней. Так представляете, как они живут? Он еще ее ревнует ко всем, даже и ко мне, но это только ревность самолюбия — любить ее он уже не любит.

Он снова запалил трубку и скрылся в дыму.

Она вдруг спросила:

— А вы?

Он вынул трубку, посмотрел на Нину: «То есть?» Нина промолчала.

— А я ее люблю, — ответил он просто и удивленно. — Нет, вы очень умная женщина, Нина Николаевна, да, да, вы правы, не любил бы эту пошлячку — не сунулся бы к вам. Жизни мне без нее нет. Она молодая и думает скрутить меня, но я старик и сам остригу ей коготки. Пусть она только перейдет ко мне. Но уйти от него она так не уйдет, сто раз будет прикидывать да примерять — да так ничего и не решит, он тоже ни на что не решится — вот я и пришел к вам.

Она сидела и смотрела на него.

— А что если я вам не поверю? — спросила она задумчиво и тихо. — Ведь, по существу, мне следовало встать и уйти.

— Ну, этого вы, Нина Николаевна, не сделаете, — сказал он убежденно.

Она пожала плечами.

— Вот вы даже, оказывается, и в этом уверены. — Он кивнул головой, и она вдруг сразу поверила, что это не подвох.

— Вы не уйдете, — повторил он.

Она рассмеялась.

— Конечно, не уйду! Но сунуться с этим к незнакомой женщине! Это же беседа двух помешанных. Вот вы даже не знаете — люблю я его или нет. Ну, что я вам должна ответить?

Он встал и взялся за тросточку.

— А ничего! Вы ничего не говорите, а я ничего не скажу ему. Главное, что вы теперь знаете все. Так?

Она ничего не ответила, но тоже встала, чтоб его проводить.

II

А на другой день пришло письмо из пустыни. Нина прочла его и с час тихо ходила по комнате. У нее только что был крупный и громкий разговор с режиссером, и она в первый раз не выдержала и раскричалась. Он сказал ей: «Это же Шекспир, говорите, пожалуйста, просто, точно, ясно, без трагического шепота. Доносите ритм стиха и обратите внимание на дикцию». А она ответила: «Так, может быть, вы пригласите дикторшу из “Последних известий”? Вот у нее — дикция». В общем, они поцапались и разошлись, очень недовольные друг другом. Она пришла домой, и тут Даша подала ей порядком-таки захватанный конверт с обратным адресом: Джуз-Терек. Она прочла письмо и целый час простояла у окна, смотря во двор и постукивая пальцами по стеклу, потом тихо оделась и пошла бродить по изогнутым московским переулочкам.

Здесь всегда было просто, грязновато и весело. За заборами стояли белые тополя, по звонким лужам бегала босоногая детвора, а в солнечные дни на нагретых подоконниках рядом с цветочными горшочками лежали, мурлыкая себе, ленивые коты, и старушки за руки выводили быстроглазых карапузов. Нина прошла по переулочку и забралась на церковный двор, минут десять поговорила о том и о сем со знакомой. Тут к ней, раскачиваясь, подошла цыганка с папиросой во рту, попросила прикурить.

— Красивая, — сказала она певуче и зазвенела гривенниками на монисто. — Давай погадаю, — вижу я на твоем лице думу — тоску-печаль! Красивая да несчастливая! Дай ручку — все скажу.

— Уйди, уйди, — сказала нянька цыганке, заслоняя ребенка.

Нина достала из сумочки синенькую и сунула гадалке.

— На, купи спички, матушка.

— По лицу видать: сердце у тебя как птица в клетке, — снова сипло запела цыганка, пряча деньги, — и туда летит, и сюда летит, а люди жестокие, а решетки крепкие, нету ему свободы — выхода. А ты простая да бесхитростная.

Нина с завистью смотрела на нее — она думала, что не то что Джульетта, но даже и эта гадалка с ее быстротой, плавной резкостью, хриплой простуженной певучестью, быстрым огнем в глазах, с легкостью на любые решения, слова и поступки у нее уже не получится.

И она уже не слушала ничего, пока гадалка не попросила у нее правую руку.

— Придет твой милый, ненаглядный к пустому крыльцу, к чужому огню, — сказала цыганка строго.

— Нет, похоже что уйти, — поднялась с места нянька, — выпучила шары, как дикая коза, вот напугает мне мальчишку. А вы, — неприязненно поглядела она на Нину, — кажется, артистка, а сами...

— Нинка! — раздался сзади знакомый голос. — Это на кого ж ты гадаешь?! Нет, нет, теперь уж не отвертишься, — рассказывай!

Нина обернулась и увидела Ленку и Сергея. Сергей нес авоську. Ах, как бы он ей был сейчас нужен, но один. Она бросилась к ним.

Цыганка постояла, поводя плечами, посмотрела, звонко плюнула и, раздувая, как веник, красные юбки, пошла со двора.

— Не каркай, карга, язык отсохнет, — сыпанула она старухе и сделала такие глаза, что мальчишка обмер и заорал, припав к нянькиным коленям.

III

— Ну так что тебе вышло? — спросила Ленка. — На кого гадала? Только не врать.

Нина вдруг сказала:

— Ты знаешь, Леночка, я вчера получила предложение.

— О-о! Сергей, не слушай нас! От кого?

— Да ты его не знаешь! — поморщилась Нина.

— Вот это чистая работа, — похвалила Ленка, — даже я не знаю! Но все-таки, кто ж он такой? Профессия, профессия! Не актер, надеюсь?

Нина пожала плачами.

— Разве в профессии дело, Леночка? Но нет, он не актер.

— Ну что ж, — лирически вздохнула Ленка, — будешь тогда генеральшей, Ниночка.

Нина молчала.

— Сережа, — обратилась Ленка к мужу, — знаешь игру «третий лишний»? На-ка тебе авоську и иди-ка ты, друг, в гастроном. Там жди в бакалее. — Она взяла Нину под руку: — Рассказывай теперь.

Нина вынула помятый конверт и сунула Ленке. Та взглянула на штемпель.

— Из Алма-Аты? Ну-ну! — и стала читать. — Слушай, да кто он такой? — воскликнула она через минуту.

— Читай, читай!

Ленка опять впилась в письмо.

— С ума сойти! — воскликнула она скандализированно. — Александр Македонский? А? Ну, Нинка! — и потом уж читала молча.

— Нет, ты шутишь, — решила она, вкладывая письмо в конверт. — Идти за эту индийскую гробницу! Да у тебя голова-то есть?

Нина улыбалась зло и затаенно.

— Именно, именно только сошла с ума, — твердо повторила Ленка. — И письмо-то какое-то безумное!

Что это он тебе пишет? Зубы у покойников каким-то крючком выламывал — ну к чему, спросить, он это написал? Что он хотел этим показать? Ну, конечно, я не знаю ваших отношений, — продолжала Ленка язвительно, — любовь зла, конечно, Ниночка. Николай погиб, и ты вправе...

— Дура! — сказала Нина хлестко. — Ох, какая же ты все-таки, Ленка, дура! Я забуду Николая? Он жив, жив, понимаешь ты? И никогда... — Она задохнулась.

— Ну и отлично, — сразу успокоилась Ленка. — А зачем же ты разрешаешь тогда писать тебе всякую пакость? Зубы он выламывал? Выламывал — так уж молчи, дурак! Он что, историк?

— Археолог! — ответила Нина сердито.

— Так я же и говорю: индийская гробница, — засмеялась Ленка. — Ну, хватит. Гастроном!

IV

С Сергеем пришлось говорить иначе — начистоту. Он сидел у нее в своем кресле и слушал, а она ходила и рассказывала.

— И только в четвертый раз встреча была продолжительной. Тут мы прогуляли до зари.

Она замолчала. Сергей сидел и ждал, не дождался и сказал:

— Я слушаю, слушаю, Ниночка, дальше!

— Всё! Наутро мы расстались — и навсегда.

Сергей помолчал, а потом спросил:

— Это действительно всё? — Нина молчала. — Ну, вы понимаете, о чем я вас не могу спросить.

Нина подняла голову, что-то заикнулась, но сейчас же осеклась и отвела глаза.

— Так! Второе — и после вы обещали что-то?

— Нет, нет! — торопливо ответила Нина. — Наоборот, я ему сказала — это всё!

— Всё?! Так какого же дьявола он лезет? — обозлился Сергей. — Что ему, дураку, надо! — Нина молчала. — Шан-та-жист! — проскандировал он, вставая. — Нина Николаевна, если этот нахал заявится, разрешите мне сказать ему пару слов? Я это сумею.

Она покачала головой.

— А разве он виноват в чем-нибудь, Сережа? Разве мужчины вообще бывают в этом виноваты?

— Не учите, не дурачок, — обиделся Сергей. — Он виноват в том, что лезет.

— Нет, он и в этом не виноват.

— А-а, ну тогда я не знаю, — нахмурился Сергей. — Значит, вы ему все-таки что-то обещали? Или писали?

— Да нет же, Сережа, ничего! — всплеснула руками Нина. — Как же я могла обещать, когда Николай... — Она не договорила.

— Что Николай? — спросил Сергей почти грубо.

Она слегка развела руками.

— Ну да! Теперь вы уж, конечно, мне не поверите, но я жду, жду. Я все равно жду его, Сережа, поверьте!

Он посмотрел на нее, подумал.

— Верю! — ответил он наконец. — Только не надо об этом трепаться, слышите? Николаю вся эта ерунда была бы очень неприятна. Так ей грош цена, а начнет Ленка звонить... Вы ей, надеюсь, письма-то не показывали? Ну и отлично! — Он опять пришел в хорошее настроение и засмеялся. — Я так и понял. Если бы вы хотели поставить крест на Николае, то показали бы эту поэму Ленке, а не мне.

— Ну, понятно, — ответила Нина жалобно, — конечно, конечно, Сережа, вы отлично понимаете меня!

* * *

Муж и жена поругались. Он ходил и курил, она стояла у окна, скрестив руки на груди, и иронически смотрела на него.

— И довольно, и кончено! — рычал он. — И так с меня хватит позора — вот — по горло! Уже пальцами тыкают! Я не позволю...

— Ну, что ты не позволишь? Что? — усмехнулась она и закричала: — Не тычьте в меня вашей папироской, я вам не ваша босоножка!

Они стояли друг против друга, и им опять уже не хватало воздуха и пришлось прятать руки за спину.

— Тогда, Катя, скажи честно, — начал он, переводя дыхание.

— Что-о?! Честно? — произнесла она с лютой ненавистью. — Это ты — ты заговорил со мной о честности? А та... про... прости господи...

— Молчи! — крикнул он.

— А та проститутка, — неумолимо улыбаясь, продолжала она, — которая шлет вам фото с похабными надписями! А знаешь, что мне говорила дежурная: «Он пропадает по целым ночам. Так нельзя — с нас спрашивают. Мы вынуждены будем доложить». А-а, вы думаете, я не знала? Не-ет, я все знала! — Ноздри у нее стали набухать, а он даже кулаки разжал, так его потрясла эта ложь. — «Лейку» ей отдал, — продолжала она, всхлипывая, — сказал — украли! Мои новые кап... кап... капроновые чулки... — Она уже ревела...

— Молчи, гадина! — заорал он, не сдержавшись, и рванул ее за руку, но она ловко выкрутилась, вскочила на кушетку и, подпрыгивая на поющих пружинах, завизжала:

— Уйди-уйди-уйди!

Рыча, он снова схватил ее.

— С этой Шуркой-соплюшкой... — От изумления он опять отпустил ее. — А-а, проняло! Знаю, чем вы там занимаетесь в степи! Все знаю, голубок! Идет мимо меня, дрянь такая, — улыбочка до ушей! Вот еще раз так рот разинет, так набью ей морду, что... Думаешь, побоюсь? Не побоюсь! Археолог! «Я докажу! Мои открытия пере-

вернут все». Доказал! Перевернул! Квартиры хорошей не могут дать! Хвастушка! Пустозвон! — Она всегда знала, в какое место надлежит бить при драке.

В это время у парадного позвонили. Она сразу спрыгнула с кушетки и бросилась в коридор, вытирая глаза, — пришел профессор.

V

Бежать! Бежать! Сейчас же! Забрать только самое необходимое — полотенце, мыло, пару белья, ну, кое-какие справочники, а за остальными книгами и тряпьем приедет шофер. Он выдвинул чемодан и начал укладываться. В это время постучался профессор.

— Можно к вам? — Григорий молча подошел к двери и отпер. Профессор вошел, сказал: «Здравствуйте», — и сел. Посидел, посидел и спросил:

— Что это лицо у вас такое, Григорий Иванович, что-нибудь случилось?

— Нет! — ответил Григорий.

— А ну, разрешите-ка пульс. — Профессор ловко поймал его за руку. — Кали бромати вам ваша ученая супруга не прописывает? — Григорий молчал. — Надо, надо пить. Ну, потом, конечно, пустыня, жара, одиночество. — Он вздохнул. — А от Нины Николаевны так-таки ничего?

— Нет!

— Ничего, пришлет. — Григорий молча укладывался. — А вы все нервничаете? И еще с супругой, небось, из-за всяких пустяков ссоритесь.

Григорий выпрямился и молча посмотрел профессору прямо в глаза.

— Ну что, я не прав? — усмехнулся профессор.

— Сейчас я ей из-за вас чуть не сломал шею, — сказал Григорий.

— Из-за меня? — профессор недоуменно пожал плечами. — Ну и неумно — она мой ординатор, вот и всё.

— Именно вот и всё, — вдруг покраснел Григорий. Он бросил полотенце и подошел к профессору. — Если я молчу... — произнес он сипло и весь задрожал.

— Положим, вы совсем не молчите, — усмехнулся профессор, — и поэтому стойте-ка, запрем двери. — Он набросил крючок, возвратился и снова сел. — Вот раз уж на то пошло, разрешите вас спросить, прямо, по-мужски, можно?

Григорий молчал.

— Вы ее любите?

Григорий посмотрел на толстые губы профессора и быстро спрятал руки в карман — так его затрясло.

— А почему вы спрашиваете? — спросил он тихо. — Да как вы смеете спрашивать? — заорал он на всю квартиру, и ему даже стало нехорошо от мгновенной оглушающей ярости. — Я не допущу! Чтоб моя фамилия трепалась! Делайте что угодно, — продолжал он, прижимая руки к груди, — что только вам угодно, но чтоб ша! Чтоб было тихо! — Он топнул ногой, и все вокруг зазвенело. — Умейте паскудить втихомолку, а то если я начну рассчитываться... — Он махнул кулаком и захлебнулся, и сразу ослабел, и ему стало на все наплевать.

Профессор покачал головой.

— Ну нервы, нервы и только одни нервы! О чем кричать? Вы же к ней уже равнодушны, она — тоже.

Тут вдруг в дверь так забарабанили, что задребезжал крючок.

— Отвори! — визжала Екатерина Михайловна. — Сейчас же отворите!

Профессор подошел и откинул крючок.

Она — толстая и красная Джиоконда — молча стояла в дверях.

— Ну, что такое? — спросил ее профессор недовольно и тихо, как муж жену.

Екатерина Михайловна отчужденно посмотрела на него, увидела, что творится на полу, оттолкнула профес-

сора, подбежала и так пнула чемодан, что мыло, паста, гребенка, карандаши, еще какая-то там мелочь так и взлетела фонтаном.

— К чертовой матери, — провизжала она, плача от злости, — к чертовой матери всех вас!

— Екатерина Михайловна! Да что ж это, наконец, такое! — прикрикнул на нее профессор.

Она обернулась.

— Имейте в виду, Ефим Маркович! — отчеканила она. — Я люблю своего мужа и расставаться с ним не собираюсь. А вас я попрошу...

Григорий повернулся и выбежал — он весь дрожал, но у него было такое чувство, как будто где-то прорвался глубокий нарыв и вся дрянь хлынула наружу, — тоже очень больно, но и легко: впервые можно отдохнуть, подумать о другом.

Глава 4

I

Статье Григория неожиданно и крупно повезло. Как раз в это время на страницах печати шла дискуссия о роли Азии в развитии нового европейского искусства и науки, и дня через три после выхода номера журнала большие отрывки статьи с точным указанием на источник появились в центральном органе. Маленький ведомственный журнальчик, существовавший только на дотацию, никогда не удостаивался такой чести, и вокруг него забегали. Фабрика Мосфильма сколотила группку из сценариста, кудрявого режиссера в роговых очках, его ассистентки, усадила их в самолет и послала в пустыню. Самый большой еженедельник страны запланировал на осень статью на шесть колонок с фото и многокрасочную вкладку, и только Григорий этого ничего не знал. Он зарылся в пустыню и носился на виллисе по следам древних каналов, составляя карту оросительной системы XI–XV веков. Это

была спешная работа, и его очень торопили. На вызов в Москву вылетела его ассистентка — Шура Крутько.

Нина прочла статью на маленькой подмосковной станции: здесь они договорились встретиться с Сергеем, но он запаздывал, и она, дожидаясь поезда, тихо гуляла по каким-то тихим перелескам. В одном месте она насобирала под елками с горстку маслят и вымазала пальцы об их клейкую желтую слизь; в другом сорвала две большие и очень душистые лисички; в третьем постояла под кустами и послушала какую-то красногрудую пташку; в четвертом разворошила концом острой туфли огромный муравейник и долго смотрела, как муравьи спасают свои похожие на крошечные египетские мумии куколки; в пятом — какая-то толстая курносая тетка с блестящим лицом продала ей бутылку парного молока, но кружки не было, и Нина стала пить прямо из горлышка, а тетка стояла, обтирая свое блестящее, как самовар, лицо пестрым передником и улыбалась.

— А вы бы туда пошли, — сказала тетка и показала на станцию. — Там армяне шашлык делают и вино есть.

— Спасибо, тетушка, — поблагодарила Нина, — я ничего не хочу, вот попила молочка и ладно! — И она протянула ей опаловую белую бутылку.

Тетка бесшумно опустила бутылку в мешок и спросила:

— Что? Ай не тутошняя?

— Нет, тетушка, я московская.

— А что ж одна?

Нина развела руками.

— Пропал куда-то мой кавалер, не идет!

— Ну, придет, — успокоила ее тетка. — А я смотрю, такая хорошая дамочка и одна, а что, мужа-то нет?

— Нет, мужа у меня сейчас нет!

— О-о! — посочувствовала тетка. — Что ж так... ай! — Она не договорила.

— Нет, с фронта не вернулся, — объяснила Нина.

— А-а! — поняла тетка. — Так, так, так! Вот у меня невестка тоже... была, так сказать, сестрицей милосердной в танковой роте, так рота на мины — и все без вести! — Она села на траву. — Такая была обходительная, такая жалостливая, меня все «мама, мама, не выходите без платка, застудитесь, мама, не хотите ли покушать?». А муж не ждет...

— Не ждет! — с интересом подхватила Нина. Тетка махнула рукой.

— Конечно, не старые времена, не в церкви венчались. Да и сын-то молодой — двадцать восемь лет парню — «у меня, мать, лета проходят» — вот ведь они как рассуждают.

В это время с горы скатился черноногий мальчишка лет восьми и заорал:

— Бабка Графена, там... — и вдруг увидел Нину и сконфуженно замолчал.

— Ну что тебе? Что? — сердито спросила тетка. Вынула из широченного кармана платок и сердито ущипнула мальчишку за нос. — Растет без отца и матери хулиганенок. Что тебе?

— Бабка Аграфена, — чинно сказал мальчишка и проглотил слюну, — тетя Клава велела молоко к поезду не выносить, а нести прямо к ней. У нее сёдни гости.

— Вот оно-то молочко-то, — язвительно сказала тетка и потрясла мешком. — Раньше-то где была твоя Клава?

— Это я выпила, — сказала Нина. — Пойди, милый, сюда. Тебя как зовут-то?

Мальчик потупился и стоял, ковыряя землю большим пальцем ноги.

— Ну иди, раз зовут, — сурово приказала тетка, глядя на мальчика любящими глазами, и провела рукой по его волосам. — И здесь репьи! Это уж с ребятами. Вот ведь какой неслух стал! Отца не слушает, матерю не помнит.

— Помню матерю, — обиженно буркнул мальчик. Нина подошла, обняла его за спину и наклонилась над ним.

— Тебя как звать-то?

— Васька.

— А что это у тебя в кулаке, Васенька?

— Морской жук! Да не трогайте, убежит.

— Где же ты его достал, милый?

Мальчишка молчал.

— Господи, да в болоте же! — горестно воскликнула тетка. — С утра до вечера они чухаются там, как поросята, — вон все ноги в цыпках.

— А... — начала Нина и вдруг почувствовала, что она пустая, ей скучно и не о чем говорить с ребенком и именно потому он и дичится. Джульетта, цыганка, Васька — все это уже вне ее. Этого никогда с ней не было. Она отлично понимала и могла донести до зрителя всякую простую и ясную жизнь, и с кем с кем, а с малышами у нее всегда находились общие интересы. И вот сейчас она в первый раз почувствовала, что в ней что-то сдвинулось с места, засохла какая-то ветвь: мальчишка уж не понимает ее — вот он стоит и смотрит исподлобья, как волчонок.

Она открыла сумочку, вынула оттуда пеструю плитку шоколада с веселыми жирафами на лесенке и стихами Маршака и сунула Ваське: «На, милый, кушай!» — и поскорее отошла. И уже сзади услышала укоризненный шепот:

— Ну что ты на тетеньку стоишь лупишься? Говори скорее: «Большое вам спасибо, тетенька!» У-у, баловень, безотцовщина!

— Спасибо вам, тетенька, большое, — раздалось вдогонку, и Нина нагнула голову, как от площадной ругани. Ах, да где же Сережа?!

II

Но скоро она увидела его: он шел от станции по холму, желтому от одуванчиков и курослепа. В руке его был

журнал в цветастой обложке, он размахивал им, как веером, и улыбался.

Значит, не вынесла душа поэта — уже!

— Сереженька, это без меня-то?! — упрекнула она, подбегая. — А запоздали-то как! Как капризная красавица на свидание!

— Три новости! — воскликнул Сергей, подходя к ней, и обнял ее за спину. — Здравствуйте пожалуйста! Первая: ваша иудейская, или как ее там, гробница выходит в люди. Джентльменом написана очень дельная статья, которая попалась на глаза кому следует — ныне ей делают погоду. Стойте, это далеко не все, — вторая новость: ваш обожатель и ценитель...

— Фу, Сереженька! Стиль курортного врача Григорьяна!

— И ценитель! — не перебивайте, пожалуйста! Не терплю! — вылетает на этой недели по маршруту — Внуково–Куйбышев–Чкалов–Акмолинск и т.д. в степи к ста тополям — это и значит Джуз-Терек. Поэтому могу захватить от вас письмо любого содержания. — Она смотрела на него. — Предпочитаю, конечно, остро ругательного, но можно, в конце концов, и любовного. Третья: раз так и раз у вас свободный вечер, мы зайдем к вам с помощником вашего поклонника, с Шурочкой Крутько, можно?

— Ну что за вопрос, Сережа, конечно! Что за девушка?

— Девушка с такими голубыми глазами, что взглянуть и умереть!

Нина засмеялась.

— Так это у вас серьезно?

— Да не смейтесь, — и преученая. Сначала я тоже посомневался в ней, так она — ну минут десять, наверно, — стреляла в меня Бактрианой, Согдианой, Ахаменидами, сесанидами, симонидами, караханидами, еще какими-то чертями, так что я наконец бросил свой блокнот и взмолился: «Шурочка, пощадите!»

— Так что, Ленке нос, Сережа?

— Нос, Ниночка!

— Ол-райт! Так ей и надо за то, что хотела всучить мне своего братца! Ладно, Сереженька, хотите четвертую новость?! Еду на два месяца в Среднюю Азию с юбилейным пушкинским репертуаром: «Граф Нулин», «Цыганы», «Пиковая дама», «Египетские ночи».

— Как? — изумился Сергей. — А ваша путевка в Остафьево?

— Тю-тю моя путевка в Остафьево — я уж ее отдала Ленке. Так что вы останетесь на два месяца и без меня, и без жены. Не жалеете, Сережа? Не надо жалеть! Пусть она там играет в крокет и строит глазки студийцам, а мы с вами встретимся где-нибудь на снежных отрогах Алатау. Я сегодня в филармонии все смотрела на карту и вспоминала мое путешествие в горы за синей птицей. С удовольствием опять увижу их! Ага, хорошая новость! Сережа, одна тетка мне сказала, тут где-то есть «Вастэчный рэсторан под аткрытом нэбом». Так не промочить ли нам горло добрым глотком старого бургундского, да? Ну так пошли искать!

III

После ресторана им стало еще веселее. Они до прозрачных сумерек бродили по холмам и редким перелескам... Сначала слушали, как в густой лиственной чаще то заливается флейтой, то орет, как кошка, иволга. Затем они посидели в густом ивняке возле пруда, сплошь покрытого ряской и засоренного серебристым ивовым листом, потом посмотрели и послушали лягушек. Тут Нина прочитала Сергею «Египетские ночи», и он сказал: «Вот стерва!» — и так ловко угодил камешком в лягушку, что она только перекувырнулась, блеснув мраморным брюшком. Под конец они нарвали по громадному букету одуванчиков, лютиков, ромашек и каких-то бурых липучек и, усталые, разгоряченные, пошли к станции. Сережа

был в ударе (Нина его всегда перепивала), махал руками и о чем-то горячо рассуждал. Она шла рядом, смотрела под ноги и молчала. И только когда они стали подходить к шоссе, он заметил, что с ней что-то неладное.

— Ниночка, что это вы? — забеспокоился он. — А я, дурак, распелся, как кенарь!

Она подняла на него медленные глаза.

— Ну что? — нежно наклонился он над ней.

— Уходит что-то из меня, Сережа, безвозвратно уходит. Вот с режиссером поцарапалась, а стала дома проверять перед зеркалом сцену на балконе и вижу: не поднять мне ее — режиссер-то прав — не то! Вою, а не люблю! В середке пусто!

— Как, Ниночка, пусто?

— Пусто, и все! Где надо любить, я скрежещу, как плохой патефон. А любви-то и нет!

Они помолчали.

— Вы знаете, я сегодня до вас встретилась с одним мальчишкой, и он даже не захотел говорить со мной.

— Этого не может быть, — решительно сказал Сергей, — значит, попался вам дичок.

— Нет, Сережа, просто что-то из меня уходит. Вот они и боятся меня.

Он с изумлением смотрел на нее — ведь она только что смеялась.

— И глаза стали на мокром месте — вот, полюбуйтесь, пожалуйста, на истеричку.

— Нина... — начал он и осекся. Она стояла, опустив голову, и концы губ и щек у нее часто вздрагивали.

— Дорогая моя, — сказал он ошалело, и тут она закрыла лицо руками и тихо опустилась перед ним на колени.

— Нина, миленькая, что вы!.. Ну, голубушка.

Он стоял перед ней тоже на коленях, но почему-то не смел до нее дотронуться, вообще ничего, ничего не мог поделать.

А по дороге за кустами вперегонки ехали веселые велосипедисты, смеялись, перекликались, и никто из них ничего не заметил — это страшно, когда женщина плачет так тихо и без слез: ее тогда ничем не утешишь.

Глава 5

I

Дошла эта статья и до Екатерины Михайловны.

Она пробежала ее утром в ординаторской и быстро подумала: когда же он успел ее написать? На минуту ее взяло раздумье: правильно ли она поступает, уходя? Время-то еще есть! Она может нагнать его и заявиться к Григорию в Джуз-Терек, сказать, что она поругалась со всеми, ушла из клиники и больше никогда, никогда не встретится с этим негодяем. Ее толкнула ревность, она знала про эту ар-р-тистку! И мучилась! Впрочем, ничего не было, одни прогулочки и — милый, прошу тебя, уедем отсюда, я сама не понимаю, что здесь творится. А помнишь, как хорошо было в клинике? Я приходила к тебе после дежурства, все больные уже спали, а мы... Какие рассказы ты мне тогда рассказывал! Какие стихи читал! Милый, уедем!

Но тут пришел профессор и спросил:

— Прочла?

— Прочла! — ответила она суховато (ее бесил его тон). — Прекрасная статья!

— Да, он таки талантливый человек, — удивленно возразил профессор, — и, я вижу, сумеет извлечь толк из всех своих тополей. Авто и дача под Москвой у него будут. — Она смотрела на него, и он слегка дотронулся до ее плеча. — Так что ты вообще, может быть, делаешь ошибку, подумай-ка, сейчас такие в большом ходу!

Если бы он не сказал так, она и сегодня, конечно, поломалась бы: «Подожди, успею переехать — не горит у тебя» или даже окрысилась бы: «А ты как думаешь, могу я все бросить и уйти? Вот возвратится он, уж тогда...» Но сейчас она ответила просто: «Не говори мне глупостей!»

Ее раздражал и пугал его тон, и она понимала — надо кончать, с Григорием уже ничего не выйдет, а на этом (ему 52 года) она еще покатается. И окончательно решив, с кем она, Екатерина Михайловна наорала на профессора, побила какие-то стаканы, изорвала чьи-то письма и под конец разошлась так, что в скандальном вдохновении рухнула в обморок. Но профессор был очень тактичен, ибо понимал, что дело идет начистоту и на полный расчет и надо же ей найти какую-то форму перехода, поэтому он сейчас же забегал: щупал пульс, расстегнул кофточку, положил под голову подушку, чтоб она не исколотилась, поил холодной водой и под конец, когда она открыла туманные глаза, так естественно воскликнул: «Фу, ну как же ты меня испугала!» — что она подумала: поверил! Тогда она окончательно пришла в себя, встала, и они начали сговариваться о всякой всячине: о переезде, о шофере, о том, что ей взять, а что оставить ему. Он морщился и говорил: «Да, господи, оставь все, и платья не бери, все купим». А она задорно отвечала: «Действительно, вот нашел дуру — и не подумаю!» Они снова поспорили, но уже весело, и профессор продекламировал:

Отдал книги,
Отдал полки...
Не оставил ничего!
Даже мелкие осколки
Отдал сердца своего.

Всё взяла.
Любую малость —
Серебро взяла и жесть.
А от сердца отказалась.
Говорит — другое есть.

Она знала, что это стихотворение Уткина, но из деликатности все-таки воскликнула:

— Очень красивые стихи, — это твои?

Он засмеялся, и поцеловал ее в нос, и не сказал ни нет, ни да, а она обняла его за шею.

Так весело кончился этот тревожный день.

II

А через неделю прямо из пустыни приехал Григорий. Он был в пыли, в соли, в солнечных ожогах, огрубелый, обгорелый, как черт. Соседи молча отдали ключ. Дверь отскочила сразу же. Пахнуло запустением. Он вошел и очутился среди этой пустоты. Она унесла все, что считала своим. Так, кровать стояла ободранная, без пикейного одеяла. Со стен исчезли ковры. Она увезла «Княжну Тараканову», его милую «Аленушку» и оставила «Апофеоз войны». С полок исчезла беллетристика, стихи остались. Из буфета ушел весь фарфор. Под японской вазочкой с бессмертниками лежала записка: «Григорий Иванович, продумав наши отношения, я решила, что...» Он дочел ее, сунул в карман и зашагал по ободранному полу. Зеркало отразило кривую, как будто высокомерную улыбочку и такое лицо, что он поскорее отвернулся. Ну что ж, конечно, он должен был ждать этого давно, и хорошо, что так вышло, это просто нервы разыгрались — ушла и хорошо сделала. Насильно мил не будешь.

И он сидел за столом, улыбался и чертил на обратной стороне записки домики — один, другой, третий. Так его и застала Шура. Она только что сошла с самолета и ничего, конечно, не знала, но, войдя в ободранную квартиру, сразу поняла все.

— Григорий Иванович, — сказала она ему тихо в спину (дверь квартиры была отперта, и ей не встретилась даже домработница).

Он обернулся.

— Вот, Шурочка, — сказал он горько и улыбнулся опять. — Вот, милая Шурочка, видите, что получается? Любил ее, жил с ней, а... — И он так жалко и беспомощно улыбнулся, что она ринулась к нему, охваченная острейшей женской жалостью, сразу позабыв все остальное.

— Григорий Иванович, Григорий Иванович, — бессмысленно повторяла она, — ушла — и бог с ней! И пусть!

Пусть! На здоровье! Неужели вы без нее не проживете? Да кто она такая? Что она из себя воображает? Что? Простая домохозяйка, а вы!.. — и не нашла слов.

— А я просто дурак, Шурочка, — мягко докончил он.

Она остановилась, продолжая улыбаться, и вдруг зажглась снова.

— А вы знаете, сколько в Москве говорят о вас? Вы знаете, что в Джуз-Терек вылетела киноэкспедиция? Я ведь только что... — и посыпала, и посыпала.

Они стояли в разгромленной квартире, среди мебели, ободранных стен, чистого белья на стульях, грязного белья в опрокинутых корзинах, но разговор уже шел про Бактриану, Согдиану, и опять замелькали «раскоп первый», «раскоп второй», «посуда зеленого и белого полива», и вдруг среди какого-то очень делового соображения он посмотрел на нее и испуганно отшатнулся.

— Шурочка, какие же у вас замечательные глаза, за такие глаза будут отдавать головы.

— Что?! — удивилась она. — Го... — но вдруг вспыхнула до последней веснушки и огорчилась.

— Ну какие глупости, честное слово! — сказала она. — Глаза у меня вовсе болят от песка — буду вот зеленкой мазать.

— Не надо! Не надо их мазать зеленкой, — произнес он мучительно. — И вообще вам ничего больше не надо: вы очаровательны и так... — И, наклонившись, он стал целовать ее руки.

И вдруг она радостно воскликнула:

— Да стойте-ка! Ведь у меня для вас что-то есть! — Раскрыла сумочку и протянула ему узкий фиолетовый конверт.

«Дорогой Григорий Иванович! Вчера весь вечер проговорила с Вашей очаровательной ассистенткой. Много говорили о Вас. Очень мне хотелось поцеловать ее на прощанье или хотя бы погладить по головке, — да не решилась, — кажется, она очень строгая девушка.

К концу недели буду где-то в ваших краях. Встречаться нам с вами пока не надо, но написать я вам собираюсь многое. Шура мне дала ваш адрес не домой, а на институт. Так, говорит, будет лучше. Пока всего хорошего. Вся Ваша Н.».

Он поглядел на Шуру и протянул ей письмо.

— Не надо встречаться, Шурочка, а?

— Вся ваша, — гордо ответила ему Шура, возвращая конверт. — Ваша, — и подняла палец, — вся!

III

Нина стоит у окна и смотрит на степь. Несутся, несутся мертвые, словно посыпанные желтой солью, холмы и лысины дюн, трава сухая, тонкая и длинная, как лошадиный волос, и вдруг среди нее вспыхнут желтые и красные тюльпаны.

Поезд останавливается — дощатые строения и раскаленная насыпь — возле насыпи стоит верблюд, на нём сидит казах в белом войлочном колпаке, лицо у казаха блестит, и он, улыбаясь, смотрит на поезд, и вот опять побежала степь, степь, телеграфные столбы с разомлевшими лохматыми беркутами, развалившиеся от степного жара глиняные строения, и опять ничего. Только иногда взыграют перекати-поле и наперегонки летят к поезду, но он проходит, они садятся на насыпь и, как черепахи или крабы, пристыженно расползаются в разные стороны.

Нина пробует читать, но глаза смыкаются, и книга валится из рук. Степь убивает все — она тянется, тянется, тянется, и не хочется ни говорить, ни думать. Но мысль не засыпает, не успокаивается: только закроешь глаза — и все недоговоренные разговоры начинаются сначала. Вот и ты живешь, как эта степь, — только у тебя и тюльпанов нет. Верность! Кому она нужна? Что ты пыжишься и декламируешь? Глупо — и все!

«Она мне нужна самой! Я не из тех, кто моет шею только ради тети Хаи. Может быть, я пойду на крупное преступление, но в лужу, к свиньям, ты меня не затянешь. Тебе это смешно, Леночка? Ну что делать – у всякого свое!»

«Красиво, красиво ты говоришь, Нина Николаевна, но знаешь, кто ты такая? Ты позерша в любви, хочешь дать со сцены то, чего у тебя самой в жизни нет. Джульетта-то у тебя не вытанцовывается, режиссер-то прав, дорогая, а то с чего бы ты и плакала на Сережкиной жилетке? А Сережа-то мой муж, между прочим, а то у тебя и поплакаться-то некому?! Подожди, скоро отберут у тебя героинь и будешь ты играть трагических старух – вот тогда и шипи на здоровье, разборчивая невеста!»

«Ах, отстань, Ленка! Какое тебе дело, что я буду играть, что делать? Сама-то ты больно хороша!»

Она вышла в тамбур. Поезд летел через черную степь, в теплой степной мгле, то вдали, то совсем близко, полыхал совершенно белый огонь – это на степных озерах выжигали старый тростник. Проводник с фонариком и какая-то женщина осматривали пол.

– Потеряли что-нибудь? – спросила Нина.

– Да вот, – ответил проводник снизу, не поднимая головы, – гражданочка вроде как здесь часики где-то обронила.

Он посмотрел еще с минуту и потом решительно сказал:

– Нет, здесь нет! Смотрите в купе.

– Господи, – воскликнула женщина, – это же подарок мужа. Он с меня теперь голову снимет! – и ушла, всхлипывая.

...А вот с меня никто не снимет головы, хоть разбросай все горстями, хоть пустись во все тяжкие – только Ленка захохочет. А как все-таки плохо, когда ты все только своя и не с кем тебе считаться, свободна! «По-

стылая свобода» — так писали о ней Пушкин и Блок. Надо, чтоб хоть раз в год, что ли, кто-то стукнул на тебя кулаком и приказал: «Это куда ты разлетелась? А ну-ка, снимай пальто — всё! Никуда ты сегодня не пойдешь! Будешь сидеть со мной», — и ты порычишь-порычишь и останешься.

Снова кошачьей поступью вошел проводник и постучал в соседнее купе.

— Джуз-Терек через один пролет, — сказал он через дверь.

Нина быстро обернулась.

— Джуз-Терек?!!

— Да! Вылезают тут двое, — ответил проводник, — фотографы, что ли.

Дверь распахнулась. Длинный рыжий сухой человек, в пижаме и с сигарой в руках, показался на пороге.

— Мы вас... — начал он и, увидев Нину, попятился и прихватил пижаму на рыжей волосатой груди. — Извините, совсем обалдел со сна... Мы вас попросим, — ласково обратился он к проводнику, — помогите нам сгрузить чемоданы, а то там стекло — их бросать нельзя.

— А машины разве там у вас не будет? — спросил проводник. — А то ведь это только название, что Сто Тополей, а там земля, да небо, да черепахи. Хорошо! Все сделаем.

— Вы едете в район раскопок? — спросила Нина.

— Так точно! — по-военному ответил человек в пижаме и поклонился.

— Так вот, там есть Макаров, если бы вы были любезны передать ему пару строк. Я сейчас напишу.

Он отворил дверь купе.

— Заходите, пожалуйста! Вот вам ручка, вот бумага, пишите.

IV

Серебристый транспортный самолет делает круг и садится. Шура открывает дверь и вышвыривает часть тюков. Возле белых, желтых и зеленых палаток стоят люди — десятка три полуголых, обуглившихся землекопов с ослепительными заступами, препаратор в сетчатой безрукавке, десяток сотрудников — все они машут руками. В стороне гости. Один курчавый, в черепаховых очках, другой сухой, желтый, курит сигару, остальные стоят над разложенными инструментами.

Григорий спрыгивает на землю. К нему чинно подходит завхоз. Это высокий, совершенно желтый казах в полосатом халате и черно-белой тюбетейке. Он улыбается и показывает длинные тигриные клыки.

— Тут у нас гостей, Григорий Иванович, гостей! Всё требуют: «Покажи да покажи», а мы говорим: «Вот уж как хозяин приедет!»

— А хозяина-то все нет и нет, — вставляет препаратор, студент 4-го курса, — он из пустыни прямо в город махнул — непорядок!

— Ну, зато теперь уже будет полный порядок, — строго улыбается Шура. — Здравствуйте, Кирюша! Нате-ка тюк! Но осторожнее, здесь реактивы! Тащите пока ко мне!

— Есть тащить к вам, — отвечает препаратор и ставит мешок себе на плечо.

Землекопы и сотрудники расхватывают остальное.

К Григорию подходит высокий красивый мужчина, лет тридцати пяти, чем-то похожий на Байрона. Он держится по-военному, и даже в эту убийственную жару, когда все тает и течет, на нем сапоги и френч.

— Александра Владимировна меня игнорирует полностью, — говорит он, сдержанно улыбаясь. — Так вот разрешите отрекомендоваться (он называет свою фамилию). Я тот журналист, который будет о вас писать.

— Ой, Сергей Иванович, — покаянно и радостно восклицает Шура, — как же я вас не заметила?!

— Хорошенькие девушки тебя уже не замечают, Сергей, — говорит рыжий, сухопарый и картинно перебрасывает сигару из одного угла рта в другой. — Режиссер студии хроникальных фильмов Гуляев. — Он делает округлый жест. — Наша группа, мы уж тут метров двести накрутили.

В стороне Шура и Сергей о чем-то быстро судачат.

— Пока вас тут, Шурочка, не было, мы тут похозяйничали. Заняли вашу палатку.

— Да? — Она все смотрит на него.

— Да! И знаете для кого? Для Нины Николаевны — она тоже тут.

— Ка-ак? — Шура быстро оборачивается к Григорию. Но его уже нет.

V

— Нина! — сказал он почти подавленно и тихо, еще ничего не разбирая в брезентовых сумерках.

Нина подняла с постели голову, и он увидел ее глаза, щеки и растрепанные волосы. Она только что проснулась.

— Ой, это вы! — неловко улыбнулась она. — Здравствуйте, Григорий Иванович. Я без вас тут...

Он молчал и остолбенело смотрел на нее.

— Ну, постойте-ка, я встану, — сказала она смущенно и села. На ней был простенький ситцевый халатик Шуры. — Такая жара! — И она стала голыми руками поправлять волосы.

— Не вставайте! — взмолился он. — Полежите еще так, а я... Ой, там же люди! — Он слепо метнулся к выходу. — Одну минуточку! — Пробежал несколько шагов и вернулся. — Но вы только не вставайте, ладно? Я сейчас вам коктейль... — И вдруг опустился перед ней на колени. — Нина! Скажите мне хоть что-нибудь! Я ведь глазам не верю!

— Совсем с ума сошла баба — вот что! — ответила она сердито, смеясь. — Ехала на гастроли, афиши были за-

казаны — все честь честью, и вдруг ночью сошла на полустанке и вот уж потеряла два дня.

Он исступленно смотрел ей в лицо и молчал, она положила ему на плечо руку.

— Дорогой, ну что у вас дома? Шура мне рассказала кое-что — плохо там, кажется, да?

— Хорошо! — ответил он не думая. — Она ушла и все обобрала.

С десяток секунд они молчали.

— Ну ничего, — решила Нина. — Бог с ней, а? Я так думаю... — Она не договорила. Тут он протянул руки и очень осторожно обнял ее. Она молчала, но у нее было такое чувство, словно чудесное дерево подняло ветви и зашумело всей листвой.

Вот как Джуз-Терек — те Сто Тополей, именем которых кто-то в насмешку, наверно, окрестил эту чертову степь. Ведь и они тоже поднимутся здесь когда-нибудь!

ЧУЖОЙ РЕБЕНОК

1

Журналисту Николаю Семенову на другой день после его возвращения из командировки позвонили из театра и пригласили на вечеринку.

«Где?» — спросил он. Ему ответили: «У Нины Николаевны, но не вечером, а часов в одиннадцать, после конца “Отелло”, а то она сегодня занята». — «А в чем дело? — спросил он. — Что за спешка?» Ему не ответили и повесили трубку. «Странно», — подумал он, но на вечеринку пошел. Театр существовал недавно, собственного дома у него еще не было, актеры помещались в старой гостинице, и Нина Николаевна занимала номер люкс. У Николая были кое-какие сомнения, но когда он вошел и хозяйка, улыбаясь и протягивая руки, пошла к нему навстречу, он сразу же и успокоился: видимо, пока все было в порядке. В длинном белом платье и с золотым обручем в золотистых же волосах, высокая, голубоглазая, с продолговатым чистым лицом, похожая не то на васнецовскую Аленушку, не то на женщин Боттичелли, она была очень хороша и знала это.

— Здравствуйте! — сказал Николай, сдержанно кланяясь.

— Ручку, ручку целуйте! — испуганно приказал Народный.

— У девушек рук не целуют, — напомнила Елена Черная, нервная и худая дамочка — она сидела нога на ногу и курила.

— Ну, положим, у заслуженных все целуют, — ответил Народный, и все засмеялись и зашумели.

— Что такое? — спросил Николай обалдело.

— Узнали перед спектаклем, — ответил Народный расслабленно, — это в двадцать один год! Горжусь, что моя ученица... — Нина не была его ученицей. — Как говорит великий Станиславский, «пусть старая мудрость поддерживает молодую бодрость, пусть молодая бодрость поддерживает старую мудрость». Я тоже старик — и счастлив. — Он был уже здорово на взводе.

Нина сделала полуоборот перед зеркальным шкафом и слегка присела перед Николаем. Он хотел что-то сказать, но в это время в дверь постучали.

— Да! — крикнула Нина.

Просунулась чья-то лохматая голова и сказала: «Ах, гости», — и исчезла. Нина вздрогнула и перестала улыбаться.

— Кто это? — спросил Николай.

Нина подумала, сказала: «Я сейчас!» — и вышла.

— Это что еще такое? — спросил Народный; он сидел на диване и вполголоса разговаривал с толстой усатой дамой — комической старухой. Она ничего не ответила, только значительно улыбнулась.

— Очень странно! — проговорил Народный, глядя на нее.

— Ах, у всех у нас есть, в конце концов, свои печали и несбывшиеся мечты, — лирически вздохнула комическая старуха. — Ну так чем же он вам не понравился в этой роли?

— Мне он... — начал Народный. — Да нет. Куда она пошла? Кто это такой? Что за тайны мадридского двора?!

— Гинеколог! — отчетливо и хлестко, как умеют произносить такие слова только женщины, выговорила Елена. — У нее всегда такие истории не ко времени.

Влетел стремительный молодой человек в серебристом плаще, роговых очках и мягкой шляпе, весь уты-

канный розовыми свертками и бутылками. Он дошел до стола, свалил все это и спросил:

— Хозяйка?!

Усатая дама ткнула пальцем в стену. Он нахмурился, но ничего не сказал. Вошли еще двое, потом еще трое, потом две женщины, потом кто-то толстый и красный, и ему все обрадовались и захлопали. Николай за шумом тихо вышел в темный коридор. Дверь в соседний номер была открыта, и на полу лежала яркая желтая полоса; кто-то осторожно, но тяжело ходил по комнате. Николай подошел поближе, и ему показалось, что он слышит ее голос. В это время дверь вдруг распахнулась, и человек, всклокоченный, плохо побритый, с заспанными кислыми глазами и носом, как у лося (его, верно, так и дразнили в школе), недружелюбно спросил: «Вам что?» — но сейчас же и пригласил: «Пожалуйста, пожалуйста». Отступать было некогда, и Николай прошел в комнату.

— Сюда, сюда, — сказал Лось и открыл еще дверь.

Это была крошечная комната, оклеенная белыми глянцевыми обоями. Нина сидела на низком детском кресле, тоже белом, рядом стояла кровать в сетке, и на руках у нее лежала чудесная пышноволосая девочка. У девочки были горящие щечки и сонные закрывающиеся глаза.

— Вот... — громко начал Лось.

— Тсс!.. — погрозила ему Нина. — Она уже засыпает. — И снова запела: — И пошла, пошла Лисичка-Сестричка, постучала рыжей лапкой и спрашивает: «Теремок-теремок, кто в тереме живет?!»

— Я, Мышка-Норушка, я, Лягушка-Квакушка, я, Зайчик-По-Полю-Поскокиш, — сонно сказала девочка и открыла огромные голубые глаза. — Нина, а как же черта нет, если ты говоришь — он мохнатенький?

— Спи ты, маленькая, — шепотом прикрикнула на нее Нина. — Какой там черт, раз я с тобой? Слушай вот про Лисичку-Сестричку. Вот и отвечают ей... я сейчас, Николай Семенович.

— Да ты не уходи,— вдруг сказала девочка и посмотрела во все глаза, — а то я опять зареву!

— Нет, нет, — заверила ее Нина, — никуда я не пойду! И отвечают ей из теремка...

Николай продолжал еще стоять (Лось провалился сразу же), но она махнула ему рукой, и он вышел.

Лось сидел за столом и пил чай из стакана. Грязный никелированный чайник стоял рядом.

— Чайку? — предложил он.

— Спасибо! — ответил Николай неловко.

— Неудобно все это получается, — вздохнул Лось и как-то виновато и косо улыбнулся. — Садитесь, пожалуйста. Они сейчас. Вот послала за ней. Не хочет засыпать без тети Нины, и только. А там что? Беспокоятся?

Николаю вдруг стало жалко его.

— Нет, я просто проходил по коридору, — сказал он мирно.

— Вы садитесь, пожалуйста, они сию минуту. — Лось вздохнул. — Не может моя девочка прожить без нее и дня. Вот сегодня не видела ее и уж плачет. Всякие там у нее страхи, наслушается на дворе про чертей и скелетов, а потом и боится.

— Да, двор — это уж... — неловко согласился Николай.

— А матери нет! — опять вздохнул Лось. — Оставила нас мама.

— Умерла? — спросил Николай и спохватился.

— Сбежала! — ответил Лось. — То есть как сбежала? Ушла — и всё!

Оба помолчали.

— Насильно мил не будешь, — вдруг очень широко и хорошо улыбнулся Лось. — Ведь правда?

«Уйти!» — подумал Николай и вдруг спросил:

— А вы долго с ней жили?

— Пять лет! — ответил Лось. — Нет, даже больше — пять лет три месяца. — Он помолчал, подумал. — Актриса была. Вот они, — он кивнул в сторону белой комнаты, — с ней в Москве учились.

«Чепуха! — быстро подумал Николай. — Там гости, а мы тут черт знает чем... И хотя бы он уж не улыбался». Тут он увидел, что часть комнаты заставлена женскими безделушками: настольным зеркалом в виде палитры, эмалевой пудреницей, туфелькой для иголок, вешалками-плечиками для платьев, солнечным зонтиком. Это почему-то опять задержало его.

— А девочка не понимает, что мама от нас отказалась! Знаете, детское сознание, — говорил Лось, улыбаясь.

Из комнаты, пятясь, вышла Нина и осторожно и бесшумно прикрыла дверь.

— Спит! — сказала она Лосю. — Вы пока не заходите.

Она подошла к зеркалу и что-то подняла с подзеркальника.

— Я вам так благодарен, — сказал Лось, глядя ей в спину тихими влюбленными глазами.

Она звонко дунула на пуховку, посмотрелась в зеркало и сказала Николаю:

— Идемте! — И Лосю: — Если что понадобится...

— Да, да, да, — закивал головой Лось. — Не знаю, как вас и...

— Так раздевайтесь и спите, — ласково улыбнулась Нина. — Спокойной ночи!

Вышли в коридор. Она быстро пошла вперед, чтобы не разговаривать.

— Ну, Нина, — решительно начал Николай, останавливаясь перед дверью.

— Потом, потом, — сказала она и толкнула дверь.

2

— Ну, итак, прошу! — возгласила дама с усиками — она стояла над столом, и ей подавали бутылки, тарелки, чашки.

Снова сначала затрещал, а потом запел патефон. Николай посмотрел, подумал и сел рядом с Еленой. Тут на колени ему вспрыгнул кот тигровой масти.

— Ох! — поморщилась Нина с другого конца стола. — Бросьте вы его...

— Блажен иже и скота милует! — улыбнулся Николай и поцеловал кота в нос.

— Ну, положим, Нина их никогда не миловала, — сказала Елена и стала гладить кота. — Не пойму, как она еще этого-то держит. Она столько их в детстве перетопила.

— Нет, правда? — удивилась усатая старуха.

— Правда. Не терплю этих тварей, — ответила Нина серьезно.

— А почему? — спросил Народный.

— Да не люблю, и всё! — отрезала Нина. — Вот когда я, верно, получу по заслугам и останусь старой девой...

И все засмеялись и зазвенели посудой.

— За ваше, Дездемона! — крякнул Народный. — Нет, это я так, со зла сказал, старой девой вы не будете! — Он поднял бокал. — Но дай бог вам скорее выйти замуж и избавиться от всех этих аномалий.

— Это каких же? — быстро спросила Елена.

— А вот этих самых... — Народный поискал слово. — Гинекологических.

Снова все засмеялись.

— В самом деле, — продолжил Народный и обратил к Нине почти фиолетовое лицо. — Ну, сбежала жена от этого гуся, детеныша ему подбросила, дальше-то что?

— Ребенок тяжело переживает это, — сказала Нина суховато.

— Ну?!

— Снятся ей всякие страхи.

— Ну?!

— Плачет по ночам и...

— Офелия, иди за гинеколога, — решил Народный. — Иного выхода нет!

— И выйду! — вдруг огрызнулась Нина.

— И выходите, — запальчиво сказал Народный и обратился к Николаю: — Нет, в самом деле: ну сегодня она

пойдет посидит, завтра посидит, ну неделю, ну, ладно, пусть месяц, а потом что? Привыкнет девочка к ней...

— И гинеколог привыкнет, — сказала усатая дама.

— И Нина — к гинекологу, — вставила Елена.

— А, по-вашему, что надо делать? — спросила Нина.

— Кому? Ему? — Народный пожал плечами. — Ему — не знаю что! Ну, судиться, или жениться, или пулю в лоб пустить, или, еще лучше, няньку нанять — это уж его дело. А вам — бросить вмешиваться в то, что вы никак не понимаете. Что это, кукла, что ли? Девочке нужна мать, а вы кто? Так, добрая тетя! Хотите ребенка? Выходите замуж и рожайте сами, вот и всё!

— «Рожай мне только мальчиков одних», — продекламировала Елена, смотря на Николая.

— Знаешь что, Ленка... — Глаза Нины блеснули, и она хотела сказать, видимо, что-то очень злое, но тут подошел молодой человек в роговых очках, обнял ее сзади за плечи и что-то зашептал. Она вдруг засмеялась и встала.

— Танцевать! Танцевать! — сказала она. — Елена, иди к патефону, сейчас я вам покажу кукарачу — три недели практиковалась!

3

Разошлись уже под утро. Николай довел Елену до парадного, поцеловал ей руку (она спросила: «Не зайдешь?») и пошел домой, но, не доходя квартала, вдруг повернул обратно.

Быстро светало. Кое-где за деревянными воротами кричали петухи. Воздух был чистый и тонкий, как ледок на лужах.

Возле самой гостиницы Николай было остановился и задумался, потом махнул рукой и пошел. Дежурная спала в застекленной конторке. Он на цыпочках прошел по коридору, прислушался — было очень тихо — и постучался в белую дверь.

— Да! — ответили ему.

Он толкнул дверь и вошел. Нина в розовом халате с цаплями стояла перед зеркалом и мазала лицо.

Два белых червяка лежали у нее на щеках и подбородке. Она, не оборачиваясь, улыбнулась ему в зеркало.

— Ну и умница, — сказала она.— А я думала, что ты уж не придешь.

— Почему? — спросил он, прошел и сел за стол.

— Голова гудит от этого треска, — сказала она, сильно втирая крем. — И особенно от патефона. Терпеть не могу патефоны. Подожди, сейчас будем чай пить.

— Еще раз?

— Теперь вдвоем! Постой-ка! — Она подошла к столу, подняла крышку чайника и заглянула в него.— Ну, твой любимый! Как деготь! Опять спать не будешь! — Она села. — Достань свой стакан — он на второй полке! Ну, так чем же ты недоволен?

— Почему ты думаешь, что я... — начал он.

— Ничем? — спросила она в упор.

— Нет, я просто...

— Ну, ничем, так ничем. — И она засмеялась.

— Что ты? — спросил он недоверчиво.

Она подошла сзади и обняла его за шею.

— Глупый ты мой, — сказала она нежно, щекоча носом его затылок. — Приревновал меня к этому чудику и просидел целый вечер букой, даже сесть со мной не захотел.

— Ну ладно, пусти!

— Сердитый, злой, ревнючий, приревновал к гинекологу — зачем, мол, она к нему бегает, что там за девочка. — Она засмеялась. — Я еще подумала: так заелся, что даже меня дразнить не стал, — ну и хорошо, а то бы житья от него не было.

— Подожди, подожди, — погрозил он, — вот я сейчас попью и начну тебя причесывать.

— Да? Ну пей тогда! А ты не замечаешь — я немного навеселе. «Уж я пила, пила, пила и до того теперь до-

шла», — пропела она, кого-то передразнивая. — Похоже на Елену?

— Не слишком! — Он подвинул ей стакан. — Налей-ка! Ты мне серьезно можешь объяснить, зачем тебе все это надо?!

— Люблю ребят.

— Ну и...

— Ой, только, ради бога, не нукай! Не копируй этого пошляка! Я еле усидела во время его речи. Ты и не представляешь, что за замечательные люди эти ребята.

— Да, но пойми, не твое это дело.

— А чье? — спросила она.

— Да не твое же — у нее есть мать.

— Где мать? — спросила она быстро.

— Не знаю, не знаю, но он был прав: частной благотворительностью здесь ничего не сделаешь.

— Давай стакан, я налью ликера — стой, чокнемся — будь здоров! Теперь слушай: девочку я не брошу и разговаривать с тобой об этом не хочу.

— То есть как?

— А вот так — не хочу, и всё! Девочке я нужна, и поэтому я буду с ней.

— Экая ты не...

— Постой! Вот ты кошек любишь, а я их ненавижу: видеть не могу их крысиные морды. А вот этого Ваську — наглейшего кота, между прочим, — я держу, и смотрю за ним, и убираю сама, потому что знаю — придешь ты и спросишь: «А Васенька мой где?»

— Ну ладно, что ты волнуешься? Вот чудачка. — И он примирительно протянул ей руку через стол.

— А я женщина! Я мать! — проговорила она, не принимая его руки.

— Ты? Ты мать?

— Да, я мать. Эх, вот не понять тебе этого! Умный ты человек, и Шекспира знаешь назубок, и в театральных тонкостях разбираешься лучше всех народных,

а этого не поймешь. Мне вот каждое слово напоминает. «Каин, Каин, где брат твой, Авель?» «Нина, Нина, где твой ребенок: у тебя есть любимый человек, ты живешь с ним — где же твой ребенок? Подавай его!» Что я могу ответить?

— Странно, — сказал он, насильно улыбаясь. — Ну, ну?

— Что ты мне дал, мужчина? Молчишь: стыдно говорить — что. Вот поэтому я и ласкаю мою нерожденную девочку, люблю ее, а чем это кончится — не знаю.

— Ну вот, договорилась! Не знаешь и сама...

— Да, я не знаю. — Она вдруг так нехорошо засмеялась, что он в испуге поглядел на нее. — Да я и вообще-то в жизни ничего не знаю. Вот тебя люблю и тоже не знаю, зачем, а ведь всему есть конец, таким отношениям — прежде всего. А я люблю и люблю, а там — что бог даст.

Помолчали.

— Нина, — сказал он озадаченно и тепло, — что с тобой, голубушка?

Она молчала.

— Это уж что-то совсем не то... ну-ка, расскажи мне.

— Молчи! — быстро приказала она сквозь зубы и вдруг встала. — Ну ладно, хватит — давай делать ночь.

— Но все-таки ты меня любишь и такую.

— Люблю.

— И я тебя очень, очень люблю — подожди, не надо! Полежим так. Знаешь, мне сейчас спокойно-спокойно, как в детстве. Поцелуй меня! Нет, в глаза. Теперь в этот! Вот, хорошо! Теперь я всегда буду тосковать о тебе — помни, если ты исчезнешь опять, я умру.

— Я не исчезну.

— Не знаю. Странный ты человек — приручить такую дикую кошку — и вот даже не пойму, когда и чем. Слушай, ты жил с Еленой?

— Нет!

— Нет, скажи правду, я не рассержусь.

— Что это тебе вдруг пришло в голову?

— А я вот не представляю тебя с другой! Ну как бы ты с ней стал лежать, обнимать ее, разговаривать? Ух!!

— Что с тобой? Что ты вскочила?

— Нет! Представляю! Все представляю — и что говорил, и как обнимал бы! Скажи, ты вот часто недоволен мной, а Елена что — лучше меня в этом?

— Какие у тебя дикие фантазии!

— Да! У меня дикие фантазии. Кто была твоя первая женщина?

— Ты!

— Это была ваша домработница?

— Откуда ты...

— Сам же мне рассказал под мухой, ей было двадцать, а тебе четырнадцать. Милый, не ври, пожалуйста, я все знаю. Скажи, это было...

— Это было отвратительно. Я целый день прятался от матери.

— Мать имела в твоих глазах такой моральный авторитет?

— В том-то и дело, что нет, но...

— Но все-таки ты прятался. Ах, как я это понимаю. *(Пауза.)* Она была очень опытная?

— К сожалению, да.

— К сожалению! Этому, наверно, надо учиться. Так эту пакость не постигнешь, да?

— Нина!

— И вот ты стал специалистом, и я тебе уже не подхожу. Не трогай, а то я сейчас же встану. Как это гадко! Боже мой, как это гадко! Вот почему вы все такие: любите собачек, кошечек, птичек — и не любите детей. Это ведь такие же проститутки, как и вы. А где вам понять ребятишек — вы все свое размотали по номерам, по этим гнусным малинам.

— Нина!

— Как ты смел ходить ко мне, если жил с Еленой...

— Нина! Сейчас же прекрати!

— Почему ты не пошел к ней сегодня?

— С ума сойти!

— Почему ты не пошел к ней сегодня?

— Нет, я вижу, ты просто перепила и хочешь поссориться.

— Она тебя не впустила, да? Тогда ты пошел ко мне: наплевать — эта безотказная — всегда впустит. Видеть тебя не могу — кошачий благодетель!

— Пусти, я встану.

— Вот-вот, вставайте — одежда в шкафу, ботинки под кроватью, галстук и воротничок на кухне. Если не найдете, я завтра пришлю их с Дашей.

— Хорошо!

— И быть таким нечестным, грязным человеком! Жить сначала с одной подругой, потом перейти к другой. И ведь ты знал...

— Под кроватью ничего нет, где мои ботинки?

— Боже мой, боже мой! И кому, зачем это нужно?

— Только, пожалуйста, не плачь!

— Не твое дело — буду плакать. Когда после первой поездки в горы ты мне сказал... А-а! Ты уж забыл все. *(Пауза.)* Ведь я тебя любила. Понимаешь, люблю! Почему ты молчишь?

— Ищу ботинки.

— Ты хочешь идти к Елене! Ложись сейчас же! Никуда ты не пойдешь!

— Нет, пойду.

— А я тебе говорю — нет, не пойдешь. Ну, милый, ну, хороший мой, ну, не надо сердиться. Я глупая, я истеричка. Я совсем, совсем ничего не знаю. Ложись, маленький.

— С ума ты сошла.

— Ложись, маленький.

— Ой, лечиться тебе надо, Нина.

— Да, милый. У-у, ты мой хороший, единственный, мой любимый — лежи, я тебя буду гладить, и ты заснешь.

— Ты же понимаешь...

— Да, да, да! Спи, спи, спи!

4

Проснулся он от того, что вся комната была залита солнцем и самый яркий блик полз у него по лицу. Он засмеялся, как от щекотки, и снова зажмурился. Так пару минут он пролежал бездумно и неподвижно, как на пляже, потом вспомнил: «А Нина-то?» — и быстро сел. Ее не было. Посмотрел на плечики — платье висело, а туфли исчезли.

«Нина!» — позвал он. Ему не ответили. Он быстро натянул брюки и пошел в соседнюю комнату, а из нее на кухню. Там на гладильной доске лежал галстук и новый воротничок, и ее опять не было. Он толкнул дверь в коридор, и она распахнулась. «Вот залетел бы кто-нибудь». Он осторожно закрыл ее и возвратился в комнату. Надел перед зеркалом воротник и стал завязывать галстук. «Когда же это она успела разгладить?»

Тут Нина быстро зашла в комнату; руки у нее были мокрые до локтей, рукава засучены, а на простом сером платье — полупрозрачный зеленый фартук.

— Уже встал? — весело удивилась она и, схватив полотенце, стала обтирать руки. — Ну, с добрым утром! Сейчас приду и будем завтракать. — Она подбежала — невероятно легки и свободны были ее движения — и шумно чмокнула его в щеку. — А галстук! Опять узлом! Постой, не затягивай — я сейчас.

Так же быстро и легко она подскочила к шкафу, опустилась на корточки, выдвинула нижний ящик, выхватила что-то длинное и твердое в серой бумаге и выбежа-

ла, опережая его вопросы. Сейчас, когда он на нее глядел со спины, она своей ладностью и статями напоминала молодого оленя.

— Послушай, куда ты? — крикнул он. Она уже исчезла.

Он рванул галстук — и точно, затянул его. «Сбесилась!» — подумал он. Васька, услышав шум, подошел к открытой двери, постоял, увидел его, отчетливо и страстно выговорил «Мяу!» и пошел к нему, тонно выгибая хвост. Николай взял его и стал гладить.

«Нет, что-то с ней творится, — думал он, щекоча коту горло. — Ребенка! Сколько ей лет? Уже двадцать два скоро. А все-таки уйдет она от меня к Лосю...»

Нина быстро вошла в комнату. Вчерашняя кудрявая и светлоглазая девочка сидела у нее на руках.

— Вот какие мы, — сказала Нина. — И зубки вычистили, и умылись.

— С добрым утром, дядя Коля, — звонко сказала девочка. — Давай с тобой играть в крокодила.

Зеленый заводной крокодил шипел и щелкал в ее руках.

Нина вся светилась: материнская гордость и нежность сияли в ее медленных, больших, почти страдальческих глазах.

Николай бросил кота и протянул руки девочке. Она сейчас же обхватила его за шею. Так они — Нина и он — и стояли друг возле друга, соединенные руками ребенка. Нина засмеялась от удовольствия.

— Ты посмотри, какой у нее крокодил!

— Какой крокодил! — повторила девочка.

Потом они сидели за столом — девочка на коленях у Николая — и пили какао. Нина, строгая, чинная, во главе стола, мазала им бутерброды. Поговорили про крокодила, про то, какой он страшный и большой и как он по улицам ходил, папиросы курил, по-турецки говорил, а потом Николай спросил:

— Ну как, Ирочка, замуж за меня пойдешь?

— Не ходи, Ирочка! — быстро сказала Нина. — Он обманет, у него «котишшша».

Ирочка подумала.

— Мне бы хотелось выйти замуж за Нину, — ответила она вежливо и решительно. — А зубки у тебя золотые, да? Почему?

— Да такие уж выросли.

— Ты свои мышке бросил?

Он кивнул головой. Ирочка задумчиво показала свои боковые щербатые резцы.

— У меня тоже скоро будут новые. Я бросила свои зубки в батарею и сказала: «Мышка, мышка, поиграй и обратно отдай».

— Ну не так, Ирочка, — упрекнула Нина. — Зачем тебе старые зубки? Как надо?

— Ах да! — вспомнила Ирочка. — «Мышка, мышка, возьми себе зуб костяной, а мне дай стальной». А у тебя золотые, да?

— Да. А кого ты больше всех на свете любишь?

— Больше всех, всех?

— Да!

— Нину!

— А почему?

— Она всех красивей!

— Ну а папу?

— Ну, и папу тоже. — В ее голосе прозвучали снисходительность и раздумье. — И папу, конечно.

— А он что, красивый?

Она задумалась.

— Папа-то? Нет! Он любит Нину, он вчера мне сказал...

— Николай, ну как тебе не стыдно? — нахмурилась Нина. — Молчи, Ирочка, а то я тебя не буду больше любить. Стой! Я тебе галстук завяжу! Пусти его, Ирочка!

Она поднялась, опустилась возле него на колени, быстро перевязала галстук, расправила воротничок и вдруг обхватила Николая за шею да так и замерла.

— Ну, Нина! — сказал он нахмурившись. — При ребенке-то? — Он всегда пугался ее порывов.

Она молчала, но он чувствовал на своих щеках жар ее щек и то, как дрожали губы.

— Тетя Нина! — недовольно крикнула Ирочка. — Ты же меня жмешь!

В это время в дверь осторожно постучали.

— Нина! — быстро шепнул Николай. — Пусти же!

— Войдите! — крикнула Нина.

Вошел гинеколог и остановился на пороге: в его руках была колбаса, банка сгущенного молока, еще что-то.

— Извините! — сказал он, отступая.

Нина оправила волосы и встала.

— Ничего, ничего, — сказала она, улыбаясь. — Складывайте все это на стол, Семен Митрофанович, и садитесь. Вы ведь знакомы?

— Немного, — ответил Лось, покраснел и замялся.

— Садитесь, садитесь! Сейчас я тебе, Ирочка, сделаю бутерброд с твоей любимой колбаской. А нитки вы мне купили?

Лось не отвечал и испуганно смотрел на нее.

«А жалкий он какой, — остро и быстро подумал Николай, — и ведь все равно она уйдет к нему».

— Здравствуйте, Семен Митрофанович, — сказал он очень громко и протянул ему руку.

Так они и сидели вчетвером, пили чай и разговаривали.

ХРИЗАНТЕМЫ НА ПОДЗЕРКАЛЬНИКЕ

I

Актриса позвонила из театра своему другу и пригласила его на просмотр.

— Но, дорогая моя, я ведь уж был на генералке, — ответил он, думая, что и отказаться неудобно, и пойти нельзя — столько работы и все спешная, — может быть, сделаем так: после просмотра я заеду за тобой, и мы...

— Ну, — холодно ответила актриса, — если вы, Николай Семенович, так уж заняты...

— Что же ты сердишься, чудачка? — испугался он. — Я к тому, что ведь я был на генералке.

— Да нет, пожалуйста, пожалуйста, — ответила она и бросила трубку.

«Начинается! — тоскливо подумал Николай, машинально беря перо и что-то поправляя на гранке. — Вот не было печали...»

Но через час, выходя из цветочного магазина с букетом розовых хризантем, он уже думал: «Конечно, я свинья! Как же так? У нее такой решительный день — будет обсуждение, придут рецензенты, фотографы, актеры из других театров, — все будут, а меня не будет — нет, конечно, она права».

Темнело. Он шел по парку. Уже зажглись фонари. Продавщица ландышей на углу сунула остановившейся против нее парочке последний букет, опрокинула корзинку на спину и вошла в цветочный магазин. В окне ре-

сторана второго разряда «Иртыш» появилась рука в манжете и повесила разноцветную надпись: «Сегодня у нас блины», а другая, женская, поставила стакан круто взбитых сливок. Заревело радио. Он постоял и решил: «Вот что — позвоню ей, извинюсь и приглашу поужинать, а то будет всю ночь киснуть, а утром просмотр». Он толкнул дверь и вошел.

* * *

В «Иртыше» еще никого не было, только в вестибюле возле золотой китайской вазы с драконами стояли двое: метрдотель с ассирийской бородкой и женщина — они тихо разговаривали. Николай равнодушно скользнул по белому шелковому пальто и красному берету с волнистой прядью волос, подумал, что он где-то все это уже видел, и хотел пройти, как вдруг метрдотель громко сказал:

— И сами знаете, пока не было такого указания, вы были у нас самой дорогой гостьей, — и развел короткими волосатыми пальцами.

Николай остановился и стал присматриваться.

Это была девушка — голубоглазая, черноволосая, тонкая, с продолговатым, очень белым лицом и бровями, прямыми, как стрелы. Он давно уж не видел ни такой яркой белизны, ни таких стремительных бровей. «Да, но где же все-таки мы встречались?» — подумал он и вдруг вспомнил: «Два года тому назад в студии — она читала тогда монолог Лауренсии, а потом что? Вышла замуж, кажется?»

— Так что уж... — виновато улыбнулся метрдотель и, отступая, сделал какой-то округлый жест рукой.

— Ну простите! — сухо сказала женщина и быстро пошла к выходу.

«Ее звать — Ирина! Она разошлась!» — стремительно вспомнил Николай и крикнул вдогонку:

— Ирина!.. — Она остановилась и посмотрела на него. — Извините, не помню, как дальше, но мы с вами, кажется, немного знакомы.

— Да! — холодно ответила Ирина, смотря на него. — Мы знакомы.

Он подошел и поклонился.

— Я случайно подслушал конец вашего разговора; вы хотели попасть в ресторан.

— Ну вот, — обрадовался метрдотель, — они пригласят вас за столик, и будет порядок. — Но посмотрел на букет и быстро добавил: — Если они, конечно, никого не ждут.

— Нет, я никого не жду, — засмеялся Николай, — и если Ирина...

— Станиславовна, — уже весело и дружелюбно подсказала она. — Здравствуйте, Николай Семенович, я помню, как вы приходили в студию с супругой.

— Ну, ну! — кивнул он головой. (Здесь было уж не до тонкостей — супруга так супруга.) — Значит, разрешите принять ваше пальто, и вы свободно можете дождаться вашего, — он сделал какой-то жест, — столь запоздавшего спутника.

— Да ведь и я никого не жду! — засмеялась она. — Сегодня день моего рождения. Идти никуда не хочется, вот я и решила потанцевать и послушать музыку, а тут какие-то новые правила.

(«А какая она стала интересная», — подумал Николай.)

— Что делать, что делать — не нами заведено, — философски вздохнул метрдотель и опять развел руками. — Ну, иду готовить вам кабину, извините, Николай Семенович. — И он побежал по коридору.

II

Они быстро разговорились — девочка оказалась очень простой и словоохотливой, впрочем, кажется, ее уже где-то подпоили. Через десять минут Николай уже знал, что сейчас она живет одна и счастлива довольно, о замужестве и не думает, так оно переело ей горло; он и не представляет, какой это ужас: она, например, сидит учит роль, а муж придет пьяный с товарищами, все они

шумят, поют, она просит потише, а он: «А ты кончай жужжать, на то, кажется, есть репетиция, а дома я хочу отдохнуть». Ну да, он заслуженный, а она... Но тут молитвенной походкой зашел официант, бесшумно составил посуду на тумбочку и стал накрывать стол.

— Вот и блины поспели, — сказал он доверительно и погремел пробкой от пустого графина. — Прикажете заменить? — Они посидели еще с час, и когда лицо ее покраснело и она сказала «ох, жарко» и расстегнула пуговицу на блузке, он протянул руку и осторожно взял ее выше локтя. Она посмотрела на него издали туманными глазами и спросила:

— А жена?

— Это вы так про Нину Николаевну? — двусмысленно улыбнулся он, сжимая и разжимая пальцы. — Какая у вас нежная-нежная кожа.

Она засмеялась.

— И сразу же отрекаться! Вот мужчины! Нет, ваша жена очень хорошая, только нервы — вот! — Она сжала кулаки и затрясла ими.

— Да? — ласково спросил он, не отпуская ее.

— Поцапается с режиссером, убежит, запрется в уборной! Не скандалит, не кричит, — знаете, иногда хочется сорвать сердце, хоть на ком-нибудь! — ничего этого у нее нет — просто сидит в потемках, грызет маникюр и злится.

Он пожал плечами.

— Ну, наверное, злится, — ответила она на его жест. — А то что же делать в пустой уборной!

— А вы никогда не злитесь?

— То есть не злюсь ли я сейчас? Нет, сейчас я как раз и не злюсь. Слушайте! А откуда у вас такой роскошный букет? Жинке несете? Нет, ей еще рано получать от вас хризантемы, — подарите-ка их мне!

— Ой, да ради бога, я...

— Мерси! — Она взяла букет и на минуту спрятала в него лицо. — Страшно люблю хризантемы. У нас дома

стоял старый-престарый граммофон с клопами и во-от с такой трубой! И было много пластинок, но мать чаще всего пускала «Я умираю с каждым днем» и потом «И на могилу принеси ты мне венок из хризантем». Так раза три подряд. Отец кричит: «Заткни его! Что завыли?!» А у нее на глазах слезы. Посмотрите на меня!

Он взглянул: и у нее на глазах были слезы.

— Вы плачете? — всполошился он.

— Ничего! — Она положила букет на стол и быстро смахнула слезы. — Да, вот какая ваша жена, и знаете что? Она, пожалуй, обойдется и без счастья — оно у нее на сцене. Вот если вы ее бросите («А это уже ва-банк!» — подумал Николай), она не запьет, не поседеет, не повесится, а поревет-поревет, погрызет свой маникюр, и всё. Что вы улыбаетесь?

— Ничего! Странный у вас ход мыслей — ну, ну!

— А что, не бросите? — удивилась она. — О! Заиграл оркестр, — значит, уже много народа. Может, выйдем в зал? Да, так Нину вы бросите, — теперь я в этом уверена. Ну что ж, вы человек интересный, жить с вами тоже интересно. Вы ее уже многому научили. Нет, нет, — она не вправе обижаться.

— Тогда разрешите и вас спросить, — сказал Николай и опять завладел ее руками. — А вы вправе обижаться на мужа?

— А почему? — слегка пожала она плечами. — Нет! Он прямой человек. Вот однажды пришел ночью и сказал: «Уходи, я приведу другую — у тебя невозможный характер», — и всё! Я собралась и ушла.

— Так сразу и ушли?

— Так сразу и ушла. А другой бы ведь так не сказал.

— Да, другой бы никогда и... — возмущенно начал он.

Она лукаво прищурилась.

— Да? А я вот представляю этого другого: приходит домой, жена его спрашивает: «Котик, а где цветы?» — «Цветы? Ка-кие цветы? Ах, цветы! Верно, где же они? Вот

еще голова! А-а-а! Я, значит, их в автобусе забыл! Ну, не сердись, моя милая, дай-ка я тебя поцелую! У, ты моя хорошая! У, ты моя любимая! У, ты моя...»

Николай засмеялся.

— Знаете, вы замечательная характерная актриса!

— Да уж какая есть, голубчик, — равнодушно вздохнула она и осторожно освободила руки. — Гаврилыч!

Он, наверно, стоял перед дверью, потому что появился сейчас же, заскользил, заулыбался и стал убирать со стола.

III

В час ночи он проводил ее домой, и, конечно же, она сказала: «В передней потише!» Она много выпила, но ее не развезло, а она только красиво и спокойно захмелела, и всю дорогу так хорошо, хотя и негромко, пела, что прохожие останавливались и слушали. «Вот ведь какая веселая барышня!» — строго сказала встречная старушка и покачала головой. Тогда Ирина остановилась, близко взглянула ему в глаза и спросила:

— А почему вы мне подарили именно эти цветы?

— То есть как почему? — удивился он.

Она не ответила и снова запела, и сейчас, когда он сидел в ее комнате на крошечной цветастой тахте и смотрел на нее, она твердо сказала:

— И все-таки это очень, очень странно, что это именно хризантемы.

— Да почему же? — снова спросил он, и она опять ничего не ответила; подошла к зеркалу и, вытянув шею, стала внимательно рассматривать голубую ямочку на горле.

Тогда он встал и обхватил ее талию, но она сейчас же выскользнула, легонько отстранила его руки, подошла к шкафу, достала оттуда никелированный чайник и несколько пестрых чашек с розами, включила плитку и сказала:

— Сейчас будем пить чай.

Потом она показала ему тяжелый альбом из красного бархата, где проходила вся ее жизнь, — от пузатого младенца, похожего на Будду, до Ирины Станиславовны в длинном белом платье в цветах и с бокалом. Рядом стоял мужчина — высокий, с квадратными прямыми плечами и лошадиным лицом, в просторном пиджаке и туфлях лодочками. В одной руке он держал стакан, в другой — кипящую бутылку шампанского и был сильно навеселе. Такие были у него глаза, такая была у него улыбочка...

— Муж? — спросил Николай.

Она кивнула головой и захлопнула альбом.

«А ведь она до сих пор любит этого скота», — подумал он. Ирина затуманилась на секунду, но вдруг упрямо тряхнула головой и сказала:

— А пальто-то что ж валяется? — вышла и возвратилась с молотком.

— А ну-ка поработайте на меня, — сказала она и дала ему молоток и большой черный кованый гвоздь-костыль. И когда он, примеряясь, поставил этот гвоздь на уровне головы, приказала: «Нет, повыше — левее» (направо стоял стол) и второй раз: «Нет, еще повыше!» Так что под конец он стал на цыпочках и еле удерживал его.

Потом она напоила Николая чаем со сливками (крошечный молочник под салфеткой стоял между рам), потом он стоял у окна и смотрел на желтые пятна фонарей в мокром тротуаре (только что пронесся дождичек), а она ходила по комнате, двигала стулья, звенела посудой, открывала и закрывала шкаф, тихо выходила и заходила, раз с кем-то громко заговорила в коридоре («и представьте, угадал, это самые мои любимые»). Наконец вошла, поставила на стол тяжелую вазу с хризантемами, заперла дверь, подошла к нему и сказала:

— Ну, давайте спать, — тушу огонь!

IV

А через час она в халатике сидела на краю кровати, качала голой ногой и задумчиво говорила:

— А я не такая, как твоя Нина, — мне личная жизнь необходима, отними ее у меня, и я задохнусь, как рыба.

— Значит, вот тот с лошадиной челюстью и есть твоя личная жизнь? — уколол он. Она посмотрела и безнадежно отвернулась.

— Ну и глупый, — кротко вздохнула она, — я же люблю его. Слушай, все говорят, ты умный, — почему я, хорошо зная... Почему я люблю его? Зачем любовь такая слепая?

Он пожал плечами.

— Старый вопрос: «Зачем арапа своего младая любит Дездемона?» И знаешь, как отвечает Пушкин: «Затем, что солнцу и орлу и сердцу девы — нет закона!»

— Ах, оставь ты арапа! — горестно воскликнула она. — Ну к чему тут арап? Ну сам скажи: к чему? Вот ты лежишь в постели со случайной бабой. Она тебе никто, ты ей — никто, и ты даже не подумаешь, что же это такое? А я вот думаю — ты мой итог! Моя жизнь все обезлюдневала, все суживалась и суживалась, пока я наконец не осталась, как на пятачке, — вот с тобой. И знаешь, почему с тобой? Потому что ты посторонний — тебе на меня наплевать — значит, мне с тобой легко — вот ужас-то! — Она помолчала. — Слушай, а если я завою? — спросила она вдруг. — Вот ты взовьешься тогда — вот взовьешься!

— Дорогая! — Он сел с ней рядом. — Что с тобой, а? Ну-ка расскажи! Я-то ведь сначала действительно думал, что у тебя день рождения. — Она молчала. — Ну что, — продолжал он еще нежнее, — опять он с тобой встретился? В театре где-нибудь?

Она молчала и внимательно смотрела на него.

— Что же ты молчишь? Не веришь мне, что ли?

Она вдруг тихонько засмеялась и обняла его за шею.

— Верю, верю, — нет, ты правда добрый, и это хорошо, что эту ночь я провожу с тобой. Слушай, ты веришь в мировую справедливость?

— То есть в Бога? Нет! Но что в ходе истории всякое зло будет наказано и что такова природа вещей — то есть что угол падения равен углу отражения, — да, в это я верю.

— Ну, а в обыкновенную справедливость, в то, что отольются волку овечьи слезки и за чем пойдешь, то и найдешь, — в это ты веришь?

— Земля место жизни, а не суда — и это еще Чернышевский сказал, — пожал он плечами, — но и так часто бывает.

— Бывает, бывает! — горячо подхватила она. — Вот слушай, что я тебе расскажу: я тогда только что познакомилась с Печориным, и он мне поручал в очередь с Олениной играть Инну в «Детях Ванюшина». Это такая штучка с высокой прической и на французских каблуках...

Так вонзай же, мой ангел вчерашний,
В сердце — острый французский каблук! —

процитировал он Блока.

— Ну вот-вот, — засмеялась она, — я так ее играла. И вот слушай — появился у меня поклонник. Как спектакль — так к телефону. Билеты в Большой или в Филармонию, да какие — партер, пятый ряд! Как «Дети» — так цветы, а потом и конфеты в атласных коробках с голубым бантом. Подруги с ума посходили (тогда я себя такой царицей Грез ставила!). Кто да кто? А я только глазки опускаю: «Один знакомый профессор увидел мою Инну и влюбился», — и опять глазки вниз. Ну ты, конечно, понимаешь, если бы поклонник был стоящий, я бы его первым долгом притащила бы: смотрите, завидуйте! Но ведь за пятьдесят, нос дулей, седой, бодрится, прыгает, пробует острить, а сам весь скованный — ужас! Уж с таким

действительно надо для прогулок подальше выбрать закоулок. Мы и гуляли с ним чуть ли не за городом. И вот однажды все-таки попались. После спектакля подлетает ко мне Варька Бусыгина и говорит: «Ну, поздравляю, поздравляю, Ирэночка, — оторвала орла!» Меня сразу же в пот. А тут Володька — мы с ним как раз поругались: «Да, Ирэн, если эта кондитерская фирма поставляет вам эти коробки, то-о...» А Дулова — сама морда мордой, а туда же: «Так неужели, Ирэн, под такой вывеской у него может быть хорошая торговля?» Я огрызалась, огрызалась, а потом выскочила и бежать. А возле режиссерского кабинета стоит Печорин, руки в карманы, в зубах трубка и молча уступает мне дорогу. Я как ошпаренная так мимо него и пронеслась. А этот возле фонаря меня ждет. Как я на него налечу: «Убирайтесь! Что вам от меня нужно? Мне из-за вас прохода не дают — тоже кавалер! Вы чаще в зеркало бы смотрелись!» — и ходу! Прилетела домой, рухнула на диван и вся дрожу — пропала! Пропала репутация! Теперь Печорин и говорить со мной не захочет. Вдруг мама кричит: «Ириночка, к телефону!» Взяла я трубку — он! Как швырну ее. Упала опять на кушетку, да как зареву! Мама ко мне: «Что с тобой?» Я только брыкаюсь: «Уйди-уйди-уйди!» Так и заснула на диване. А ночью опомнилась, проснулась, подошла к окну, смотрю на месяц и думаю: «Ну зачем я его так? Мне же с ним всегда интересно было! Ну нос там подгулял, ну за пятьдесят — хорошо! Вот у Печорина нос греческий и говорить — ух какой мастер, а что — станет он меня часами ждать под фонарем? Вот конфеты он мне приносил, а я ведь должна была бы сказать: "Послушайте, дорогой, — зачем это? Я вам и так рада"». И вспомнилось, как однажды он платок вынимал и вытряхнул какую-то корочку; я тогда только носик сморщила, а сейчас мне его так жалко стало, так жалко. Она, конечно, случайная, эта корочка, но все равно так мне почему-то сердце стиснуло. Ах ты, думаю, скверная, ах ты злющая! Ну погоди, погоди, отольется тебе это. Будешь

ты часами ждать возле чужого подъезда, а он выйдет — и мимо. — Она вздохнула. — Так сейчас и получилось, понимаешь?

Николай Семенович тихонько засмеялся и поцеловал ее в затылок:

— Ты очень хорошая, добрая девочка, — вот что я понял.

— Ну, значит, уж и не поймешь, — отстраняясь, легонько вздохнула она, — ладно, давай спать!

V

Вышел он от нее на рассвете, все утро у него было препоганое настроение, и он не совсем понимал почему.

Во время антракта, сидя у Нины, он думал: «А связался-то я с ней, пожалуй, зря, вот заведется с Ниной и ляпнет что-нибудь. Истеричка!»

Нина вернулась и поставила вазу с хризантемами («Надо было бы на этот раз все-таки купить розы», — быстро сообразил он) на подзеркальник.

— Какие благородные тонкие тона, — нежно сказала она, смотря то на хризантемы, то на их отражение. — Ты смотри в зеркало, правда?

— Да, — ответил он, думая о своем, — очень хороши.

— Вот будем жить вместе, — решила она, — я тебе все комнаты заставлю цветами. Иди, я тебя поцелую в щеку! Нет, умница, умница, а я злюка!

— Скажи, — спросил он, стирая грим со щеки, — был у вас такой актер высокий, бритый под Маяковского?

— Ну, ну, — засмеялась она, — Печорин, режиссер был такой, а что?

— Да я вчера перебирал свои вырезки, это он в «Маскараде» играл неизвестного? Хорошо играл!

Она отпустила его шею, подошла к зеркалу и взяла гримировальный карандаш.

— Он... нехороший человек, — ответила она, быстро подправляя губы, — мы его выжили.

— Почему?

Она погляделась еще в зеркало, что-то подправила и положила карандаш.

— Папиросы есть? Дай-ка! — Она закурила. — Ты Ирину Голубеву знаешь? Ну, как же не знаешь? Я же вас как-то знакомила! Моложе меня на два года. Так вот Печорин — он вел тогда в студии их курс — связался с ней, а много ли девчонке надо? Она на него молилась, а он на свадьбе...

— Как, и свадьба была?

— Была! В ресторане «Иртыш»! — сердито усмехнулась она и махнула рукой. — Так вот он еще за столом стал заигрывать с одной из ее подруг. Девчонка увидела — в истерику, да еще подвыпившая.

— А сейчас она пьет? — вырвалось у него. Нина пожала плечами.

— Не знаю. То есть говорят, что да, но я не видела. Вот так началась их семейная жизнь. А что ты усмехнулся?

— Хорошо, чем же она кончилась?

— Кончилась она тем, — зло ответила Нина, — что Ирина, конечно, от него ушла. Молодец девчонка! Уважаю. Собрала все свои книги — она много читает — и вернулась к своей матери. Мать у нее преподает английский в индустриальном. Он приполз ночью, как говорится, на бровях — глядит, обед не готов, ее нет, а на столе записка: «Ушла». Побил ее зеркала, потоптал коробочки, снова напился, притащил другую приятельницу, тоже из студии — такая стервочка — одно плечо выше другого, туфельки со скрипом, в наколках, ну, мы устроили собрание, и они поняли, что им тут жизни не будет. Что ты?

— Ну, ну!

— Ну вот и все, перешли в другой театр. Ирина поплакала, поплакала и плюнула на него. Вчера утром мы ее поздравляли — выходит замуж. Да что ты все удивляешься, что ей, в монастырь, что ли, идти? Вот удивительно!

— А ты его видела? Жениха-то? — спросил он после небольшой паузы.

— Видела! — отрезала она недовольно. — Но как тебя все это интересует все-таки! Очень интересный блондин, лет тридцати. Инженер!

— Но?.. — Он очень ясно почувствовал это «но».

— Что «но»? Что «но»? — рассердилась она. — Никакого «но» — нет. Выходит — и все!

Помолчали.

— Не надо бы только ему показываться с ней вот в таком виде. — Она щелкнула себе по горлу. — Да еще в театре — это же ее компрометирует.

В дверь постучали. Она быстро отодвинулась от него и крикнула:

— Да.

* * *

Вошел Арбенин, низенький плотный актер с большим выпуклым лбом. Он играл Наполеона, Тьера, Пушкина, Квазимодо — все роли, где требуется малый рост и большой темперамент.

— Ниночка, там Печорин, — произнес он виновато.

— Новое дело! Это зачем же! — удивилась Нина.

Маленький актер развел руками.

— А это не к вам? — быстро и подозрительно спросила Нина Николая. — Хорошо, пусть зайдет.

Но Печорин не вошел, а влетел.

— Ирина повесилась! — крикнул он в упор так, как стреляют из револьвера.

Нина ахнула и села.

— Где вода? — Печорин оглянулся, схватил графин за горлышко, пальцы его дрожали — и налил стакан.

— Как это произошло? — спросила Нина.

— Очень просто: позвонили из милиции и рассказали, — ответил Печорин, сорвал шляпу и обнажил синева-

тый голый череп. — Привела к себе ночью какого-то мужчину, — он налил себе еще стакан, — оба под газом...

— Так вам и сказали? — кротко спросила Нина.

— Ниночка, Ниночка, — всполошился маленький актер, — сейчас же твой выход! Не волнуйся, милая, зачем? Не надо!

Нина глубоко вздохнула и опустила голову, но бритоголовый уже оправился.

— Что она привела мужчину, это факт, — отрезал он твердо, — жильцы слышали, как они разговаривали, — она еще похвалилась перед соседкой: «Смотрите, какие цветы он мне подарил». Букет хризантем до сих пор стоит в комнате.

— Так, может, подношения? — робко предположил маленький актер. — Вот и у Нины...

— Ну и еще там кое-что, — досадливо повысил голос Печорин, — ну, не могу же я при Нине Николаевне! (Маленький актер сказал «А-а!» и кивнул головой.) Так что как она провела эту ночь — ясно!

— Ну что ж! — пожал плечами маленький актер. — Она же выходит замуж, так что...

— Вы знали ее жениха? — подняла на него глаза Нина.

— Не имел такой высокой чести, — раздраженно и учтиво повернулся к ней Печорин. — Так вот! Проводив его, она придвинула к стене стул, сама вбила в нее гвоздь и удавилась. — Нина смотрела на него не отрываясь, и он быстро отвел глаза. — Стала биться, осыпала штукатурку, погнула гвоздь, но...

— Ну и попался же ты, Вася, — вдруг решил маленький актер, — что, наверно, уж таскают?

Печорин рывком повернулся к нему.

— Что, посадят? Ну и пусть сажают! — крикнул он истерично и с размаху опять нахлобучил шляпу. — Пусть. Я виноват, что не люблю ее? Я виноват? Пусть сажают.

Нина быстро повернулась к зеркалу и стала припудривать подглазья.

Пока Печорин кричал, маленький актер задумчиво смотрел на него и что-то соображал, а потом вздохнул и опустил голову, и Николай понял: он завидует — из-за него-то еще никто не повесился!

* * *

В этом разговоре Николай не участвовал, но как только уборная опустела, он вскочил и забегал по комнате. Вот это попался! Значит, как только он ушел, эта психопатка взяла веревку и удавилась. И спасибо еще, что она это не проделала, пока он спал. Так тоже могло быть. Теперь, конечно, машина завертится. После Печорина примутся за него. Где она бывала, знают все, а стоит любому агенту УГРО взять за бока метрдотеля, как он пропал. Он вспомнил, как двадцать лет тому назад застрелилась студентка с параллельного курса и оставила на столе записку на имя секретаря комсомольской организации и как потом кувырком под откос пошла жизнь этого секретаря.

Он подскочил к подзеркальнику и выхватил хризантемы. Лепестки были влажными и холодными, но сейчас же он вспомнил то, как она прижимала к себе цветы, плакала и говорила: «Как странно!»

Он швырнул хризантемы на подзеркальник и выскочил в коридор, навстречу ему со стула поднялась испуганная дежурная: «Ой, да что это вы!» Но он даже ее и не увидел.

Дурак! Ничтожество! О чем он думает? Как бы ему не попало — вот первая мысль! Даже когда она заставила его забивать этот омерзительный какой-то горбатый черный гвоздь, а сама стояла, смотрела и деловито приказывала: «Левее, выше!» — он тянулся, сердился, пыхтел и ничегошеньки не понимал. А какая пошлятина из него перла всю эту ночь. «Зачем арапа своего младая любит Дездемона» —

и она сказала: «Боже мой, при чем же тут арап?!» От стыда, острого, как физическая боль, он так замахал руками, что дежурная опять сердито посмотрела на него и вполголоса пробурчала: «Вот напьются, да и...»

Спектакль тянулся, тянулся, а потом было еще обсуждение, и когда секретарь вдруг назвал его фамилию, он сейчас же вскочил и заулыбался, но с добрую минуту простоял молча — так он был далек от всего.

Наконец и это кончилось, и Николай пошел к Нине.

Она, уже совсем одетая, сидела в кресле и задумчиво смотрела на хризантемы на подзеркальнике.

— Ну, пойдем, милая, — сказал он и, наклонившись, нежно поцеловал ее в лоб. — Там тебя Быстрицкий хвалил, спасу нет! Я сейчас вызову машину.

Она подняла на него глаза и молча встала.

— Очень устала? — спросил он.

— Очень! Нет, машину не надо. Пойдем так. — Она подошла и вынула хризантемы. — Ну, видел Печорина?

— Ужасный тип! — вырвалось у него с такой горечью и искренностью, что она удивленно посмотрела на него. — Нет, я к тому, — продолжал он, путаясь, — что из-за этого скота и...

— Ну и вот, — вздохнула она, — пошли!

На лестнице никого не было, даже дежурная ушла со своего стула, и совершенно напрасно звонил со стены телефон. Они вышли на площадку, и тут Николай увидел деревья и фонарь, возле которого Ирину ждал ее первый неудачливый поклонник, а сейчас она лежит в трупарне, в цинковом ящике, поперек живота ее багровый шов, и от нее пахнет формалином, а в опустевшей комнате стоят его хризантемы, те самые, что он нес, да не донес Нине. Это опять так резануло его по сердцу, что он сморщился и зашипел.

Нина посмотрела на него, но ничего не сказала.

Так они молча и вышли на ее улицу — дальше молчать было невозможно, и он весело сказал:

— А я, кроме шуток, ревную. Быстрицкий в тебя определенно влюблен. Он так тебя...

— Оставь! — оборвала она и спросила: — К ней сейчас можно?

— К кому это?

Она раздраженно поморщилась.

— Ну, к Ирине же! Это где-то тут?

Он остановился.

— Нет, ты в самом деле помешалась, — ответил он убежденно. — Во-первых, она в морге. Ее режут.

Губы Нины дернулись, и она сказала:

— Идем!

Так они опять шли и молчали.

VI

Всю ночь он не спал, то есть не то что не спал, но каждую секунду чувствовал возле себя покойницу, — засыпал и помнил — повесилась! Просыпался и вспоминал: она повесилась.

Нина, покрытая простыней, лежала неподвижно с закрытыми глазами, и нельзя было понять, спит она или нет.

У него болела голова, но тоска была еще сильнее, и скоро нельзя было уже разобрать, где тоска, а где голова болит, — все одинаково ныло и раздражало.

Когда он проснулся в четвертый раз, постель Нины была пуста.

Он полежал, прислушался к тишине, потом встал, накинул халат и пошел в соседнюю комнату. Тикали часы, горела только одна голубая люстра, и было почти темно. Нина в крошечном островке света сидела в кресле и курила. Когда он вошел, она посмотрела и стряхнула пепел. Взгляд у нее был опять простой и усталый, и в эту кратчайшую секунду он вдруг понял и почувствовал страшно много, а прежде всего то, что ближе ее у него нет никого на целом свете и, кроме как сюда, идти ему уж не к кому.

— Ну что? — спросила она тихо. Тогда он молча опустился на колени и обхватил ее ноги.

Она бросила папиросу и положила ему на голову руку. Он жадно схватил ее и прижал к лицу.

— Ну, что с тобой? — повторила она после паузы.

— Если бы ты знала, если бы только знала, Ниночка, — горячо и быстро заговорил он и задохнулся.

Она гладила его по голове и ничего не спрашивала.

— Мне сейчас хоть умереть! — вырвалось у него горячо.

Она осторожно освободилась от его рук и встала.

— Постой-ка, пойду поставлю чайник. — Она вышла, а он так и остался на месте. Боже мой! Что за чепуха, что за неразбериха творится в его жизни! Жизнь такая ясная, такая честная и простая, а он... Нина ему самый близкий человек. Когда его обижают, или он сердится, или так устал, что всё его только раздражает, он бежит к Нине и она всегда находит для него нужные слова. А сейчас случилась настоящая катастрофа — вчерашняя ночь смяла его, как грузовик зазевавшегося пса, — а он может бежать со своим горем к кому угодно, хоть к постовому милиционеру, но только не к ней.

Он думал и об этом, и еще о том, что он устал вертеться и врать, что приступи она к нему вплотную, и у него не хватит ни сил, ни умения ей солгать, но она вернулась в комнату и просто сказала:

— Пошли, милый!

Потом они сидели за столом и пили чай. Оттого, что в комнате было очень светло — она зажгла все огни, — ему стало легче, и он даже попробовал пошутить:

— Вот связалась ты с истериком. Уже и седина в волосах, а...

Но она положила на его руку ладонь и осторожно спросила:

— У тебя ведь что-то особое на душе, да?

Он кивнул головой.

— И в связи с Ириной?

Он опять кивнул.

— Так, может быть, расскажешь? — предложила она.

Он посмотрел на нее, открыл было рот, но увидел на столике хризантемы и вспомнил, как та, что в морге, заинтересованно и просто рассматривала в зеркале ямочку на горле, и жалобно попросил:

— Только не сейчас, ладно?

— Как хочешь, милый, как хочешь, — ответила она, и глаза ее вдруг вспыхнули и засветились по-прежнему.

— Ниночка, милая, — заговорил он вдруг. — Ну, скажи ты мне, — скажи ты мне, ради бога, неужели все дело в нем? Ведь Ирина молодая, талантливая, красивая... Вся жизнь у нее впереди, и вдруг из... нет, нет, никогда я в это не поверю.

Нина молчала.

— Ведь он же скот, пошляк! — тоскливо продолжал он, и на глазах у него даже выступили слезы. — Это же нелепость, что в нем есть? Желтые ботинки да шляпа?! И она отлично понимала это!

— Ты с ней встречался накануне? — спросила Нина не глядя.

Он кивнул головой. Она протянула руку и взяла чайник, налила себе полстакана черного горького отвара, выпила его, как спирт, одним глотком.

— Ну что ж, — сказала она очень спокойно, обдумывая каждое слово, — конечно, виноваты перед ней мы все. Вот она даже никого из нас перед смертью не захотела увидеть. Понимаешь, значит, каким судом она нас всех осудила.

Он молчал. Она отодвинула стакан и встала.

— Но разве в нас было дело? Ох, Николай, ты же совсем не понял Ирины. Я помню, как она после одного очень тяжелого собрания о дисциплине подошла ко мне и сказала: «Все это хорошо, Ниночка, но что делать, если я хочу счастья у себя в квартире, а не на сцене, рядом с бу-

таформей и подвесом. Так неужели я этого не заслужила?» Странный вопрос для красивой, талантливой, молодой женщины, правда? И оказалось, нет, не заслужила — человека она выбрала мелкого, дешевого, этакого Актера Актерыча с великолепной дикцией — помочь он ей не хотел, да и не мог бы, кинулась она к другим, а те такие же — и вот получилось — искала счастья, а нашла разбитое корыто. К кому же пойти? К матери? Так та умеет только плакать да давать умные советы, вроде: «Девочка, помни, каждый кузнец своего счастья» или «Жизнь — это борьба, девочка». К нам? Но у нас другие интересы, нас она и близко к себе не подпускала, коллектив был для нее чужой. А в душе ямина — начала ее заполнять одним, другим, третьим. Научилась пить водку, посещать рестораны, вот с тобой где-то познакомилась. Но вам-то от таких встреч что нужно? Сначала была хоть острота, а потом и она прошла. Тогда петля и гвоздь в стене. Вот и все.

Нина волновалась и была бледна, но говорила медленно и спокойно, а перед ним стояла Ирина в ту минуту, когда она откидывает голову и все старается хорошенько рассмотреть в зеркале голубоватую тепло-пульсирующую ямочку на горле.

— Она тебе говорила, что у меня не душа, а список с роли? — спросила Нина.

— Нет, не говорила.

Нина задумалась.

— За неделю до... до этого она наконец поссорилась со мной. Говорили о роли Кручининой в «Без вины виноватые», я сказала, что нам — актерам, художникам, писателям — одной личной жизни мало: она подведет — и куда ты тогда кинешься? Вот Кручинина только ведь потому и выдержала, что у нее была еще одна страсть, помимо любви. Я, конечно, говорила вообще, но Ирина вдруг подошла ко мне и сказала: «Вы говорили обо мне? Оставьте, мы никогда не поймем друг друга. Вы сделаны из другого теста, вам важнее играть, чем жить, и не ссылайтесь на

меня — я просто неудачница — вот и все». Это единственный раз, когда она сказала о себе.

«Да, тесто-то у тебя другое», — с уважением и легкой оторопью подумал Николай.

Зашипело радио. Нина протянула руку и выключила его, и почти сейчас же стало слышно, как во дворе заводят мотор и разговаривают двое. Окна светлели и светлели, пока не стали совсем лиловыми.

На тополях зачирикали воробьи.

Нина взглянула на часы.

— О! Уже пять без десяти! Иду спать! Завтра у нас еще читка.

Николай встал и тоже пошел за ней. И вдруг они оба остановились: на черном японском столике на фоне окна и лилового неба стояли хризантемы.

Нина взглянула на него и шагнула к вазе.

— Еще не хватало! — сказала она, испуганно протягивая руку к букету. — Можно?

— Так его! — ответил он злобно. — Можно!

Она подошла к окну, распахнула его и вышвырнула букет во двор, наверно, прямо под мотоцикл.

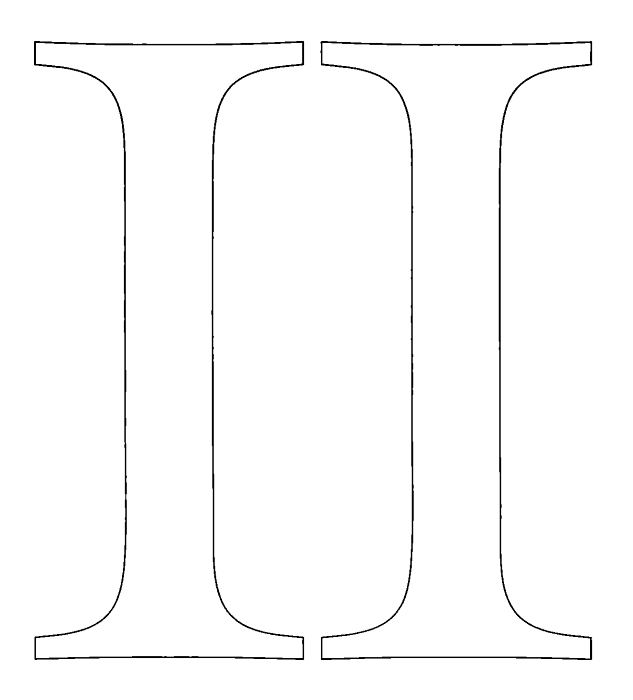
Потом они пошли и легли.

«Как, однако, у тебя все просто и разумно, — думал Николай, — а вот в своей жизни навести порядок никак не можешь! Зачем тебе я, если...»

И он уже засыпал, когда она вдруг зашевелилась и осторожно тронула его за плечо.

— Не дари мне больше никогда цветов, — тихо попросила она, — мне всегда будет казаться, что ты приходишь ко мне от покойницы.

А ведь действительно — зачем арапа своего младая любит Дездемона?


II

РЕКВИЕМ

Где ты, где ты, о прошлогодний снег?

Вийон

Животное тепло совокуплений
И сумерк, остроглазый, как сова.
Но это всё не жизнь, а лишь слова, слова,
Любви моей предсмертное хрипенье.
Какой урод, какой хмельной кузнец,
Кривляка, шут с кривого переулка
Изобрели насос и эту втулку —
Как поршневое действие сердец?!
Моя краса! Моя лебяжья стать!
Свечение распахнутых надкрылий!
Ведь мы с тобой могли туда взлетать,
Куда и звезды даже не светили!
Но подошла двуспальная кровать —
И задохнулись мы в одной могиле.
Где ж свежесть? Где тончайший холодок
Покорных рук, совсем еще несмелых?
И тишина, вся в паузах, в пробелах,
Где о любви поведано меж строк?
И матовость ее спокойных век
В минуту разрешенного молчанья.
Где радость? Где тревога? Где отчаянье? —
Где ты, где ты, о прошлогодний снег?
Окончено тупое торжество!
Свинья на небо смотрит исподлобья.
Что ж, с Богом утерявшее подобье,
Бескрылое, слепое существо,
Вставай, иди в скабрезный анекдот,

Веселая французская открытка.
Мой Бог суров, и бесконечна пытка –
Лёт ангелов, низверженных с высот!
Зато теперь не бойся ничего:
Живи, рожай и хорошей от счастья, –
Таков конец – все люди в день причастья
Всегда сжирают Бога своего.

ЦАРЕВНА-ЛЕБЕДЬ

На старую дачу (на ней еще висела жестянка страхового общества «Саламандра») приехала новая дачница. Мы, ребята, ее увидели вечером, когда она выходила из купальни. Сзади бежала черная злая собачонка с выпученными глазами, а в руках у незнакомки был розовый кружевной зонтик с ручкой из мутного янтаря. Проходя мимо нас, дачница улыбнулась и сказала: «Здравствуйте, ребята». Мы смятенно промолчали, тогда она дотронулась до зонтика, и он мягко зашумел и вспорхнул над ней, как розовая птица, я ахнул, собачка вдруг припала на тонкие лягушачьи лапки и залаяла, но хозяйка наморщила носик и сказала: «Фу, Альма», — и та осеклась, так они и ушли.

Хозяйка была голубоглаза, белокура и прекрасна; собачонка безобразна, как жаба. Случилось это в 1925 году в большом яблоневом саду, километров за десять от города, возле дряхлой купальни, сбитой неизвестно кем и когда из серебристо-серых еловых досок. Вообще все в этом яблоневом саду возникало за зиму как бы само и неизвестно откуда. Даже происхождение сада и то терялось где-то в незапамятной давности, просто не то лет пятьдесят, не то лет семьдесят назад приехали сюда откуда-то люди, вскопали, очевидно, вручную, лопатами желтоватую суглинистую землю, изрезали степь участочками точно, ровно, по веревочке, настроили лубяные домики с узорчатыми водостоками из листового железа и смешными петушками-финтифлюшками, а когда все

это сделали, то насадили этот чудесный яблоневый сад. Так он и возникал среди колючей степи как неожиданная прихоть природы — маленькое и прекрасное чудо ее. Идешь по степи — все пыль да пыль, да гудящие телеграфные столбы, черные птицы с полуоткрытыми клювами на проводах, и вдруг ты поднялся на холм — и сразу же перед тобой старинные мощные дубы, похожие на задумавшихся библейских старцев, трепещущие, быстро живущие ивы, и каждый листик переливается то серебром, то чернью, и наконец розовое облако — яблони, вишни, груши и еще какие-то деревья и кусты со сладким ванильным запахом. Над этим местом всегда кричали птицы и носились большие черно-синие стрекозы с мутно-зелеными шарами глаз и клеенчатыми, в мелкую сеточку, желтыми и дымчатыми крыльями. А какие чудесные лягушки с пикейными брюшками, только что сделанные из лучшего зеленого целлулоида, водились в этих прудах! Каких ящериц мы тут ловили! Мы — это двое парней и двое девчонок! (Они были двоюродными сестрами и учились на класс выше.) Мы любили это место, которое называлось по-разному — Дубки, Головановские сады, Нагилевский лес, Дача 12-го года (в память победы над Наполеоном) — смотря по тому, о каком уголке этого малого и милого края шла речь. Взрослые, например, ходили танцевать на Дачу 12-го года, а мы купались здесь в озере Головановского сада. И хотя в саду этом было тенисто, а в густом вишеннике порой даже сыровато (его почему-то никто не прорубал, и, разрастаясь, он дичал и хорошел все более), жара здесь все-таки стояла степная, сухая, изматывающая. Поэтому мы почти весь день, от зари до зари, проводили у пруда. Не в купальне, нет! Она всецело принадлежала взрослым, они выстроили ее для своих, не особенно понятных нам надобностей, — а прямо под ветлами, на гребне обрыва или в большой глинистой пещере, в крайнем случае на мостках. Мостки эти стояли на хорошем ровном месте,

с них отлично было нырять и показывать, где тебе с головой, а где с ручками. А затем, мы были еще и учеными людьми и собирали коллекции — ловили бабочек, стрекоз и огромных жуков-водолюбов. У меня же было совершенно особенное, ответственное задание. Однажды мой дядя Александр Алексеевич, узнав, чем мы занимаемся, вдруг удовлетворенно сказал:

— Ага, значит, ты мне понадобишься! — И привез из города банку формалина с притертой пробкой.

— Вот чем эту дрянь таскать, — сказал он, — принеси мне гадюку!

Я обомлел:

— Какую гадюку? Зачем? Она же ядовитая?

— Дурак, — улыбнулся он, — ядовитая змея — это красиво! Я поставлю ее себе на стол. Сделаю группу: гадюка заглатывает лягушку, понимаешь? Принесешь — получишь рубль.

Рубль — деньги, конечно, немалые, но заработать их мне так и не пришлось — змей в наших местах не то не было совсем, не то было так мало, что они никогда не попадались нам на глаза, и сколько мы с Верблюдом ни шарили по пещерам (мы все почему-то были убеждены, что змеи живут в пещерах, — смотаются так клубком, лежат и шипят), так ничего и не принесли. Тут надо оговориться: поймать гадюку — это было не только поручение, почетное для настоящего мужчины, но и строго доверительное, так внушил мне дядя. И понятно почему: если бы бабушка узнала, какое мне дал задание дядя, шум был бы на все Дубки. Я добросовестно держал все в великой тайне, но тут меня подвел Верблюд. Верблюдом его звали за меланхоличность, широкую кость и неуклюжесть. Он всегда путался в своих руках — непомерно длинных и угластых — и не знал, куда их девать. Свою нелепость он сознавал сам и, наверное, поэтому каждое новое знакомство начинал с предложения: «Давай соткнемся любя до первой крови». А когда дрался, то кру-

тил кулаками перед носом — и сам не бил, и другому не давал ударить. Так вот этот Верблюд взялся мне помогать, потому что тоже хотел стать ученым, — и протрепался, чем мы занимаемся по вечерам, Борису Козлу. А Козел был дух, заводила, первый насмешник, и он мне устроил такой номер, что после надо мной грохотал весь пруд: прибежал к старшей из сестер — Нелли, с которой мы дружили, так что она была отчасти в курсе всех наших дел и знала, что мы для чего-то ловим змею, влетел, гад, как оглашенный и страшным сипом прохрипел:

— На пруду Ученого змея ужалилa! Лежит, а кровишши, кровиш-ши!

Неля, красивая высокая армянка с двумя иссиня-черными косами и тончайшим золотым загаром на удлиненном византийском лице, побледнела, но не растерялась, подбежала к домашней аптечке, выхватила оттуда бинт, пузырь с йодом, склянку со спиртом и, не ожидая Козла, бросилась на озеро. А на озере уж никого не было, потому что вечерело, собирался дождь и только ветер гулял и гудел в пустой купальне. На мостках сердитая старуха Горинова полоскала какую-то голубую тряпку. Увидев Нелю, она сказала:

— Что, лунатик на тебя, что ли, нашел? Бежишь как лошадь! А мостки-то гнилые, я и то чуть не провалилась.

— Тут мальчик где-то, — сказала Неля. — У него с ногой что-то.

— Нет твоих мальчиков. Все в кино повалили, — ответила старуха. — Вот подержи-ка покрывало! Так! Ничего! Чисто! Только не надо его было в кипятке мыть, а то, видишь, тут грязь заварилась. И все равно как новое. Покупали Катиной матери, а теперь Катя сама будет под ним спать. Вот что значит настоящая вещь!

Так мы узнали, как звать нашу дачницу и к кому она приехала. Дня через два выяснились и другие подробности — она племянница старухи Гориновой, балерина

из Москвы. У нее сейчас в комнате висит большое зеркало — так она вырядится перед ним и танцует. Зимой она будет играть Царевну-Лебедь.

Когда я услыхал о Царевне-Лебеди, мне сразу стало тесно и трудно дышать.

— А богатая... — сказал Верблюд. — Зонтик кружевной, одна ручка что стоит.

У Бориса Козла, что сидел рядом со мной, заблестели даже веснушки. Был он рыжий, верткий и верно похожий повадкой и лицом на драчливого козленка, поэтому его так и звали.

— У-у, — сказал он азартно, — что там зонтик! А сколько у нее платьев, ты знаешь? — И осекся, соображая, сколько же — три или тридцать три? — И все как одно ненадеванные, а танцует голая, только на шее жемчужина на цепке болтается.

— А ты откуда знаешь? — спросил я злобно.

— Хм, подумаешь! — У Бориса это всегда отлично получалось. — Я еще и не такой ее видел!

— Как же это? — спросил я, и у меня заломило под ногтями.

— Да подумаешь! — Он встал и зло сунул руки в карманы. — Знаешь, у Горничихи яблоня против балкона? — спросил он в упор.

— Ну!

— Вот тебе и ну! — Он сразу успокоился и сел. — Разденется и волосы распустит до пола, а вся голая! — Но тут ему стало самому неудобно, и он хмуро добавил: — Так только, у пояса что-то черненькое.

А Борис врал:

— Она седни остановила меня и спрашивает: «Скажите, мальчик, ландыши здесь растут?» А я ей: «А вон в Нагилевском лесу, там их много около оврага». А она: «Я туда дороги не знаю. Вот если бы вы меня туда проводили!»

— Ну не мечи, пожалуйста, — возмутился Верблюд.

— Я? Мечу? — Борис даже захлебнулся. — А хочешь знать, я с ней уже гулял!

— Где? — спросил я быстро, чтоб поймать.

— «Где, где»! — Он машинально выругался. — Возле речки лилии рвал.

Я хотел сказать ему, что все-то он врет, не такая она, чтоб ходить с ним, рыжим Козлом, за лилиями, да и нету их, лилий-то, мы вчера сорвали последние, — но перебил меня Кудрин, самый старший из нас. Он сказал почтительно и тихо:

— А хороша она, так хороша!

И мы сразу примолкли. Словно пролетел тихий ветер и сдул с нас всю мелочь и шелуху. Даже Борису расхотелось врать про лилии — так в первый раз я подумал о женщине и красоте ее.

Прошло еще два дня. Стояла такая жара, что воздух струился, как вода. Земля горела и трескалась. Нежные синие цикории выгорали и становились голубыми, и белыми, и даже почти розовыми, как китайский фарфор. Дачницы мы больше не видели — было слишком жарко, чтоб заходить к пруду. И вот меня вызвал дядя и предложил снести записку.

— Куда? — спросил я.

— Ты дачу Гориновых знаешь? — спросил он, что-то соображая. — Ну так вот... — Но я уже понял все, выхватил записку и побежал... — Да стой же, малахольный! — крикнул он мне вдогонку. — Кому же ты ее отдашь? Старухе, что ли? Отдашь ты эту записку — вот тут написано: Катерине Ивановне — и попросишь ответа, понял?

— Понял, — ответил я.

— Иди, ничего не напутаешь — получишь четвертак. — Он оглядел меня с ног до головы. — Стой, надень ботинки. Она артистка, ей таких хулиганов показывать не приходится. И причешись. Нá расческу! Руки покажи! Иди мойся!

Как бы там ни было, но через десять минут я стоял у калитки и стучал носком в перекладину. Сад был обыкновенный, дачный, по бокам дорожки стояли пыльные серые мальвы, и красные солдатики ползли по ним. Я стучал, стучал, пока не вышла старуха и не спросила, что мне нужно. Я сказал.

— Давай, я отдам, — сердито приказала она.

Я ответил, что нет, только лично.

— Ну тогда уходи, — сказала старуха спокойно. — Ее нет!

— А где?.. — осмелился я.

— А я почем знаю? — прикрикнула она, и я понял, что ее действительно нет, иначе бы разве старуха стала бы так кричать.

Но где же она? Неужели пошла за две версты к пруду? Было так жарко, что даже и птицы не пели, только трещала в воздухе голубая и красная саранча. Старуха была румяна и желта. Острые ключицы так и ходили под бурым старушечьим платьем.

— Да ты чей? — спросила она, присматриваясь ко мне.

Я сказал. Тогда она молча открыла калитку.

— Иди, — приказала она и крикнула: — Катя, Катя!

Залаяла собачонка, и из-за угла дома вдруг появилась она.

Она была босиком, в халате, зашпиленном на поясе двумя английскими булавками, через плечо висело голубое мохнатое полотенце.

— К тебе, — ткнула в меня старуха и ушла.

Она стояла передо мной, доверчиво и просто смотря мне в лицо. Я растерянно молчал.

— Здравствуйте, — сказала она, улыбаясь.

Тут я, на горе, вспомнил все московские уроки, встал по стойке «смирно», ткнул руку дощечкой и сейчас же опомнился и вспыхнул, но она ничего не заметила, серьезно приняла мою руку, пожала и спросила:

— Вы ко мне?

Я сунул ей записку. Она взглянула на адрес и сказала:

— Так пойдемте ко мне.

И вот я сижу у нее в комнате, а она стоит рядом, положив руку на спинку моего стула, читает записку и улыбается.

— Хорошо, — говорит она и кладет ее на стол.

— Просили ответа, — напоминаю я.

— Ответа? — На секунду она перестает улыбаться. — Ну хорошо, сейчас. — И уходит.

Собачка, что лежит на тахте, бурно вскакивает и бежит за ней, но она из коридора говорит: «Лежать!», и та возвращается, подходит ко мне, выкатывает на меня свои выпуклые рыбьи глаза, но вдруг примирительно и виновато бурчит и укладывается возле моих ног. Я осматриваюсь.

На стене полочка из красного дерева с горкой слоников и вторая с книгами, вешалка, покрытая простыней, — виден край зеленого платья. Тахта под грубым синим ковром, стол, на столе вазочка с лилиями — вот и все.

Она быстро входит в комнату, в руках у нее голубой конверт-секретка.

— Вот! — говорит она. — Передайте и поблагодарите.

Секунду мы молчим. Я беру картуз. Собачонка поднимает рыбью голову и что-то сонно бормочет.

— Альма? — удивляется она. — Как, вы уже познакомились? — и целует ее в клеенчатый нос, от этого меня сразу бросает в пот.

Потом они провожают меня до калитки, и собачонка уже танцует вокруг меня. Моя новая знакомая отпирает калитку и вдруг спрашивает:

— Вам уже сколько?

— Четырнадцать, — отвечаю я и привираю на два года.

— О-о, — говорит она с уважением и сразу становится очень серьезной. Потом крепко пожимает мне руку и желает: — Счастливого пути!

— Прощайте, — бормочу я.

— Нет, до свидания, — значительно поправляет она. — Мы же еще будем встречаться, да?!

До дома я несусь галопом, смеюсь, задыхаюсь и никак не могу понять: что же со мной сейчас случилось?

«Так началась любовь и недетское с нею желанье, так в четырнадцать лет к нам томление страсти приходит» (*из Немесана*).

И это таки была настоящая любовь. Я посвящал ей стихи и видел ее во сне. Такое снилось мне, например. Пруд. Она лежит на мостках бледная, с закрытыми глазами — льет вода, в волосах у нее ряска, а я стою над ней на коленях и делаю ей искусственное дыхание, ее руки и тело поддаются всему, что я хочу, и вообще она покорна.

И еще снилось мне другое, уже почти совершенно непонятное и странное, во всяком случае пришедшее неведомо откуда. Снилось мне море. Где я его мог видеть? Когда, в каких кинематографах, на каких полотнах? Трех лет от роду мы, правда, жили одно лето на окраине Мариуполя, и я помню вялые мутно-зеленые азовские волны, берег, усеянный крупной белой галькой в черном мазуте, пыльные акации. Но как все это не походило на то, что вдруг начало мне являться каждую ночь. Это и могло быть только во сне. До горизонта вдруг развертывались ослепительная теплая гладь и голубевшее небо. И вот мы вдвоем — я и она — заходим в этот простор, и море, тихое, ласковое, необозримое, несло нас то туда, то сюда, то вверх, то вниз, и качало, и баюкало, и обдавало ласковыми брызгами, и держало на себе. А она — Катя, Царевна-Лебедь, прекрасная пле-

мянница страшной старухи Гориновой, крепко держалась за меня, за мой пояс и шею, потому что была сама беспомощна, бессильна и не умела плавать, а я ее нес, качал, держал на руках, опекал, учил лежать на воде. От этого качания, полета и жуткой сладости я всегда вдруг под конец просыпался.

Я просыпался и лежал с открытыми глазами, бессмысленно вперясь в темный или светлый потолок, и каждый раз далеко не сразу понимал, что все это только сон, бред, а вообще нет ничего, кроме ночи, лая собак и узкого топчана. Потом уж, когда все кончилось, — мне рассказали, что бабушка в эти ночи по нескольку раз подходила ко мне, стояла, смотрела, вслушивалась и сокрушенно говорила:

— Вот еще беда этот пруд! Опять перегрелся на солнце. Ведь так и до солнечного удара недалеко!

А говорить с ней мне пришлось только однажды. Мы встретились у пруда, я только что снял с крапивы большую перламутровую бабочку с вырезными крылышками (такой у меня еще не было) и нес ее на ладони. А она шла со старухой с озера и остановила меня:

— Ой, откуда у вас такая прелесть?

Я жгуче почувствовал себя каждым сантиметром: босыми ногами в мальчишеских цыпках, люстриновыми штанишками в грязи и заплатах, стриженной ежиком головой; на ней же царственно сияло все — грушевидные серьги, кольца, часы-браслетка — все из белого металла, платье почти такого цвета и выреза, как эта бабочка.

— Она уже не дышит, — сказала она. — Смотрите, тетя, какая красавица!

— Там их на крапиве!.. — ответила старуха.

— Зачем она вам? — спросила моя любовь.

Я ответил, что для коллекции.

— А-а... — Она взяла мою грязную ладонь и стала на нее часто и жарко дышать, и тут случилось чудо. Мертвая бабочка вдруг раскрылась и поползла боком.

— Смотрите! — крикнула она. — Ожила! Слушайте, давайте ее отпустим!

Я кивнул головой, она осторожно сняла бабочку с моей ладони и посадила на лист лопуха.

— Живи, маленькая! — сказала она нежно. — А марки вы собираете?

Чтоб не огорчить ее, я кивнул головой.

— О! — обрадовалась она. — Так я вам дам замечательную марку, вроде этой бабочки. Вчера нашла ее в Джеке Лондоне. Это Виктор, наверное, забыл, — повернулась она к старухе.

— Опять не забыть бы опустить ему в городе конверт, — равнодушно ответила старуха.

— Я пришлю ее вам сегодня же с Александром Алексеевичем, или знаете что? — Она улыбнулась. — Приходите ко мне сегодня вечером.

Я покраснел, потупился, молчал.

— Стихи мне свои, кстати, прочтете!

Ну зачем ей было говорить про мои стихи? Как она не понимает, что испортила все.

— Не пишу я их, — буркнул я.

— Да? — сразу согласилась она. — Ну тогда просто приходите, так, в гости. Придете?

Я кивнул головой.

— Так до свидания, — сказала она ласково. — Буду ждать.

Я не пошел к ней. Через три дня дядя принес и положил мне на стол желтую треуголку мыса Доброй Надежды.

— Кавалер, — фыркнул он и засмеялся.

Два слова о дяде: ему не так давно стукнуло тридцать. Он был высок, развязен, красив, чисто брился и то отпускал, то снимал бакенбарды, то носил, то снимал сверкающую кожаную куртку. На своем веку был он и вольноопределяющимся, и прапором, и комиссаром полка,

и археологом, и агрономом, и судьей, а в конце концов стал главным лесничим. Тогда ему дали эту куртку, болотные сапоги с ремешками и новый браунинг. Вот со всем этим он и покорил мою любовь. Почти каждый вечер мы видели, как они проходили по саду, выходили за фигурные ворота и шли степью к Нагилевскому лесу.

Собачку с собой они не брали, дядя шел упругой походкой, кавалерийской, такой, какой он никогда не ходил дома, в левой руке его болтался стек, иногда он останавливался и быстрыми резкими ударами стряхивал пыль с сапог. Она шла, слегка откидывая голову с уложенными волосами, поднимала руки и оправляла их с боков и на затылке. Дядя был в глухой защитной форме, простой и мужественный, она же иногда в голубой шелковой блузке, иногда в белой, но чаще в широком платье-халатике с соскальзывающими рукавами. Тогда становился видным розоватый загар, изнизанный легкой голубизной. Проходя мимо нас, она улыбается, машет рукой и звонко говорит:

— Здравствуйте, ребята!

Мы хором отвечаем:

— Здрасьте, Катерина Ванна!

А когда они исчезают за воротами, рыжий Борис задорно поет:

Ты куда ее повел,
Такую молодую?

Песня соленая, но дяде она льстит, он вообще нескромен, любит покрасоваться и расцветает, когда дед ему выговаривает:

— Эх! Снесут тебе, подлецу, голову за твои дела! Ну что ты зубы скалишь, как дикий конь? Ты встал, да и пошел, а она куда?

Тут дядя завихляет, размякнет и начнет оправдываться, но так, что дед (он строг и справедлив, но наивен) плюнет и скажет:

— И слушать-то мне твои пакости противно. И за что вас, таких кобелей, бабы любят? Ни кожи, ни рожи! Одни сапоги!.. — И махнет рукой, чтоб не согрешить словом.

Но бабушка, дворянка и институтка, думает иначе. Я слышал, как она, то и дело оглядываясь на меня и понижая голос, рассказывала соседу:

— И каждый день, каждый день, как свечереет, так к нему и бежит. — Еще оглядывается на меня (а я будто бы сплю) и прибавляет: — И собачку перестали с собой брать.

После этого разговора я стал избегать дядю, а когда он снова дал мне записку, я передал ее Верблюду, а сам остался в кустах.

Верблюд вернулся через десять минут и протянул мне ответ.

Мы пошли по дороге.

— Она про тебя спрашивала, — сказал он.

Я схватил его за руку.

— Говорит: «А где ваш товарищ?» А я: «Он болен, лежит». — «А что такое с ним?» — «Да так, мол, простудился». А она подошла к столику, взяла коробочку. «Вот передайте ему, пусть поправляется». — У Верблюда в руке зеленая коробочка с шоколадным драже.

Мы молчим и смотрим друг на друга.

— Она хорошая, — вдруг страстно говорит Верблюд. — И что она с твоим дядей путается! Ну что он ей?!

А вечером меня дядя строго спросил:

— Так кого ты послал к Гориновым?

Я сказал.

— А у самого что? Ноги отнялись?

Я молчал и грыз заусеницу. Он подошел вплотную и приказал:

— Чтоб больше этого не было! Записку ты должен передать только лично — понятно?

Я кивнул головой.

— А что это еще за глупости — болен! Чем это ты болен, разреши тебя спросить?

— Ты женишься на ней? — спросил я внезапно сам для себя.

Он как будто нахмурился и спросил не сразу:

— Это кто тебе сказал?

— Говорят, — вздохнул я.

Он помолчал, подумал, покачал головой, вздохнул тоже и вдруг стал томным и изысканным.

— Видишь ли, дорогой мой, — сказал он совершенно новым для наших отношений ласковым и возвышенным тоном, — она красавица, известная балерина... по горло в деньгах... У ее ног... Да, мой милый... — Тут он засмеялся, а я понял, что все-то он мне врет. — Не знаю, не знаю, я еще ничего не решил.

Я стоял и молчал.

Непередаваемое неудобство было не в словах, а в самой возможности этого разговора. Я еще не понимал, почему и откуда это чувство, отчего мне так неловко, но твердо знал, что оно правильное, справедливое и мне от него не уйти.

Понял это и дядя, он заторопился, посмотрел на часы и, бормоча что-то, выскользнул из комнаты. А я вдруг прямо пошел к зеркалу. Неуклюжий парень со стриженой головой, толстым лупящимся носом и оттопыренными ушами, красный и обветренный, стоял передо мной. Невозможно было поверить, что это и есть я.

Вот оба эти чувства вплелись в мое отношение к ней, и я потерял голову и не знал, что же мне с собой делать.

Семь бед — один ответ, через два дня я подкараулил их в Нагилевском лесу, когда они целовались. И все было так, как в моих жестоких снах, только меня-то не было с ней... Он сидел на болотной кочке, на плаще, она лежала у него на коленях с полураспущенными волосами.

Меня поразило ее лицо — оно ослабло, распустилось, ушло в туман, только глаз она не закрыла, и они светились по-прежнему.

Тут подо мной затрещал можжевельник, и она быстро вскочила. Я помертвел и припал к земле.

Она подошла к самому кусту, поглядела, постояла, ничего не увидела и отошла. Затем они заспорили.

— Нет, — сказала она вдруг очень твердо.

Когда я поднял голову, она уже сидела и пудрилась, а дядя ходил по поляне.

— Но почему, почему? — спрашивал он страстно. — Сто раз я тебя спрашиваю, и ты...

— «Вас, вы»... Александр Алексеевич, ведь сегодня-то мы не пили на брудершафт.

Он зло махнул рукой и заходил по поляне.

— Но почему же, в самом деле? — спросил он, останавливаясь перед ней.

— Ну оставьте! — приказала она так коротко, что он ошарашенно замолчал.

Я лег на мокрый, как половая тряпка, мох и продолжал слушать. Теперь она сидела, обхватив руками колени и откинувшись на ствол ели. Розовый зонтик лежал рядом, — она была в чулках, и одна пятка у нее уже позеленела.

— А вы ведь не должны на меня обижаться, — напомнила она о чем-то.

— Да, да, — недовольно отмахнулся он. — Помню, помню.

— Ну вот и хорошо. — Она вздохнула. — Сядьте! Терпеть не могу, когда вы такой.

Дядя еще раз прошелся по поляне.

— Сядьте! — приказала она.

Он что-то прорычал.

— Ну?!

Он подошел и сел. Она высоко подняла руку, рукав упал, и я увидал ямку, полную голубизны и золота.

— Зло-ой! — сказала она, кладя ему руку на голову. — Ух, какой злоой! Как моя Альма! И волосы-то, — она стала перебирать их и пощипывать, — жесткие, цыганские!

Тут он вдруг вскочил.

— Но ведь это же глупо! — закричал он. — Я же вас люблю, а вы...

— Тише, тише, — сказала она, улыбаясь. — Ну?! Ну же! Я опять могу испугаться. Вы слышите меня, Александр Алексеевич?

Он только мотал головой и скрежетал. Она вдруг быстро вскочила, подошла к туфлям, вытряхнула и стала надевать. Он сразу же осекся.

— Катя, — сказал он пересохшим голосом.

Она надела вторую туфлю и подняла зонтик и сумочку.

— Ухожу, — объявила она.

Он взял ее за руку.

— Ну, я больше не буду! — сказал он потерянно.

Она ничего не ответила и пошла. Он побежал и схватил ее за руку.

— Пустите! — приказала она.

Он что-то быстро бормотал.

— Да ну пустите же! — приказала она, и так по-бабьи грубо, что мне даже стало не по себе.

Он вдруг рухнул на колени и обхватил ее у пояса и что-то молитвенно забормотал. Она молчала. Он схватил ее за руку и припал к ней. Наконец она наклонилась и подняла его.

— Ох, Александр, Александр, — сказала она мягко и устало. — Я уж так этим по горло сыта, так сыта... Ну пойдемте сядем.

Она пошла, он молча и пристыженно следовал за ней. Она снова села на плащ, и дядя встал на колени, снял с нее туфли и аккуратно сложил.

— Ну, — сказала она. — Продолжаю слушать, — и неожиданно перебила себя: — За все надо платить, Алек-

сандр Алексеевич, а за... — Она что-то замедлила: — За такие отношения особенно. Вы уговор-то помните?

— Да, но...

— Ну вот и все, — упрямо сказала она. — Когда я захочу, так ведь? А за ваши... — она опять поискала слово, — штучки я буду опять брать Альму. Вот вам! Дайте-ка сумочку!

Он подал. Она достала круглое зеркало и протянула ему.

— Посмотрите, на кого вы похожи! Хорош? Ну то-то! Итак, через два года вы снова попадаете к этой женщине и остаетесь у нее. На этом мы остановились? Слушаю дальше.

Я повернулся и, лежа на брюхе, пополз назад. Зачем мне было слышать об этой женщине? Мне и так все было ясно!

Три дня я бегал от всех и отсиживался в гадючьей пещере. И ничего мне так не хотелось в то время, как чтобы я наступил на настоящую гадюку и она меня обязательно ужалила. Я знал наизусть и «Песнь о вещем Олеге», и про смерть Клеопатры, и мне нужно было что-то такое же громкое и смертоносное, мирящее меня со всем миром. А прежде всего — с ней. И пусть бы меня ужалила тут эта черная, гробовая змея пушкинская. Я бы, верно, упал, меня бы затошнило кровью, и я валялся бы вот тут, среди этих корней, бледный, черный от яда. И так, как уж было один раз, но уже не понарошку, а по-настоящему, прибежал бы рыжий Козел и крикнул на весь поселок: «У стариков Крайневых внука гадюка ужалила!» И она бы пришла первая. И сказала бы моему дяде такое...

В пещере, где я лежал, было сыро, спокойно и темновато, то есть, пожалуй, не темновато, а просто на всем лежали какие-то похожие на плесень скользкие голубые сумерки и сильно пахло землей и грибами. Во все стороны торчали корни, всякие: и прямые, и кривые, и тол-

стые, и тонкие, и черные, и белые, и бурые, и словно покрытые ржавчиной, а на ощупь извилистые и мускулистые, как змеи. Я украдкой тянул к ним руку и думал: «А может, и в самом деле медянка? Она же рыжая». И один раз мне показалось, что корни зашевелились, поползли, я ясно даже помню ощущение ледяной чешуи, скользнувшей мне по лицу. От страха и омерзения я дернулся в сторону и больно ударился о корень, торчавший прямо над головой. Боль была такая, что я с минуту пролежал неподвижно, а потом, весь сотрясаясь от холода и озноба, вылез наружу и на секунду как будто ослеп от открытого яркого солнца. А когда открыл глаза и посмотрел прямо, увидел перед собой Нелю. Она сидела на траве, согнув под себя ноги, и возилась с цветами. Цветы лежали около нее, их была целая охапка — золотые курослены, аккуратные кремовые маргаритки, нежные маркие лекарственные ромашки, у которых никогда нет белых лепестков и которые пахнут лимоном, и, наконец, огромные фиолетовые колокольчики с четко выкроенными узорными лепестками. Она брала все их по одному за стебелек, осматривала и откладывала. И была так углублена в это занятие, что, кажется, ничего, кроме цветов, и не видела. Но только я взглянул на нее, как она сказала:

— Тебя Катя ищет.

У меня от неожиданности даже сердце екнуло. А потом я подумал: «Как Неля может передавать мне этакое? Именно Неля». Это первая мысль. За ней другая: «А почему же, собственно, нет? Кто она мне? Что стоит между нами? Мной и ей? Ей и Катей, Катей, Нелей и мной?» Но, очевидно, все-таки что-то стояло, потому что я почувствовал, что покраснел, и, ничего не расспрашивая, буркнул:

— Спасибо, — да и пошел.

— Только слушай, ты сейчас иди! — крикнула она мне вдогонку. И я не почувствовал в ее голосе никакой ско-

ванности. — А то не застанешь, она вечером в город собирается.

Тогда я остановился и спросил:

— А где ты ее видела?

— Да они ведь через забор от нас живут, — улыбнулась Неля. — Я вышла, а она и говорит: «Если пойдете на пруд, скажите, чтоб обязательно зашел. Только я вечером в театр уеду, так что до пяти».

— Ладно, — снова буркнул я и опять было пошел, но вдруг совершенно неожиданно для себя обернулся и сказал: — Скажешь, что меня не видела, поняла?

Она так замешкалась, что даже цветы уронила, посмотрела на меня удивленно и сказала, спадая с голоса:

— Хорошо, скажу.

А я повернулся и зло, откровенно-прямо пошел через сад на дачу Гориновых.

Она сидела за столом в саду, шпилькой чистила вишни, пальцы у нее были багровые, и выше локтя на мякоти руки виднелись острые кровавые брызги. На ней было жемчужно-серое платье с короткими рукавами.

Когда я подошел, она посмотрела и не улыбнулась.

— Садитесь, — сказала она сдержанно. — Поставьте эту корзину на стол и садитесь!

Я сел. Она ловко дочистила вишню и швырнула ее в медный таз.

— Вы очень нехорошо поступили со мной, — сказала она.

Я пробормотал какую-то невнятицу.

— Подглядывать вообще нехорошо, а в таких случаях уже совсем не годится.

— Я собирал ландыши, — пробормотал я очень жалко.

— Очень может быть, — согласилась она сухо и почти таким же тоном, какой я слышал от нее в лесу. — Но, увидев в лесу меня, вы должны были подойти ко мне или же, если не желали встречаться, уйти.

Она сказала «ко мне», а не «к нам», и это почему-то меня обрадовало.

— Простите! — пробормотал я.

Она зачерпнула пригоршню вишен.

— Это хорошо, что вы не запираетесь, — похвалила она. — Видите, я ничего не сказала вашему дяде и даже сделала вид, что ничего не заметила, но... — Она заглянула мне в глаза. — Ведь вот, наверное, вам самому неприятно, правда?

Я кивнул головой.

— Ну конечно же! — Она помолчала. — Когда мне было двенадцать лет, — проговорила она, слегка морща лоб, — я была так же любопытна, как вы, и подсмотрела то... ну, одним словом, то, что мне не полагалось видеть. — Она помолчала. — У вас нет старшей сестры? — спросила она вдруг.

Я покачал головой.

— Вот и у меня не было старшей сестры, и мне было очень, очень нехорошо. Подождите, у вас плечо в паутине.

Она подошла, отряхнула меня ребром ладони и вдруг двумя прохладными, длинными пальцами взяла за виски, повернула к себе.

— Я спросила вашего дядю про вас, и он сказал, что уже три дня как вас не видно, не то, говорит, с товарищами подрался, не то, верно, заболел.

От ее голоса, голубого сияния наклоненных ко мне глаз, от ее прикосновения и доверия — от всего этого вместе мне стало жарко, томно, нежно, чего-то очень жалко, и я заплакал: сидел потупив голову (она не отпускала меня), улыбался, а слезы капали и капали.

Она не останавливала их, не утешала, не задавала вопросов, а только стояла и смотрела.

— Ну хватит, — сказала она мягко. — Не стоит это все слез!

Я обтер глаза.

— Не стоит! — повторила она решительно, локтем провела по лицу, отбрасывая волосы, потом, далеко отставляя два багровых пальца, осторожно обхватила меня за шею и два раза тихо, но сильно поцеловала в губы. — Вот, — сказала она. — Вот, вот и вот! И вы простите меня, я, кажется, что-то не то вам говорю, вы ведь не подглядывали? — Она не отпускала моей шеи, и я, потупившись, молча кивнул ей головой.

Она долго молчала, а потом сказала:

— Как это все-таки отвратительно! И ведь каждый должен пройти через это... — И зачерпнула полную пригоршню вишни.

Так мы просидели с ней до вечера, и тут я услышал от нее то, что часто повторял себе потом.

— Нехорошие мы! Ух, какие мы иногда нехорошие! — говорила она тихо и гневно. — Вы и понятия не имеете, какими мы можем быть. То, что вы увидели, это так, мелкая пакость, мне даже за нее не особенно стыдно, а все-таки без нас не обойдешься. И не потому, что... Нет, совсем не потому... — Она замолчала и долго сидела молча, так долго, что я не переждал ее молчания, спросил:

— А почему же?

Она еще немного помолчала, почистила вишни.

— Да вот думаю, как вам объяснить. Все настоящие отношения строятся в мире через женщин. Они крепки только тогда, когда где-то спаяны женской кровью. Но тогда это уже навеки. Такие отношения никогда не распадутся, а будут все расти и расти, охватывать все больше и больше людей. Вы этого еще не понимаете, конечно...

— Понимаю, — сказал я. — Очень понимаю.

Она тихо засмеялась.

— Да нет, со слов этого не поймешь, это так даром не дается. Это надо пережить, — и она опять замолчала. — Понимаете, — сказала она медленно, раздумывая на каждом слове. — Всякое в жизни бывает, и с вами будет

всякое, так вот может случиться так, что вы ослепнете и оглохнете, потеряете руки и ноги и даже хуже, все отвернутся и откажутся от вас, но одна женщина около вас обязательно останется.

— Какая? — спросил я, потому что мне в ее словах почудился какой-то намек.

— Это неважно какая — сестра ли, мать ли, жена ли, просто друг — это ведь все равно, одна такая женщина около вас всегда останется! Конечно, все это надо пережить и перестрадать. И вот тогда через много лет... — и вдруг прервала себя и окончила совсем не так, как начала: — Через много лет у меня дочка будет уже взрослой, и когда мне придется говорить с ней, как сейчас с вами, смогу ли я сказать ей то, что сегодня говорю незнакомому мальчику? Со мной вот так никто не говорил.

Я молчал, а она вдруг развела руками:

— Не знаю! В том-то и дело, что не знаю. Таких вещей никто никогда не знает.

Целый день хлестал ливень, и мы сидели дома, а в полдень следующего я, хмурый и сумной, с каким-то большим разбродом в душе вылез и пошел на пруд. И как-то само собой очутился у гориновской дачи. И только что подошел к калитке, как сразу понял — там что-то случилось. Дом стоял черный и пустой. Окна были заложены, двери плотно закрыты. На досках балкона расползалась большая лужа. Одинокий слоник, самый большой из всех девяти, стоял на столе. Я перемахнул через забор, взбежал по ступенькам и взял его в руки. Он был мокрый и холодный. Я его рассматривал и думал: «Уехали! Уехала, уехала! Когда? Почему?»

Потом сунул слоника за пазуху и спрыгнул на землю. И тут увидел Нелю. Она стояла в своем саду и через изгородь смотрела на меня.

— Уехали, — сказала она. — А Катерина Ивановна, та даже из города не вернулась. А сегодня и старуха уехала.

— Так, может, они не совсем, — предположил я.

— Да нет, совсем. А Катерина Ивановна в Москву, она и с моей мамой попрощалась. Мама ей говорит: «Ну что же вы так внезапно, вы ведь хотели прожить до конца месяца». — «Да нет, пора, дела». А это что, она тебе своего слоника оставила?

Ничего она мне, конечно, не оставляла, просто забыла его второпях — и все, но я кивнул головой.

— Покажи-ка, — попросила Неля. — Хороший! Из кости! Ты знаешь, у меня тоже есть один такой, только фарфоровый, я тебе его принесу, ты их собирай, их должно быть девять. На пруд пойдешь?

И мы пошли на пруд.

Я шел, смотрел в землю и думал, и Неля не спугивала моих мыслей. Она шла рядом, но все равно ее как будто бы и не было. Я был очень тих и печален, но чувствовал, что это не такая печаль, как всегда, не такая, как когда, например, меня выругали за что-то дома, или дядя засмеялся и сказал мне: «кавалер», или я в школе получил «неуд» от математички или подрался на перемене, — это, пожалуй, была даже не печаль, не горечь, не сердечные угрызения, — но что же это все-таки тогда было? Я не знал.

Ах, если бы мне тогда пришли бы в голову вот эти строчки:

Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою.

Но до них мне оставались еще годы, годы и годы.

ЛЕДИ МАКБЕТ

I

Весной 1930 года по обстоятельствам, важным для меня одного, я ушел из дома и поступил санитаром в лефортовский военный госпиталь. Стоял этот госпиталь далеко за городом на отшибе, был сооружен из тесаного гранита еще при Екатерине, и когда я шел под массивными сводами из корпуса в сад и видел в саду такие же мощные корпуса, арки, фонтаны и фронтоны с распластанными на них орлами, мне уж плохо верилось, что пять минут назад я вылез из московского трамвая. Но самый-то сад, выросший среди этих глыб решеток, арок, орлов, с перекрученными гусиными шеями и змеиными головами, был очень хорош и прост.

В нем летала масса бабочек, росли большие и тихие кусты сирени, стояли тополя и ясени, и с них весной орали и ссорились птицы. Впрочем, я все это видел только мельком, на ходу. С утра до вечера я ходил по этому саду и разводил вновь поступающих больных, а вечером, когда затихала беготня, телефоны и души, старший по смене отпирал железный сундучок и вываливал на стол все, что натекло за сутки. Это тоже была наша обязанность. Его — принимать личные вещи и оружие, моя — выписывать на них квитанции. Вечером же я составлял, кроме того, суточную ведомость. К столу собиралась вся обслуга. Приходила кастелянша, дебелая, румяная баба лет сорока пяти, постоянно в халате с заломленными рукавами и красной косынке. Она жила в зоне госпиталя,

и с моим старшим у нее были какие-то особые отношения, не разберешь: не то явно дружеские, не то затаенно враждебные; подсаживалась хорошенькая, кокетливая ванщица, пухлая, нежная, розовая, вся в золотых веснушках и кудряшках, она все свободное время сидела и вышивала красным шелком; маленький татарин-парикмахер с серебряным горлом, я, еще кто-то.

Татарин брал полевой бинокль и, картинно откинув голову, долго смотрел на луну или крышу соседнего корпуса, а старший находил в груде вещей кортик, делал свирепое лицо и замахивался им то на кастеляншу, то на ванщицу. Ванщица жмурилась, краснела, млела, но не визжала, а кастелянша отмахивалась широкой ладонью и говорила густым мужским голосом: «А ну тебя, перестань! Что, маленький, что ли?»

Потом нам приносили в трех больших эмалированных ведрах ужин и мы садились за стол; потом Маша-ванщица мыла кипятком посуду — мы расставляли лавки и укладывали на них бушлаты. Потом наступала ночь, и мы спали.

До утра нас не будили: госпиталь принимал только хирургических больных.

II

Итак, нас было двое: я и старший, старшего звали Иван Копнев. Это был малый лет тридцати — тридцати пяти, плечистый, белозубый, с военной выправкой и желтыми волосами на пробор. Он был рябоват, от его волос сладко пахло карамельками, он с грохотом носил солдатские сапоги с подковами и часы с цепочкой, и из-под его халата у него остро выпирал значок, похожий на орден. Как и я, он получал 45 рублей, но считался старшим и изредка даже прикрикивал на меня — не грубо, а так, для пущего порядка, что-нибудь вроде: «Ну, куда пошел? Где девятое отделение?» или: «Разговорчики, разговорчики! Сейчас рабочее время, кажется!» Да и было за что: со служ-

бой я справлялся прямо-таки плохо: терял белье, путал корпуса, забалтывался в хирургическом корпусе с сестрой, и тогда в приемном покое собиралась целая очередь голых мужчин в мокрых простынях и меня все ругали.

Мне недавно стукнул двадцать один год, я учился на третьем курсе, и голова у меня шла кругом. Я то разуверялся, то опять твердо верил в свое поэтическое назначение и проводил дни и ночи за стареньким письменным столом, но в редакции находили мои стихи оторванными от жизни и не печатали их.

В это же время я узнал впервые, что такое женское презрение. Презирала меня кастелянша, рослая, крутоплечая смуглая баба с черными усиками над верхней выдающейся губой. Она была неразговорчива, строга, посвоему справедлива и всем резала правду в глаза. Я же был, что называется, скелетом — высокий, бледный, худой, — словом, в чем душа держится (меня дразнили «Ганди»), с такими жесткими непроходимо-густыми волосами, что их не брал никакой гребень. Кроме того (и это главное!), я был еще нескладен, неуклюж, а в разговорах с женщинами то застенчив, то высокопарен и все свободное время сидел на госпитальном подоконнике и читал стихи.

Вот за все это она меня и презирала. Бывало, сидит, смотрит на меня и сладко улыбается, но молчит. Но однажды она все-таки не выдержала характера: подошла, вырвала у меня из рук томик Пастернака и бросила на стол. Все это молча и зло.

— В рабочее время работать надо! — крикнула она уже из коридора. — Интеллигенция!

В тот же день я подслушал такой разговор: стоя среди бельевой, она зло говорила Копневу:

— Нет, Иван, это ты так по-дурацки понимаешь, а у меня понятие совсем иное! У меня — на что я спокойная! — все сердце вскипело на него глядя. Ходит, дохляк, книжечки читает, зудит себе под нос невесть что! Если

у молодого человека нет совести — грош ему цена! Ломаный! Я за свое самолюбство убью! И на каторгу пойду! А он что? Ни стыда, ни совести, наплюй ему в глаза, все будет божья роса! Вот я его как утром шуганула, а он ходит и только лыбится!

— Ну, значит, зла на тебя не таит, — заступился за меня Копнев, — как ты, Марья, его странно понимаешь, ей-богу!

— Что, зла не таит? — Голос кастелянши задрожал от бесконечного презрения. — Да откуда у него зло? У него ни зла, ни ума — как у скотины. Эх, не моя власть, давно бы они с этой сестрой хирургической! Турманом к чертовой матери... тоже, видать, дерьмо хорошее, ни рожи, ни кожи, одни губки да ногти стриженые. И ведь нашла с кем схрюкаться. Нет, голубчики! Не-ет! Если вы за сорок пять рублей со мной впряглись, то эти книжечки, стишки эти самые дурацкие, вы их бросьте! Да, бросьте-ка их к черту! Тут надо дерьмо таскать, а не интеллигенцию разводить! Ну подожди, подожди, будь не я, если...

— Ну и ни к чему это, Марья, — мирно вздохнул Копнев, — зачем обижать человека? Он тебя не трогает... зла мы от него...

— Считай, считай белье-то! — крикнула она и с силой грохнула об пол тюк свежего, еще сырого белья. — Считай, знай, заступничек! Знаю я, чем он тебе угодил, знаю! — Она злобно засмеялась. — Погоди, я и до твоей Машки доберусь! Обнаружу я ваши сады-лавочки! Вон видишь, какие у меня зубы? Живьем слопаю, как только узнаю! Так ты и помни! Вот! — и она ткнула его в плечо и так громко засмеялась, что маленький парикмахер проснулся, послушал и сказал: «Однако!»

III

С тех пор пошло́.

Она никак не оставляла меня своим вниманием. Так, однажды после того, как я два часа просидел на

лавочке с хирургической сестрой, она меня почтительно спросила:

— Я у вас что хочу узнать: вы когда законную бабу имели?

— Как? — обомлел я.

— Ну, женат, женат когда ты был? — Она не говорила, а почти каркала. Я оторопело ответил, что нет, не был.

Она кивнула головой и пошла по саду, успокоенно говоря:

— И правильно! Какой из тебя муж! Ты здоровой девке и вреда-то принести не можешь.

Другой раз, тыча пальцем в книгу стихов, она меня спросила:

— Вот тут написано: «Поцелуй был, как лето». Это как же понять? Что он хотел этим выразить?

Вопрос был, конечно, сложный, но я подумал и стал объяснять.

Она слушала-слушала, а потом спросила:

— А ты когда-нибудь бабу-то... целовал?

Я вспыхнул и спросил, почему это так ее интересует.

Она свысока поглядела на меня спокойными ореховыми глазами и ровно ответила:

— Ничего не интересует! А вот попался бы мне такой муж — объелся груш, я б его в первую ночь, как котенка, придушила — и концов не нашли б!

Вечером после этого разговора я спросил Копнева:

— Что она на меня так злится?

Он пожал одним плечом, а на лице его проступило: и ты еще, дурак, спрашиваешь?

Было душно, и мы распахнули окно прямо в черные кусты сирени. Темнело. В больничном парке зажигались белые и желтоватые фонари, и вокруг каждого висела сетка из мошки. Кажется, очень далеко через настороженные листья желтели стены хирургического корпуса.

— А с ней и связываться не надо, — посоветовал вдруг Копнев, смотря на меня.

— Да я...

— Злая баба! Ух, ведьмища! — Он быстро расстегнул гимнастерку, и я увидел возле левого соска лиловое и черное пятна. — Видал? Зубы, как у людоеда!

— Ого! — сказал я солидно. — Как же это так?

Он молча и зло застегнул ворот, но тут меня позвала к себе ванщица, и разговор прервался. Когда я зашел к ней, она неясно сказала: «Шкаф тут... сдвинуть бы... не могу одна», — и вдруг заперла дверь. Я попятился — разное пришло мне в голову — ведь мне недавно исполнился двадцать один год.

— И что хочу спросить, — сказала она тихо и доверчиво, — он к этой лошади ходит еще?

Я замешался и молчал.

— Ходит? — испуганно переспросила она и схватила меня за руки.

Я ответил, что нет, не видел.

— Но ты не ври, — попросила она жалобно, — ты знаешь, она тебя выжить хочет, думает, что ты нам помогаешь, караулишь, чтобы никто не вошел в ванную, понимаешь? — Она отпустила руку и как-то жалко, воровски пожала ее.

Мне стало так противно, я что-то сказал ей, толкнул ее и пошел к выходу.

— Ой, не сердись! — Она забежала, опять схватила меня за руку, вся зарделась и стала очень хорошенькой. — Ты не знаешь, как я теперь всего боюсь! Это такая ведьма! Ну, посиди со мной! — Она силой посадила меня на табуретку. — Посиди, поговорим о жизни. Скажи, у тебя еще никого нет? Ну, из девушек, никого?

Я сухо ответил, что нет, и хотел встать, но она быстро положила мне руку на плечо, и я сел.

— Ну а я вот тебя на улице с одной видела, в шляпке, в молочных туфельках, она тебе кто?

Я отвернулся и коротко объяснил ей, как и что.

— Ах, так! Вместе учились, а теперь гуляете? Ну, хорошо! Это очень хорошо!

И тут я даже вздрогнул: оказывается, что все такие сложные и путаные, противоречивые отношения, в остроте которых я сам не мог разобраться толком, так просто и хорошо укладывались в это подлое словечко «гуляете». Я мгновенно сгорел от стыда и спросил:

— Ну, всё?

Она вдруг громко фыркнула.

— Что ты? — спросил я недоверчиво.

— Вот ты ей, наверное, стихи почитываешь-то?! — сказала она и засмеялась. — У меня тоже один ухажер, так сколько он этих стихов знает! «Позорной казней обреченный в цепях лежит вендерский граф» и дальше. Как его казнить повели и мать в белом покрывале на балконе стояла. Очень хорошо! И читает так прекрасно, и рукой все время и так, и этак. И как будто сама все видишь. — Она подумала и чуть затуманилась: — Замуж хочет взять.

— Ну что ж, — сказал я, — выходи!

Она задумчиво посмотрела на меня.

— ...если он верно хороший человек-то... — солидно посоветовал я.

— А ну его! — засмеялась она. — Сердце надвое не разорвешь. Ну ладно, иди теперь. Сестра-хозяйка пришла! Не дай бог увидит!

Прошло с неделю, и как-то после приема Копнев мне будто вскользь сказал:

— Ты на ночь окно не запирай, а то душно. Ладно?

Я кивнул головой.

— А если кто придет, зажги зеленую лампу.

Я снова кивнул головой. Он запер ящики стола, подергал их (в них лежало оружие) и снова выпрямился.

— Все. Ложись, спи!

Вернулся он за полчаса до подъема. Я уже не спал, сел он рядом со мной, достал портсигар, раскрыл, выбрал папироску и начал мять. Я взглянул на него: он был

утомлен, даже, пожалуй, помят, пробор его сбился, и от влажных волос пахло уже не карамельками, а сыростью, смородиной, дождем, но весь он помолодел, подтянулся и похорошел.

— Ну, — спросил он блаженно, — все благополучно?

Я ответил, что да, все.

— Хорошо! Курить будешь? Папиросы «Ира». «Ира, Ява, зэк, облава». Кури!

Мы отошли к окну и закурили. Я спросил — не замерз ли он? Ведь сыро, роса.

— Замерз! — Он засмеялся и хлопнул меня по плечу. — Разве кто в этом деле мерзнет? А ну-ка сунь мне руку за пазуху! Чувствуешь, как из-под фуфайки пышет? Печка! А ты — замерз! Ах, чудило-мученик! — Он ласково и внимательно смотрел на меня. — И все сидишь, читаешь, хоть бы вышел, прошелся по росе! Чувствуешь, какая на земле благодать?

Он настежь распахнул окно. Запахло сырой землей и крапивой. Сирень еще не цвела — она стояла тихая и задумчивая и молодая, вся в наплывах золота и черни, а под ней в глухой крапиве уже гудели шмели. И вдруг все померкло. Кто-то встал между нами и садом, и голос кастелянши сказал:

— Встали? Ну, с добрым утром, коли так. Иван, пойди-ка сюда!

Я отошел, и они о чем-то заговорили.

В парикмахерской около зеркала стояла Маша и причесывалась. Она взглянула на меня светлым и пустым взглядом, не осознала, что это я, и снова повернулась к зеркалу.

Я стоял и смотрел.

Она вдруг тряхнула головой, и волосы у нее посыпались на плечи, а она засияла еще больше, закусила губу и рванула их гребенкой.

«Как их обоих подняла любовь!» — подумал я и пошел в сад.

Я думал, со старой ведьмой покончено, но не тут-то было. После обеда Маша вошла в приемный покой и тихо сказала Копневу:

— Ну, как хочешь, Ваня, а я так больше не могу. Либо так, либо этак.

Копнев положил круглое зеркальце с лебедем и красавицей на обороте, в которое он рассматривал свои потрясающие зубы (это было его любимое занятие), и спросил:

— А что такое?

Маша сидела и молчала, но по лицу ее уже текли слезы.

— Как же так? Пришла к ней за простыней. Так она меня и так и сяк! И ты — воровка! Когда я что у тебя украла? И по лицу два раза задела, за что это? Я ведь не виновата, если ты...

— По лицу? — переспросил Копнев, и скулы у него заходили.

— Как хочешь, Ваня, — повторила ванщица, — а я так не могу.

Копнев спрятал зеркальце в карман. Встал.

— Хорошо, — сказал он спокойно. — Раз так, так так! Сегодня больных, видно, не будет. Посиди тут один. Не хотели вы, Марья Григорьевна, по-хорошему, ладно, будем говорить по-плохому! Ты сиди тут, а я сейчас...

Вернулся он ночью, когда я уже стал засыпать. Подошел он ко мне, сел на край лавки и сказал горько и насмешливо:

— Вот мы, мужики, а?

— А что? — спросил я.

— Ай-яй-яй! — повторил он раздумчиво. — И за что? За рюмку водки! Ах ты, дьявол, гладкая! Ну ладно! Я, брат, только что от нее. Там чи-истого спирта привезли два ящика. Около чехауза лежит, вот она оттуда и того.

— Чувствую, — улыбнулся я.

— Граммофон откуда-то достала, мы все песни переслушали. Ах, одна хорошая есть: «Ветерочек чуть-чуть дышит», — запел он пискливо.

— Тише, спят!

— Ай-яй-яй! — покачал он головой, не слушая меня. — И стрелок этот у нее, как они уж помирились, шут их знает!

— Какой этот?

— Да тот же самый! Ну Савельев! Ах, ты ведь зимой у нас не был! Тут, брат, такой огонь у нас был! Он ко мне сюда с ножом приходил. «Зарежу!» — молоденький, да дурашный! Усы носит, а ума-то чуть! Вот она его и дразнит. Ну, пес с ними, мы сегодня с ним помирились и чебурахнули по банке. «Он зашел в ресторанчик, чебурахнул стаканчик» — и что-то еще, тили-тили-тили-бом — не помню. А спирту он мне обещал еще дать. Он сегодня там заступает.

— Заступает — и пил?

Копнев только рукой махнул.

— А как же заступает пьяный?

— Как же, как же... — рассердился он вдруг. — Взял да выпил, а тебя вот не спросился. Пойди сними! Какой же ты, ей-богу, шебаршной! Что да почему? Да отчего? Правда, Марья говорит... Стой, она и тебе кое-что послала!

— Это еще зачем? — удивился я.

— Пусть, говорит, ученый выпьет! — засмеялся он. — Нет, она баба ничего, ты зря про нее такого крайнего мнения. Пусть и ученый. Ах, дьявол! Ну ладно, сейчас... — И он вынул из кармана пол-литра.

— Да подожди, Иван, — сказал я (мне показалось, что дверь ванной скрипнула), — вдруг Маша...

И тут мы увидели ее. Она только что проснулась и стояла рассолодевшая, теплая, растрепанная, Копнев было осекся, но сейчас же успокоился и засиял.

— А, Машенька! — закричал он. — А ну-ка, разрешите вас... — Он вскочил, схватил ее за руку и потащил.

— Да стой, Иван! Куда ты? Что ты? — говорила она, упираясь.

— Маша, Маша, душа ты наша, садись с нами, раскрасавица ты моя! — Он чуть не плакал от умиления. — Вот тебе малокалиберная — пей с ученым! А как это он с черненькой? Он шагает, а она его под ручку и «тю-тю-тю!» Ну покажи же! Все свои! Он не обидится!

Маша пригубила и схватилась за горло.

— Ой, как огонь! Это же чистый спирт, где ты достал его, Ваня? Да, я вечером проходила, видела, лежат там возле цейхгауза два ящика... неужели...

Копнев обнял ее и чмокнул в щеку.

— Вот кого я люблю! Ее! У ти, моя лелёсая, у ти, моя!..

Маша отодвинулась.

— Ну не лезь, пожалуйста! Несет как из бочки! Небось, опять у той, кобылы...

— У ти, мой утеночек! Рассердилась, смотри, как губки дрожат! Где я был, там меня, Машенька, нет, а тебя это...

— И-ди, и-ди! Бессовестный! Ишь ты подлый какой, что выдумал! — Она встала и выплеснула ему мензурку под халат. — Слышишь, не подходи, а то я сейчас...

И уж из коридора крикнула:

— И с этого часа все наши с тобой разговоры пустые!

Она ушла, а он поглядел на меня и горестно сказал:

— Вот ведь какие мы, мужики, а? И за чего? За рюмку водки! Это же уму непостижимо! — И налил себе и мне по полной. — А ну, давай!

Но когда я проснулся среди ночи, они уже помирились, ворковали и стонали, как голуби. Помню, проходя мимо ванной, я еще подумал: «Ну, от Машки что-нибудь

добиться, это раз плюнуть!» А когда я минут через двадцать шел обратно, они уже сговаривались снова.

— Но поклянись мне святой иконой, Ваня, что ты никогда, никогда больше... — стонала Маша.

— Машенька, — отвечал Копнев, — ты же знаешь, я человек глубоко неверующий.

Ложась спать, я взглянул на часы. Было половина первого, а в три меня разбудили. Я вскочил. Горел весь верхний свет. Возле меня стояла старуха — дежурная сестра приемного покоя — и маленький татарин.

— Где ваш старший? — испуганно спросила старуха.

Я быстро поглядел на соседние лавки — на них лежала постель, его не было.

— Одевайтесь и берите носилки! — приказала она. — Быстро!

Только что она вышла, я бросился в коридор к ванной.

— Нет его там, — спокойно и досадливо сказал парикмахер. — Он только что мимо меня прошел, я спрашиваю: «Ты куда?» А он мне: «Не ложись. Сейчас принесу, пить будем». Да, пожалуй, выпьешь, подвела ведьма точку свою!

Вошел дежурный врач, завязывая халат на рукавах.

— Готовы? Ой, скорее копайтесь! Там же нашего товарища убили.

— Как? — крикнул я.

Он ничего не ответил и вышел. Мы — я и парикмахер — с носилками пошли за ним.

Ох, как помню я эту ночь и следующее за ней утро!

Светало. Звезды еле мерцали на бледном небе. Все предметы выглядели четко, резко, жестко, как вылитые из железа. На дворе нас уже ждал конвой. Четыре рядовых и начальник. Когда мы с носилками сошли с крыльца, высокого, как эшафот, они молча двинулись вперед. Почему-то из всего этого памятного утра мне особенно

запомнились серые штыки, поднятые к такому же серому недоброму небу.

В холодке рассвета мы прошли двор, вошли через арку в сад, и тут возле здания с амбразурами и решетками увидели двух человек. Один лежал животом на окровавленной траве, другой стоял поодаль под деревянным грибом. Он держал винтовку наизготовку и дико, но спокойно смотрел на нас. Между нами громоздилось что-то покрытое брезентом. Это и был спирт. Мы поставили носилки на землю.

Раненый (или убитый) лежал во весь рост, вытянув ноги в солдатских сапогах со стертыми подковами.

— Берите, — приказал доктор и, наклонившись вперед, тронул за пульс. Я взялся за ноги, парикмахер за плечи, и тут раненый развернулся, и я увидел, что это точно Копнев.

Лицо его с закрытыми глазами не изменилось, только смерть или боль выгладила его, стряхнула всю шелуху и мелочь, и оно стало спокойным, важным и белым-белым.

— Понесли, — приказал доктор.

Краем глаза я увидел, как уводили стрелка. Это был молоденький (хотя, может, только моложавый) парень, кудрявый, с усиками, нагло-голубоглазый, усиленно-спокойный. У него уже взяли винтовку, сняли с него пояс, и он шел по росистому визжащему гравию в расстегнутой шинели, нарочито не торопясь, засунув глубоко руки в карманы галифе.

Он взглянул на нас, на носилки, на умирающего и равнодушно отвернулся.

— Сразу же на стол, — шепнула мне хирургическая сестра и отворила нам дверь. Тут я впервые увидел предоперационную. В ней все было иссиня-белое, холодное, блестящее — пол, стены, мебель. «Цвет смерти» — остро и тоскливо подумалось мне.

Мы положили раненого на стол, и тут он простонал и на мгновение открыл глаза.

Сестра наклонилась к самому его лицу. Она была очень хорошенькая, тонкая, голубоглазая, с нежным хрупким лицом и очень красными губами.

— Ну как, милый? — спросила она нежно и взяла его за руку тонкими, постоянно холодными пальцами.

Он что-то бормотнул и снова закрыл глаза.

— Что? — не поняла она и коснулась горячими губами его лба.

Копнев вдруг снова открыл глаза и посмотрел на сестру.

— Не дайте умереть, — выговорил он очень отчетливо и строго.

— Давайте, — шепнула сестра.

Мы сняли с раненого рубаху, под ней оказалась фуфайка, под фуфайкой рубаха с красными фигурными вензелями, а дальше я увидел мокнущий чернокровавый бугристый гриб-дождевик величиной с кулак. Только потом я понял, это выперли кишки. Вошел хирург, высокий, моложавый, рыжий, в белой шапочке, снял пенсне, молча наклонился над раной. Потом взял Копнева за руку.

— Больной, — сказал он отчетливо, — как ваша фамилия?

Копнев открыл глаза.

— Не дайте умереть, доктор, — произнес он тихо и отвернул лицо.

— Под общим, — обернулся хирург к сестре и отпустил его руку.

— Несите! Ну а вы, товарищи...

Мы сложили носилки и вышли.

На крыльце приемного покоя, как на эшафоте, стояла Маша. Она смотрела на нас и плакала.

— Беда, однако, — покачал головой татарин, — что наделала, ведьма!

— Жив? — спросила Маша сверху.

— Жив, — хмуро отрезал парикмахер. — Все кишки вон! Понесли резать.

Я возвратился домой в таком нехорошем, мутном состоянии, что на другой день опоздал в Измайловский парк на свидание с девушкой в красной шляпке и молочных туфельках, а когда пришел, то толку от меня тоже было немного: я мямлил, был рассеян, начинал что-нибудь говорить, а в середине терял нить, останавливался и мекал. Оно и понятно: говорил-то я про одно, а думал совсем о другом.

— Слушай! Да что с тобой такое? — спросила вдруг моя спутница и заглянула мне в глаза. — Ну так и есть! Опять к тебе эта ведьма пристает.

Я ответил, что нет, не в ведьме тут дело — тут совсем другое.

— А именно?

Я коротко, но все-таки очень бессвязно рассказал ей кое-что, и только произнес проклятое имя, как из поворота аллеи вышла она, неожиданная, как призрак. Я так и онемел.

— Добрый вечер, — сказала она очень ласково, — гуляете? Приятной вам прогулки.

С десяток секунд мы все трое молчали и рассматривали друг друга.

— Та самая? — толкнула меня моя спутница.

Кастелянша повернула голову и взглянула на нее.

— Какая хорошая барышня, — сказала она. — Вы никуда не торопитесь? Ну, я... мне вас только на два слова. — Моя спутница посмотрела на браслетку. — А вы, девушка, не беспокойтесь, я не зарежу. Мне только два слова.

— Пожалуйста, — очень вежливо ответила моя спутница, не сводя с нее глаз, — но отойдем.

Несколько шагов мы прошли молча.

— Да, ведь вот какая беда с Иваном, — вздохнула кастелянша.

— Как он сейчас? — встрепенулся я.

— Умер сегодня ночью.

— Умер? — Мы оба так и встали.

— Умер, умер! Царствие ему небесное, — набожно ответила кастелянша.

— Вы верующая? — вдруг очень серьезно спросила моя спутница.

— Я, барышня, — строго ответила кастелянша, — хоть и не придерживаюсь всего, но я еще старого обряда. Мои деды с Заволжья. Я кержачка. Вот.

Ухнул барабан, загудели трубы, и публика повалила к эстрадам.

— А вот тут гулянье, — вздохнула кастелянша. — Ивану гроб в подвале, а тут музыка — всем частям сбор. Да, умер, умер Иван. Меня уж призывали. Вам, знаю, тоже повестка выписана.

— Ага-а! — поняла что-то моя спутница и кивнула головой.

— Она у вас? — спросил я, думая, что это и есть причина ее появления.

— Ну, у меня? — улыбнулась она моей глупости. — Повестка своей путей пойдет, а... — Она прямо взглянула на меня. — Пусть бы барышня вперед прошла, я б вам два слова.

— Я не барышня, — ласково ответила моя спутница, — и поэтому вперед не пойду. Ну, говорите, я не слушаю.

Я молчал. Моя спутница повернула нас в боковую аллею. Тут было тише, прохладнее, пахло сырой землей и цветами, и оркестр через кусты сирени звучал как через толстое стекло.

— Так я специально у вас была, — обратилась ко мне кастелянша. — Тут вот какое дело: ночью вы с покойным вдвоем оставались, значит, должны были знать, зачем он полез на винтовку. Как туда попал? Неужели так у него губу разъело, что он так и умер не в себе, а об этом особый протокол писать будут. Вот и меня спрашивали, а что я знаю? Вы там трое сидели, меня с вами не было.

Я посмотрел на ее наглую улыбочку, спокойные ореховые глаза и вдруг даже задрожал весь — так она мне стала ненавистна!

— Так что вам, собственно, от меня надо? — спросил я тихо и бешено. Она встала в тупик. Никто и никогда не слышал от меня такого тона.

— Да мне... — насмешливо начала она, но поглядела на мою спутницу и запнулась.

А меня уж колотило. Ее плоское лицо с вздернутой губой и косой улыбочкой так и прыгало у меня перед глазами. Я и до сих пор отчетливо помню его — раз и навеки, как при вспышке молнии.

— Если вы такого мнения... — начала она.

— Постойте, — остановил я ее, переводя дыхание, — вот вы говорите, вас допрашивали. Ну и правильно. Он же к вам ушел. Вы знаете зачем — шел на десять минут, а вернулся ночью и пьяный. Из-за этого у него был скандал с Машей. Из-за этого его и застрелили.

Пока я говорил, она смотрела на меня в упор, как бы стараясь понять что-то, а я так разошелся, что на нас уже начали оглядываться. Двое мальчишек так и застыли с рогатками возле куста сирени.

— Ну а еще что скажете? — спросила кастелянша спокойно.

— Вы!!!... — крикнул я.

— Ой, только тише! — попросила моя спутница. — И не надо таких слов. Нас же слушают!

— Да нет, пусть, пусть! Меня не запугаешь! — улыбнулась кастелянша. — Ну ладно. Вот вы с Машкой и с ним пили, выпили все, его за новым послали. Это все так! Да как же он около солдата очутился? Куда же вы его послали?

— Он к вам пошел, а не к солдату. Вы это знаете.

— Что я знаю? — холодно и спокойно возразила она. — Мы об этом говорить сейчас не будем. Это вы там

скажете. Но как же это вышло: пошел он ко мне, а очутился вона где — возле цейхгауза. И еще одно мне чудно: с ним Машка была, а он ко мне пошел, это с каких же щей? Нет, тут он вам что-то не то сказал.

— Да ничего он мне не говорил, — сразу отрезал я.

Тут глаза у нее блеснули и погасли.

— Ну а тогда уж совсем чудно, — сказала она медленно и спокойно. — Вам он ничего не говорил, Машке тоже, татарин и подавно ничего не знает — так откуда вы все это взяли?

Я молчал.

— Значит, не хочется вам по-доброму? — спросила кастелянша.

— А как это, по-доброму? — поинтересовалась моя спутница.

Во время разговора она не сводила с нее глаз, как бы боясь пропустить любое ее движение или слово.

— По доброму-то как? — обернулась к ней кастелянша. — А так, чтоб звону лишнего не было. Потому что хотя где и с кем он пил, я не знаю, но вот Машке я физиономию побила не зря, а за что — она знает, но вот у нее жених есть — тоже вроде ученый, в бухгалтерии работает, так неудобно, чтоб ему об этом с каждой колокольни звонили. Он может и нос отворотить. Это тоже очень просто. Знаете наше дело — молчи побольше. И опять другое: вон главврач жене Ивана телеграмму отбил. Может быть, ей помогут страховку или пенсию выхлопотать. Все-таки, как сказать, не в кабаке убит человек, а при долге службы. А если выяснится, что он на работе с вами казенный спирт распивал да с Машкой в ванне запирался, ну тогда, пожалуй, насчет пензии-то погодишь. Вот я к вам и пришла, а не хотите...

Она поклонилась и быстро пошла. С целую минуту мы молчали.

— Дьявол, — сказала моя спутница почти суеверно. — Смотри, она уже со всеми сговорилась: и с Машей, и с

твоим парикмахером, и тем стрелком, и ничего не боится, а к тебе пришла только узнать...

— И умылась!

— Как умылась? Эх, ты! Сказал же ты ей, что Иван тебе ничего не говорил, куда пошел, зачем. Ну вот и все — значит, и ты не свидетель. Ух, какая стерва! Вот попробуй, сыграй такую на этюдах, ведь ни за что не сумеешь.

Я взял спутницу под руку:

— Ну, идем, а то опоздаем на сеанс.

— А заметил, какое лицо у нее было, когда она с нами разговаривала? Надменное и снисходительное. Она же ничего не боится и презирает нас обоих. Слушай, милый, — она остановилась и взяла меня под локоть, — прошу тебя, не говори лишнего, ну того, чего не знаешь, все равно ничего не сделаешь. Парикмахер отречется, Маша будет только плакать, а жена Копнева тебя возненавидит — вот и все, чего ты достигнешь.

— Что же, по-твоему, делать?

— Не фантазировать. Вот у тебя уже убийство, ревность и все такое! Не надо так! Не бери лишнего на душу. Просто: спросят — ответь, вот было так и так, а что это значит, разбирайтесь сами.

В кино мы опоздали и до ночи прогуляли по аллеям. Уже и огни потухли, а мы все ходили. Моя спутница молчала и о чем-то думала.

— Итак, «любовная лодка разбилась о быт»? — спросил я при прощании. Эти строки Маяковского у всех тогда были на устах и в памяти.

Она задержала мою руку.

— Ты говоришь про свою врагиню? Нет, у нее и не любовь, и не быт!

— А что же?

— У нее преступление! — ответила она твердо.

— То есть убийство?

Она поморщилась.

— Ах, убийство может быть само по себе, если оно только есть, но тут и самая любовь — преступление. И значит, есть такие женщины. Вот у твоей Маши и неудачная любовь — радость, а здесь и взаимность — только тяжесть и злодейство. От такой любви человек гнется, гибнет. Вот если бы эту мысль мне удалось донести, она бы и была ключом к моей роли. Но как это сделать? Как превратить кержачку в леди Макбет? Ну-ка, давай подумаем вместе.

Утром, когда я пришел в госпиталь, мне первым делом сообщили: Марья Григорьевна исчезла и захватила с собой ключи. Теперь ломают дверь бельевой, с вешалки пропало сколько-то бушлатов и два пледовых одеяла. Значит, очевидно, чувствовала за собой что-то. Нас с Машей (она, верно, много плакала — нет-нет, да вдруг сядет, затуманится и всплакнет) засадили в комнату, дали бланки и заставили писать длинные и подробные показания: что, когда, где, почему. Кажется, объявили всесоюзный розыск, но этим пока все и кончилось. Стрелка подержали и отпустили, да и за что было его судить? Он кричал, свистел, но неизвестный пер на него, прямо в круглое дуло русской винтовки — вот он выстрелил и попал.

Приехала жена Копнева, и ей, верно, что-то выхлопотали. По госпитальному саду она ходила, обнявшись с Машей, и обе то плакали, то смеялись. Меня она не замечала и только раз заговорила со мной.

— Довольно нехорошо, — сказала она, — человек мертв, а вы про него всякую сплетку ведете. Пил, да то, да се. Вот вы хотели, чтоб я ничего не получила, ан, люди справедливые, по-иному рассудили. Не вышло вот по-вашему-то!

Она была навеселе, и разговаривать с ней я не стал.

А потом она уехала, жизнь вошла в свою колею, и потянулись обычные незаметные госпитальные дни.

Теперь старшим сделался я, и ценности уже сдавались мне, а моим подручным был студент из медицинского института. Он провалил анатомию и поэтому зубрил день и ночь. Никто теперь уж меня не дразнил, не вырывал из рук у меня книжку и не спрашивал, что там написано и как это понять. Но однажды, месяца через два, ванщица недовольно сказала мне: «Слушай, ты бы эти стишки свои забрал бы, что ли? А то валяются на окне, еще пропадут».

И тут я понял, что действительно с той ночи ни разу не вспомнил о своих кумирах. Они отошли от меня так тихо и незаметно, что я даже не почувствовал этого. Теперь я думал об ином. Моя знакомая часто упоминала леди Макбет (это была ее дипломная работа), и вдруг я понял, что для меня наступила пора Шекспира. Он подошел ко мне вплотную. Раньше я как-то проходил мимо него. Хороших постановок тогда не было, а читая его, я путался в длинных замысловатых предложениях — бесконечных коридорах, которые можно одолеть только бегом и никогда шагом, — в его пышных многостепенных и многоэтажных монологах, где сравнение громоздилось на сравнении, образ на образе, так что они зачастую уничтожали друг друга; в его смертях, убийствах, предательствах. Все это мне казалось просто скучным и утомительным. А сейчас словно прорвалась какая-то туманная пелена и через нее я ясно увидел — не леди Макбет, нет, та была совсем иная, — а кастеляншу, ее зубы и особенно руки — мускулистые, длинные, загорелые — как она толкает в плечо Копнева и говорит: «Так ты помни!» или злобно вырывает у меня книгу. И еще какие-то смутные, но большие истины о любви-радости и любви-преступлении стали приходить и тревожить меня. В свободные часы я сидел на лавке в парке, то размышляя о том, что произошло, то вчитываясь и входя все более и более в варварский, но великий по своей истинности и простоте текст.

И однажды в парке после обеда подсел ко мне незнакомый больной — молодой парень в халате. Он спросил, что я читаю, я сказал. Он попросил взглянуть, и я протянул ему книгу. Он быстро пролистал ее, задерживаясь на картинках, и спросил, где же тут стихи. Я ответил, что тут все стихи, только переведены они прозой.

— А-а, — кивнул он мне головой и отдал книгу.

Я смотрел на него, рослого, худого, белокурого, у него все время подергивались уголки рта, — и никак не мог понять, откуда я его знаю. Он поступил не в мою смену, а все больные, остриженные и одетые по-госпитальному, очень походят друг на друга.

— А это не здесь про поцелуй и лето? — спросил он меня вдруг.

Не помню, что я ему ответил, но с минуту мы сидели молча. И тут наконец до меня дошло, что раз он в бордовом халате, то, значит, из первого отделения — это их цвет. И ни о чем больше его спрашивать не стал.

Он вдруг заговорил сам. Сердито, задиристо и смущенно.

— Ну, что вот все на меня смотрят, смотрят... Что вы вот смотрите? Что я должен был делать? Он все шел и шел. Ну, был бы штатский, ничего не знал — а то ведь сам только что из армии. И вот идет и идет. Как я на него мог подумать?

— Но вы ведь видели, кто это? — сказал я.

— Ничего я не видел, было темно, — ответил он. — Я на него и не думал вовсе.

— А на кого же вы...

Он ничего не ответил, взял книжку и стал со злом листать. Потом он молча встал и не прощаясь пошел. Так мы расстались, и больше я его уже никогда не видел.

А через два месяца ванщица мне весело сказала:

— Ну, тебе, ученый, видать, бабка колдовала. Ведь этот психованный, он сейчас с припадками в нервном лежит, думал, что он в тебя стреляет.

ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ

Когда я первый раз пришел к Вере Анатольевне, меня просили подождать и провели в гостиную. Гостиная была большая, очень светлая, плотно набитая красивыми вещами и мебелью. Пока я ходил по ней и рассматривал портреты Веры Анатольевны (Вера Анатольевна — Эсмеральда; Вера Анатольевна — Анна Каренина; Вера Анатольевна просто так, но веселая, нарядная, с большим букетом роз в руках), дверь отворилась и вошла девочка. Это была очень маленькая девочка в розовом платье, в фартучке с кармашками и синим бантом в вихрастых белых волосах. В руке она держала большую цветастую книжку. Я поклонился ей, она подошла ко мне и чинно подала маленькую ладошку.

— Вы к маме? — спросила она серьезно.

Я ответил, что да, и спросил:

— А вы, барышня, наверно, мамина дочка?

Моя новая знакомая кивнула головой, села на диван и распахнула книжку. Я заглянул одним глазом: это был детский зоологический атлас.

— Хотите посмотреть? — предложила девочка и положила книгу на колени так, чтоб нам было видно обоим. — Смотрите: это вот лев, а это козочка, — он подкрался к ней и сейчас прыгнет; а это вот тигр — видите, какой он полосатый? Это потому, что он живет в тростниках. А это вот волк, летом он ничего, как собака, а зимой может съесть — папа раз от него еле-еле убежал; а это...

Так мы просмотрели весь атлас, и, когда дошли до рыси, я сказал:

— А эту вот кисаньку я два года держал у себя дома.

Моя собеседница взмахнула розовыми лапочками и даже задохнулась от восторга:

— Ой! И она ни на кого не прыгала?!

— Ну что вы! Ведь она была совсем ручная. Мне принесли ее еще котеночком. Я ее и кормил из сосочки. — Глаза моей собеседницы голубели все больше и больше. — Знаете, сидишь на полу, растапливаешь печку, а она подходит, ложится, осторожненько забирает вашу руку в пасть и начинает сосать — это значит, она соскучилась и просит с ней поиграть.

— Вот когда я вырасту большая, — сказала девочка горячо, — у меня будут тоже всякие звери — и медведь, и волк, и эта самая рысь!

Я сомнительно покачал головой.

— А что?! Она же совсем ручная, ее можно держать и в квартире, да?

— Вот уж не знаю, — ответил я, — это было в тайге, а там квартир нет.

— А что такое тайга?!

— Тайга — это лес! Густой-прегустой — там рыси, и медведи, и олени вот с такими рогами, и дикие петухи! — Она молчала и завороженно смотрела на меня. — Утром выйдешь за водой и смотришь: следы, следы, следы, — так и вьются по снегу. Это, значит, горностай бегал. А в другом месте следы покрупнее — это уже лисонька за мышами охотилась. Там беда сколько этих лис!

— Вы были там на гастролях? — спросила девочка и вдруг догадалась: — Слушайте, а вы не тот папин знакомый, который объехал полсвета?

Я не успел ответить, как дверь широко распахнулась и вошла Вера Анатольевна — высокая, красивая, улыбающаяся, в черном шуршащем платье и браслетах и еще более молодая, чем на фото.

— Детеныш мой, ты уже тут? Здравствуйте, — она назвала меня по имени-отчеству, — извините, что задержалась, но сегодня дома никого нет и я хозяйка!

Она протянула мне сверкающую руку и задержала на минуту мои пальцы.

— Мы с вами, конечно, не знакомы? — не то спросила, не то сказала она.

— Да, — ответил я, — к сожалению, нет!

— Ну, беда поправимая, — засмеялась она. — Тем более что у нас с вами столько друзей.

— Хотя бы Люда Садовская, — ответил я.

Она слегка (но, кажется, так, чтоб я это видел) прикусила губу.

— Да, и она! Ну, конечно, ваш друг нас надул! Заперся, снял даже телефонную трубку, но начальник оказался хитрее его — приехал и увез на пять минут. Это уж до ночи. Теперь так: ночуете вы здесь!

— Ой, да ведь я...

— Правильно! И я говорила, но так решил ваш друг. Как бы там ни было, две бутылки коньяка на столе, пельмени я готовлю — видите? — На ней был фартук. — И ждать мы его не будем. Ты что-то хочешь мне сказать, мой детеныш?

— Мамочка, — сказала моя новая знакомая, — вообрази, у них была живая рысь.

— Вот! Представляю — ваша будущая поклонница, — улыбнулась Вера Анатольевна. — А это, Катя, самый, самый старый папочкин друг. С ним папа, когда он был маленьким, и ловил птичек. Помнишь, он тебе рассказывал? Вы знаете, Владимир просто взбесился, когда узнал, что вы живы и в Москве. Целый день мне рассказывал только про вас. Я даже вас чуть не возненавидела — прямо как влюбленный, ему и жена не нужна, — вот дружба!

— Ну что ж, — ответил я, — давайте ему отплатим: сядем за стол, да и выпьем его коньяк.

Она расхохоталась, схватила дочку и звонко чмокнула ее в нос.

— Ты видишь, какой дядя смешной?! Ну, иди, иди, детеныш, — я приду к тебе проститься! Что ж, давайте к столу!

За столом я спросил:

— А сколько лет Кате?

— Она от первого брака, — ответила Вера Анатольевна. — В этом году пойдет в первый класс. Кстати, Виктор Федорович — так звали моего первого мужа — тоже вас частенько вспоминал.

Я посидел, подумал.

— Виктор Федорович, говорите? Нет, не помню.

— Да-а? — она туманно улыбнулась. — А кузен Люды? Вы еще на Новый год...

— А-а! — сказал я, смотря на нее. — Помню, помню... Ну, что ж? — Я поднял бокал. — За ваши успехи! Чем порадуете?

Она духом выпила все и, твердо стукнув, поставила бокал на стол.

— Вот, об этом я и хотела вас просить. Мы ставим «Бесприданницу». Если бы вы согласились мне помочь...

— Все, чем располагаю, — ответил я пышно, — к вашим услугам, а... Виктор ваш жив?!

— Погиб в Ленинграде... он был связистом... А что вы улыбаетесь?!

— Красиво вы пьете, Вера Анатольевна. С вами даже за одним столом посидеть приятно.

— Выучка, дорогой друг. Когда-то я теряла голову от трех рюмок. Вот придет Владимир и заставит нас пить на брудершафт: «И никаких разговоров, это такой парень!»

Она уж слегка опьянела — волосы растрепались, глаза поблескивали.

— Ну, а меня-то вы сразу узнали? — спросила она с легкой насмешкой.

Я обернулся и поглядел на Анну Каренину на стене.

— Грим вас почти не меняет, Вера Анатольевна. Если бы не прическа...

Она вдруг поднялась.

— Извините, я пройду к дочке, а то она ждет.

Она ушла, а я подошел к окну. Падал снег. Опять падал мокрый, крупный снег.

* * *

И вот мы стали друзья. Ведь кроме того, что мы выпили на брудершафт, нас еще связывала и профессия. Муж в эти дела не мешался; бывало, сидим втроем, пьем чай, разговариваем о том о сем, и вдруг бьют часы. Владимир поднимается, смотрит на браслетку и говорит: «Ну, друзья-артисты, и хорошо с вами, а идти все-таки надо. Но уж хоть сегодня-то не поцапайтесь без меня!» Когда он проходит мимо нее, она поворачивает голову и спрашивает: «Ты надолго?» Стоя над ней, он отвечает: «Не знаю! Ты, во всяком случае, меня не жди», — целует ее в лоб и уходит. А она говорит: «Ну, если ты в настроении, я тебе покажу кое-что новое», — подвигает мне ликер, сахарницу, сухари и выходит на середину комнаты. И вот однажды мы поругались вдрызг. Она мне показывала куски из четвертого акта «Бесприданницы», и что-то не все до меня дошло. Слишком много было слез, смеха, красиво заломленных рук, а разве Вера Анатольевна не знает, как это выглядит в жизни? Знает, конечно. Я и сказал ей об этом, а она вдруг обиделась. Мы что-то вообще стали плохо понимать друг друга в последнее время. Например, я рассказываю что-нибудь Владимиру, а она перебивает: «Вот-вот, у тебя всегда так». Я поворачиваюсь и спрашиваю: «Ты, собственно, о чем?» Она отчужденно и насмешливо отвечает: «Да так! Твоя обычная схемочка, любит — не любит;

впрочем, говори, говори, я тебя не перебиваю», — и уходит. Вот и сейчас она резко прервала разговор, повернулась, опрокинула стул и подошла к открытому окну.

— Ну, — сказал я, — Александр Македонский — герой, но зачем же стулья-то ломать?

Она смотрела вниз на палисадник, на тяжелые кисти белой сирени и молчала.

И тогда черт дернул меня за язык, и я сказал:

— Где ты, где ты, о прошлогодний снег!

Она резко спросила:

— Ты что, бредишь? Какой снег?

— Прошлогодний! — ответил я мирно. — Это из одного старого перевода.

Она молча отошла к столу и села. Мне было очень неудобно, и я сказал ей в спину:

— А знаешь, Вера Анатольевна, какой ты была, такой вот и осталась.

— Это какой же? — спросила она зло.

— Да все такой же! Ты помнишь это: лицо, и слезы, и «отстань, я тебя ненавижу», и... ну и все прочее, прочее!

Наступила отвратительная пауза. Она вдруг встала и пошла ко мне.

— Что-о?! — спросила она тихо и страшно. — Ты смеешь...

Не знаю, что она сказала бы или сделала, но тут раздался звонок, и она бросилась в прихожую. Я слышал, как она что-то сказала мужу и простучала на каблучках мимо него. Он пришел усталый, запыленный и, как всегда, чуть подвыпивший и довольный (его очень забавляли наши ссоры) и плюхнул на стол разбухший портфель.

— Опять? Ну что это за дело, товарищи актеры? Просто оставить вас вдвоем нельзя — сразу же и скандал.

Я встал и начал прощаться.

— Куда, куда? — всполошился он. — Плюнь! Помиритесь. А у меня, брат, тут такое винцо...

Но я не стал пить его вино, попрощался и ушел. Я ждал ее на другой день, потом на третий, потом и ждать перестал, как вдруг она пришла.

— Ты извини, — сказала она, проходя в комнату, но не раздеваясь, — ты, кажется, работаешь? Но я только на одну минуту!

— Во-первых, здравствуй! — ответил я. — А во-вторых, почему ты не раздеваешься?

Она расстегнула пуговицу на плаще.

— Нам надо с тобой поговорить.

— Садись! — предложил я и подвинул ей стул, но она не села, а только оперлась на его спинку.

— И поговорить вот о чем — ты тогда вспомнил о нашей встрече?

— Ты прости, — сказал я, глядя в ее большие и блестящие глаза. — Полностью сознаюсь: это было страшно глупо и подло.

— Да? — как будто удивилась или не поверила она. — Почему глупо?

Она расстегнула пальто до конца и настойчиво спросила:

— Вот ты говоришь «глупо», «подло», — почему же ты тогда вспомнил? Хотел меня оскорбить, да?

— Снимай, снимай, и давай я повешу, — ответил я и помог ей раздеться.

Когда я вернулся, она сидела и курила. Темнело. Я подошел к выключателю, но она быстро сказала: «Не надо!» — и спросила:

— Часто ты вспоминаешь об этом?

Я посмотрел на нее и тоже спросил:

— А ты?

Она хотела что-то сказать, открыла было рот, но вдруг осеклась и покорно опустила голову.

Тогда я наклонился и поцеловал ее сначала в волосы, а потом в глаза — в один и другой.

— Не надо! — попросила она жалобно. — Ой, не надо же! Ну, как же я теперь...

Я молчал, стоял над ней и гладил ее по волосам.

— Боже мой! — сказала она вдруг тихо и покорно и уронила голову.

Дальше мы уже молчали оба.

* * *

А дело-то было так.

Пятнадцать лет тому назад на встрече Нового года меня познакомили со студийкой МХАТа.

Хозяйка — бедовая и плутоватая Люда Садовская — подвела меня к Вере и сказала:

— Верочка, вот это самый наш поэт. Прошу любить и жаловать. — Подмигнула мне: «Держись, мол!» — и ушла.

Я посмотрел на Веру и сразу вспотел — до того она была хороша, а я так плох. Правда, на мне был новый костюм из серебристого гимназического сукна, галстук, крахмальный воротничок, но все остальное было просто ужасным — волосы торчали, нос лупился, а сам я болтался где-то между 20 и 21 годами и все никак не мог переступить этот проклятый предел. Что-то ничего хорошего у меня не получалось в ту пору, а стихи и любовь — меньше всего. Моя новая знакомая глядела на меня и улыбалась.

— Садитесь! — пригласила она. — Вы танцуете?

— Нет... А...

— Я спросила потому, что здесь сидит Виктор — мой партнер по танцам, — не знаете? Ну, Людин кузен.

Она была прехорошенькая — такой я еще не видел: стройная, голубоглазая, с очень пышными русыми волосами и таким нежным лицом, словно его нарисовали самой тонкой чистой акварелью. И платье под стать ей у нее было — голубое, легкое, схваченное в талии золотистым поясом со змеиной головкой.

— Вы мне прочтете что-нибудь? — ласково попросила она и дотронулась до моей руки. Я завороженно, но отрицательно покачал головой.

— Почему? — удивилась она.

Я открыл было рот, но тут к нам подошел ее партнер Виктор, полнолицый, красивый парень в шоколадных крагах и глухой полувоенной форме. В руках его висела женская сумочка, и он остановился, недоуменно смотря на нас.

— Виктор! — обрадовалась Вера. — Берите стул и садитесь! Коля нам прочтет свои стихи. Послушаем, да?

— Одну минуточку! — ответил Виктор очень любезно, положил сумочку на край дивана, повернулся и ушел.

— Обиделся! — сказала Вера. Я дернулся, чтобы встать. — Ничего, ничего, мы сейчас пойдем за стол. Так прочтите что-нибудь, а? Вот Люда мне читала ваши стихи о Наполеоне.

И тут меня взорвало (я ведь и подпил еще немного). Я сказал ей, что о стихах нечего и говорить, — перестал я их писать. Вот иду я по бульварам и пою, пою — и все прекрасно: образы, чувства, мысли, созвучья, — а дорвусь до бумаги — и все уйдет, останутся одни рифмованные обрубки. Вот она говорит — стихи о Наполеоне, — ну да, о Наполеоне-то я напишу, но вот мне очень трудно живется, а разве я могу рассказать об этом. Так где же смысл? О Наполеоне — могу, а о себе — нет. Значит, что же я такое? Граммофонная пластинка. Ее напели, а она вертится и орет. Я выпалил все это разом и смутился, но она вдруг перестала улыбаться, глаза у нее померкли, стали ближе, и она сказала горестно и просто:

— Ах, как же я вас понимаю! И у меня ведь то же самое!

Я возмущенно взмахнул рукой.

— То же самое! То же самое! — повторила она. — Вот шеф говорит мне: «Ну, хорошо, мы видели вашу Катерину. Творческое воображение у вас на «отлично», но я хочу проверить вашу эмоциональную память и наблюдательность, идите завтра на Смоленский рынок, — там на вас налетят бабы с горячими пирожками и начнут

вам совать свой товар. Вот присмотритесь, как это делается, и расскажите нам».

И вот я иду на рынок, стою, смотрю, покупаю пирожки, раз пять ухожу, раз пять прихожу, являюсь в студию и начинаю рассказывать. Как будто все хорошо. Тут встает руководитель, начинает спрашивать, и — бац! — оказывается, что я не заметила десятка самых основных вещей. «Ну как же так, — спрашивает руководитель, — вы должны показать это нам, а вы даже не заметили!» Я молчу. «Хорошо! Идите теперь во второй раз, выберите одну какую-нибудь бабу, присмотритесь, как она нахваливает свой товар, как получает деньги, как прячет их, — потом придете и покажете». Я опять иду — стою, стою, стою — целый час стою, прихожу, начинаю показывать, и учитель через минуту кричит: «Не верю, Вера Анатольевна, не так!» И я вижу, что не так. В чем же дело? Говорят, ты талантливая и красивая, тебе жить только на сцене. Хорошо! Почему же тогда ничего не могу? Почему же у меня, как и у вас, все внутри, вытащить это нельзя? У таланта крылья, а я... Где они у меня. — Она не докончила и махнула рукой.

— Как некогда в разросшихся хвощах
Ревела от сознания бессилья
Тварь скользкая, почуя на плечах
Еще не появившиеся крылья, —

продекламировал я. — Не развернулись они у вас, Вера Анатольевна.

Она посмотрела на меня.

— Еще не развернулись? А что если их просто нет? Вон Ермолова в восемнадцать лет двигала толпой, мне двадцать, а что я могу?

Я молчал. Она смотрела на меня и ждала ответа.

— Так что же делать? Бросить все да выйти замуж — так мне и советуют дома: он будет работать, а я книжки читать. А что если пойду в театр да увижу своих подруг?

— А они талантливые? — спросил я.

— Они? — Она подумала. — Вы понимаете, иногда я знаю! знаю, что на голову выше их, а иногда... так кажусь себе жалкой уродкой! Учитель говорит: «Все ваши томления от того, что вы, Вера Анатольевна, талантливее самой себя». Не понимаю! — Она подумала. — Чьи это вы стихи читали?

— Гумилева.

— Вот видите, и у него было то же. Но он хоть сумел выразить это, а я... Вот (она назвала фамилию одного народного) говорил мне о горенье, о детонации личности на сцене, а потом пригласил меня в «Прагу» да и спрашивает... — Она замолчала. — Горенье? Так я ли не горю?

— А может быть, вам это и мешает?

Глаза у нее расширились:

— Как же это?

— Так. Не руками восторженных создается искусство! Оно еще любит меру и число. А что может создать восторженный?

Она молчала и смотрела на меня.

— Вот вы восхищаетесь вашим народным, а что в нем может гореть? Он уже отгорел и выгорел. Он пепел.

— Ну, не надо так о нем, — попросила она. — Но вы сказали очень интересную вещь. Да-да! Сгореть дотла, — и схватила меня за руку. — Хорошо! Вот этой зимой я должна была... — и вдруг замолчала.

— Что?! — спросил я.

Она тряхнула головой и что-то сбросила с себя.

— Ладно, сейчас об этом не надо — смотрите, что делается!

Уже накрывали стол. Мать Люды — высокая, моложавая дама с красивым строгим лицом и словно гофрированными волосами — расставляла последние тарелки (она сама была актриса и спешила на концерт). Виктор раскупоривал бутылки и составлял их на стол. Тихонькая

и сухая старушка, Людина няня, вынесла корзинку с ландышами, всю в голубых и розовых лентах, и стояла, зажав ее под мышкой. Потом пришла Людка с патефоном и торжественно сказала: «Ну, дорогие гости, прошу к столу!» — и патефон заорал «Магнолию в цвету». Я подошел к Люде и шепнул: «Посади нас вместе».

— Да? — она неуверенно посмотрела на меня. — Ты смотри, не увлекайся, она ведь бо-ольшая задавала! Это сегодня с ней что-то случилось, а то она должна была быть совсем в ином месте, у нее и компания такая! — Но вдруг Людкина лисья мордочка радостно вспыхнула, и она даже по-мальчишески щелкнула пальцами. — А была бы штука капитана Кука, если бы ты ее... Ладно, посажу! Ну, держись!

И так мы сидели рядом, — я ей наливал, а она, поднимая рюмку к моему стакану, спрашивала: «Ну, а это за что?» — и мы пили за Новый год, за хозяйку старую, за хозяйку молодую, за плавающих, путешествующих и пребывающих в темницах, за Веру, Надежду, Любовь и мать их Софию, за Петра и Павла, Ивана и Марью, кошку и мышку, мать и мачеху, и она удивленно говорила: «Ох, но я же совсем пьяная, а мне еще танцевать с Виктором». А он сидел напротив, курил трубку и смотрел на нас. Она повторяла это столько раз, что я не выдержал и спросил:

— А он вам нравится?!

— Что-о?! — строго и свысока удивилась она. И я понял: «Да, бо-ольшая задавала!» Но отступать было уже некуда, а я еще был пьян, влюблен, раздосадован и поэтому повторил:

— Таков ваш вкус?

Она грозно нахмурилась, но, видимо, вдруг вспомнила, с кем имеет дело, улыбнулась, просветлела и, как ученая сорока, наклонила голову набок.

— А по-вашему — как?

Я пожал плечами.

— Ну, подумайте и решите! Слушайте, а почему вы вдруг не танцуете? Вот заиграют вальс, и идемте. Я вам покажу.

— Верочка, что вы выдумываете, — крикнула Людка, — он такой медведюшка... Все же ноги оттопчет!

— И ничего он не медведюшка! Очень интересный молодой человек, — горячо заступилась за меня Вера. — Не вбивайте вы ему в голову, что он какой-то особенный и ничего ему больше не нужно. Стихи стихами, а... Марья Николаевна, — крикнула она Людиной маме, — подождите, я тоже выйду с вами на улицу! Что-то у меня неладно с головой!

После чая играли в «флирт цветов». Мне попалось пять карт, и все ерундовые. Я их держал веером и все не знал, что мне с ними делать.

«Нравится ли Вам Ваш сосед?»
«Вы мне очень нравитесь».

«Позвольте Вас проводить?»
«Да», «нет», «может быть».

«Свободны ли Вы завтра вечером?»
«Я свободна завтра вечером».

«Пришел, увидел, победил!»

«Любовь, Любовь — гласит преданье».

Что из этого я мог послать Вере?

А мне уж какой-то подлец послал: «Понапрасну, Ваня, ходишь, понапрасну ножки бьешь!»

К ней же всё летели орхидеи, магнолии, лакфиоли, примулы, гортензии, астры, гелиотропы, алоэ, маргаритки — словом, все цветы мира падали к ее замшевым белым туфелькам.

Пока я вертел да раздумывал, она мне послала:

«Что ж ты, молодец, не весел?
Что ж ты голову повесил?»

Я мог бы ей, конечно, ответить:

«Мне грустно, потому что весело тебе»,

или:

«Не искушай меня без нужды»,

или же наконец:

«Зачем ты, безумная, губишь
Того, кто увлекся тобой?»

Но я плюнул на все тонкости и послал:

«Позвольте Вас проводить?»

Она прочла, засмеялась и ответила:

«Что будет завтра говорить
Княгиня Марья Алексевна?»

Отодвинули стол, и Вера ушла танцевать с Виктором, да с ним и села, потом к ним подошла Людка с высоким красивым моряком в форме и с кортиком, и они весело заговорили вчетвером. Потом Люда и моряк ушли, и они снова остались вдвоем. Все орал и орал патефон. Я посидел, поулыбался — все были заняты своим, и никто на мою улыбочку не обращал внимания — да и пошел бродить.

Квартира Садовских была большая (с барский особняк), гулкая и совершенно пустая, только в кухне, за длинным и темным коридором, сидели две старушки и пили чай с красным и желтым сахаром, горела синяя лампадка, в углу шумел белый самовар в медалях да капала на дно раковины вода, было тихо, полутемно и спокойно-спокойно, — я вошел и остановился у притолоки, отдыхая от пьяного чада, патефонного визга, топота каблуков и липких стаканов.

— Ай головка болит, батюшка? — заботливо спросила Людина няня и сунула мне соленый огурец. С ним я и пошел сначала по коридору, а потом по пустым комна-

там, пока не наскочил на Людку. Она мигом соскочила с дивана и, как кошка, прыгнула ко мне.

— Что ж ты зеваешь? — крикнула она. — А что там делается, знаешь? Верка-то в тебя втюрилась!

Я только попятился.

— Ух ты, чудище обло! — Она счастливо засмеялась. — Ведь вот история! Такая недотрога — и сразу же упала, ну иди, иди к ней! Хотя постой...

Она зажгла свет (на софе, нога на ногу, показывая свой великолепный клеш, сидел моряк) и подвела меня к туалетному столику.

— Не вертись! — строго приказала она, схватила флакон, открыла его и начала прикладывать к моему пиджаку, потом поправила мне воротничок, схватила расческу, провела раз-два по волосам, посмотрела и похвалила: «От теперь порядок!» Моряк, улыбаясь, смотрел на нас. Она обняла меня за плечи, повернула и спросила:

— Ну, хороший у меня братишка?

— Блеск! — ответил моряк. — Ты бы ему ключ...

— Знаю! — отрезала она и сунула мне в руки ключ. — Это от соседней комнаты, понял? Смотри не прошляпь!

В столовой было еще порядком народу, но все разбрелись и кто где.

Вера сидела под осыпающейся елкой, держала ее за ветку и слушала Виктора. Оба улыбались. В голове у меня шумело, в руках был ключ, я смело подошел к Виктору и сказал:

— А вас там сестра ищет.

Он поднял на меня медленные желтые глаза с поволокой и спросил:

— А зачем, не знаете?

— Что-то там, в последней комнате, с контактами, — соврал я.

Откуда что берется в такие минуты? Ведь я сказал ему то единственное, что могло сорвать его с места. Он сразу же вскочил:

— А-а! Ну, спасибо! — он улыбнулся Вере. — Одну минуточку! Там всегда что-то с контактами.

Он ушел, и мы остались вдвоем.

— Ну-у? — спросила Вера. — Куда же вы исчезли? Ух, как пахнет от вас! Так где же вы были?

— Вы танцевали... — сказал я.

— Ага! А вы не умеете! Так вам и надо!

Я схватил ее за руку.

— Слушайте, Вера.

— Слушаю, — она взглянула на браслетку, — ну, ну говорите, я же слушаю. — Я молчал. Она дотронулась до моей руки. — Тогда вот что: найдите мою дошку, а я пройду к Люде проститься. — Я молчал. — Ведь вы меня провожаете — так ведь мы договорились?

— Не ходите! — выдавил я наконец из себя. — Уже утро!

— А дома что подумают? — спросила она, улыбаясь. — У меня ведь родители оч-чень строгие!

Я хотел что-то ответить и насчет этого, но вдруг сообразил: сейчас вернется Виктор, начнет ругаться, а что я ему скажу?

— Там есть телефон, — потянул я ее за рукав.

— Да ведь у нас все спят! — ответила она. Но встала. — Где он?

Я увел ее в самый конец коридора, к венецианскому окну, и мы минут двадцать стояли и смотрели на зеленый снег, порхающий в желтом луче фонаря. Здесь, около большой кафельной печки, было очень тепло и тихо. От нее пахло вином и пудрой, и так она неподвижно и тихо стояла возле меня, такая у нее была нежная беззащитная шейка, что я вдруг, неожиданно для самого себя, коснулся губами ее затылка, ямочки под волосами.

Она шевельнулась, задумчиво поглядела на меня и сказала:

— Ну что ж, идемте к телефону?

Я привел ее в другой конец дома, отыскал нужную комнату (за стеной под гитару басом пел моряк) и рас-

пахнул белую дверь. На нас сразу пахнуло теплом и ароматом хорошо обжитого помещения.

Было почти светло. На ковре с огромными розами и раковинами лежал зеленый лунный квадрат, и на нем стояло старинное выгнутое кресло с фигурными подлокотниками, а дальше — диван с подушечками и пуфом.

— Ну вот и... — неловко сказал я.

Она странно взглянула на меня и решительно и как-то жестоко (не найду другого слова) перешагнула порог.

Я вынул ключ и запер комнату. Тут кто-то подошел и раздраженно застучал в соседнюю дверь.

— Люда! Да ее доха на вешалке, — сказал резкий мужской голос.

Вера тихонько хихикнула и схватила меня за палец. Я обнял ее и прижал к себе, и она потерлась щекой о мое плечо. Так мы стояли и слушали. «Ох и пьяная же я», — горячо шепнула она мне на ухо. За той дверью, где сидела Людка, осторожно звякнула пружина, и все замолкло. Мужчина постоял, обиженно хмыкнул и ушел. Тогда Вера стряхнула мою руку и строго спросила:

— Зачем вы заперли дверь? Сейчас же отоприте! Где телефон?

Я молчал. Она вдруг оттолкнула меня, прошла к дивану и села. Я хотел ей что-то сказать, но голос у меня переломился, и я понял: лучше мне уж помалкивать.

— Ну?! — Она подняла подушечку с фазаном, положила ее на колени и, глядя на меня, стала поглаживать, как кошку.

— Так где же ваш телефон?

Я молчал.

— Подойдите сюда, — приказала она вдруг.

Я подошел.

— Дверь-то хорошо заперта? — спросила она тихо и серьезно.

Дышать мне становилось все труднее и труднее, разбухшее сердце ухало уже в висках, и я глох от него.

— Ну садитесь же, садись же! — позвала она так же тихо и мучительно и протянула мне руку.

Очнулись мы уже днем и это было, пожалуй, самое мерзкое пробуждение в моей жизни.

Гости давно уже разошлись, за стеной что-то громко рассказывал и смеялся моряк, а Люда отвечала: «Ну не дури же!» Потом она подошла и постучала ноготком в дверь: «Верочка?! Верочка, твоя шубка здесь, на скобке, я ненадолго уйду, — ты меня подожди, если что понадобится...» Но тут что-то сказал и снова засмеялся моряк, а Люда сердито оборвала: «Да перестань же!» — и они оба ушли.

Вера сидела на диване, подогнув под себя ноги, и закрывала лицо руками. Раньше она плакала и говорила: «Мама, мамочка, если бы ты знала, если бы ты только знала!» Еще раньше вдруг, среди совсем другого, странно спросила меня: «Это и называется сгореть?» — а теперь молчала.

Я слегка тронул ее за голое плечо.

— Уйди! — сказала она с тихой ненавистью.

На душе у меня было очень погано: так, наверно, себя чувствует «мокрушник» после первого дела, а мне еще надо было думать о ней — ей-то, конечно, приходилось хуже моего. Я положил ей руку на растрепанную русую голову, — она упрямо мотнула головой.

— Вера, — позвал я.

— Ах, оставь! — ответила она досадливо. — Ну, что тебе?

— Я люблю тебя, Вера, — уныло сказал я (это была неправда, никого я тогда не любил, ни себя, ни ее — никого, никого).

Она презрительно хмыкнула и приказала:

— Принеси мне шубку!

Я встал, для чего-то поднялся на цыпочки, осторожно отпер дверь, снял со скобки дошку, принес, положил ее на диван.

— Закрой ноги! — приказала она.

Я опустился прямо на разбросанные подушечки, осторожно закутал ее и сел рядом.

Так, молча, мы просидели еще десяток минут. Вдруг она, не отнимая рук от лица, спросила:

— Я у тебя первая?

Я кивнул головой, но она не видела и повторила:

— Первая?

— Да! — ответил я.

Тогда она открыла лицо и обидно сказала:

— Партнер!

— Что?! — спросил я ошалело.

Она, как бы оценивая, поглядела на меня, насмешливо покачала головой и приказала:

— Достань зеркало, буду одеваться.

— Ой, Верочка, я здесь ведь...

— Достань! — отрезала она и встала.

Я отпер дверь, снова запер ее и пошел прямо на кухню. Там сидела та же тихая старушка, что дала мне огурец, и снова пила чай с желтым сахаром.

— Нянюшка, — сказал я жалобно, — мне бы зеркало.

— А сейчас, батюшка, — охотно согласилась она, пошла за перегородку и вынесла оттуда большой треугольный осколок.

— Людочка просила подождать, она сейчас вернется.

Когда я возвратился, Вера в дохе, наброшенной на плечи, стояла у окна и смотрела на падающий снег.

Я поставил осколок на тумбочку и подпер его флаконом.

— Откуда достал? — спросила она, подходя.

Я ответил, что нянька дала, и передал просьбу — подождать. Она прикусила губу.

— Уж и нянька знает, — ох эта Людка! Принеси мне сумочку. — Я принес. — И что это меня так морозит? Ты не знаешь?! — И она гибким плавным движением плеч сбросила мне доху на руки. Так, с дохой, я и остался стоять посредине комнаты.

Она некоторое время пудрилась, а потом спросила:

— Ну, а ты не из болтливых?

Меня донельзя возмущала эта издевательская легкость и жесткость ее тона, и я только взмахнул рукой.

— Ух, как морозит! — повторила она, поводя голыми плечами. — Так договорились?! А то вы ведь этим хвастаетесь — я слышала.

— Говори другой раз это своему Виктору, — пробормотал я, — а мне ты...

Я думал, что она обидится, и испугался, но она повертелась еще немного перед осколком, а потом, как «лейкой», щелкнула пудреницей и выпрямилась.

— А ты не обижайся! — сказала она мирно, но опять с той же непереносимой для меня легкостью. — Ведь мы с тобой партнеры.

Я жалобно попросил ее не говорить больше этого мерзкого словечка — термина из полицейских протоколов, скорбных листов и актов медицинской экспертизы.

— Пойди сюда! — позвала она и снова, как ночью, положила мне на плечи обе руки.

— А ты правда хороший — нет, верно, ты ничего, а?

Я молчал. Она с десяток секунд молча, не спуская рук с моих плеч, смотрела мне в глаза.

— А ведь мерзко? — спросила она вдруг очень просто и искренно. — Не находишь? Если эта бойня и все, что есть в любви... И неужели из-за этого умирают, идут на преступления, а? — Она замолчала, наверно, ожидая ответа, но что я мог сказать? Я и сам был не умнее ее в этих сложных вопросах.

Так мы стояли и молчали.

— Нет, нет! — решила она вдруг, как бы отгоняя от себя какое-то наваждение. — Что-то мы, наверно, с тобой не разобрали.

— Наверно, — ответил я, чтобы ее утешить. — Наверно, что-то с тобой недопоняли.

Она посмотрела на меня и рассмеялась.

— Медведюшка! На! Отнеси и поблагодари. Людку ждать не будем!

Ах, как отрадно было на улице. Свежий воздух, как вода, смывал с нас всю грязь и пот этой окаянной ночи. Светило солнце, и все вокруг было блистающим, белым и праздничным — деревья, каменные ограды, шары на этих оградах, даже люди, что шли навстречу. Остро и свежо, как морем, пахло снегом, и был он таким белым, что даже ломило глаза.

— Где ты, где ты, о прошлогодний снег! — сказал я. Какая-то большая и очень важная мысль промелькнула у меня в голове и сейчас же вышла, и я остановился, соображая, что же это было.

Вера искоса посмотрела на меня и нахмурилась.

— Ну, не бредь, пожалуйста! — Она вынула серебристые душистые перчатки и приказала: — Проводишь меня до дому! Бери под руку! Да не так! Фу, медведь! Стой, лучше я тебя возьму, — ну вот, и ходить не умеешь, — сколько мне придется тебя учить. Вот попался обольститель! — Мы прошли несколько шагов, и она сказала: — Так! Если наши не спят, я тебя напою чаем, если спят — я зайду на пять минут переодеться и мы пойдем в кафе.

Я хотел ей что-то возразить.

— Вот еще! — прикрикнула она. — Я вчера получила деньги за съемку — это моя первая зарплата, и я угощаю пирожными!

В кафе мы пошли, и пирожными она угощала меня вовсю. Потом мы еще были в цирке и пили ликер. Но этим все и кончилось — мы расстались на пятнадцать лет.

* * *

И теперь мы разговаривали о том же. Но она не закрывала лицо руками, а сидела и смотрела на меня.

А у меня что-то многое мелькало в голове. Я думал: что же произошло сейчас? Случайность, еще одна случайная связь? Даже противно произнести этакое. Но, по существу-то, разве эта встреча действительно не умопомрачительная случайность?! Ведь пятнадцать лет все-таки! — война, лагерь, я сто раз мог сдохнуть, она могла уехать, умереть, выйти замуж за генерала, и вот жили бы мы на одной улице и никогда бы не встречались. Мало ли друзей у меня пропало именно так. Значит, случайность! Но тут опять не то! Воспоминание о случайной связи не болезненно, ее чаще всего и вспоминают с улыбкой, а у меня захватило дыхание, как только она вошла, — да нет, еще раньше, — как только я подошел к Анне Карениной, меня сразу так и ударило, словно током: «Она!» И вот вместо того, чтобы обрадоваться и крикнуть: «Верочка, какими судьбами?» — мы стали разыгрывать какую-то дурацкую комедию — не узнавали друг друга, потом знакомились, потом пили на брудершафт. Для чего? Разве не могли мы вести себя просто? Конечно, о том ни слова, ни намека. Да и о чем говорить-то? Что оба были дураками и ничегошеньки не понимали? Так вот — поумнели же! У нее дочка, а у меня... Э, да что говорить про меня! И не перечесть того, что у меня осталось позади. Так нам ли, таким, плакать о прошлогоднем снеге? А мы ведь отреклись друг от друга. Мы гордо и ревниво затаили свое чувство, и каждый ушел в свою нору.

— Ты знаешь, — сказал я, — все эти пятнадцать лет я думаю о тебе и ничего не могу понять.

Этого не надо было говорить.

Она сухо пожала плечами.

— Просто сошла девчонка с ума, и все!

— Ну, — ответил я твердо, — просто так девчонки с ума не сходят!

Конечно, ничего глупее я не мог ляпнуть и нарочно. Она сразу подобралась и насмешливо взглянула на меня.

— Ах, теперь ты это знаешь?

— Да! — ответил я и сразу понял, что я осёл и все полетело к черту. — Да, знаю.

У нее дернулись углы губ и нехорошо блеснули глаза. Она повернулась на диване, так что звякнули пружины, и, видимо, хотела ответить мне по-настоящему, но только порывисто вздохнула и поморщилась. «Да стоит ли? — конечно, пришло ей в голову. — Ведь пятнадцать лет!»

— Ну, конечно, не так просто, — ответила она скучно. — Дома я со всеми поругалась. Зимой должна была выйти замуж, но вдруг поняла, что жених мой... Слушай, перестань меня допрашивать — ведь мы не разбираем «Бесприданницу».

— Ты извини, — сказал я осторожно и дотронулся до ее руки, — но я хотел бы понять тебя.

Она насмешливо посмотрела на меня и покачала головой.

— Все хотел бы понять? Эх ты! А худой ты стал, страшный. И рот пустой.

— Еще бы! — усмехнулся я, поймав что-то новое в ее тоне.

Опять мы сидели и молчали. Но молчание-то было уже иное — доброжелательное и тихое. Так все изменила жалость, чуть дрогнувшая в ее голосе.

Вдруг она засмеялась:

— Милый, милый! Появился на Новый год и исчез, как прошлогодний снег, а девчонка потеряла голову! Что ж ты делал в это время?!

Да, что я делал в это время? Я усмехнулся.

— А тебе все рассказать?

Но она и не ждала ответа — она смотрела так, словно видела меня впервые.

— «Надо и сгореть и выгореть!» Ну, вот мы и сгорели и выгорели, а много ли приобрели от этого?

— Может быть, и много! — ответил я.

Она встала и пошла по комнате.

— И даже не написал мне, бессовестный!

Я тоже встал и пошел. Так мы и ходили.

— Ты ведь меня тоже обманула — не позвонила.

— Да! — устало согласилась она. — Да, да. Тогда я тебя обманула.

Помолчали.

— Ну, что ж, — сказал я, — все хорошо, что хорошо кончается! Ты уж заслуженная. Пройдет лет пять — станешь народной. — Она молчала. — Дочка у тебя такая чудная — тоже, поди, станет актрисой. Она ведь не знает, что ее отец Виктор?

— Нет.

До сих пор я говорил совершенно искренно, но тут вдруг мне захотелось отомстить ей. И странно! Еще минуту тому назад я ее ни в чем не винил и все понимал, а сейчас вспыхнула настоящая злоба. За что? Ну, хотя бы за те мерзкие картины, которые я рисовал себе, когда думал, что она ведь замужем, — ко мне не пришла, а к тому, небось, побежала. За лагерь, за бессонницу на голых досках, за белые колымские ночи. Ну, в общем, я хорошо знал, за что.

— Ну и хорошо, что не знает, — ответил я, — Володька чудный, я же его знаю, у вас такая трогательная любовь.

Пока я разливался, она внимательно смотрела на меня и потом отвела глаза.

— И у вас самый редкий вид любви, — сказал я, — любовь, которая так похожа на дружбу, что...

— Да, да, любовь, любовь, — повторила она завороженно и вдруг заторопилась: — Ну, ладно, надо идти.

— Стой, куда ты? — удивился я. — Что ты сорвалась?

— Да нет, надо, — вяло пробормотала она, — я лучше...

— Да сиди ты! — прикрикнул я. — Вот еще!

Она вдруг схватила меня за руку.

— Да что ты, слепой, что ли? — закричала она. — До сих пор ничего не можешь понять? Не видишь, не слышишь? Как я отношусь к мужу? Как обрадовалась тебе? Как я жадно смотрела на тебя и ждала — когда же? Когда же он со мной заговорит? спросит меня: ну, как ты жила все это время, чем живешь сейчас? А ты... — Она махнула рукой. — Да вот ты, наконец, спросил: как ты могла на это пойти? Только это тебя и заинтересовало.

— Ну что ты! — возмутился я.

Она села и сжала виски.

— Не дай мне только бог опять сойти с ума, да и... — тоскливо проговорила она сквозь зубы, — не дай бог только этого. Почему я не позвонила? Да я через месяц, как собачка, заметалась по улицам, сидела, сидела, куксилась, и вдруг пришел день и я опять сошла с ума — где он? что с ним? Говорят — уехал. Куда же он уехал? Жив ли? Если бы я тогда только знала, где ты!

Она говорила искренно и просто, и я понимал, что это все правда, но та же змея все шипела мне в уши, и я спросил насмешливо и грубо:

— Ну, и что бы тогда было?

Она вздрогнула и испуганно посмотрела на меня.

Опять помолчали. Она сидела и смотрела в окно. Меня она уже не видела.

— И как я буду теперь жить с ним? — спрашивала она себя тихо и горестно. — Зачем он мне нужен? Все это время я держалась тем, что была верной женой, а теперь...

— Да вот так и будешь, — ответила моя змея, — у тебя же Катя...

И как раз в это время зазвонили три раза, как полагается по расписанию.

— Он! — вздохнула она и встала. — Он должен зайти за мной.

Я тоже встал.

— Так приберись же! Вот у тебя платье помятое, глаза красные, волосы как-то... Если он придет да увидит...

— А ты не хочешь? — прищурилась она.

Конечно, следовало просто взять да обнять ее, но та же гадина все шипела и юлила во мне, и я снова только пожал плечами.

Она зло улыбнулась, встала, взяла сумочку, достала пудреницу, тщательно запудрила воспаленные подглазья, подошла к зеркалу, поправила волосы, снова села к столу и взяла папиросу.

— Ну что ж, пусть тогда идет — я готова.

Но я, конечно, не отворил ему двери, как он там ни звонил и ни барабанил. Я попросту прижал к себе мою самую первую, самую давнюю, самую многострадальную любовь и хотел сказать ей, что она-то и есть самая настоящая, — но вышло у меня что-то совсем не то.

— Дурочка ты моя, — сказал я, — господи, какая же ты все-таки глупая, Верка! Ну о чем с такой глупой и говорить! Какой была, такой и осталась!

— А ты, — спросила она, — ты, наверно, думаешь, что стал очень умным за эти пятнадцать лет? Да? Ну-ка пусти!

Нет, я не думал, что я стал умным, и поэтому ничего не ответил, я только мгновенно прикинул в уме, какой тернистый и тяжелый путь надо было каждому из нас пройти за эти пятнадцать лет, чтобы наконец узнать и увидеть друг друга. Я хотел ей сказать это и еще то, что есть старая сказка о том, как двое влюбленных пошли гулять, да и заблудились в заколдованном лесу — и вот ходят они, аукаются, слышат друг друга то далеко, то совсем, совсем рядом, а увидеться не могут — мешает всякая нечисть — пни там, ветки, коряги, кусты; но я не знал, какими словами рассказать ей эту сказку, чтоб она поняла, что это о нас с ней, и замешкался, а она вдруг

бегло, словно украдкой, подняла руку и быстро-быстро провела по моим волосам.

— Худющий! Страшный! Кощей Бессмертный. Надька спрашивает: «Мамочка, а почему дядя хороший, а такой страшный?» — Она засмеялась. — Муж называет тебя фараонова корова! Где это есть такие коровы? Едят, едят, а всё скелеты? Ну, я тебя быстро подправлю. — Она огляделась. — А комната...

Она отошла от меня, быстро включила свет, сняла жакетку, деловито сложила ее и повесила на спинку стула.

— Ох, порядочек! Достань мне быстро какую-нибудь тряпку и метлу, — скомандовала она. — И пыли, пыли — наверное, неделю не подметали! Холостяк!

— Слушай, да я не знаю, где она! — испугался я.

— Найди! — прикрикнула она и стала засучивать рукава. Я постоял и пошел к домработнице. Но шел я робко — моя домработница была женщина с самолюбием и с характером, а что я мог ей сказать о тряпке и метле, когда она мыла комнату только сегодня утром и хорошо знала, что такое порядок. Впрочем, думал я, она ведь умная старая женщина и отлично понимает, в каких случаях другая женщина, придя к старому холостяку, непременно хочет в его комнате вымыть пол, протереть стекла и вообще навести в ней свой собственный порядок.

1951–1955
Сосновка – Чуна – Захаровка

Содержание

Литературно-художественное издание

Домбровский
Юрий Осипович

РОЖДЕНИЕ
МЫШИ

Редактор
В.П.Кочетов
Художественный редактор
Т.Н.Костерина
Технолог
С.С.Басипова
Оператор компьютерной верстки
А.Ю.Бирюков
Оператор компьютерной верстки переплета
Е.В.Мелентьева
Корректоры
Г.В.Заславская, Н.В.Семенова

Подписано в печать 25.10.2010
Формат 84x108/32
Тираж 3000 экз.
Заказ № 8723

ЗАО «ПРОЗАиК»
107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 8А, стр. 3
Телефон: (495) 795-01-46
Электронная почта: prozaic@prozaic.ru

По вопросам реализации обращаться:
Книжный Клуб 36.6
107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 8А, стр. 3
Телефон: (495) 926-45-44
Электронная почта: club366@club366.ru
Информация в Интернете: www.club366.ru

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ

Впервые к читателю приходит неизвестный роман одного из наиболее ярких и значительных писателей второй половины XX века Юрия Осиповича Домбровского (1909–1978).

Это роман о любви, о ее непостижимых законах, о непростых человеческих судьбах и характерах, и отличают его сложная философия и непривычная, новаторская композиция – сам автор дал ему подзаголовок «Роман в повестях и рассказах».

Слухи о том, что у Домбровского есть неопубликованный роман – пограничный между его ранней прозой, вынужденно написанной на историческом либо заграничном материале («Обезьяна приходит за своим черепом», «Смуглая леди»), и принесшими ему славу автобиографическими книгами («Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей»), – ходили давно, но сам текст, создававшийся писателем на поселении, был то ли потерян после реабилитации (Домбровский сидел в общей сложности десять лет, не считая первой ссылки в Алма-Ату в 1933 году), то ли уничтожен. К счастью, оказалось, что все эти годы роман хранился в архиве писателя. И вот, через тридцать лет после смерти автора и через пятьдесят – после написания, последняя ненапечатанная книга Домбровского выходит в свет.

